



Яков Евсеевич Цветов

Синие берега

<http://www.litres.ru>

Синие берега: Советский писатель; Москва; 1978

Аннотация

Роман Якова Цветова «Синие берега» посвящен суровому мужеству советских людей, Советской Армии, проявленному в Великой Отечественной войне.

События романа разворачиваются в тяжелый, героический период войны – лета и осени сорок первого года. В центре повествования судьба двух молодых людей – москвички Марии, в начале войны приехавшей в Киев к родным, и командира роты Андрея, история их короткой и светлой любви, их подвига.

На страницах произведения живут и действуют яркие образы людей, судьба которых не оставит читателя равнодушным.

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	28
Глава третья	85
Глава четвертая	130
Глава пятая	180
Глава шестая	235
Глава седьмая	285
Глава восьмая	337
Глава девятая	384
Глава десятая	440
Глава одиннадцатая	493
Глава двенадцатая	528
Глава тринадцатая	572
Глава четырнадцатая	611
Глава пятнадцатая	648
Глава шестнадцатая	696
Глава семнадцатая	746
Эпилог	787

Яков Евсеевич Цветов

Синие берега

Роман

Марии Тихоновне.

Всем обязан тебе.

Твоему сердцу. Твоим рукам.

ПУСТЬ ГЕРОИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ВЫДЕРЖАВШИХ ЭТУ ВОЙНУ И
ПОБЕДИВШИХ ПРИДАЕТ СИЛЫ, ВНУШАЕТ
ВЕРУ, ЕСЛИ БЕДА КОГДА-НИБУДЬ ЛЯЖЕТ
НА ПЛЕЧИ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ В МИР ПОСЛЕ
НАС.

Глава первая

1

Девушка, стуча гулкими каблуками, взбежала по лестнице. В руке пестрый чемодан, через плечо свободно перекинут свернутый плащ. Голову, охваченную витком медной косы, держала слишком прямо, словно никогда не поворачивала ее ни вправо, ни влево. Под пушистыми, цвета топленого молока, бровями, глаза темные, почти черные, казались невозможными на светло-золотистом овальном лице. В полуулыбке, как бы предвосхищая, что сейчас произойдет, девушка приоткрыла губы, чуть полноватые, и сверкнули белые ровные зубы. В облике девушки сквозила уверенность, даже горделивость, выдававшая ее возраст – восемнадцать лет.

На лестничной площадке третьего этажа девушка остановилась перед дверью и, не переводя дыхания, ткнула палец в кнопку звонка. Она не отнимала пальца долго, пока дверь не открылась. В ней появилась немолодая женщина, с каштановыми волосами, уложенными на затылке пучком, в клеенчатом передни-

ке поверх ситцевого в голубых полосках платья. Вид у женщины встревоженный: что случилось? Увидела девушку, и лицо ее, только что растерянное, испуганное, приняло успокоенное выражение, глаза приветливо блеснули.

– Марийка!.. А я думала, бог знает кто... – пошутила.

– Это я, – с обезоруживающей непосредственностью проговорила девушка. Порывисто бросилась к женщине, расцеловала, свободной рукой обхватив ее шею. – Тетенька Полина Ильинишна!..

Женщина тоже припала к девушке, потом протянула руку, чтоб взять чемодан. Девушка упрямо повела плечом, отстранилась, не дала. Вместе вошли в коридор, заставленный старыми, ставшими ненужными вещами, какие обычно выносят из комнат.

Торопливым шагом шел навстречу сухопарый мужчина, на ходу поправляя сползавшие с носа очки, видно, тоже всполошился, услышав слишком нетерпеливый звонок.

– Дядя-Федя, Федор Иванович, милый!

– Вот и Марийка! – прижал он к себе голову девушки. Он не знал, что еще сказать. – Вот и Марийка...

– Телеграмму дала б, – ласково укорила женщина. – Встретили б.

– Конечно, – подтвердил мужчина.

Девушка непринужденно мотнула головой.

– Вот еще! Телеграмму.

Возбужденная, она спешила объяснить сразу все.

– На этот раз я не надолго. Кончится война, и я возвращусь к экзаменам в университет.

– Да что там говорить, – неопределенно усмехнулась Полина Ильинична. – Раздевайся, Марийка. Будем завтракать. – Она направилась в кухню.

Мария и Федор Иванович вошли в комнату.

В раскрытые окна проникал шум начинавшегося утра, солнечного, жаркого.

Мария, присев на корточки, раскрыла чемодан.

– Дядя-Федя, Федор Иванович, жизнь как?.. – выбирая из чемодана вещи, певуче произнесла. Она выкладывала на диван, на стулья платья, белье, туфли, учебники, толстые тетради в коленкоровых переплетах. – К экзаменам буду готовиться, – кивнула на учебники.

– М-да, – кашлянул дядя-Федя, Федор Иванович.

– Придется много заниматься, – продолжала Мария. – Даже в кино ходить не буду, правда. Теперь на экзаменах здорово режут, особенно девчонок.

– М-да, – снова кашлянул дядя-Федя, Федор Иванович.

Полина Ильинична принесла завтрак.

– Ой, вкуснотища, тетенька Поля Ильинишна! Ой! –

всплеснула Мария руками, увидев горячую яичницу на сковороде и подрумяненные гренки в тарелке. – У тебя всегда вкусно. И мама это говорила.

«Эх, Оксана, Оксана», – вздохнула Полина Ильична.

– А папа как? – вопросительно посмотрела она на Марию. – Давно письма не было.

– А папу призвали. Разве не говорила? Сегодня утром ему в военкомат, сказал.

Завтракая, Мария рассказывала, рассказывала. Что в Москве спокойно. Что она, Мария, чуть-чуть не дотянула до аттестата с отличием. Что надеется поступить на истфак университета.

– Так-так... – постучал дядя-Федя, Федор Иванович, сухими пальцами по столу. – Мне пора. – Он вытер губы, положил салфетку, поднялся. – Приду поздно, Полина. Столько, столько дела...

Он надел шляпу, сунул в карман завернутые в бумагу бутерброды, пузырек с валериановыми каплями. Взял палку с костяным набалдашником. Поморщился, с трудом подавляя боль во всем теле, но тотчас спохватился, и страдальческие складки в уголках рта пропали так же быстро, как и появились. Он повел рукой: «ничего, ничего», говорил его жест. Полина Ильична не отводила взгляда с его покрытого матовой желтизной лица. За стеклами очков не видно было

выражения глаз, но устало поникшая голова, нетвердый шаг показывали, что чувствовал он себя плохо.

Хлопнула дверь. Дядя-Федя, Федор Иванович, ушел.

Полина Ильинична убрала посуду, накрыла стол нарядной скатертью, поставила хрустальную вазу с черешней.

– Ну, Марийка, отдыхай. Я на работу.

Тоже ушла.

Полина Ильинична давно работает провизором в аптеке на Подоле, а дядя-Федя, Федор Иванович, инженер, уже на пенсии, больной человек. Теперь с утра допоздна пропадает на своем заводе – там ремонтируют пулеметы, даже поврежденные пушки, подбитые танки ремонтируют, – сказала Марии Полина Ильинична.

Мария осталась одна и почувствовала себя неприкаянно. Раньше, в прошлые приезды, было как-то не так. Она не могла разобраться, чего именно не хватало или что было лишнее. Встретили ее, как всегда, радушно. И лето шумно раскинулось над городом. И в комнатах все стояло на прежних, привычных для нее местах, – шкаф с зеркальной дверцей, диван с чуть примятыми валиками, стол и небольшой письменный столик в углу, за которым иногда занималась, и стеллажи, тесно уставленные книгами, и скатерть и ваза

те же. Словно вчера отсюда уехала и сегодня возвратилась. И все-таки... Конечно, война...

Представления о войне были у Марии смутные – никогда не видела она убитых, разве лишь в кино. Правда, Москва стала затемненной. По вечерам опускали на окна навешанные сверху темные одеяла или что-нибудь другое, и это заслоняло людей от замершего города, устрашающего неба, от мира, над которым нависла опасность. Но Москва была спокойной, собранной, строгой, этого нельзя было не заметить.

Пятиэтажный дом, в котором они с отцом жили, пустел с каждым днем. Реже раздавались голоса на лестнице, на лестничных площадках, в коридоре, подолгу стоял без движения лифт. Ушли на фронт токарь Павловский с сыном Аликом, тоже токарем, призвали в армию Митина, Егорова, Перштейна из седьмой квартиры, дворового заводилу Севку Шумакова, позавчера прощался бухгалтер Свиридов, вслед за ним покинули дом Родионов, Сережа Скрипниченко, Юзя Бакальчук, учитель Юзанов, Исидор Петрович. Вот и отец получил повестку.

Как быть с Марией? Не оставаться же в такое время ей, совсем еще девчужке, одной? Как быть с ней? – сокрушался, видела Мария, отец.

– Поедешь к тете, к дяде Федору Ивановичу поедешь, в Киев.

– В Киев? – удивленно взглянула Мария на отца.

– Да. А больше и некуда.

Больше и некуда, понимала Мария: единственные ее родственники – там.

– Но ведь Киев бомбили!.. Как же – туда?.. – все еще недоумевала она.

– И другие города бомбили. В первые часы войны. Ты знаешь. Читала в газете. Напали-то немцы неожиданно. А теперь попробуют пусть... Еще день-другой, их повернут лицом на запад. Так что в Киев – вполне безопасно, – рассудил отец.

С трудом посадил Марию в поезд – много людей, застигнутых войной вдалеке от дома, возвращались к себе.

И вот она здесь.

После Москвы, где родилась, выросла, Киев самый прекрасный город. И другие города – на Севере, на Юге, куда, случалось, надолго посылали отца-геолога и где ей доводилось бывать, – и другие города уютны, красивы. А милее Киева нет, не было! Мать – медицинская сестра – умерла в позапрошлом году весной. Полина Ильинична, у которой не было детей, не раз просила отца: «Отдай Марийку нам, нелегко же с ней при твоей кочевой жизни. Вырастим ее как надо. Отдай...» Отец отклонял эти просьбы. «Будет по-прежнему приезжать к вам на каникулы». И она при-

езжала. Нетерпеливо ожидал отец ее возвращения, и в нетерпении этом сказывались и опасения, и любовь к дочери, и ревность к «тете-дяде». Отец делал все, чтоб жизнь дочери протекала без лишних забот, как было при матери, потакал ее желаниям, даже прихотям. «Одна ты у меня, единственная, и я у тебя один, единственный».

Мария представила себе, как месяца через два отец приедет за ней и увезет домой, в Москву. К самым экзаменам. Похвалит, что не теряла времени и по всем предметам хорошо подготовилась. «Ах, папа!» Она уже видела его героем. На груди ордена, непременно ордена, сухая улыбка на скуластом обветренном лице. «Папа, миленький папа, где ты сейчас?!» Ничего плохого с ним, конечно, не случится. В этом была она уверена.

Солнце остановилось прямо против окна, и полуденный жар наполнял комнату. Тени уползли под шкаф, под диван, под книжные стеллажи, и потолок, стены, пол стали светлыми, будто прозрачными. Ожила ваза на столе – сверкнуло стекло, вспыхнули янтарные черешни, и показалось: подует в окно, и, живые, шевельнутся они, как на ветке. Жарко!.. Мария сомкнула шторы на окнах, в комнате наступил приятный полумрак, и тени снова залили все, и ваза с черешней потухла.

Мария взяла горсть черешен, стала есть. «Ладно, отдохну с дороги, завтра похожу по городу – целый год здесь не была! А там и за учебники», решила она. Направилась к дивану. Пока шла, раздумывала: нет, отдыхать не хочется. Ее властно потянула улица. Снова подошла к окну, раздвинула штору: ну и день! Отсюда, с Софиевской, недалеко до Владимирской горки, и до Днепра недалеко, а там и Труханов остров. Хорошо сейчас на теплом песке под солнцем! Сегодня она, так и быть, погуляет, сейчас вот выйдет, а завтра обязательно за дело. «Загляну к Лене... Как она, Ленка?..»

Мария надела легкое белое платье без рукавов, посмотрелась в зеркальную дверцу шкафа, закинула руки за голову, поправила косу. Мария осталась довольна собой. Снова зачем-то сдвинула шторы, положила в сумочку оставленный тетей Полиной Ильиничной ключ.

В город!

2

Мария повернула на соседнюю улицу, прошла немного, остановилась у подъезда. Здесь жила Лена, сверстница, с которой давно подружилась. Ей нравилась Лена, стройная, большеглазая, волосы ее весело, как витые стружки, спадали на плечи. Училась она

так себе, и Мария, бывало, потешалась над нею. «Не успеваю готовить уроки, – объясняла Лена. – Люблю читать! Чертовщину всякую, а читаю...»

Звонок не действовал, Мария постучалась.

– Да! – громко откликнулась Лена. Мария узнала ее голос. – Кто?

– Я, Ленка! Я...

– Марийка, ты? – распахнулась дверь. – Ну, не может быть! – Лена удивленно раскинула руки. – Думала, теперь не приедешь.

– А вот приехала.

Девушки пылко обнялись.

– Не думала, не думала, – все еще не веря, что перед ней Мария, довольно качала Лена головой. Понизив голос, будто сообщала секрет, о котором можно было говорить только шепотом, сказала: – Город же фронтовой...

– Так уж и фронтовой!

– Фронтовой, Марийка.

– И Москва – фронтовой. Какая разница?.. Война везде.

Лена промолчала.

– Родителей эвакуировали в Челябинск, на завод. Они ж инженеры. А мне туда – чего? Не поехала. И не поеду никуда. Что с Киевом станется? Поступила на работу. В читальный зал библиотеки.

– А институт как? Мечтали ведь с тобой.

Лена удивленно уставилась на Марию.

– Институт? Ой, Марийка. Все еще соплюшка...

Взглянула на часы.

– Пропала! Опаздываю на работу.

– Заходи после работы, ладно? – попросила Мария.

– Что ты! После работы – еще работа. Потруднее и понужнее первой работы.

– Все какие-то загадки у тебя...

– Сказала же – дурешка, город наш фронтовой. Под вечер копаем противотанковые рвы на окраинах. Вчера знаешь где копали? Аж за Пуще Водицей. Вон где... Только до Киева гитлеровцам далеко, ближе, чем они сейчас, им не продвинуться, нам говорили. А копать все-таки надо...

У домов увидела Мария, когда вышли, бочки с водой, навалы мешков с песком. На стенах зданий изображены каштановые деревья, точь-в-точь такие, как те, что росли на улице, против этих зданий, только на стенах они немного полиняли от солнца.

– Посмотри влево, – шепнула Лена. – На крыше вон замаскированные зенитные пулеметы. Видишь?

Всего этого Мария не заметила, когда ехала с вокзала. Оттого, наверное, что думала о многом другом: об отце, о встрече с тетей и дядей, о подготовке к экзаменам...

Вот и библиотека.

– Ну, прибыла, – улыбнулась Лена.

Девушки попрощались.

Мария осталась одна. Она знала, недалеко – повернуть за угол, потом еще раз повернуть и – трамвайная остановка. Мария направилась туда. Мимо прокаатила автомашина с открытым кузовом, на борту красный крест, потом еще одна, такая же – открытый кузов, на борту красный крест. В первой автомашине бойцы – головы, плечи, руки перевязаны бинтами, бинты в темных пятнах – кровь с пылью; и во второй автомашине бойцы в бинтах. Лица тех, что сидели на бортовых скамейках, угрюмые и худые-худые. Мария не отводила взгляда от машин, следуя за ними растерянными глазами. Машины скрылись в глубине улицы, а она продолжала смотреть в ту сторону – головы, плечи, руки в окровавленных бинтах еще плыли перед нею. И вдруг все потеряло значение – экзамены, солнечное лето, стоявшее над городом...

– Привыкать, привыкать надо, барышня, – услышала трескучий говорок за спиной. – Весь день везут, и вечер, и всю ночь возили. Машина за машиной. Жмет немец. Жмет...

Мария, ей казалось, спокойно обернулась. Но широко раскрытые глаза выдавали ее состояние, и тот, кто говорил, увидел это.

Перед Марией стоял в белом полотняном костюме долговязый мужчина лет сорока пяти с узким, в мелких оспинках лицом со втянутыми щеками. Фетровая шляпа пирожком слегка сдвинута влево, и тень прикрыла левый глаз. Правый, водянистый, сверкал на свету.

– Жалко ребятушек, жалко, – произнес долговязый. – Да что поделать...

Марии не понравились и фетровая шляпа пирожком, и сверкавший глаз, и особенно это «ребятушки», произнесенное с пустым сожалением. Захотелось отделаться от долговязого, он собирался еще что-то сказать.

Она вскочила в проходивший трамвай, ей было безразлично куда ехать.

Трамвай миновал центр. Мария смотрела в окно: полупустынные улицы на перекрестке бомбовая воронка, еще одна, еще две; вон развороченный дом, дома не было, от него осталась одна стена, задняя, ужасающе зубчатая и обгорелая, ставшая бессмысленной. Трамвай шел дальше. Половина квартала бугры битого кирпича; то тут, то там скрученные железные балки, обломки мебели, недогоревшие переплеты дверей, окон, битое стекло; под солнцем стекло вспыхивало, и казалось, что руины все еще горели. «И разбомбили как!.. – произнесла про себя. – В

первую ночь войны».

Это был не тот город, который она знала. Не город ее каникул.

Мария доехала до конечной остановки, трамвай возвращался, и она в нем, и снова до последней остановки, в обратном направлении, и опять... Ехать, ехать... Надо же как-то успокоиться.

Наконец встала, вышла. Трамвай, звякнув, двинулся, набрал ходу и скрылся за поворотом. А она продолжала стоять у остановки – плечи опущены, руки опущены. Захотелось плакать, захотелось обратно в Москву. Она побежала вдоль улицы.

Долго рылась в сумочке, искала ключ, нашла, открыла дверь. Пусто и одиноко в квартире. И темно. Темно. Неловко, будто не было силы в руках, разве-ла шторы, комната наполнилась светом. Машинально взглянула в зеркальную створку шкафа. Перед ней стояла понурая, горестно смотревшая на нее девушка, немного взлохмаченная, с подобранными в плач губами, и только платье, точно такое, белое, с кружевным воротничком, убеждало Марию в ее сходстве с той, что стояла в зеркале, напротив.

Полина Ильинична вернулась поздно: оказывается, после работы в аптеке пришлось отправиться в госпиталь – перевязывать раненых. Много раненых. Может быть, тех, которых Мария видела? В глазах Полины

Ильиничны утомление и тревога. Мария поняла: тетья не могла скрыть это. И все, что немного успокоилось в ней, снова охватило ее. А она так ждала тетю Полю Ильиничну. Верилось, она способна защитить от опасности, от беды...

Пришел дядя-Федя, Федор Иванович, вконец расхворавшийся. Принял сердечные капли и, не поужинав, улегся в постель.

Мария долго сидела в кровати, подперев руками голову. Она ни о чем не думала, не могла думать. Много переменялось в ней в этот день.

Война началась и для нее, для Марии.

3

Ночью шел дождь. Дождь ночью всегда долгий. Мария лежала с открытыми глазами, не могла уснуть. И потому ночь длилась, длилась, словно слились ночи всей жизни, которую предстоит ей прожить. Дождь и ночь казались навек. Из спальни доносился осторожный голос Полины Ильиничны, она будила Федора Ивановича. Он стонал, он кричал во сне. Наконец успокоился, Полина Ильинична умолкла. «Тоже, наверное, не спит».

Окно распахнуто, и Мария вслушивалась в мерную и частую дробь дождевых струй, падавших на тро-

туар, перед домом, в громкие шаги мимо проходившего патруля. Восемь дней она уже здесь, и все то же: бессонница, шаги патруля, сердцебиение, предчувствие беды. Мария старалась подавить тревогу, томившую ее все эти ночи. Они наступали рано, эти ночи, лишь затухало над городом небо и улицы лишались движения и голосов, нескончаемые ночи, полные страха, напряженного ожидания утра.

Она вжалась в подушку, ее охватила лихорадочная дрожь нетерпенья, ждала, когда на стекла окон ляжет блеклая полоска еще неуверенного, еще нежилого света. Потом приподняла голову, села, подтянув колени к подбородку. Она заметила, что утро в городе начиналось с этой блеклой полоски на окне. Утро, утро!.. – обрадовалась она. Как будто утром не случаются несчастья. И все-таки утром легче дышалось, все, убранное темнотой, возвращалось на место, отступало чувство незащитности и снова появлялись надежды, заставлявшие что-то делать.

«Что-то делать, что-то делать, иначе пропасть...» – говорила себе. Это значило как-то занять себя, отвлечь мысли от всего, чего понять не могла. Но что делать ей, собственно, еще ничего не умевшей делать, в городе, занятом войной. Плохо, плохо, когда война застаёт человека, а ему лишь восемнадцать.

Мария встала. Рано еще, но что лежать! Наско-

ро приготовит немудреный завтрак: каша, хлеб, чай. Проводит тетю и дядю на работу и пойдет к Лене. Лена обещала устроить ее в библиотеку. «Что-то надо делать...» Она окончательно перестала думать об учебниках, об экзаменах, все это отошло. Подумалось об отце. В письме – коротеньком, на одну-две минуты, – что получила вчера, писал он, что находится где-то неподалеку, но где догадаться было нельзя. Он успокаивал ее. Отец никогда не говорил попусту. Ему Мария верила, очень верила. И внушала себе: все поправится, все поправится. Мысль эта не покидала ее.

Тетя и дядя ушли. Можно и ей уходить. Она вышла из дома, почти уверенная, что все будет хорошо, что фашистов скоро отбросят, они побегут вспять, а там и война кончится, и жизнь опять наладится, и все вернутся к мирным делам, ставшим сейчас особенно желанными. И дни эти и ночи забудутся, как все в конце концов забывается. «Мы опять привыкнем спокойно спать, и не надо будет с замиранием прислушиваться к громкоговорителю». Она даже улыбнулась своей мысли.

С перекрестка рванулся остуженный за ночь ветер и лег ей под ноги, полежал с полминуты и понесся дальше, сдувая пыль с асфальта, просохшего после ночного дождя, и асфальт становился голубым. Силь-

ный и чистый свет разгоравшегося утра наполнил улицу, и дома, вымытые дождем, казались новыми, только что выстроенными.

Вон и Лена, она шла навстречу.

– Рано так чего, Лена? Еще и семи нет.

– Понимаешь, не сидится дома. Места себе не нахожу. Тянет на люди.

И правда, – подумала Мария, – в такое время вместе чувствуешь себя увереннее. Семи нет, а тоже вот поспешила к Лене.

– И мне не сидится, – сказала.

Лена взяла ее за руку.

– Пойдем на работу.

– А возьмут меня?

– Возьли.

– Как? – Мария даже приостановилась, недоумевая.

– А так, – дернула Лена плечом. – Вчера говорила о тебе с Софьей Васильевной, с заведующей. А она: пусть приходит.

– Ты серьезно?

– Соплюшка ты еще, соплюшка, – снисходительно покачала Лена головой и, мелко ступая, двинулась.

– Я ж ни заявления, ни документов... – продолжала Мария стоять растерянно. Губы разомкнулись в удивленной улыбке.

– Что твое заявление, – бросила Лена на ходу. – Теперь мы, весь город, одна семья. И каждый нужен. – Ей явно нравилось чувствовать себя опытной подружки. – Пошли, пошли...

– Еще только семь, смотри. Куда ж мы?

– Туда, туда, – отрывисто проговорила Лена. – Тебе дома не по себе, мне не по себе, а другим, думаешь, по себе?

Дошли до конца квартала, повернули. Еще несколько шагов, и старинное здание с тихой вывеской: «Библиотека». Мария было остановилась в нерешительности, но Лена, сердито взглянув на нее, уже толкнула дверь.

Девушки вошли в полукруглый вестибюль. Сквозь большое венецианское окно со стрельчатыми витражами падал свет на пустынную сейчас гардеробную с голыми вешалочными крючками, на ниши в стенах, в них виднелись бюст Пушкина, бюст Тараса Шевченко.

Часы на стене показывали: четверть восьмого.

Лена поднималась по широкой лестнице, устланной ковровой дорожкой, схваченной на ступенях металлическими прижимами. Мария, смущенная, едва поспевала за ней. На ступенях тоже лежал свет, окрашенный витражами, и она ступала по оранжевым, зеленым, желтым полосам, и туфли ее становились на миг то оранжевыми, то зелеными, то желтыми.

Софья Васильевна, седая, тщедушная женщина в роговых очках, внимательно посмотрела на Марию, подала руку.

– Так вот, девушка, с Леной будете хозяйничать в читальном зале.

И – все. Софья Васильевна склонилась над столом, стала озабоченно перебирать записи. Мария постояла минуту, сказала, почти шепотом:

– Спасибо.

А в сумерки все девять работниц библиотеки, и Мария с ними – «бабья рота», шутили они, – отправились на «сборный пункт», так называли трамвайную остановку возле заколоченного досками магазина с огромными, обращенными в молочный цвет витринами. «Та самая остановка», – вспомнила Мария автомашины с ранеными. Нет, не забылись. Вон в ту сторону катили, видно, в госпиталь. Здесь собирались женщины, пожилые мужчины, работавшие неподалеку. Отсюда трамвай повез их на западную окраину города, к Голосеевскому лесу – рыть противотанковые рвы.

– Садись! – крикнул вагоновожатый, старик с жидкой растрепанной бородой, останавливая трамвай, крикнул всем. – Садись, поехали!

Гроыхая, с умопомрачительной быстротой, без остановок мчал трамвай по пустеющим улицам, вагоны раскачивались – вот-вот не удержатся на рельсах

и свалятся. Поворот – площадь, бульвар, развалины. Трамвай неся прямо на запад. Поворот, поворот. Еще немного, и трамвай оборвал свой бешеный бег.

– Все! Выкатывайсь! – Старик-вагоновожатый с растрепанной бородой высаживал пассажиров. – А я поворачиваю, обратно, в тыл, – пробовал шутить. – Давай, давай, – понукал он женщин, – дальше не поеду.

Дальше и ехать было нельзя – метров через четыреста рельсы разъединены воронкой и по ту сторону воронки уже не блестели и покрылись тусклым налетом, какой появляется, когда нет по ним движения. На рельсах понуро стоял смятый трамвайный вагон.

Люди молча шли вдоль улицы по мостовой, мимо дома без крыши, с одной стеной. Слева лежала поваленная круглая тумба, на которой наклеены театральные афиши, и из-под нее, сбоку, виднелось улыбающееся лицо красивой женщины, как бы говорившее, что ей совсем не больно под тяжестью тумбы.

Потом появились противотанковые железные «ежи», бетонные надолбы. Пробирались проходным двором, уткнулись в полуобваленную стену. Стена мешала двигаться напрямик, пришлось обогнуть развалину. Ступали по осколкам стекла, посуды, по обломкам разбитой мебели, и под ногами отдавались скрип и треск. Шли осторожно, чтобы не свалиться в

выкопанные щели. Ко всему этому привыкли: щели так щели, надолбы так надолбы – война ведь...

– А, – убежденно махнула Лена рукой и мельком взглянула на Марию, на эти надолбы никому не натываться, и противотанковые рвы, которые роем, останутся без дела. Немцев отгонят, сюда им не дойти.

Лена говорила то, что говорили другие. И верила в то, что говорила.

Город кончился. Вдалеке виднелся лес.

Здесь уже было много людей, копали. Командовали работами старшина и два сержанта. Старшина показал библиотекарям, где рыть.

– Тут, – хмуро пробасил старшина, рослый, широкоплечий, подтянутый. Копайте в эту сторону, – жестко показал кивком. – Будешь старшой, понятно? – подошел к Лене.

– Я не старшая, – сконфуженно попятилась Лена. – Софья Васильевна, она...

– Приказано – исполнять. Понятно? Вопросы есть? – бесстрастным взглядом окинул всех. – Нету? Лопаты в руки.

И отошел к другой группе, копавшей поодаль.

Это спокойствие, эта твердость подтянутого старшины, с какой отдавал он приказания, ободрили Марию. Даже поднялось настроение. Что и говорить, подумала с облегчением, все будет как надо. Да, да, Ле-

на, Ленка, Леночка, немцев отгонят, немцы сюда не дойдут!.. И опять подумалось об экзаменах, к которым надо готовиться, о Москве. Мария улыбнулась.

Она взялась за лопату.

Глава вторая

1

– Товарищ лейтенант! – Голос связиста Кирюшкина, показалось, над самым ухом. – Комбат...

Комбат под вечер в одно и то же время звонил на командный пункт роты.

Андрей доложил обо всем, как положено. Собственно, и докладывать было не о чем. Он зябко повел плечами, раз, другой: от влажной земли, переплетенной корнями деревьев, в недавно вырытом блиндаже несло холодом.

– Прямо по коже дерет, – подумал вслух и снова поежился. – Еще середина сентября, а поди вот...

Он глубоко, как долгую табачную затяжку, вдохнул воздух, развел руки в стороны, еще раз... Похлопал себя по груди, по бедрам. Нет, не согрелся. «И холодно же...» Как-никак, а под осень, и ночь, и река близко. Раньше он просто не замечал ни жары, ни холода. Как и многое другое не замечал.

Он ощутил: что-то мокрое, скользкое, противное сворачивалось на лбу и выпрямлялось, сворачива-

лось и выпрямлялось. Должно быть, червяк. Так и есть. «Рановато, дружок, жив еще...» Смахнул червяка со лба. «Ерунда, ерунда», – пошевелил губами, будто самому себе объяснял, что ерунда, сущие пустяки...

Рослый, подтянутый, каштановые волосы зачесаны назад, матовое лицо его казалось бледным, мягким и только в редкие минуты возбуждения или гнева покрывалось пунцовым цветом – тогда круто проступали скулы, светлые, зеленоватые глаза становились жесткими, наливались темнотой и в них вспыхивали острые льдинки. Сейчас был он спокоен, чувствовал себя отдохнувшим.

Он уселся на мяту, еще не утратившую терпкого запаха травяную подстилку. Хорошо, бойцы нарвали травы и выстлали ею нары. По-другому чувствует себя человек, когда ему не грозят снаряды и пули, и он думает обо всем, чем прекрасна жизнь. Вот и о траве под собой. «Война с первой же минуты вырывает тебя из мира, в котором все-таки можно жить. Начисто выпало из памяти совсем обыкновенное, то, к чему привык, чего и не замечал даже: ну вот, кровать, водопровод, унитаз вот, и другое подобное. Будто еще и не придуманы человечеством. – Усмехнулся. – Стоит ненадолго выйти из боя, и привязывается всякая по-тусторонняя чушь...»

В смотровую щель блиндажа проникал горьковатый ветер: луг перед траншеей густо порос полынью. И днем, когда полынь под ветром шевелилась, казалось, по ровному пространству мерно перекачивались сероватые волны, доходившие сюда, до траншеи. Андрей снова втянул в себя воздух, пахнувший полынью, окопной землей.

После больших потерь в непрерывных боях на дальних подступах к городу полк вывели сюда – на восток, в войсковой тыл. Подразделения расположились здесь, вдоль берега реки. Его роте отвели полосу обороны – тысячу пятьсот метров, как раз перед широким и длинным – километра три – лугом; за ним, к западу, неровными зубцами врезался в небо черный гребень рощи, и на правом краю рощи голубел, казалось легкий, купол холма. Левым флангом линия обороны выходила к мосту и – через дорогу – за мост. А на правом фланге в луг вдавалась глубокая лесистая лощина. Лощина разрезала луг и, размыв высокие берега, выбиралась к реке. Река была позади окопов, и по ночам в них чувствовался холодный дух двигавшейся воды.

Передовая – далеко. Там, за лугом и за рощей с холмом. Далекое. Только ослабленный артиллерийский гул доносился сюда, только земля беспокойно колебалась под ногами, когда бомбы разрывались у

городской окраины. «Отдохните, братцы, приведете себя в порядок и – на наше место, напутствовали бойцов Андрея сменившие их красноармейцы. – Лафа вам будет во втором эшелоне...»

Второй эшелон? Мысль замедлилась, как бы наткнулась на препятствие, в котором надо было разобраться, прежде чем утвердиться в том, во что хотелось верить. Второй эшелон? «А то и первый, это смотря откуда ударит», – размышлял Андрей. Он знал, вражеские моторизованные войска обошли позиции, занимаемые нашими дивизиями на подступах к городу, с севера, обошли и с юга. Город оказался в полукольце. «Как знать, – все еще сомневаясь, качнул Андрей головой, – второй это эшелон или передний край... Все перепуталось, все как-то не так...» Сводки Совинформбюро сохраняли тон суровой сдержанности, по ним угадывалась сложная обстановка. То, что происходило у него на глазах, сводки превращали в общую картину, и он понимал, что по всему фронту тяжело, слишком тяжело, как и здесь.

Он повернул голову к смотровой щели, потом к двери блиндажа. По привычке прислушался: что там, снаружи? Тихо, так тихо, что гремит в ушах – ни выстрела за весь день. И будто никакой войны. Может, ушел немец, совсем ушел? Чего только не представишь себе, если это очень хочется. А все равно – тихо. Так

бывает, когда смолкает все, что стреляет, и слышно, как пересыпается песок на берегу, как зажигаются и гаснут звезды в невидимом небе.

Андрей закурил, выпустил дым, еще затянулся. И легче и теплей как-то стало в груди.

Он поднес руку к глазам: на циферблате треугольником сверкнули фосфоресцирующие стрелки – четверть первого.

Андрей собирался на левый фланг роты, к переправе, на шоссе. Он запретил до наступления сумерек переходы к мосту, движение возле него, чтоб ничего не засекала «рама», она часто появлялась в небе над рекой. Левый фланг больше всего внушал опасения. Комбат не раз напоминал: «Смотри, лейтенант, самый каверзный участок». Конечно, каверзный: дорога же и мост на восточный берег. Вчера, перед вечером, туда, в третий взвод, отправился Семен, политрук роты. Он сообщил: все в порядке.

«Да в порядке, – беззвучно произнес Андрей, – пока в порядке. И в первом взводе, и во втором в порядке. По всей позиции батальона пока в порядке. Второй эшелон ведь... Видно, идет подготовка к чему-то. У нас и у них – у немцев. Наступать? Отступить?»

В груди поднимался сдавливающий ком. Андрей зашелся долгим простуженным кашлем. Потом поймал дыхание. Он ощутил головокружение и боль в затыл-

ке. Черт знает что такое, в последнее время это повторялось часто. Наверное, от недосыпания. Уляжется где-нибудь, накроет ординарец Валерик шинелью, а сон не идет. Нервы. Да и поесть забывал. Поставит Валерик перед ним котелок с кашей, душистой – прямо из термоса, проглотит ложки две-три, и все. А может, сказывалось непривычное для него затишье и тревожное ожидание чего-то? Не хотелось думать о недавней контузии: бомба разорвалась у дороги, недалеко от щели, в которой он лежал, и на него навалилась горячая воздушная волна и сдавила череп. Говорили, кровь хлынула у него из ушей, из носа, изо рта. И правда, когда очнулся, увидел присохшие черно-бурые потеки на гимнастерке, на рубашке нательной. Ходил он пошатываясь. Голова клонилась вниз, все время клонилась вниз, такая была она тяжелая, словно все железо бомбы вошло в нее. Голова клонилась вниз, и оттого походка иногда казалась нетвердой, неуверенной. Потом, похоже, прошло. Да что вспоминать!

Беспокоящая мысль о переправе не уходила, неотвязная, как боль, она утомляла, нельзя же все время думать об одном и том же. Но он все время думал, не мог не думать о мосте, о третьем взводе, о предстоявших взводу испытаниях, если и в самом деле противник подойдет к переправе. Его охватило

чувство, будто третий взвод куда-то отдалился и жил своей, какой-то отдельной жизнью, своими опасениями, своей ночью, своим ожиданием трудного, может быть, непреодолимого. И Андрея так и тянуло на левый фланг.

«Пойду».

– Валерик!

Ординарец не отозвался.

2

Три месяца назад, до того воскресенья двадцать второго июня, Андрей и подумать не мог, что вдруг перестанет он быть студентом-выпускником и покинет дом, что под напором чужого войска вынужден будет оставлять родную землю, километр за километром, укрываться от пуль и снарядов, валяться на травяной подстилке в блиндаже, сбрасывать с тела червяков... В лагерях вместе с однокурсниками проходил он военную подготовку. Усталый, запыленный, возвращался из лагеря, и все становилось на место – была мать, учебные аудитории, экзамены, девушки были, был пляж, было кино, и песни, и книги, и всякое другое было – доброе, радостное, мирное. Война казалась понятием отвлеченным. Правда, сообщали газеты и радио, в Германии безумствовал Гитлер, произ-

носил тарабарские речи, но мало кто верил в возможность войны. Андрею присвоили звание лейтенанта – два рубиновых кубика в петлице. Приятно, что и говорить! И вот, война. Повестка. Завтра, в понедельник, точнее, через семнадцать часов, ему нужно уходить. «Давай собираться, мама...» Он взглянул на мать и увидел в ее глазах напряженную готовность противостоять горю, которое принес этот начинавшийся солнечный день. «Давай собираться», – откликнулась тихо, почти шепотом, словно пропал голос. Лицо ее, всегда спокойное, выражало подавленность, нескрываемую муку. Во всем чувствовалась боль от невидимой раны. Первой жертвой войны всегда оказывается мать...

Отделенный от нее временем и расстоянием, он смотрел сейчас на мать как бы со стороны, и у него защемило сердце. Андрей вздрогнул. На этот раз не потому, что прохладный ветер с реки приподнял плащ-палатку над проемом и пробежал по блиндажу. Память вернула его к ней, к матери, в эту минуту особенно близкой и нужной, он все еще стоял с нею рядом.

Он все еще стоял рядом. За окном, слышно было, улица стала необычно шумной. Андрей рассеянно взглядывал в окно, оттуда, с третьего этажа, видел он, толпы слушали радио, сообщавшее все то же: началась война. Люди слушали это и слушали, слов-

но еще не прониклись до конца сознанием того, что произошло. Но голос Москвы напоминал: случилась беда, случилась великая беда! «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» – гремел на улице громкоговоритель, и этому утверждению нельзя было не верить. Мать молча собирала Андрею вещи, в глазах уже был сухой, металлический блеск, лицо побледнело, но руки делали свое дело. И в лад рукам двигались ее покатые плечи. Андрей следил, чтоб ничего лишнего не положила она, и отбрасывал то свитер, то шерстяные носки, то еще что-нибудь. «Зачем, мама? Ну зачем?.. Через неделю, ну через месяц, пусть через два, мы вернемся. Гитлер не разобрался, на кого напал. Вот и объясним ему. С оружием в руках. Мы же храбрые, мама», – даже пошутил, улыбнулся даже. «Храбрых тоже убивают», – все так же тихо, как бы для себя самой, произнесла она. Он и вправду был уверен, что через неделю, через месяц, через два все успешно кончится. Мать всегда мужественно несла свое горе в себе, каким бы большим ни было горе. Она отстраняла от него сына, всех, точно не сомневалась, что справится с бедой одна и что это право ее и обязанность. Столько душевной силы в ней, что и впрямь казалось – ничего трудного, чего б не превозмогла. Никогда ни на что не жаловалась, и можно было подумать, что жизнь ее легка и

безоблачна. Что могло быть трудным, если и жизнь отдала б, коль понадобилось бы, ради него – ради сына. И это было б для нее счастьем. Только мать может по-настоящему понять мать: что-то большее, чем человеческое, есть в каждой из них. Где она теперь, успела ли эвакуироваться, что с ней? Этого Андрей не знал. И показалось странным, до невозможности несправедливым, что в огромных просторах потерялась она, давшая ему жизнь и все в жизни, а он может есть, спать, мечтать о чем-то.

Он почему-то вообразил лесной домик где-то в Сибири, одинокий, с окном, раскрытым в такую же, как здесь, ночную тьму, и мать безмолвную у окна; не зажигая света, ждет она: свет отвлекает, даже если мысли заняты только одним – ожиданием. Она приготовилась ждать долго, вечность, если потребуется. Вечность – это в конце концов тоже утешение. Матери верят, что надо ждать, надо ждать, и они дождутся... И вспомнил: «Храбрых тоже убивают...» – «Убивают, мама, и, возможно, первыми. Я это теперь знаю. Мысль эта настолько пронзила его, что показалось: произнес ее вслух. Медленно, будто это требовало усилия, повернул он голову, хотел увидеть ту, с которой говорил сейчас. Он стоял в темноте, возле свернувшегося в каменном сне Валерика. – Успокойся, пусть не так тяжел будет камень на твоём сердце, ма-

ма. Будь спокойна, если можешь, там, где ты есть...» Андрей представил себе мать, какой видел, когда собирала ему вещи, видел ее побледневшее лицо, движения враз ослабевших рук. Руки ее, хрупкие с виду, и такие старательные, проворные, они не знали устали, все умели эти небольшие сильные руки – готовить, стирать, шить, мыть, убирать, делать еще тысячу других дел... Глаза ее смотрели открыто, радостно, иногда чуть грустно, и всегда сочувственно. Улыбчивые губы сердечком не выдавали ее горя, если было горе. Только один раз сдалась она боли, – помнил Андрей, в день его проводов на фронт. Есть ли кто мужественней женщины? Нет, конечно. Нет. Разве что мужчины на войне равны ей. Сейчас Андрей увидел ее одну, совсем одинокую, тоже придавленную ночью, и потянулся к ней, и позвал, уже не стесняясь, что кто-то может его услышать. Позвал, чтоб они побыли вместе, совсем недолго пусть, пока не наступит свет утра – свет всегда возвращает надежды, которые ночью отступают во тьму и разрушаются. Он знал, как нужна ей вера, что он вернется, единственный ее сын. И первый раз, сколько он помнит себя, мать не откликнулась ему...

Облик матери, в котором неожиданно находил незнакомые ему черты, не сникал. Увидеть бы ее, живую... хоть одно мгновенье... Мгновенье это наступит

не скоро. Он уже не сомневался: мир не скоро вернется к тому, что было до июня. Потрепанный, разоренный, в развалинах, как после землетрясения, поздно, но вернется. Возможно, он уже не будет таким безоблачным и ясным, – ничто не проходит бесследно, – грустно покачал головой. – А может быть, ужас этого безумия сохранится в памяти только тех, кто сейчас падает под пулями, поднимается и идет дальше, через горящие города и селения, и выживет, несмотря ни на что? Время отдалит и ночи эти, в которых страха даже больше, чем тьмы, и живой огонь пушек, несущий смерть, и рваную землю окопов, открывавшую, как раны, бурый цвет, словно запекающаяся кровь ее, и боль убитых, терзавшую тело, перед тем, как им умереть, – время отодвинет все это. Но не настолько же далеко, будто и не было всего этого? Нет, нет. Дни, в которых беда и горе, не могут умереть.

Любовь, радость вернутся. Это точно. Должна же быть награда человеку за то, что согласился так жить на земле!..

3

– Валерик!..

Андрей повел карманным фонариком, и в круге четкого света увидел белое, как и свет фонарика, ли-

цо Валерика. Скорчившись, тот приник к земле, совсем по-детски подсунув под голову сложенные руки, неловко приподняв колено, будто и вытянуться не успел, как сон полностью захватил его. Он спал почти не дыша и, наверное, без сновидений. Пилотка с верхом, разошедшимся в стороны, напомнила Андрею бумажный кораблик, какой мать делала ему в детстве, она криво сбилась на затылок, и гладкий лоб накрыл льняной вихор.

Андрей похлопал ладонью по согнутому колену Валерика, тот и не шевельнулся, – только протяжный вздох в ответ. Он хорошо знал, Андрей, глухая, неодолимая сила это, сон, из него бывает не вырваться, если и бомбы падают поблизости. Дни эти и ночи Андрей осматривал новую для него местность, осваивался здесь, на всякий случай прикидывал подступы к позиции роты, обходил берег – от переправы до бора и лесистой лощины, вверх то течению, – с левого на правый фланг. И всюду, куда бы ни шел, Валерик с ним, рядом. «Ладно, поспит пусть, – повторил про себя. – И один доберусь». Он и сам изрядно устал, хоть провел эти дни без боев.

– Старшина, – позвал Андрей.

В другом углу блиндажа завозился сонный человек.

– Кончай спать. Проверь сторожевое охранение в первом взводе и во втором. В третьем сам посмотрю,

по дороге, иду туда.

– Можно и проверить, – не то недовольно, не то снисходительно откликнулся помкомроты старшина Писарев. Покряхтывая, он возился с сапогами. – Можно и проверить. Хоть перед нами с полдюжины сторожевых да с дюжину боевых охранений переднего края. А мы тут как у господа бога за пазухой...

– Старшина! – резко и внушительно произнес Андрей.

– Есть проверить, – поспешно проговорил Писарев. Кажется, уже надел сапоги, встал. Андрей снова щелкнул кнопкой фонарика. Чуть склонившись, Писарев застегивал воротник гимнастерки с четырьмя треугольниками на петлицах, привычным движением указательных и больших пальцев поправил пенсне, пружинными лапками прижатое к переносице, сделал шаг и ткнулся в плащ-палатку над дверным проемом блиндажа. И его высокая, нескладная фигура пропала в глухой темноте.

Андрей постоял, раздумывая.

– Кирюшкин, – кинул связисту, сидевшему на соседнем ящике. Тот дремал у телефонного аппарата. Голова на его длинной шее бессильно склонилась; всхрапнув, он вскинулся, заморгал испуганными глазами и снова засыпал, уронив голову на колени. – Кирюшкин!

Кирюшкин уже стоял перед Андреем, уныло опустив руки, переминаясь с ноги на ногу – отсидел их.

– Слышь, не спи. Телефон для того, чтобы быть на чеку, а не спать возле него.

– Да что вы, товарищ лейтенант! Разве тут заснешь? – мутным, полусонным голосом произнес Кирюшкин.

– Вот и смотри, держи линию.

– Понял, держать линию. – И повторил скороговоркой: – Держать линию...

Кирюшкин всегда говорил торопливо, будто боялся, что его вдруг оборвут и он не успеет договорить до конца.

Андрей выбрался из блиндажа.

Ночь сразу преградила дорогу – Андрея обступила плотно-черная тьма.

Он остановился. Ноги почувствовали тупую тяжесть сапог. Из камня они, что ли!.. Просто ноги не отдохнули еще.

Столько пришлось протопать мучительным путем отступления до Днепра! Были на пути и другие реки, они не запомнились, так выходило, что и попить из них не удавалось, поспешно оставляли их, как оставляют вещи, которые солдату не унести. И бои, тяжелые, неравные. Когда отступаешь, бой всегда неравный, – грустно подумал Андрей. Оно все время было

с ним, это неизбежное чувство потерь. Земля, оставленная – поле некошеное, и луг за полем, и робкая тропинка, струившаяся невесть куда, укрытый сизой травой курган, лес над рекой, – земля эта становилась особенно близкой, особенно родной и будто умирала на глазах. Бередили сердце бойцы, павшие на этой земле; с еще не погасшими ранами, с откинутой рукой, зажавшей гранату, с судорожным пальцем на спусковом крючке винтовки, лежали они, словно еще жили и уходящие покидали их.

Где-то тут должен быть кустарник, повел Андрей руками. Он стоял прямо под большой сиреневой звездой, и надо было поднять голову, чтоб увидеть ее. Он поднял голову и почувствовал себя совсем маленьким, крошечным, и беды и все остальное стерлись, сникли перед этой глухой, безмерной, неодолимой высотой. Андрей опустил глаза, и с минуту в них еще сверкала большая сиреневая звезда и чернела пустота неба. Потом он отрешился от этого и вернулся к своим делам. Метрах в трехстах – сторожевое охранение. «Хоть, так сказать, и второй эшелон, а черт его знает, вражеская разведка может в любую щель забраться, может и на стыках проскользнуть. Проверю охранение, поверну обратно и выйду к косогору». Косогор на левом фланге роты.

Выгнутой линией левый фланг роты упирался в пе-

реправу. «Конечно, если случится, немец прежде всего будет пробиваться к переправе и – на тот берег, чтоб отрезать нас и запереть здесь. Но до переправы противнику далеко: до переправы – укрепленный район перед городом и сам город, если с запада, а с востока если... Оттуда и вовсе не близко. Хоть и пробился он, говорят, в наш тыл с севера и с юга, не так просто сомкнуть там фланги», рассуждал Андрей. Он видел сейчас боевую обстановку такой, какой хотелось ему видеть, и направлял немцев дорогами, где неминуемо потерпели бы поражение, и ясно представлял себе наступление частей Красной Армии.

Глаза постепенно притерпелись к темноте. Теперь ступал он увереннее. Окопы остались позади.

«Они только наступают, мы только отступаем», – продолжал он размышлять. Это не укладывалось в его сознании, противоречило тому, к чему готовился, во что верил. Он верил: если враг нападет, он будет тотчас разбит на его территории. «Нас учили наступлению. Отступить нас не учили... И вот отступаем... Отступление столько ж требует жертв, сколько и наступление, даже больше, и все-таки отступаем». Андрей услышал: он вздохнул. Да, да, – поймал он простую мысль, – отступить и не растеряться, и продолжать воевать, и верить, что враг будет разбит и победа – за нами, требует, наверное, не меньше героизма,

чем наступать. Мысль эта как-то успокоила Андрея. «Да, да, – убеждал он себя, – на вражеской территории и будет конец войне. Быть иначе не может! Быть иначе не может! Быть иначе не может!» – трижды выкрикнул он это, и запекшемуся сердцу, почувствовал, стало легче. Отсюда рота не уйдет, батальон не уйдет, полк не уйдет. «Начнем же наступать, – внушал он себе. – Оставлять такой водный рубеж! Как же брать его потом? Нет. И шаг назад не сделаем. И роте вот поставлена обыкновенная задача: окопаться. Окопалась. Отдохнут бойцы, выпьются. Им и двигаться вперед...» Мысль эта ослабляла тревогу, снимала усталость. В сердце входила надежда, она подавляла все, что мешало ей, и все успокаивающе выстраивала в его утомленном сознании. Он заставлял себя думать, что теперь будет по-другому, и здесь, у днепровского берега, кончится беда, и верил в то, что думал. «Мы еще не одерживали побед, вот в чем дело, и это самое страшное, страшнее даже, чем видеть на поле боя убитых своих товарищей».

Темнота сделала пространство пустым, все видимое, занимавшее в нем место, все живое покинуло землю. Но под ногами непрошено оживали камни, ухабы, валежник. Власть тьмы здесь, рядом с противником, особенно угнетающая и заставляет всего пугаться, даже если трава зашуршит под сапогом. Ан-

дрей хотел ускорить шаг, это не удавалось. Протянул перед собой руки, как бы нащупывая дорогу, и не видел их. «И поверить нельзя, что на земле бывает свет...» Он уже привык жить ночью, вызывая в памяти ориентиры, которые примечал днем. В сторону противника простирался большой с серебряным по-лынным отливом луг; и уже порыжелая роща и поросший чуть приметным издалека голубоватым кустарником холм поднимались за широким скошенным полем, похожим на спокойное желтое море; а дальше, правее, виднелась мельница из красного кирпича. «Точно, мельница. Сам жернова видел там, такие, стопудовые». Ничего этого не было сейчас, все ушло вместе со светом дня. Можно было подумать, что шар земной остановился в своем движении и время остановилось, новый день уже не настанет. Мир потух...

Он набрел наконец на кусты. «Ивняк», – помнил он. Густой ивняк разросся до самой воды.

Андрей взял немного вбок. Подтянул ремень автомата, соскальзывавшего с плеча. Прислушался, стараясь уловить хоть какой-нибудь предупреждающий шум. Тьма как бы усиливала тишину, поглотив все звуки – и движение ветра по голому песку, и шорох травы. И потому так отчетливо слышал он свои шаги, слышал, как пересыпался под ногами песок, даже собственное дыхание слышал.

Он споткнулся о негромкий оклик:

– Стой!

Сторожевое охранение. Замедлив шаг, внятным шепотом Андрей назвал пароль. Кто-то шепнул отзыв. Андрей приблизился к месту, откуда раздался голос.

– Порядок, товарищ командир.

– Порядок и должен быть, – приглушенно ответил Андрей. – В оба смотрите! В оба. Ничего, что тихо.

– Лучше б не тихо, товарищ командир. Когда тихо, все настораживает, признался немолодой сиплый голос.

И вправду, это не было мирной тишиной леса. Казалось, луг, и лощина, и роща, и холм – все вокруг испугалось и притаилось. Снаряды, рвущиеся перед траншеей, позади нее, пулеметная трескотня соединяют с противником, и знаешь, где он, и защищаешься или нападаешь. Тишина на переднем крае разъединяет с ним, и это всегда таит опасность.

«Тут охранение в порядке. Слева и справа как? – размышлял Андрей. Не развинулись бы ребята: противник, считают, далеко, второй эшелон и прочее такое. Как обычно на фронте, чуть передышка, и – живем, братцы! Отойдут шагов сто назад от передовой, в кусты, нужду справить, и уже, полагают, находятся в тылу... Вон и Писарев – „как у господ бога за пазухой“... Есть над чем и Семену подумать, политработ-

ник же».

Ноги вязли в песке и потому двигался он медленно. Что-то скрипнуло неподалеку. Андрей прислушался. Возможно, отломилась ветка на сосне, по звуку – так. Он стоял и прислушивался. Он не мог не прислушиваться. На войне все вероломно. «Ветка», – успокоился. Он шел дальше.

Наконец выбрался в кустарник. В отдалении, там, на косогоре, над берегом, мелькнул молочный свет: даже ночь не смогла притушить радостной белизны берез. Андрей шел на березы, навстречу ветру, несшему речную прохладу.

4

Андрею захотелось забыть ночь, мрак, цепкий песок под ногами, окопы, забыть земляных червей, забыть тревоживший левый фланг. Непогашенные березы и этот ветер с реки напомнили ему то, что, знал он, перестало существовать. Оказывается, существовало, оно жило в нем самом, и это было верной защитой от разрушения.

Память возрождала недавний и почти уже невозможный мир, и Андрей входил в прошлое, как в живую реальность, и уже не ночь, – день перед ним, прекрасный день, в такой день не может быть несчаст-

ливых. Воскресенье, выходной! Он даже запомнил, как пахло утро того воскресенья. Оно пахло прогретой землей, синим небом и водой, тоже синей, вода была недалеко. Как всегда летом, по воскресеньям, утром, идет он к реке. Его обступают квадратные кварталы города кораблестроителей, раскинувшегося на берегах Буга и Ингула; обступают акации в цвету, до того пахучие, что дух захватывает; под ногами асфальт, покрытый, как позолотой, теплом и светом, словно по улицам двигался нескончаемый праздник. И любил же он этот город, лучший город на земле. Он не замечал песчаных ветров, ни того, что пресна и невкусна вода, – многое не замечал, что не понравилось бы в любом другом городе. Теперь, вдалеке от него, родной город представлял перед ним, может быть, более красивым, чем был на самом деле, может быть, сам того не сознавая, в своем воображении творил его таким, каким хотел, чтоб он был, и прибавлял то, чего ему, наверное, не хватало, и привносил все, что в состоянии извлечь из глубин нереального только любовь. Даже войну отвел он от своего города. Андрей силился представить себе зияющие бомбовые воронки на знакомых улицах, свороченные набок этажи домов, вышибленные оконные рамы и двери, настезь раскрывающие комнаты, в которых никого нет – комнаты без людей мертвы, – он силился представить се-

бе это, и ничего не получалось. Он удивленно разглядывал веселые улицы, ликующее небо над ними, дома, защищенные зелеными, чуть запыленными акациями, шумные скверы и все остальное, как бы не веря, что это было, и тем более, что это есть.

Что такое! Бьется сердце как!.. Он испугался, что видение может погаснуть, и он лишится того, что увидел. Он повел головой, даже выбросил вперед руки – удержать, удержать это!

И видение не уходило, широко впечатавшись в пустынную ночь. Он шел, все шел по городу, который знал от окраины до окраины, и не мог из него выйти, словно запутался в его улицах. Но он и не искал выхода. Вот доходит до перекрестка и почему-то меняет направление – поворачивает на Малую Морскую, к школе, здесь осенью начнет он преподавать историю. Это хорошая школа, лучшая в городе школа: диплом с отличием кое-что значит, улыбается.

Он улыбается, он чувствует улыбку на губах, и ему это приятно. Он ступает уже по Советской, бывшей некогда Соборной, главной улице. Показалось, что слышит голос старого поэта Касьяна Федулова, ему посылал он свои стихи. Посылал сюда, – смотрит на большое здание, – вот сюда, в редакцию газеты, приносил почтальон его письма. Горячие строки стихов следовало отправлять Танюше, на Адмиральскую

двадцать три... Но отказы редакции смущали меньше, чем неодобрение девушки. Он идет дальше, он приближается к площади, и Ленин, как бы спускаясь с гранита, сделал шаг навстречу и внимательно смотрит на него.

Он все еще в своем городе, он выходит на площадь, видит торжественную громаду театра, и музей живописи имени Верещагина напротив, и бульвар, слышит сонный плеск речной воды под откосом. А дальше Дикий сад, как зеленая ограда на косогоре; крутой обрывистый поворот, и вот уже, широко раздвинув берега, текут они вместе, соединенные, Ингул и Буг, серебряным поясом охватывая городские окраины. Здесь не было улиц, которых не знал бы до мелочей, словно сам прокладывал их, сам воздвигал на них дома, особенно дом, такой близкий, номер двадцать три, на солнечной Адмиральской... Все здесь помнит его и раскрывается перед ним широко и откровенно, как бы убеждая, что ничего не утрачено – сохранено до последней пылинки на тротуаре. Он спускается вниз, идет по деревянному наплавному мосту, потом двигается вдоль песчаного берега. Ноги погружаются в горячий под солнцем песок, разваливая выложенные ветром длинные гребешки. За берегом теплая, даже на вид, и, будто соединилась с небом, широкая синяя вода, и спокойные черточки лодок уплывают в небо.

Только у противоположного, крутого, берега вода темная, торопливая.

Мир этот с необыкновенной отчетливостью, какой-то успокоенный, выровненный временем мир, теперь казавшийся лишенным и тени горечи, пробудился в складках памяти, словно кто-то собрал все вместе и вывел наружу, и все беспорядочно лепилось одно к одному, и было по-хорошему перепутано. Это так приблизилось, подошло к самым глазам, и было уже не воспоминанием, а радостной реальностью, и на какую-то долю минуты он и вправду поверил: вот оно, рядом. В памяти странно удерживается то, а не это, это, а не то, притом сущие пустяки, нередко. Упомнилось же зачем-то: горячий песок под ногами, бурливая вода у крутого берега, черточки лодок, истаивающие вдалеке... Просто, когда человеку плохо, он пробует укрыться в мире воспоминаний и, удивительно, вызывает к жизни самое обыкновенное, что было в прошлом. Может быть, все становится значительным, когда отступает вдаль? «Наверное», – подумал Андрей.

Долгие эти месяцы, и мучительные, не смогли отдалить минувший июнь и годы, прошедшие до того июня, – они соединились в один день, в мирное воскресное утро, сверкавшее и сейчас перед глазами, звучавшее в ушах. Да и как могло оно стать уже прошлым, если еще не осыпалась зеленая листва с де-

ревьев, не иссякло тепло этого еще не кончившегося лета. Никогда это не станет воспоминанием, это всегда будет настоящим, и будет волновать, причинять боль, и радовать. Потому что жизнь прекрасна.

Он весь в прошлом, и хочет остаться в нем. Никуда дальше. Дальше уже не жизнь. Дальше вот это, война.

Хорошая школа, лучшая в городе, площадь Ленина, диплом с отличием, белый берег у синей воды – из того, солнечного дня. Танюша с Адмиральской двадцать три и поэт Касьян Федулов, они тоже из того воскресенья... Все это, и улыбка, серые, внимательные глаза матери, шумные огни на вечеревших улицах, и высокие крупные звезды, будто вычеканенные на фиолетовом небе, постоянное ожидание чего-то неизвестного, доброго, и – бомбы, снаряды, пули, мертвые парни, чьи сильные руки могли сделать мир чудесным, раздавленные города, земля, забывшая, что она кормилица, и ставшая кладбищем, все это такое далекое друг другу, несовместимое, связалось в его памяти, словно одно уже немислимо без другого. «Может быть, может быть, ничего хорошего уже никогда не будет, только вот эти хорошие воспоминания и останутся во всем плохом, что ждет нас впереди?..» Это показалось ужасным.

«Не надо забивать мозги пустопорожним, – сердился Андрей на себя. Не годится, когда на войне оста-

ется время для размышлений о постороннем: в голову лезет всякая ерунда. Только война, все остальное вздор. Вздор, и незачем забивать им мозги. Лишь поступки, лишь действия принимаются в расчет, хоть на передовой, бывает, действовать приходится сгоряча, прежде чем успеешь подумать. А тут, чуть подальше от переднего края, поди же, все склоняет к воспоминаниям». И он невольно отдавался их власти. Как-никак, время заполнялось чем-то спокойным, невымысленным. Вот как сейчас.

Он наткнулся на что-то, и это вывело его из города, он шел уже не по Малой Морской, не мимо школы, не по Советской, некогда Соборной, солнечная улица сразу перешла в ночной луг с рощей и холмом справа и берегом реки слева. Все оборвалось, пропал город, и юность пропала, и небо почернело и его не стало над головой, и тьма могла делать с ним, Андреем, все, что ей заблагорассудится. Теперь ступал он быстрее, воспоминания больше не сдерживали шаг, они остались позади, там, где оборвались вдруг. С каждым шагом все дальше и дальше, назад, отодвигались июнь, воскресенье... Он почувствовал горькую силу одиночества. Он пробовал вырваться из этого состояния, и не смог. Одиночество было разлито в ночи, в замкнутом пространстве, в нем самом, и это подавляло. Скорее, скорее на левый фланг, там Семен, там взвод-

ный Володя Яковлев, бойцы там, и свет в блиндаже, вялый, не радующий, а свет.

Начинался поворот к косогору, – угадывал он местность. Сосны как раз у поворота. Нашарил ногой тропинку: догадался, что тропинка, – не услышал под собой травы. Вот и траншея. До третьего взвода, до блиндажа, уже недалеко. И до переправы недалеко.

Слух уловил приглушенный голос, и другой голос, тоже приглушенный, ему ответил, и опять все смолкло. По ночам воздушная разведка противника почти не появлялась, и бойцы выбирались из окопов – размять ноги, выпрямить спину. Он оглянулся – еще голос. Голос просил кого-то: «Давай, браток, махру. Прямо тошно без дыму...» Андрей сделал еще несколько шагов, услышал храп, протяжный, домашний, словно не из-за кустов доносился, а гремел на печи.

Конечно, бойцы довольны, по ним – который день – не стреляют, нет ни раненых, ни убитых, и можно не таясь растянуться на песке, на траве, походить в полный рост – передний край далеко, если ничто не изменилось за эти дни.

Андрей обрадовался голосам, храпу: продолжалась жизнь, нескладная, суровая, и все-таки жизнь.

Пошли прибрежные кусты: Андрей повернул и прямо – к косогору. Впереди, как дремотное изваяние ночи, проступали грузные и черные, еще чернее тьмы,

фермы моста. Андрей шел и вглядывался в них, мост висел над замершей водой, он нисколько не приближался и казался далеко, слишком далеко, где-то по ту сторону войны.

Так темно, так тихо вокруг, будто все умертволено.

– Андрей? – услышал голос Семена.

Андрей убавил шаг.

– Я, Семен...

– Сюда иди, сюда. – Голос торопливый, встревоженный.

«Стряслось что?..» – сдавило сердце, и Андрей не мог шевельнуть ногой.

– Товарищ лейтенант, сюда вот... – Перед ним высокая фигура взводного Володи Яковлева. Тот коснулся плеча Андрея. И – шагнул.

Андрей двинулся за ним. У куста опустился на влажную от росы расстеленную плащ-палатку, возле Семена.

– Видишь, вон? – Должно быть, Семен кивнул в сторону дороги.

– Вижу.

5

С косогора видно было, как вспыхивали ледяные глазки подсиненных подфарок машин. Нечастым

пунктиром обозначали они возникавшую из глубины мрака дорогу. Она вела на мост и дальше, в глубь левобережья. Мгновенные, подфарки то и дело пропадали, и тогда дорога обрывалась. Но перед глазами стояла она в том месте, где ее прикрыла темнота. Потом огоньки снова появлялись, восстанавливая дорогу. Андрей смотрел на расчерченную этими недружными огоньками ночь: на глаз до них метров пятьдесят, не больше. Но он знал точно: напрямую до самого поворота полкилометра. Полкилометра спокойного простора, нетронутого бомбовыми и снарядами воронками, и ровной тишины над ним, когда в полдень слышно, как ветер несет по земле тени одиноких облаков. Тот, кто на войне, знает, что это такое. А сейчас эти пятьсот метров преобразились, они полны неясной тревоги. И Андрею почудилось даже: вот-вот откуда-нибудь затарахтит пулемет.

– Видишь? – прервал Семен размышления Андрея. Боль и злость слышались в его голосе. – Понятно?

– Понятно, – откликнулся Андрей. Понятно ему было то, что имел в виду политрук: части перебираются на левый берег.

Оттуда, с переправы, доносился стушеванный рокот удалявшихся моторов. А дорога двигалась, все двигалась на восток. Что же это, отвод ослабленных частей или выход на новый рубеж?

«Не может быть, чтоб оставляли город. Ничего, что противник вклинился в нашу оборону, – успокаивал себя Андрей. – На войне такое бывает. Наши зайдут ему во фланги, отрежут прорвавшиеся части. И – котел».

– Катят, вот катят... – В тоне Володи Яковлева недоумение.

Несколько минут длилось тягостное молчание.

Семен проронил:

– Не замечает, что ли, немец движения?

Андрей не ответил. Потом, как бы вспомнив вопрос Семена:

– А видит если? Дорогу, особенно переправу, бомбить не будет. Самому нужны: наступать же...

Семен почувствовал, как дрогнула дотронувшаяся до его колена рука Андрея. Андрей окончательно расставался с тем, во что еще верил полчаса назад, когда шел сюда. Надежда может казаться самой реальностью ровно столько, сколько человек сохраняет ее в себе. Пока закрыты глаза на окружающее... Дорога внизу открывала ему глаза.

Семен – еще:

– Конечно, дорога и мост противнику нужны. Но и расчета ему нет выпускать из рук живую силу и технику. Побомбит, сволочь.

Андрей молчал. И молчание это было трудное.

Нелегко угадать замысел противника. Все может начаться вот сейчас вот... Андрей почти растерялся, подумав так. Может быть, потому растерялся, что готовился к другому, к лучшему. Что бы ни значило это ночное передвижение, ничего доброго оно не сулит.

Все, что улеглось было, и отдых этих дней во втором эшелоне, и выстраданное предположение, что неудачи, уводившие полк, батальон, роту в глубь страны, куда они имели право прийти только как победители, кончилось, – все это отступило, придавленное тяжестью происходящего, и даже мысль о комбате, всегда вносившая успокоение, потому что с ним, с комбатом, и сложная обстановка виделась по-другому и верилось, что выход будет найден, теперь не рассеивала сомнений. Дни отдыха, оказывается, совсем расслабили его. Не будь этих спокойных дней, он без надрывных раздумий продолжал бы отступать, с запекшимся сердцем, со стиснутыми от горя и бесилия зубами.

Надо немедленно возвращаться. Надо сейчас же доложить комбату. Комбат, конечно, и сам уже знает: происходит неладное, и что-то предпринимает, конечно, а пока надо и самому, еще до того, как доложит комбату, принять решение, учитывая меняющуюся обстановку. На него полагались Володя Яковлев, и комвзвода-один и комвзвода-два – Рябов и Ваню, и Писа-

рев, вся рота. Семен тоже. Что-то надо делать на случай, если противник внезапно что-нибудь начнет.

Андрей снова посмотрел вниз, на дорогу. Машины двигались в одну сторону – к переправе, затененные подфарки чертили след, казалось, неслась быстрая поземка, то затухая, то вспыхивая.

Он поднялся.

– Пошли в блиндаж.

Семен и Володя Яковлев тоже встали.

Двинулись, ничего не видя под ногами. Песок, потом трава заглушали шаги. Помертвевшая трава, длинная и спутанная, обхватывала сапоги и сдерживала движение.

Андрей нащупал ногой неровный порожек. Следом спускались Семен и Володя Яковлев. Андрей посторонился:

– Давай, сержант, – позвал. – Веди в свою берлогу.

Володя Яковлев приподнял брезент, закрывавший вход в блиндаж. Вошли. Карманный фонарик в руках Володи Яковлева бросал белые шары в темноту, и в темноте возникали попеременно ниша в стене, земляная ступенька, амбразура, затянутая шинелью, фанерный ящик из-под галет и на фанерном ящике артиллерийская гильза-лампа.

Володя Яковлев зажег фитиль, и слабый, мерцающий свет обдал лица, все остальное тонуло в тени. Он

подождал, пока Андрей и Семен усядутся на ступеньке перед фанерным ящиком, машинально поправил волосы, высунувшиеся из-под пилотки на висок, и тоже опустил на ступеньку.

Семен достал портсигар, раскрыл, протянул Андрею, протянул Володе Яковлеву:

– Закуривай.

Прикурили от лампы-гильзы. Семен, выпятив нижнюю губу, выпустил белесое кольцо дыма.

– Слушаем, ротный. – Семен смотрел на Андрея: показалось, что лицо того как-то изменилось – на лоб пала еще одна морщина. Теперь три глубокие складки прорезали его большой лоб. Крупные капли пота заполнили все три складки и кривой струйкой стекали и пропадали в бровях.

– Никакой команды, разумеется, я еще не получил, – откликнулся Андрей, словно продолжал мысль, высказанную раньше. Андрей прикрыл ладонью глаза, будто свет коптилки был слишком резким.

– А, собственно, какая нужна команда, – повел Семен плечами. «И без команды ясно», говорил этот жест. – В критическую минуту приходится принимать решения самим. Ты и примешь. – Он почему-то улыбнулся, и улыбка получилась доброй, удивительной на его сухом и сильном лице.

Андрею нравились рассудительность, неторопли-

вость Семена. Невысокий, худой, выглядел он старше своих двадцати шести лет. Вместе испытывали трудности, выпадавшие им на пути отступления, все было у них вместе. Даже курево. Они, разумеется, и раньше делали одно дело, хоть никогда до того и не видели друг друга, жизнь у каждого была отдельная, своя. Теперь его жизнь и жизнь Семена шли рядом, во всем, до последнего, одинаковые.

– Я и принял решение. – Голос Андрея твердый, но видно, он взволнован. – Бесспорно, Семен, противник попытается преследовать наши части, нанести им урон. Возможно, и побомбит, согласен с тобой, Семен. Да «юнкеры» побомбят и уйдут. А ему нужно закрепиться на земле. Сначала вот тут, где мы находимся. – Он приподнял брови, как бы размышляя, взгляд его скользнул по внимательному лицу Володи Яковлева.

– Да, – сказал Володя Яковлев, откликаясь на этот взгляд, хоть и понимал: ротный не спрашивал, – рассуждал. В блеклом свете лицо Володи Яковлева было смутным, пилотка, сержантские зеленые треугольнички казались неопределенно матовыми.

Будто вспомнив, что мысль не кончена, Андрей произнес:

– Дорогу, думаю, и переправу портить противник не захочет. Я же говорил: самому нужны, раз наступает. И потому, возможно, постарается обойти переправу –

попробует опрокинуть боевые порядки второго и первого взводов, выйти взводу Яковлева в тыл и захватить переправу и дорогу. – Он вопросительно посмотрел на Семена. – Таким образом, он и силу живую с техникой не выпустит из рук и дорогу с переправой убережет.

Андрей старался говорить спокойно, без торопливых жестов, не поддаваясь охватившей его тревоге, и не для того, чтоб спокойствие это почувствовали Семен и Володя Яковлев, – гораздо важнее было подавить растерянность в самом себе. Иначе все в роте пойдет не так.

– Просто. Как в кино. – Семен качнул головой, это могло означать не отрицание, а сомнение, потому что глаза выражали неуверенность. Он снова улыбнулся. Но теперь в улыбке промелькнула жесткость, и Андрей не понял, принял или отверг Семен его мысль.

– Да. Просто. Ты разве не успел убедиться, что на войне многое просто. Чересчур. Даже убивать просто.

Андрей почувствовал, что сказал это резко. Поправляться не стал.

– У тебя другой ход мыслей? – Он в упор смотрел на Семена.

– Нет. Следую за твоей мыслью, но останавливаюсь перед ухабами... Где бы что не упустить. У противника, между прочим, есть и танки, ты это знаешь, –

сказал Семен с дружеской язвительностью.

– Танки, – подтвердил Андрей. Он обрадовался насмешливому замечанию Семена: спокойно, значит, отнесся к ухудшившейся обстановке. А обстановка ухудшилась, никаких сомнений. – Танки, – повторил он. – На Ваню, на второй взвод, они едва ли пойдут, местность не танкодоступная. Только пехота. А на Рябова – непременно. С той же, повторяю, целью: пересечь дорогу и выйти к самому мосту. Вот эти обстоятельства и следует учитывать.

– Ну, учтем. Конечно. Но каким образом учтем? Что ты имеешь в виду?

– Имею в виду то, что в моих силах. Переброшу Рябову все, что смогу. У Ваню возьму. Оставлю ему несколько противотанковых гранат.

– А у переправы, у Яковлева как? – осторожно вставил Семен.

Володя Яковлев вскинул на Андрея свои большие грустные глаза. Наступившая пауза показалась ему слишком напряженной.

Андрей вспомнил, когда Володя Яковлев даже улыбался, глаза его все равно были грустные.

– Собственно, об этом я и хотел сказать, оценив обстановку, как я ее понял. Сержант, два отделения... – Андрей запнулся: какие там отделения!...всех, кто есть в двух отделениях, выдвинь к повороту дороги.

– Понял.

– Одно отделение окопается справа от шоссе. И постарается, если противник все-таки сомнет Рябова, притормозить его. Прорвавшись Рябову в тыл, двигаться ему только к повороту, а оттуда до моста метров шестьсот? Да?

– Точно, – подтвердил Володя Яковлев.

– Конечно, – усмехнулся Андрей, – противник может не согласиться с моими предположениями насчет его действий и пойти прямо на переправу. На этот случай другое отделение расположи влево от шоссе. Метров сто еще западней поворота. Задача – задержать продвижение, пока батальон развернет свои силы. А сам с отделением – у моста. – Что еще может он? Только это. Андрей неслышно вздохнул. – Сколько у тебя противотанковых гранат?

– Семь.

Андрей помолчал.

– Семь?

– Семь, товарищ лейтенант.

– По две каждому отделению. Одну – про запас.

– Понял, – кивнул Володя Яковлев.

– Понял, – сказал и Семен. – Чтоб атаковать и речи быть не может, пожал одним плечом, – если батальон и развернет свои силы.

– Атаковать? – Андрей удивленно взглянул на Се-

мена. – Видел? возвращал его к дороге с ледяными глазками подфарок. – Атака с нашей стороны совсем не в логике обстановки.

– Не в логике обстановки. – Семен сердито стряхнул пепел с папиросы, будто похолодевший столбик пепла и раздражал его. – И сам понимаю, что не в логике. – Помолчал, как бы пережидая, пока спадет раздражение. – Нам и задачи такой не поставят – атаковать, это ясно.

– Из этой ясности и надо исходить. – Андрей прищурил глаза, словно вслушивался в то, что произнес. Напрягшиеся было скулы смягчились, сгладились жесткие складки у рта, будто, сказав это, почувствовал облегчение.

– Да. Понятно. Как дважды два. – Семен склонил голову. – Заслоны у поворота дороги, противотанковые гранаты, если немец изберет лобовой вариант атаки на переправу, если будет действовать, как нам нужно...

– За немца не ручаюсь, – понял Андрей неуверенность Семена. – А мы будем действовать, как нужно нам. – Он умолк, как бы раздумывая, что еще добавить.

– Давай, ротный, напрямки, – настойчиво произнес Семен. Он приподнял свои костлявые плечи. – Главный удар противник нанесет, конечно, по тем подраз-

делениям, которые поближе к переправе – пойдет на нас. В переправе все дело. Так? Вот и проси у комбата усиления. Ни первый взвод, ни Яковлев танкового напора не выдержат. Надо смотреть правде в глаза.

– Выдержат. Как это не выдержат? – Три глубокие морщины сбежались на лбу Андрея. – Если надо...

Семен смотрел поверх головы Андрея, поверх головы Володи Яковлева, будто вдаль смотрел, но куда можно смотреть, если так мал, так тесен блиндаж?

– Попробуем выдержать. – Семен понимал необходимость подчиниться ответственности, которая значительно превышала силы роты.

– Семен, дружище, всякое у нас было. А живы... – Андрей облизнул спекшиеся губы, хотелось пить. – Сержант, – кашлянул. – Володя, дай-ка флягу.

Володя Яковлев протянул руку к стене, снял с колышка охваченную шинельным сукном флягу, подал Андрею. Тот, запрокинув голову, сделал несколько долгих глотков.

– Вкусная вода. – Андрей провел ладонью по губам, вернул флягу.

– Вкусная, – подтвердил Володя Яковлев. – Куда ж лучше, днепровская... – Он завинтил пробку и повесил флягу на колышек.

Андрей бросил на Володю Яковлева пристальный понимающий взгляд.

– Понял обстановку?

– Понял, товарищ лейтенант.

Володя Яковлев поднялся со ступеньки, на которой сидел, и тотчас на стене блиндажа вытянулась его тень, едва уместаясь на ней. Тонкий, высокий, на длинных ногах, он выглядел почему-то неповоротливым.

– Разрешите действовать? – Сухие глаза на продолговатом лице выражали терпение, какое бывает у очень утомленных людей.

– Да. И немедленно. – Сдвинув брови, Андрей как в пустоту смотрел перед собой.

В эти три горьких месяца войны беда и надежда всегда соседствовали. Иногда верх брала надежда, чаще беда, но оттого надежда не становилась слабее. Так и сейчас. Надо было собрать все силы, чтобы продолжать жить в мире, который ему противостоял.

Андрей устало выпрямился.

– Все. Пойду докладывать комбату. Ты остаешься у переправы? – спросил Семена.

– Конечно.

6

Далеко за левым берегом небо начинало бледнеть. Оно и там еще было черным, почти таким же, как

здесь, – глядя в глаза Андрей, – но уже приподнялось над землей, и в этом угадывался рассвет.

Андрей возвращался на командный пункт. Из головы не выходила дорога и двигавшиеся подфарки на ней. «Сейчас же доложу комбату». Впрочем, тот уже сам, наверное, ищет ротного. Андрей шел и спотыкался, хоть под ногами стлался мягкий песок. Там, где висела кобура с наганом, ремень слегка сполз вниз, и Андрею показалось, что именно это мешало движению. Он подтянул ремень и немного передвинул назад кобуру. Рука осталась лежать на ней, он забыл ее убрать.

Андрей весь был в своих невеселых мыслях.

Он поравнялся с ивняком, проступавшим поодаль. Это был ивняк, узнавал Андрей. Он шел дальше. Как и ночью, его окликнуло сторожевое охранение. «Не заметил, как и дошел, будто обратный путь короче...» говорил себе. Светало, светало. Он оглянулся. Мост и вода под мостом оставались темными, точно свет ничего поделаться с ними не мог.

Автомат на плече колыхался, поддаваясь неровным шагам Андрея.

Андрей безотчетно повернул голову, и в то же мгновение из рощи вырвались грохочущие красные молнии. Что такое? – понял он и не понял. Еще не осознав до конца, что произошло, продолжал он стоять,

и длилось это долго, полсекунды.

Андрей упал возле ивняковых зарослей; его обдал запах горелого железа, горячего песка. Песок был такой горячий, словно накален летним полуденным солнцем, от которого и деревья вянут. Что-то тяжелое сдавило голову. Он ощутил острое жжение в затылке, как тогда, после бомбы у дороги. «Вот оно, началось! – врезалось в смятенное сознание. – Обошли нас? Прорвали оборону? Никакой ясности! Никакой ясности...»

Потом ахнуло откуда-то справа, возможно из-за холма. Выстрел повторился. Или почудилось, что повторился, – просто прогремело эхо? Андрей лежал, уткнув лицо в траву, и трава колюче лезла в глаза. Он снова услышал яростно рассыпавшийся вблизи разрыв. Снаряды сшибали землю с места и будто из глубины расшатывали ее.

Он открыл глаза, вспомнил, – когда упал, зажмурил их. Но все равно, глаза застилала темнота и, опираясь на локти, приподнял над травой голову. Поверху, в его сторону, понеслись пунктирные строчки трассирующих пуль, яркие, и не пули будто, а бегающие по небу звезды. И на мгновение показалось, что он по-прежнему смотрит на дорогу под косогором, но теперь дорога пролегла высоко над ним, и подфарки то красные, то зеленые, то синие, но больше красных

подфарок, и так же, как там, внизу, под косогором, истаявали и пропадали во мраке.

«Ведет, сволочь, трассирующий огонь с холма. А из рожи бьет снарядами», – сознание вернуло Андрея к тому, что происходило на самом деле, и он забыл о звездах, о подфарках.

Он уже привык к отступлению, понимал необходимость этого в сложившейся обстановке, и все же каждый раз испытывал смятение – никак не мог представить себе свою землю с родными названиями – Коростень, Житомир, Киев – не своей. «Должны же мы остановиться! Остановиться и вернуться в Киев, Житомир, Коростень, и пойти дальше. Значит, не остановились. Значит, противник опять смял нашу оборону и продвинулся вперед, и атакует позиции батальона, роты...»

Точно. Противник стоял перед ним. И бил из орудий, из пулеметов. Андрей ощутил страх, и силу тоже, он не мог больше улежать на земле, подхватился и стремительно, словно дорога вдруг открылась под ногами и он отчетливо видел ее, побежал к блиндажу. Он задыхался от бега, он бессильно ловил раскрытым ртом воздух, но дышать было нечем, словно вокруг сомкнулась удушающая пустота, все в нем замирало. Наконец удалось вобрать в себя судорожный глоток воздуха, и он почувствовал, в груди, в ногах снова билась

жизнь. Он мчался, не замечая препятствий, и все-таки, казалось ему, бежал недостаточно быстро. «Арт-подготовка. Ясно. Сейчас двинутся. Ясно...» Что бы это? Начало нового наступления? Обыкновенная атака? Разведка боем?..

Несколько скачков... Осталось метров двадцать, пятнадцать, десять...

С бьющимся сердцем Андрей ввалился в блиндаж. Шумно хлопнула над входом плащ-палатка, и тусклый зыбистый свет походной лампы накрыл пол, выровнялся и снова потянулся кверху. Писарев, Валерик, связной Тимофеев, оказавшиеся здесь бойцы, кто стоя, кто сидя на корточках у стены, вобрав голову в плечи, ждали. Андрей понял: ждали его.

Кирюшкин, перепуганный, увидев ротного, поспешно повернул к нему голову:

– Товарищ лейтенант, комбат вызывал, только что... – выпалил он и растерянно смотрел на Андрея: «Что будет теперь? Что будет теперь?..» Рука лежала на трубке телефонного аппарата. Рука дрожала, и казалось, связист сдерживал рвавшийся с места ящик полевого телефона.

– Комбата! – Андрей мельком посмотрел на часы: пять сорок семь. «Пять сорок семь», – произнес про себя, будто это имело значение. Просто надо было чем-нибудь заполнить паузу, пока связист вызывал

комбата.

Наконец, Кирюшкин сказал:

– Есть.

Андрей схватил трубку. Услышал голос. Комбат!

– «Земля»! «Земля»! Я – «Вода». Доношу... Противник...

Тупой, как обвал, разрыв снаряда возле блиндажа заглушил все. Андрей, съежился. Широкие струи песка с шуршанием густо потекли из-под наката на голову, обдали глаза, рот. Он отряхнулся, дернул плечами, ладонью провел по лицу. Но песок по-прежнему резал глаза, скрипел в зубах. Кажется, немного утихло.

– Противник ведет... огонь. Ведет огонь... – запинаясь, выкрикивал Андрей. Он боялся, что комбат не расслышит слов.

Еще разрыв. Ну сколько продлится эта проклятая артподготовка противника!

Андрей припал к трубке. Шумела кровь в ушах.

– Ведет... ведет... – подтверждающий голос комбата. – По всей линии нашей обороны ведет...

– Понял.

– Возможно, придется действовать. И особенно тебе.

– Понял.

– Смотри в оба. – Разрыв, разрыв. Голос комбата потерялся в грохоте. – Смотри в оба, говорю. Следи

за лесом, за холмом следи. И это понял?

Все эти дни перед Андреем только и были; луг – поле – роща – холм; холм – роща – поле – луг, и только там могло происходить самое важное в его теперешней жизни.

– Так понял? – переспросил комбат. И добавил: – Гранаты и бутылки. Под руками чтоб... Подпусти танки поближе, если пойдут танки. И пехоту поближе. И тогда – огонь!

– Понял.

– Все?

– Все.

7

Андрей выбежал из блиндажа в траншею.

Чуть высунувшись над кромкой бруствера, старался он хоть что-нибудь разглядеть впереди. Но ничего не видел – только огонь разрывавшихся на лугу снарядов. Он хотел понять, что задумал противник, и сообразить, что имел в виду комбат, когда сказал – придется действовать, и особенно ему, Андрею. Было очевидно, артиллерийский обстрел шел по всей линии обороны, а не только вдоль позиции первой роты.

Во взводах приготовили противотанковые гранаты и зажигательные бутылки. Ждали появления танков.

Андрей нервничал. Он не знал, куда девать руки, и то заносил их за спину, то складывал на груди, то совал в карманы, – когда руки не заняты, они всегда мешают.

Опять резкий свист и грохот. Перелет. И недалеко. Где бы снаряды ни ложились, все равно казалось – близко. Удар! Андрей качнулся, земля уходила из-под ног. На этот раз снаряд разорвался совсем рядом, даже кусок бруствера воздушной волной снесло. Недолет. Всем телом прижался Андрей к стенке траншеи. По спине пробежали мурашки. Бывало, когда говорили так о мурашках, он не представлял себе, что это значит. Теперь он чувствовал, как мурашки бегут по спине, и это здорово неприятно.

Сколько раз попадал он под огонь пушек, но так и не мог к нему привыкнуть. К артиллерийскому огню нельзя привыкнуть. К бомбам тоже. И к минометам, и к пулеметам. Ни к чему, что несет смерть, нельзя привыкнуть. Но что поделать, если на войне только это и есть. «Куда теперь ахнет?» подумалось без особой заинтересованности, не все ли равно: недолет или перелет? Только б не в голову.

– Что ж это, наступает, товарищ лейтенант? – В грохоте Андрей едва расслышал голос, раздавшийся почти над ухом. Повернул плечо, увидел: тень в каске. А! Связой Тимофеев. Это он, оказывается, стоял сей-

час локоть к локтю, но, взволнованный, Андрей не замечал его. И Писарев, и Валерик, конечно, тут. И Кирюшкин у телефонного аппарата. Дальше немного пулеметчики. А за ними – бойцы с винтовками. И Рябов со своими. А еще дальше, на правом фланге, взвод Ваню. Вся рота, все его товарищи, возле него, тут, рядом. Под огнем солдат особенно ощущает свою связь с другими, и это придает ему уверенность и силу, – благодарно думал Андрей о Тимофееве, о Писареве, о Валерике, о пулеметчиках, обо всех... В темноте он никого не видел, но знал, что они есть – мог протянуть руку и положить ее кому-нибудь на плечо, коснуться локтя. Вот опять голос Тимофеева:

– Прямо вплотную подошел. Что это значит, товарищ лейтенант?

Что мог Андрей ответить, что мог сказать? Он и сам не знал, что это значит, и комбат не сказал, видно, тоже не знал. А бойцы уверены, что командир всегда все знает... Может быть, в этом и сила их и, значит, спасенье? Может быть, не думай они так, и слову командира не поднять их в минуты риска и опасности?.. А он, недавний выпускник педагогического института, какие представления имел он о войне в свои двадцать два года? Правда, три фронтовых месяца закалили его, кое к чему приучили. Три месяца войны – это очень долго. Дольше даже, чем вся его предшествовавшая

жизнь.

– А черт его знает, товарищ Тимофеев, что это!.. – выпалил Андрей в сердцах.

И в самом деле, черт его знает! Командование в конце концов могло допустить оплошность в неразберихе непрерывных отступлений, когда противник заходит в тыл и справа и слева. Возможно, не успели дать команду, сообщить, что немец прорвался сюда. Да ничего, – старался успокоить себя Андрей, – в частях командирь сориентируются и будут действовать, как надо.

Уух!.. Опять перелет? Андрей и сам не понял: удивился он или ожидал чего-то другого. Сзади вспыхнул огонь разрыва, и длинные тени поднимавшихся перед траншеей сосен всколыхнулись и, как быстрые стрелы, устремились вперед. И тотчас вихри земли, черные-черные, и густой пороховой дым вскинулись в высоту, и стало еще темней, будто снова набрала силу угасавшая ночь.

– Бабахает фриц, а все мимо, – насмешливо проговорил Валерик. Андрей удивленно посмотрел на него. Ничего не сказал.

«У юнцов это в порядке вещей, – почти с завистью подумал. – Смерть, то есть собственная смерть, понятие для них абстрактное, и представить себе они не в состоянии, что это может произойти. Страх, – такое

бывает. Когда уж очень палит, и прямо в них. А смерть, нет».

– Бабахает, а мимо...

Голос Валерика, по-прежнему стоявшего возле, отдалился, Андрей вернулся к своей мысли: куда теперь ахнет?

«Взяли в вилку!» – неотвязно, как боль, вертелось в голове. И снова удар. Траншея дрогнула. Андрей пригнулся, что-то мелко стукнуло в каску, даже гул пошел в ушах.

Он почувствовал, вдоль траншеи, как вода по руслу реки, хлынул горячий и плотный поток воздуха. Андрей понял, снаряд разорвался в траншее. В мгновенном свете успел увидеть, что бойцы повалились и легли, тесно прижавшись друг к другу, они, могло казаться, соединили свои тела навек. И еще увидел, санитарка Тоня схватила свою сумку и побежала, побежала, не спотыкаясь, словно траншея была пуста.

– Тимофеев! – поднял Андрей голову. – Узнайте, что там! Живее!

Тень в каске шевельнулась, сделала шаг, и другой, это Андрей смутно еще видел, потом каска исчезла в мглистых недрах траншеи.

Теперь разрывы слышались правее. Три, пять, восемь... «Долбают, сволочь, Рябова и Ваню, – прикусил Андрей губу. – Ну и дает жизни! Ну и дает!.. Ка-

кие, к черту, гранаты, какие бутылки! До этого и не дойдет. Артиллерия раскромсает нас раньше. Никакого же прикрытия! – готовился он к худшему. – Молчат наши батареи. Почему, и понять нельзя. – Андрей провел ладонью по лицу, ладонь стала мокрой. – Подали б огневые точки противника. Готовые же цели! С пехотой как-нибудь справимся. Что они там, наши батареи, в самом деле?!» Он с ужасом ощутил свою беспомощность, так нелепо, бессмысленно вот-вот погибнет рота.

Воздух прошил короткий и натужный свист. «Снаряд на излете. Сейчас грохнется, вот тут где-то, рядом». И рядом, в слепящей вспышке успел Андрей заметить, из-под земли вырвалась жаркая туча с осыпавшимися краями и осела. Даже сейчас, когда туча исчезла, чувствовалось, какая она была жаркая.

Перед Андреем снова возникла тень в каске. А, Тимофеев вернулся!

– Пятеро.

– Что – пятеро? – пересохшим раздраженным тоном спросил Андрей.

– Пятеро, и все убиты. Прямое попадание. И пулеметчик возле нашего командного...

– Пулеметчик?

– Пулеметчик. И Тоня тоже. Перевязывала пулеметчика, а фриц снарядом жажнул. – Тимофеев дер-

жал в руках санитарную сумку.

– И Тоня?..

Андрей не успел услышать подтверждения Тимофеева. Он повернулся на голос Кирюшкина из блиндажа:

– Товарищ лейтенант!

Андрей бросился на зов.

Неловким движением сунул ему Кирюшкин телефонную трубку.

– Не теряйся, – ровный тон комбата. – Держись. Сейчас и мы выдадим... Держись.

С голосом комбата пришло успокоение. Все будет, как надо. Все будет, как надо! Андрей дышал в трубку, ждал, что еще скажет комбат. Ничего не сказал. Трубка молчала.

Андрей знал, по ту сторону реки, позади батальона, на огневые позиции выдвинуты две гаубичные батареи, стопятидесятидвухмиллиметровки. Он и не заметил, как повторил слова комбата, убежденно, обрадованно.

– Сейчас выдадим!..

– Не понял, товарищ лейтенант, – ожидательно произнес Кирюшкин.

– Поймешь, погоди, – кивнул Андрей и – в траншею.

Над лугом вспыхнул бледно-лимонный свет ракеты и смешанные в темноте земля и небо отделились друг

от друга. Холодное пламя легло на черные сосны, на тяжелый холм, ставший похожим на густое облако. Из-за реки грохнули орудия. Будто гигантские ножницы разрезали натянутый высоко над головой шелк, с сухим развернутым треском прошуршали снаряды – в сторону противника.

– Пошел, пошел огонек! – крикнул торжествующе Тимофеев. – Дай им, братцы, прикурить, попомнили чтоб гады! Давай! Давай! – Словно артиллеристы за рекой могли его слышать. – Эх!.. Твою так!.. – Он радостно выругался. – Эх!.. Так им, гадам! Так!..

Разрывы, часто и грозно, ухали там, за рощей, за холмом.

– Здорово! Спасибо! – не удержался и Андрей. Он задышал быстро и жадно. В одно мгновение все изменилось. Только что подавленный, потерянный, он воспрянул, и все мрачное пропало. В нем опять пробудилась уверенность в себе, и снова был готов противостоять всему, что бы ему ни угрожало.

8

Разрывы смолкли здесь, у траншей, и там, далеко, за противоположным краем луга, утихли. Андрей вслушивался: никаких признаков наступления противник не проявлял. Попугать решил и успокоился?

Огневой налет без дальнейших действий? Тогда – черт с ним, с фрицем. Не впервые. А может, надумал что? Вот-вот прояснится.

Ничего не прояснялось. После устрашающего грома тишина казалась особенной, недвижимой, будто враз все на свете умерло.

Андрей глубоко и шумно втянул в себя воздух, резко пахнувший серой и взрытой снарядами землей.

В отдалении, уловил он, зарождался неясный рокот. Самолеты? Нет, небо было спокойно. Рокот нарастал: танки? Танки.

Андрей тряхнул головой, как бы сбрасывая охватившее его оцепенение. Рывком – к телефонному аппарату. Сильным движением локтя отвел Кирюшкина от телефонного ящика. Тот поспешно посторонился. Андрей с усилием крутнул ручку аппарата.

– На меня идут танки, – волнуясь, сообщил комбату.

– Ну и что?

– Танки, а за ними, ясно, пехота.

– Ну и что? – Ни нотки растерянности в голосе комбата. словно он, комбат, сильнее и танков и пехоты противника, наступавшего на позиции батальона. – Я же приказывал: танки подпусти поближе. На дистанцию гранаты и бутылки. Работа для Рябова. А Ваню, ему отсекай пехоту, если будет пехота. Да что тебя учить! Пока, судя по поведению противника, дело на-

до вести так. А изменится что-нибудь в его намерениях, соображай и действуй.

– Понял.

И опять Андрею передалась уверенность комбата. Все будет в порядке! Все будет хорошо!

Он приложил к глазам бинокль: в фиолетовом свете наступавшего утра роцца и холм правее роцци казались такими далекими, и оттуда, издалека, будто из тумана, медленно проступали сначала башни, потом корпуса танков. «Один... два... и третий, кажется...» Грузная громада, выдвинувшаяся вперед, видел Андрей в бинокле, выровняла ствол пушки и свернула право, словно нашла, наконец, цель.

В эту минуту, за спиной, взошло солнце. Андрей понял это потому, что перед глазами посветлело. Все впереди, приближенное биноклем, порозовело трава, кустарник, вершины сосен. Танк, повернувший вправо, весь, от гусеницы до башни, покрылся этим розовым светом, словно кровью обагрен.

Андрей взглянул в сторону левого берега. Он увидел, солнце висело низко, чуть повыше деревьев вдалеке, а здесь, над головой, простиралось большое белое небо, и непонятно было, откуда брался в нем свет, такой щедрый, неистощимый. Между всем этим и двигавшимися танками не было ничего общего.

Андрей смотрел уже только на танки.

Похоже, танки остановились. Во всяком случае, башни больше ни на сколько не приблизились. А! – сообразил-таки: – Из-за реки продолжали бить орудия. Как же это он не слышал? Потому, наверное, что свои разрывы не пугают, будто их и нет. Из-за реки били орудия!

«Танки не пройдут, – вздохнул Андрей облегченно. – Точно, не пройдут». Он не мог думать иначе. Думать иначе значило безропотно лечь под танки или бежать.

Утро уже было всюду, здесь тоже было полно света, но еще не яркого, солнечного, как там, за спиной.

Андрей вскинул к глазам бинокль: танки снова двинулись.

Глава третья

1

Полина Ильинична не пошла сегодня на работу в аптеку: Федор Иванович с вечера недомогал, ночью ему стало плохо. На рассвете хворь немного ослабла. «Тетя сама приготовит поесть», – решила Мария, и как только синеватая полоска легла на оконные стекла, вышла из дому. Теперь полоска эта появлялась гораздо позднее, чем тогда, месяца два с половиной назад, и была скорее фиолетовая.

Мария пересекла Крещатик, тихий в этот час, миновала нарядную гостиницу «Континенталь» и пошла дальше.

Над городом двигались круглые оловянные облака. Солнце поднималось по небу, вслед облакам, тоже оловянно-бледное, и несмело обдавало землю теплом, и Мария благодарно ощущала это слабое тепло. Она вдыхала осенний запах каштанов, раскинувших вдоль тротуара широкие ветви с янтарными листьями, каштаны были похожи на желтые костры.

Она шла, стараясь ни о чем не думать. Тяже-

лое чувство, угнетавшее душу ее в эти дни, немного ослабло. Запах каштанов... Утренние улицы... Спокойный солнечный свет...

Свернула в улицу, ведущую к библиотеке. Облака уползли куда-то в сторону Ирпеня, и стало солнечно, легко. Мария не придавала значения тому, что вдруг одновременно захлопали двери в домах, мимо которых проходила, из окон доносились необычно громкие голоса: утро в городе всегда шумное.

Не спеша поднималась она на второй этаж, в читальный зал. Оттуда, со второго этажа, раздавались возгласы, заставившие ее насторожиться. Подумала, что ослышалась. На одном дыхании взбежала наверх. Сотрудницы, растерянные, стояли в коридоре. Софья Васильевна, припав к дверному косяку, не прикрывая лица, плакала, слезы стекали по ее побледневшим щекам, и она ладонью вытирала их. Искаженное плачем лицо ее показалось Марии незнакомым. Обхватив голову руками, надрывно бросалась из угла в угол пожилая женщина, она работала на выдаче книг, молчаливая, хмурая.

Лена, говорливая, неунывающая Лена, – ее не узнать. У Лены наплаканные, красные глаза.словно никогда и не были голубыми.

– Ленка, что случилось? Ленка!.. Говори же... – почти кричала Мария. Собственно, что ей Лена, она уже

поняла, что случилось, еще там, на лестнице, поняла. Но в это нельзя было поверить. – Сдают Киев, да? Говори же... – Надеялась услышать, что это не так.

– Да.

Мария отпрянула на шаг. Вдруг совершенно опустошенная, переставшая что-либо сознавать, уронила руки, как чужие, беспомощно повисли они. Глаза уткнулись в пол, на котором лежал тот же оранжевый, зеленый, желтый свет витражей. И глаза, будто замороженные, не уходили от этого света, невозможно спокойный, он отстранял от себя все недоброе, что творилось вокруг. Что-то сдавило горло, почувствовала Мария, даже дыхание пресеклось.

Она привалилась к стене, чтоб не упасть.

2

Мария бежала мимо «Континенталья», выскочила на Крещатик. Ноги подкашивались, но она не замедляла бега. «Не может быть! Не может быть!» потерянно повторяла она. Она задыхалась, словно на улице вокруг не стало воздуха. «Нет, нет, нет, не может быть!..»

Теперь на Крещатике чувствовалось возбуждение. Неужели, совсем недавно, когда проходила здесь, она не заметила этого? Или все было спокойно и нача-

лось только что? Взволнованные, подавленные, люди стояли по обе стороны мостовой и, будто обманутые в чем-то самом сокровенном, смотрели, как двигались мимо них красноармейцы. Лица понурые, серые от усталости, пыли, плечи опущены, словно не скатку, не винтовку, – тяжелое горе города несли на себе.

Мария бежала дальше, домой.

Федор Иванович лежал на диване, под пледом, голова высоко закинута на подушку, прикрыты запавшие глаза. Хриплое дыхание, похожее на нестихающий стон, выдавало его состояние. Услышав, что появилась Мария, он открыл глаза. Мария видела, как трудно было ему это сделать.

– Марийка... – с усилием повернул к ней голову. – Уходи, – сказал дрогнувшим голосом.

– Дядя-Федя, милый... Что же это? – рухнула Мария на колени, припала к его недвижно вытянутой вдоль тела руке. – Что же это, дядя?..

– Марийка... не медли... Радио, когда ты ушла... Плохая сводка Совинформбюро... Очень плохая... Потом... потом... соседи сказали... слышали ночью... где-то уже за Днепром... был бой. Немцы обошли город...

Мария не отнимала лица от его руки, костлявой, сухой, длинной, как бы забылась и не слышала, что

говорил он, как бы находилась в других обстоятельствах, далеких от беды, и все неладное никакого отношения к ней не имело.

Толчок сердца заставил ее очнуться. Она поднялась. Нервно, невпопад перебирала пальцами, будто выронила что-то и силилась подхватить.

Подошла Полина Ильинична, бледная-бледная, губы подергивались, как в судороге.

– Федя... Федя... Выпей.

Трясущейся рукой поднес Федор Иванович мензурку ко рту.

– Марийка, иди, иди, – сдавленно произнесла Полина Ильинична. По щекам слезы, ладонь умоляюще прижата к груди. – Все нужное уложила в рюкзак. Вон он. Не мешкай...

Глаза Марии наткнулись на прислоненный к стене рюкзак. «А, рюкзак...» Тетя еще что-то говорит? Выпрямив голову, взглянула на нее. Нет, не говорит. Стиснув зубы, Полина Ильинична металась от окна к двери, от двери к окну, и к дивану – к Федору Ивановичу, и опять к двери. Остановливалась там, будто ждала – вот распахнется она и кто-то принесет обнадеживающую весть, и, не дождавшись этого, снова неслась к окну. «Нет, ничего не говорит». И верно, ни слова больше не могла Полина Ильинична произнести. Взгляды их встретились: круглое ее лицо с глубокими

серыми глазами и длинными бровями над ними, доверчиво-открытое – лицо мамы и, наверное, ее, Марии, тоже, она ведь, говорят, копия мамы – лицо Полины Ильиничны сразу постарело.

Мария приложила пальцы к вискам: в голове, как удары, стучало, стучало: «Сдают Киев... Надо уходить... Рюкзак... Сдают Киев... Надо уходить... Тебя молчит, дядя-Федя, Федор Иванович, молчит. Что еще?.. Надо уходить...»

Война шла уже три месяца, Мария, как и другие, стала привыкать к ней. Ну, рыла окопы, ну, в бомбовые воронки попадала, слушала вой сирен, возвещавших воздушную тревогу, пробиралась по затемненному городу... Жизнь все-таки продолжалась. В газетах читала сводки Совинформбюро, читала о боях, об отступлениях. Будет трудно, будет плохо, понимала она, но все в конце концов наладится. И вдруг: сдают Киев. Она не представляла себе, что значит отдавать кому-то город: как это может быть, когда в нем советские учреждения, советские вывески на них, по радио передают советские песни, советские книги на библиотечных полках, театры, булочные, трамваи, все такое всегдашнее, свое. Сдавать город?! Это не укладывалось в ее сознании.

– Дядя-Федя, милый, невозможно же такое, – взглянула на него со слабой надеждой, будто он мог ска-

зять ей что-то утешительное. Но он только вздохнул. И она ухватилась за пришедшую в голову мысль: – А может, к вечеру положение изменится и Совинформбюро сообщит другое?.. Бывало же так, правда?

– Марийка... Марийка... Не задерживайся, Марийка... С народом доберешься хоть до Яготина. А там... наверное, еще идут поезда... или машины. Что-нибудь да есть. И – до Харькова. А там и Москва. И ты дома... – Дядя-Федя, Федор Иванович, снова смежил веки и смолк. Он был слишком слаб.

– А вы же как? Вы как?.. – услышала Мария свой перехваченный от волнения голос. Она переводила горячий взгляд с дивана на Полину Ильиничну, замершую у окна. – Вы как?..

Никто ей не ответил.

– Ну что вы молчите?

– Мы... мы... – наконец выдавила из себя Полина Ильинична. – Что ж мы?.. Останемся... Видишь же... Дядя Федя... Будь что будет...

– Вы хотите, чтоб я совершила подлость, да? – Мария негодующе вскинула голову, глаза сверкнули зло и решительно. – Оставив вас, я поступлю подло. Вы понимаете это?

– Подлость, Марийка, совершим мы... если не заставим тебя... уйти, снова заговорил Федор Иванович. – Иди... Не отягчай нашу участь...

– Мне убежать? Одной?

– Ты не убегаешь. Ты уходишь. И это наша воля.

– Но вы не спрашиваете моей воли!.. Моей! У меня тоже воля! Я уже не маленькая! – кричала Мария сквозь слезы.

– Марийка, мы – старшие... – произнесла Полина Ильинична. Лицо ее стало строгим.

«Неужели они не понимают, старшие, что унижают нас этим?» Мария еще о чем-то подумала, хотела сказать, но поперхнулась, снова сжало горло и голова пошла кругом. Опять увидела у стены рюкзак, показалось, что он накренился, лежал почему-то на боку, и пропал. Круг. И рюкзак выплыл, но уже на другом боку.

Мысленно выскользнула Мария из комнаты, представила себя на улице, с рюкзаком за плечами, отдельно от тети, от дяди-Феди, Федора Ивановича, потом у берега Днепра, потом по ту сторону реки, где-то на незнакомой, чужой дороге... А потом, потом? Все это было непонятно, жестоко. И на дороге этой почувствовала она невыносимое одиночество, которое не одолеть. Нет, не выдержала испытания, поняла она, ей нельзя уходить. Ни на кого не глядя, произнесла:

– Нет.

– Мария!.. – В глазах Полины Ильиничны – ужас, на искривившихся губах – ужас, в разведенных в стороны руках – ужас. – Мария!..

И Мария испугалась. В эту секунду она до конца осознала то, чего Полина Ильинична не договорила. «В город войдут фашисты!» Именно так подумала: не немцы – фашисты. Когда говорили «фашисты», это с детства повергало ее в дрожь, словно не о людях говорили – о волках, о дьяволах, о смерти. Но смерть эта, дьяволы эти были далеко, как бы придуманные. А теперь они возле, у самого города.

– Ведь придут фашисты! А вы тут! Понимаете, фашисты?..

– Успокойся, Марийка... нас не поставят на колени... – с неожиданной силой, приподняв голову, вымолвил Федор Иванович. – Город можно стереть с лица земли. Но земля останется. Земля вечна. А на живой земле люди смогут все...

– Уходи, Марийка... – Опять Полина Ильинична.

– Уходи. – Снова упавший голос Федора Ивановича. Он замолчал, пожевал губами, будто больше не находил слов, будто и слов нужных не было. И почти неслышно повторил: – Уходи!

«Уходи». Слово это оглушительно остановилось в ушах. Ничто другое не существовало, лишь одно это – нужно уходить. Но здесь оставался больной дядя-Федя, Федор Иванович, оставалась тетя, лицом, всем, похожая на маму. В спальне, подумала, постель, которая еще не успела остыть от ночного тепла ее те-

ла, шкаф с зеркальной дверцей, спрятавший платья, и то, вишневое, с короткими рукавами, любимое. Рассеянным, отчужденным взглядом обвела комнату, где стояли диван, трюмо, стол с померкшей вазой, тумбочка, этажерка с учебниками, из них торчали цветные закладки, на полу знакомые тени, тянувшиеся от вещей, и казалось, если долго так смотреть вниз, на пол, на эти тени, ни о чем не думать, все вытеснить из головы, словно это примерещилось, и жизнь останется такой, незамутненной, какой была, будто ничего и не случилось. Словно выпроваживая Марию, Полина Ильинична опять понеслась к двери, и враз пропали спокойные тени на полу, ее взволнованная тень все на нем смешала – Мария подняла глаза. В голове ясно билось: конец, конец. Конец тому, к чему готовилась, на что надеялась, всему, всему... В глазах поплыл туман, они перестали видеть. Ноги не могли тронуться с места.

С улицы доносился глухой гул. Тревожно грянула черная тарелка громкоговорителя: «В течение последних дней под Киевом идут ожесточенные бои. Фашистско-немецкие войска, не считаясь с огромными потерями людьми и вооружения, бросают в бой все новые и новые части. На одном из участков Киевской обороны противнику удалось прорвать наши укрепления и выйти к окраине города...» Все было понятно.

Мария не стала слушать дальше. Но в голове стучало, стучало: «...и выйти к окраине города...» Отчаяние, как боль, охватило ее, и она подумала, что с болью этой никогда уже не справиться.

Кажется, справилась. Полина Ильинична не спускала с нее глаз, она просила глазами: уходи. Когда просят глазами, нельзя промолчать. И Мария сказала:

– Да.

Опустив голову, нетвердым шагом, словно не сообщая, что делает, двинулась к двери.

3

У подъезда Мария увидела Лену с большой, туго набитой сумкой. Лена шла ей навстречу, понимала, значит, что и Мария не останется в городе. «Ой, будем вместе!» Мария кулаком стерла длинную слезу, сползавшую со щеки.

– Ты так, без ничего? – взглядом показала Лена на пустые руки Марии. Но во взгляде ни удивления, ни напоминания, что еще можно кинуться обратно и захватить чего-нибудь, хоть на первое время.

«А, – досадливо поморщилась Мария. – Забыла рюкзак...» Нет, возвращаться она не будет, слишком тягостно возвращаться туда, откуда едва нашла в себе силы выйти. Нет, возвращаться не будет...

– Да. Без ничего...

Не сговариваясь, молча, вышли на Крещатик.

По Крещатику, в сторону Днепра, тягачи с привязанными к ним ветвями орешника, ивы, вербы тянули орудия с длинными стволами, стволы обхвачены пучками травы; следом двигались машины со снарядами, цистерны с бензином, автофургоны с надписями «Хлеб», «Мебель». Но в них не было мебели, не было хлеба, в них были люди со своим скарбом. Сигналя, их обгоняли легковые машины с синими фарами, словно на них еще лежала ночь; по два-три в ряд, катили грузовики с красноармейцами в вылинявших гимнастерках, обросшие лица бойцов казались черными, у многих головы в бинтах, из-под которых выбивались клоки окровавленной ваты, руки на подвесе, под мышками костыли; катили грузовики с женщинами, детьми, чемоданами, корзинами, узлами; тархтели подводы, тоже с женщинами, детьми, с чемоданами, корзинами, узлами; вереницами шли пешие, толкая перед собой тележки с пожитками, матери несли на руках детей, на их тонких шеях вяло покачивались головки, а ножки, высовывавшиеся из одеял и платков, выглядели так, словно уже прошли всю трудную опасную дорогу. Дети всегда дети. В их глазах тихая уверенность, что мир и теперь хорош, и стоит убежать куда-нибудь подальше – и все будет по-другому. Им

бы править миром, и мир был бы лучше. Но миром правят не дети... Из боковых улиц выходили еще группы людей. Женщины, девушки, девочки, мальчики, пожилые мужчины, калеки...

Тронулись дома, улицы – тронулся город. Куда? Этого город не знал, он знал только, что надо уходить, уходить со своего зеленого, уютно-обжитого места. Он двигался по Крещатику, туда, к реке, на мост. Город пустел, словно таял. Многие ушли, даже не заперев квартиры, даже форточку забыли или не успели закрыть. Из настезь раскрытого окна трехэтажного дома доносилось: «...удалось прорвать наши укрепления...» Радио, – прислушалась Мария. Кто-то, покидая квартиру, не выключил радио, и вот громкоговоритель сообщает шедшим сейчас по Крещатику то, что им уже известно: «...и выйти к окраине города...» Солнце стояло уже высоко, и когда свет ударял в серебряные стекла, окна оживали, будто кто-то еще остался в покинутых домах.

Шли долго, может быть, потому долго, что медленно, видно, хотелось подольше побыть вблизи родных домов. Одни смотрели себе под ноги, словно прощались таким образом с землей, на которой стоит их город, другие взволнованно переводили взгляд со здания на здание, хотели запомнить улицы, такие знакомые. У всех слишком внимательные, вымученные

тоской глаза.

Шли медленно, будто нерешительно, будто те, передние, пройдут вот немного и повернут обратно, а потом и остальные, что за ними, тоже повернут. Все еще не верилось, что немцы совсем близко, тут же, за спиной.

Стены зданий, скверы, площади, все это, и Владимирская горка, и Богдан Хмельницкий, и купола Софийского собора, и стены «Арсенала» мысленно представила их себе Мария – все это было по-прежнему прекрасным. Она уже свыклась с городом, город этот стал родным, как ее Москва.

– Лена, – не выдержала Мария. – Что же это, Лена?..

Лена молчала. Понимала, ответ не нужен.

Девушки шли, оглядывались. Еще немного, и они перейдут мост и все будет позади, уже в прошлом.

Шли рядом с каким-то стариком. Бритое коричневое лицо его все в крутых складках, как кора старого дерева, было невозмутимым, глаза близоруко щурились, будто всматривались, туда ли идет. Он опирался о палку, на левом локте висел узелок. С ними поравнялись две женщины, беглым взглядом скользнули по старику, одна сочувственно бросила на ходу:

– Остался бы, дедушка. Тебя-то не тронут. Пропадешь же! Дорога, бог знает, какая длинная и какая...

– Как это не тронут, – приподнял тот плечи. Но женщины его не слышали, они торопливо прошли, как бы настигая кого-то. – Мне, девочки, непременно уходить надо, – словно искал поддержки, посмотрел на Марию, на Лену. – Сын-то мой – коммунист. Погиб девять дней тому. На фронте. Коммунист он, вот что. Как же не тронут, – все еще удивлялся словам женщины. – Соседка ушла, в горсовете работала. А под нами, на третьем, вся семья собиралась в дорогу. Никакие они не коммунисты, не ответработники никакие, а уходят. – Старик настраивался на то, что девушки эти попутчицы на весь, возможно, долгий путь.

Занятые своими мыслями, Мария и Лена не откликались.

– Правильно, дедушка, иди, иди, – услышался сзади грудной женский голос. – Не слушай никого. Иди. Фашисты, они всех тронут. Не так, то по-другому, а тронут. Переждем где-нибудь. Ты, дедушка, кто?

– Фельдшер, – повернул старик голову к спрашивающей седой крупной женщине. – Тут у меня, – показал на узелок, – и сердечные есть. Фельдшер я.

– Ну, а я повариха. Столовая номер пять. На Бес-сарабке. Ну да ладно. Недалеко уйдем, – вернулась к тому, о чем начала говорить и что беспокоило всех. – Дня через три вернемся... – Голос женщины звучал уверенно.

– Непременно вернемся. Я-то знаю. Попомните мое слово.

Тот, кто заговорил, завладел вниманием всех. Мария тоже оглянулась на голос. Голос показался знакомым. Мария увидела длинного, худощавого мужчину, широко ступал он вдоль обочины шоссе. Он! Тот самый! «У трамвайной остановки...» Она узнала узкое, в оспинках лицо, фетровую шляпу пирожком. «Ребятуски...» – поморщилась, вспомнив. Теперь на нем было демисезонное пальто, в руках фибровый чемоданчик. Ни на кого не глядя, мужчина продолжал громко, назойливо, рассчитывая на слушателей.

– Немец не стреляет даже, молчит. Выдохся. Наши отошли, соберутся с силами и – обратно. Верно, переждать только. Три дня. Три дня, правильно вы сказали, – кивнул поварихе из столовой номер пять.

Над головой катились небольшие, рыхлые и пушистые, как шары из ваты, облака, едва приметные на белесом небе. Потом облака эти пропали. Чистое небо ничего не выражало, кроме равнодушия ко всему.

Лена замедлила шаг, ноги подворачивались на колеях разбитой мостовой.

– Впопыхах не те туфли надела, – пожаловалась. – Надо бы на низком каблуке.

– А хоть и на низком, в туфлях долго не походить, –

посмотрела Мария на свои ноги.

Приближались к реке. На воде колыхался бледный солнечный свет. В последний раз Мария и Лена оглянулись на угрюмо двигавшуюся улицу и, как бы отрываясь от всего, что осталось там, позади, ступили на мост.

4

За мостом тянулись отмели, ноги вязли в песке, мокро и тепло. Потом появились невысокие холмы, и видно было, как слетал с них слабый ветер.

Пока девушки шли улицами, они не могли до конца осознать, что оставляют город: дома были домами, Крещатик – Крещати́ком, площадь Калинина – площадью Калинина... Те, что двигались впереди, – девушки видели их спины – тоже, заметно было, не прониклись сознанием, что уходят совсем. А теперь, когда мост и все, что за ним, оказались позади, сомнения кончились. Мария посмотрела на Лену: глаза снова красные, заплаканные, как там, в библиотеке.

Девушки продолжали путь, они не задумывались, куда идут, – шли со всеми. Лишь бы на восток. «С народом доберешься до Яготина... А там...» помнила Мария дядино напутствие. Никогда раньше не слышала она об этом городке и пыталась представить себе

Яготин – ничего не получалось, и было это далеко...

И как далеко должна быть Москва!.. Мысленно была Мария уже на Покровке, видела, как вместе с подругой входит в свою комнату, со счастливым трепетом оглядывает ее, все в ней родное, заждавшееся. «Тетя? вопросительно поворачивает Лена голову, рассматривая на столике большую фотографию в инкрустированной рамке. Она часто видела тетю, Полину Ильиничну, когда забежала к Марии. – Так это же тетя твоя?» – берет в руки фотографию. «Мама», – отвечает Мария. В голосе гордость: правда, красива? Но Москву, Покровку, комнату на четвертом этаже отделяют беда, восемьсот горьких километров.

Мария споткнулась, – камень. Она вернулась из дома на Покровке сюда, на дорогу, и продолжала путь. Перед глазами: головы, спины, заплечные мешки. Дорога поворачивала. Оттуда, с поворота, виден был пестрый поток беженцев, медленный, великий, угрюмый. Из-под множества ног выбивалась пыль, и пыль скрывала продолжение дороги. Но дорога была, и поток устремлялся дальше, дальше, в бесконечность.

Двигались молча. Казалось, молчание чуть смягчает то, что происходит. И молча, уныло переставляя ноги, шли люди, только что ставшие бездомными их опустевшие квартиры с мебелью старой и недавно купленной, с цветами на подоконниках, с одеждой

в шкафу, которую надевали в праздники, с книгами на этажерках, с посудой в горках остались позади, в нескольких километрах отсюда.

Только сейчас увидела Мария, что сумка стесняла движения Лены, но та приноровилась к этому неудобству и его уже не замечала. Мария взяла из рук Лены сумку. Несли по очереди, и каждый раз, принимая сумку, чувствовала, будто становится она тяжелее и тяжелее.

Шли уже часа три с половиной. Никто не смотрел на часы, Марии казалось, что три с половиной. Груз не давил ей плечи, она взяла с собой только то, что было в ее измученном сознании, измученном сердце, – с этим ничего не могла поделать. Те, кто совсем устал, опускались у дороги на побелевшую траву, их обгоняли машины, обдавая пылью.

Жизнь, как семена будущего, несет в себе надежды. На этот раз все, что было вокруг, лишало надежды. С каждым шагом, рядом с отчаявшимися женщинами, стариками, рядом с отступавшими красноармейцами, будущее отодвигалось так далеко, что и думать о нем бессмысленно. Было только настоящее в самом грозном своем проявлении, – надолго, надолго, надолго, и Мария почувствовала, что не готова к нему.

Когда-нибудь, если сможет, она забудет это. А по-

ка – ноги тонули в песке, хотелось остановиться, передохнуть. Хотелось пить, во рту сухо и горько, словно рот наполнился желчью и не было слюны, чтоб сплюнуть ее. Так хотелось пить, что во всем виделась ей вода – и трава поодаль казалась влажной, и по небу, как по реке, ходили беловатые, почти бесцветные волны. Кто-то сказал, что недалеко плавни. «Дойдем до плавней, вот уж напьюсь».

Она и не заметила, как пропал из виду старик фельдшер. Еще раньше где-то в пути затерялась и повариха из столовой номер пять. Теперь шли с ними другие.

Дорогу перегородила роща. Ветер перебирал вершины придорожных сосен, словно шагал по ним. В воздухе дрожала едва приметная сеть паутины. Паук старательно, не торопясь, точно для вечности, плел из серебряных и голубых нитей свой прозрачный зонт, сквозь который солнце сияло так же открыто, как если бы его и не было, зонта. «Скорей бы до плавней», – облизывала Мария ставшие шершавыми губы.

Где-то позади, словно дальний гром, тупо ударили орудия. Еще раз. Еще.

– Э, други, значит, дело табак.

А! Тот самый, долговязый, в фетровой шляпе пирожком. Он присел на бровку шоссе, снял с ноги ботинок, вытряхнул песок, надел, сбросил другой... Фиб-

ровый чемоданчик стоял под боком, долговязый уперся локтем в него.

– Ну, други, ясно. Город сдадут-таки, – обращался ко всем, кто проходил мимо. – Думал, переждем тут малость, наши отгонят немца подальше, и вернемся. А нет. Чуете? Немец бьет. Наступает, значит... Чего доброго, и нас догонит. Мы пешком, а он на танках. Затопчет... Табак дело! – Он сунул ногу в ботинок, поднялся, подхватил свой фибровый чемоданчик и пошел снова рядом с Марией и Леной.

– Табак, говорю, дело...

Мария не вытерпела, взорвалась. Горечь ухода, неопределенность положения, думы о тете и дяде, оставшихся в городе, нестерпимая жажда, все, что тяготило ее, зло всколыхнулось в ней, и она накинулась на долговязого в фетровой шляпе пирожком.

– Хватит болтать! Слушать тошно. И отваливайте от нас!

– Э, храброе цыпля!

Девушки, и не взглянув на долговязого, уторопленно зашагали.

– Нам бы, Марийка, до какого-нибудь военкомата добраться, – сказала Лена, – и попроситься на фронт. Я и бинтовать умею, и стрелять научусь. Всему научусь, если надо. Я, Марийка, на жизнь крепкая, я горячая на жизнь...

Они посторонились, сзади неся всадник. Конь, вырвавшись из тесноты, скакал по дороге, и копыта поднимали белую, как вода, пыль.

Вон и плавни, наконец. Девушки свернули с дороги, спустились к берегу, топкому и мшистому. У самого берега стояли, склоненные, тонкие березы и осины, мелкие сосенки.

Девушки сбросили туфли, вошли в неглубокую, густую, темно-зеленую воду. Медленно ступая по илистому дну, пробирались они дальше. Раздвинув камыши, Мария наклонилась, чтоб зачерпнуть ладонями воду, и вода под солнцем резким светом ударила в глаза. Мария прижмурилась. Потом раскрыла веки, и в дрожавшем кругу увидела свое сдавленное, вымученное лицо. Тронутая ее руками вода шевельнулась, и шевельнулись на ней опавшие листья берез, осин, сдвинулись и поменяли место хвойные иглы, заметались опрокинутые в плавни вершины деревьев. Жадными глотками девушки втягивали губами воду. Пили из горсти, в ладонях вода была мутной и все-таки вкусной. Прохладные струйки текли по подбородку, прокладывая след на запыленной шее.

– Ох и напилась, – услышала Мария довольный голос Лены. – На неделю вперед...

– И я.

Девушки ополоснули лицо, вытерлись носовым

платочком. Они почувствовали облегчение, точно отдохнули.

Выбрались из плавней.

– Давай, Марийка, перекусим. Попили – и есть захотелось.

– Захотелось.

Глаза отыскивали песчаный пригорок, поросший редкой травой. Присели. Лена вынула из сумки булку, завернутую в газету, вареные яйца, соль в спичечной коробке.

Быстро поели. И – дальше. А небо над ними такое бледное, мягкое, такое бездонное, и казалось, в нем отражено все, что было здесь, внизу: спокойные плавни, полуденный свет, песок, куда ни взгляни. Облачко, возникшее сбоку, выглядело на этом небе чуждо, не на месте.

Впереди показался городок, первый на их пути.

5

Улицы, похожие одна на другую, забиты грузовиками, орудиями, людьми военными и невоенными, санитарными автобусами, походными кухнями, повозками, и оттого выглядел городок гораздо большим, чем был на самом деле. Домики, побеленные голубоватой известью, светились, словно в каждый из них проник-

ло солнце и зажгло их изнутри ровным бледным пламенем. Раскидистые акации накрывали своей тенью тротуары и мостовую, и по этой тени, не сдвигая ее, валили бойцы, тянулись орудия и машины. Регулировщики на перекрестках силились направлять сбившиеся вместе машины и орудия, беспорядочные толпы людей, но из этого ничего не получалось: тесноте ни свернуть, ни отступить.

– А ну, девка, посторонись! Посторонись, говорю! – Мария почувствовала на спине чью-то осторожную, но твердую руку. Оглянулась: молоденький чернявый красноармеец – лицо запавшее, потное, на нем удивительными казались неунывающие глаза и смешливая улыбка. Он подталкивал к крыльцу небольшого домика такого же, молодого бойца, у того перехвачено бинтом левое плечо, правую руку держал на перевязи.

Мария повернулась боком и дала им пройти.

– Садись, – сказал чернявый раненому. – Перемотаю тебе обмотку. Ходишь как шалава.

Раненый послушно уселся на ступеньку крыльца. Чернявый размотал обмотку на ноге раненого. Потом начал класть на нее виток за витком. Витки, как литые, обтянули ногу.

– Ну, порядок, – помог раненому подняться. – Теперь и девке вон понрависься, – подмигнул чернявый

Марии.

Мария потянулась за этим красноармейцем. Но тот, не замечая ее, разговаривал уже с пушкарями, в толчее пробивавшимися с тремя орудиями.

– Ребятки, это – что? – смотрел он на пушкарей, показывая пальцем на орудия.

– Очи повылазыли, не бачишь? – откликнулся степенный боец, шедший у переднего орудия.

– А? Что? – допытывался чернявый.

– Артиллерия, раз не понимаешь...

– Какая же это артиллерия? Хм... Артиллерия должна стоять стволами в сторону противника. Вот тогда это артиллерия...

– Проваливай, пехтура. Чего ты понимаешь!.. – отрезал степенный и крикнул кому-то, сидевшему на тягаче: – Двинулись. Вперед.

– Вперед – отступая? – озорно усмехался чернявый.

Пушкарь уже не слушал его.

Лена девалась куда? – испуганно озиралась Мария. Вон, вон она, увидела ее поодаль. Лену оттеснили от нее. Мария протиснулась к ней, они снова были вместе. Чернявый и тот, раненный в плечо и руку, пропали в толпе.

Выбрались на окраину. Но и там было тесно – машины, люди. Шли красноармейцы: волосы, пилотки,

сбитые набок, на затылок, лица, гимнастерки, обмотки, ботинки одного цвета – цвета пыли, по которой красноармейцы ступали. На уже порыжелую траву матери укладывали сморенных, сонных детей, подложив под головки узлы, вынимали из вялых ручек куклы, мишки, погремушки и совали бутерброды, яички, булочки, поили из бутылочки молоком.

– Ленка, слышишь? – Мария настороженно посмотрела вверх. Гул, сначала невнятный, быстро нарастал. Можно было подумать, это ветер торопливо гнал по небу гремящие облака. Облаков не было, одинокая тучка давно растворилась в синеве: ни одного пятнышка, ни одной трещинки на сквозном небе. – Слышишь, Ленка?..

На городок надвигались самолеты. Небо покорно поддавалось им, расстилая перед ними бело-голубую дорогу на городок, которого они своими крыльями уже коснулись. Гул, теперь злобный, сверлящий, наполнял все небо. Небо распадалось на куски, секунда – и куски обрушатся на землю и придавят на ней все.

– Ленка! Бежим!..

Все тронулось, суматошно заметалось, понеслось. Бежали к видневшейся невдалеке длинной балке, бежали к зарослям акации, начинавшимся у крайних домов, бежали, испуганно останавливались, опять бежали, не отрывая от неба растерянных глаз. Те, что

не успели кинуться в балку, в заросли, притулились к стенам домиков, обвитых угасающими плетями дикого винограда. Городок притаился, замер в мучительном ожидании. Кто-то истошно завопил:

– «Мессеры»! «Мессеры»! Зубчатые вырезы вон на крыльях! Это «мессеры»!..

Как будто не все равно, «мессеры» или другие самолеты несли городку смерть.

– И «юнкерсы»!.. «Юнкерсы»!..

Самолеты уже бросили тень на все внизу, и все потемнело. Гром потряс землю, и городок мгновенно вспыхнул. Потом с неба густо посыпался пулеметный грохот, похоже, по крышам, по стенам, по мостовым яростно барабанил неистощимый крупный град.

Мария потеряла Лену из виду. Она прижалась к земле лбом, закрытыми глазами, дрожавшими губами, грудью, животом, коленями, – искала спасения, ждала спасения; земля всегда была добра к ней, кормила, поила, держала на белом свете. «Спаси, побереги меня, земля, – билось сердце в мольбе. Спаси, спаси!..» И вдавливалась в землю. «Спаси! Спаси!..» – мысленно кричала она. И ждала спасения.

Мария представить себе не могла, что в небе может быть столько самолетов. Это было невероятно. Это было непостижимо. Но это было так. И все они висели над нею, беспомощно распластавшейся у домика,

только над нею, ни на шаг не отдаляясь, и длинные пулеметные очереди вбивались в землю рядом. Будто у головы, у ног гулко вбивали одновременно тысячу гвоздей.

Минута, две, три, четыре, вот-вот повалится городок, домики его, сады, навсегда погаснет день, – ничего не останется, кроме судорожно бившегося сердца, кроме страха. «Я убита... убита...» – дернулись прижатые к земле губы. Земля источала дух смерти. Так, наверное, пахнет в могиле. Первый раз, лежа на земле, ощутила Мария могильный дух, каким он ей представлялся. И отчетливо услышала свой долгий крик, он должен был уберечь ее от смерти.

Даже когда небо утихло, еще не верилось, что уже не стреляли, прислушалась: рокот отходил куда-то. С усилием приподняла голову, но глаза, засыпанные песком, ничего не видели. Свело челюсти, она не могла раскрыть рот. Дрожь, охватившая тело, не унималась.

Она вдохнула воздух, стало немного легче. Поморгала, разомкнула веки. Струя синего света, как вода, промыла глаза: небо снова висело высоко. И она испугалась неба. Показалось, что все еще слышит пулеметную дробь над собой, и рядом с собой, и вокруг себя. Трава, камни, деревья, гусеницы, птицы – ничто не испытывало страха, земля была для них землей,

небо небом. Никогда раньше не приходилось думать об этом. А сейчас с болью и завистью подумала.

Она вскочила и увидела себя недалеко от искромсанного бомбовыми осколками крыльца. Домика не было. Только что был домик, со стенами, поддерживавшими крышу из сверкавшей жести, с окнами, смотревшими на теплую траву, на голубоватое с оранжевыми тучками небо. Бесформенные остатки стен поднимались над землей, наискось торчала оконная рама без стекол, как бы врезанная в воздух, и в разверстой раме виделось перевернутое корыто, изрешеченное пулями, и возле него, на полу детские пеленки. У крыльца растянулся старик в одной туфле, другая нога была голый, видно, не успел отбежать от дома и бомба настигла его.

Солнце по-прежнему спокойно покачивалось на тыкавшейся к штакетному заборчику яблоне.

А Лена? Где Лена? Лена лежала на земле, усыпанной желтыми листьями. Глаза ее устремлены в уже успокоенное небо. Но странно недвижим ее взгляд. Но голова закинута назад, по ней текла тонкая струйка, и волосы красно намокали, а на лбу, еще не тронутая струйкой, тарацилась белесая, как спелая солома, прядка.

– Лена! Лена!

Долгое мгновенье Мария не верила тому, что виде-

ла. Потом поняла. Лене уже не дойти до Яготина, не добраться до какого-нибудь военкомата, не научиться стрелять. В нее выстрелили раньше, чем она научилась стрелять... Значит, понадобилась и непрожитая жизнь Лены, чтоб война была войной?

Мария коснулась ее плеча. Кровь, тепло не успели совсем уйти из ее тела, и она жила еще два-три мгновения какой-то другой, никому из живых непонятной жизнью.

– Ленка!..

Несколько минут назад вместе бежали они, боялись, на что-то надеялись.

Лицо Лены померкло, лишь на щеке, повернутой к небу, дрожало пятно багрового румянца, это тоже была кровь, стекавшая с головы. Ни страха, ни страдания лицо не выражало, и Мария поверила: Лене не было страшно, и больно не было.

Никогда еще не видела Мария убитого человека. Лена – первый. И она подивилась той малости, какая отделяет эти состояния – жизнь и смерть.

Еще недавно, вступая в комсомол, писала Мария автобиографию – две неполных строки на листке из ученической тетради: когда родилась, где учиться, и еще о том, что редактирует школьную стенгазету. Девчонки дружно смеялись – у всех у них полторы-две строки. И было в этом предвкушение начинавшейся

и, конечно, радостной жизни. Жизнь, оказывается, это совсем недолго.

Мария хотела бежать. Все равно куда. Лишь бы отсюда, лишь бы отсюда, лишь бы отсюда. Все равно куда, лишь бы отсюда. И не могла отвести глаза от Лены, раскинувшей на земле руки и ноги. Но Лены уже нет, словно и не было никогда. Потом взгляд упал на девочку с розовым бантиком в косичке, прикорнувшую к Лениному боку. Вся в цветочках, замерших на ситцевом платице, казалась она крошечным кусочком луга. Подол платица завернулся, обнажив мокрый красный животик. Возле – голова на тротуаре, ноги на мостовой – лежал милиционер, на виске звездный след пули, он держал эту девочку за руку: наверное, хотел увести куда-нибудь в безопасное место, и не успел. Милиционер лежал на правом боку, и видно было, как мешает ему врезавшаяся в бедро кобура револьвера, но он и не шелохнется, чтоб улечься удобней. Тоже убит. Мария и не заметила их, ни девочки, ни милиционера, когда вдавилась в землю возле крыльца белого домика.

Вырванная было из действительности, она снова соприкоснулась с ней. Но теперь действительность была уже другой, и Мария ничего не узнавала.

Она переступила через Лену, через девочку с розовым бантиком в косичке, переступила через милици-

онера и, будто слепая, неуверенно побрела. Она двигалась, озираясь, и несла в себе испуганное, бьющееся сердце, горячую, встревоженную кровь, страх и надежду все-таки уцелеть, все-таки продолжаться в этой жизни, такой зыбкой, жестокой, неприятной, на которую обречена и от которой не в состоянии была отказаться.

Посреди улицы стояла женщина. Лицо ее выражало безумие, рот судорожно раскрыт – женщина кричала. Мария видела, что женщина кричала, но крика не слышала – только неясный звон в ушах. У ног женщины мальчик – пухлые щечки, будто два надутых мячика под кожей лица. Женщина пыталась поднять мальчика и не могла, так отяжелел он, мертвый. Мария хотела помочь женщине. Но слабы и ее руки. А та зашлась в вопле: пробудить, пробудить мальчика!..

Мария двинулась дальше.

И опять – женщина. Опять ребенок. Наваждение? Одно и то же повторяется в притупившихся глазах? Ребенок в голубом чепце, словно головка закутана в кусок чистого летнего неба. «Годика два», – определила Мария. Лицо женщины спокойное, даже слишком спокойное, и Мария поверила и женщина и ребенок на самом деле. Женщина совала в ротик ребенка бутылочку с молоком. Ребенок мертв, – было ясно. Оборвано дыхание, стеклянные глаза ничего не виде-

ли, они остановились, но женщина этого не замечала: это все еще был ее ребенок. И решительными жестами отгоняла она муху, кружившуюся над недвижно свесившейся головкой. Только младенцы умирают бесстрашно, только они встречают смерть с открытыми глазами. Их еще не успели научить остерегаться.

Мария рванулась, побежала от женщины, совавшей в мертвый ротик ребенка бутылочку с молоком. Но сколько б ни бежала, женщина и розовое молоко на губах ребенка были перед нею.

У опрокинутого на углу зеленого киоска Союзпечати с разлетевшимися вокруг газетами, журналами, брошюрами плакали женщины, глухо, в себя. Плакали дети, громко, неистово, как бы призывая весь мир в свидетели, что ни в чем не виноваты.

Мария увидела повариху из столовой номер пять. Навечно скорчившись, лежала она под акацией. Над нею склонился старик с бритым коричневым лицом – фельдшер, узнала Мария, тот, у которого сын коммунист, погибший девять дней назад. В стороне лежала его палка, сломанная, узелок развязался, и у ног валялись раздавленные ампулы, смятые булки, кусок растоптанной ветчины и еще – перехваченная резинкой пачка писем. Мария прошла мимо, не остановилась. Она знала, старик фельдшер, и повариха под акацией, и девочка с бантиком в волосах, милицио-

нер на мостовой, и розовое молоко на губах ребенка, и Лена, Ленка, Леночка останутся в ней навсегда из сердца нет выхода.

Она двигалась наугад, не рассчитывая выбраться отсюда. Выбраться некуда. Пусто стало на свете, хоть километр пройди, хоть сто и больше, все, что находилось за пределами этой улицы, не существовало, не могло существовать, несомненным было только то, что видела. Кружилась голова, улица кренилась, и Мария силилась сохранить равновесие, это никак не удавалось. Плечи давила беда, и сбросить ее не было никакой силы. Убитые раненые – убитые – раненые – убитые... Она переступала через них, ноги подкашивались, и переступала, переступала. Девочки – мальчики – мальчики девочки... Женщины – старики – красноармейцы...

Перед ней расстился мир, потерявший милосердие.

В самом деле, мир, в котором жизнь человека ничего не значит, это уже не мир людей, это что-то такое, чего и вообразить нельзя.

Бездумно свернула Мария в какую-то улицу, прошла еще немного, снова свернула. Почувствовала, ей чего-то не хватает. А, туфли. Туфли, вспомнила, отлетели в сторону, когда упала, услышав пулеметный треск над собой. Только теперь ощутила: в ступнях

покалывало, словно наступала на гвоздики.

Она шла вперед, она не знала, куда это вперед, но идти надо было. Податься в любую сторону в поисках спасения, но какая из сторон правильная? Она уже безразлично воспринимала окружающее. Пахло кровью и дымом. Этот удушливый запах заполнял все.

Надежды на будущее кончились, словно их и не было никогда. Это несправедливо, если тебе лишь семнадцать. А может быть, может быть, надежды там, далеко, куда война еще не дошла? – искала она утешение. Ей очень нужно утешение. И она придумывала все, что можно в горе придумать. Но и те, которых только что убили, до последнего мгновенья тоже полагались на надежду, – испугалась она за себя. И она ведь могла остаться возле Лены, совсем, навсегда! «Мама, мама, мамочка, – простонала она и закрыла лицо руками, и почувствовала – слезы обжигали пальцы, и ничего поделать с собой не могла. – Я такая слабая... Я и не знала, что я такая слабая... Мне не устоять...»

Война всей тяжестью, со всей жестокостью обрушилась на нее.

6

Понемногу приходила Мария в себя. Медленно и

трудно принимала действительность, какой она была: и мертвую Лену, и одиночество, и все остальное.

Перед глазами лежал прибитый к земле городок. На улицах, совсем недавно еще живых, нескладно топорщилась только нижняя половина домов, словно городок не достроили. И это делало его неприятно однообразным. Куда бы Мария ни свернула, ей казалось, что шла одной и той же улицей.

На площади горела санитарная машина. Поодаль пылала бензозаправочная цистерна. В нее попали осколки, и из цистерны вырывался багровый огонь, смешанный с тяжелыми клубами дыма. Вот-вот, казалось, займется огнем сухой воздух и загорится небо. Санитарную машину, бензозаправочную цистерну объезжали повозки; ездové яростно нахлестывали лошадей, лошади упирались, вздымались на дыбы, опрокидывали повозки. На мостовой – грузовики с искореженными радиаторами, легковые машины с пробитыми крышками... И над всем этим крутились желтые облака дыма.

Умер мир, несший на себе свидетельства уверенной и мудрой руки человека, – мир вернулся в первозданный хаос и горел и дымился еще...

Люди тоже, как и улицы, выглядели странно одинаковыми, такими их сделало страдание. Они двигались, жестикулировали, что-то говорили, кричали, это

были живые люди, их встречала Мария вчера, шла с ними утром по Крещатику. Взбудораженные, шарахались они из стороны в сторону, не могли успокоиться, ужас, только что пережитый ими, в их сознании продолжался. В последние полчаса она видела столько мертвых, что невольно подумалось: живых уже не осталось.

На тротуарах громоздились разбитые чемоданы, корзины, брошенные, ненужные, валялись выпавшие из них вещи. Все это выглядело лишним каждому достаточно было того, что на нем. Вещи утеряли свой смысл. Подумалось об истинной мере ценностей. Люди несли небольшие узлы, самое необходимое. Белье, одеяло, хлеб, соль, спички...

Поддерживая рукой приклады винтовок, пробежали два красноармейца. Красноармейцы скрылись за поворотом улицы.

Мария чего-то ждала. Чего? Она и сама бы не ответила.

Что-то надломилось в ней. Того, что произошло, не могло быть. Она видела кинофильмы, видела, как лихо гарцевали буденновцы, видела, как решительно врывались они в стан врага и неизменно, всегда побеждали. Что же теперь? Или воины уже не те?..

Она тревожно вскидывала глаза вверх, в небо. Небо было по-прежнему бело-голубым, и какое-то об-

лачко опять передвигалось, направляясь в Киев.

В нескольких шагах – группа людей. Они говорили, выражали сомнения, что-то друг другу доказывали. Мария вслушивалась в разговор. Осталась какая-то «щель», – сказал кто-то, – не то у Барышевской переправы, не то за Березанскими хуторами, она и не представляла себе, где это, и говорили – надо спешить, чтоб проскочить в эту самую «щель», пока немцы не завершили окружение войск, обороняющих Киев. Но на пути – засады, заслоны, еще что-то такое, чего она не понимала. Наши части, говорили, с боями продвигаются на восток. Но ясно стало, что и впереди и позади советские войска, и это успокаивало. «Не можем же мы остаться у фашистов...» До Марии донесли слова о станции, о поезде.

– Что вы чудите? Какой поезд? – раздражался человек с небольшой головой на длинной шее. Расстегнутый железнодорожный китель неловко висел на его узких плечах. – До Полтавы на собственной тяге. А там уже – поезд.

«Все-таки – поезд. Значит, где-то еще идут наши поезда?..»

– До Полтавы, говорите? – протянул разочарованный, недоверчивый голос.

– Вас, конечно, больше устраивает Дарница, – огрызнулся тот, в железнодорожном кителе. – Меня

тоже. Но тогда вам надо вернуться, – с издевкой пожал плечами, – не так далеко...

«Не так далеко?..» А казалось, до дома, где лежит на диване больной дядя и, потрясенная, мечется по комнате тетя, такое расстояние, – и свету понадобилась бы вечность, чтоб его достичь.

– Что же делать? – Голос того, недоверчивого, уже растерянный.

«Да, да, что же делать?» – пробуждая в себе надежду, прислушивалась Мария.

– Идти, вот что делать.

«Идти...»

– Как – идти? Мы же не знаем обстановки.

«Ну вот, еще беда – обстановка...»

Ослабевшая от пережитого, Мария жалобно уронила лицо в ладони. И услышала, что плачет.

– Эй, передавай по цепи! По цепи! – Зычный голос поднял ее голову. По дымившейся улице бежал командир со «шпалами» в петлицах гимнастерки, рука придерживала кобуру на бедре. Потное лицо будто тоже дымилось. Он кричал кому-то, невидимому: – Прямо – нельзя! Противник дорогу перекрыл. Поворачивай на проселок, на север! На север! В лес!

Нет, нет, оказывается, люди не подавлены, они и сейчас продолжают воевать. Мария почувствовала себя увереннее и благодарно смотрела вслед пробе-

жавшему командиру со «шпалами» в петлицах.

– В лес! – кричала площадь.

И враз оторвались от площади колеса машин. По широкому проселку ринулись грузовики с открытыми кузовами, грузовики с кузовами, обтянутыми брезентом, бензоцистерны, санитарные автобусы, повозки с бешено рвущимися вперед лошадьми. Понеслись и люди. Мария чуть не крикнула: «Ленка, бежим!», и кинулась, куда устремились все. Значит, на север... Значит, в лес...

Перехватывая грузовики, люди на ходу цеплялись за борта сзади, повисали на них и, поджав ноги, вваливались в кузов, иные, не удержавшись, срывались и падали на дорогу. Перед яростно мчавшимися машинами Мария то и дело отступала на обочину. Она тоже было бросилась наперерез грузовику, но, рассчитав свои силы, отпрянула в сторону. Пыль из-под колес хлынула на нее, и она прикрыла глаза. Но мир не обрёл неподвижности.

Вдалеке тускло синел лес.

Солнце висело теперь совсем низко, ниже вершин сбившихся у дороги сосен, где-то посередине стволов, отбрасывая бледный, прохладный свет.

Мария продолжала бежать. Тень бежала чуть впереди, и Марии казалось, что все время настигает ее. Босые ноги подламывались, словно не могли держать

отяжелевшее от страха тело, и она замедляла бег, напряженно раскрытым ртом захватывала воздух, и все равно задыхалась. Сердце колотилось: Лена, Ленка, Леночка... Лена! – бежала она и звала, бежала и звала. Словно забыла, что Лена, Ленка, Леночка осталась там, у крыльца, обвитого желтеющими плетями дикого винограда.

Машины пронеслись одна за другой, на проселке бурлила пыль. Золотистая днем, пыль потускнела. Сквозь нее проступали головы, точно выплывали из мутной воды, и катились по дороге, спрятавшейся в поднятой над нею пыли. Теплая пыль обдавала ноги, лицо Марии, и когда ладонью проводила она по лбу, по щекам, на пальцах оставались сгустки грязи.

Утомленно вскинула Мария глаза кверху: на дорогу набредали тяжелые тучи, и было непонятно, как удерживались они в высоте. Мятое небо неопределенно двигалось во все стороны сразу, постепенно темнело и стало заметно убывать. Небо отступало, отступало и, когда Мария вошла в лес, осажденный темнотой, совсем пропало.

Темнота ударила в глаза. Глаза ничего не видели. В темноте глаза ничего не значат.

Мария чувствовала под ногами песок, траву, песок и трава стали черного цвета.

Лес обступал ее, не пускал дальше. «До утра и не надо дальше», подумала. «До утра и не надо дальше... – произнесла негромко. – И утром не надо. Со всем не надо. Это конец...» Ее не покидало ощущение оторванности от всего. Что-то непоправимо разрушилось, что-то главное лишилось смысла в этом утратившем себя мире, в котором и надеяться уже невозможно. Пока ее вела надежда, все было впереди и ничто не могло ее сломить. Теперь она почувствовала, что сломлена, почувствовала пустоту в себе, вокруг, и в пустоте этой не было места надеждам. «Опуститься на землю и уже никогда не вставать, как Лена...» Перед ней возникла Лена, та, смешливая, что рыла противотанковые рвы на окраине города, и та, с красными наплаканными глазами в коридоре библиотеки, потом белесая, как спелая солома, прядка на лбу. «Ленка!..» Мария даже застонала. Как любила она смотреть в праздничную голубизну неба, чуть присыпанного маленькими розоватыми облаками, любила искать в нем цветы, такие, которых не было на земле. Теперь она знала, каким ужасным может быть небо. Она безотчетно подняла глаза: тьма, сплошная тьма – неба не видно, это странно успоко-

ило ее.

Слышно было, устраивались на ночь те, кто, как и она, двинулся по проселку, на север. Она слышала голоса, видела попухивавшие огоньки за деревьями, будто падавшие звезды зацепились за нижние ветки и повисли на них. «Курят», – напрягала она слух. Просека угадывалась за елями, недалеко.

Что делать? Что делать? Воображение рисовало страшное. Немцы в лесу. Волки в лесу. «Пойду на голоса, – решила Мария, – пойду на огоньки. Ночью хорошо вместе. Только день открыт глазам...» Недалеко упала шишка. Шишки все время слетали с сосен и шумно ударялись о землю. И каждый раз Мария вздрагивала и чего-то ждала, ждала.

Она сделала несколько шагов, оступилась – набрела на пень. Шаг, еще шаг... Трава под босыми ногами прохладная, жесткая. Мария не знала, куда именно надо идти, ощупью пробиралась от дерева к дереву, натолкнулась на кого-то, прикорнувшего у комля, наступила кому-то на ноги, тот и не почувствовал этого, не шелохнулся даже.

«Ель», – провела руками по низко опущенным ветвям. Она сознавала, что слабеет с каждой минутой. Ноги едва стоят, шея уже не держит головы. Тупая усталость валила ее на землю. И в конце концов повалила. Изнеможение убивает так же верно, как и об-

стрел с неба, – кротко вздохнула. Положив голову на локоть, уткнулась лицом в глубокую траву.

Она поняла, что встать уже не сможет, ни через час, ни завтра никогда. Но мысль эта ее не тревожила, один день, только один день прямого соприкосновения с войной, и она так разбита. Память освободилась от воспоминаний, представлений, от переживаний этого дня, точно их и не было, точно ничего никогда не было. Показалось, что до сих пор жила она в мире, в котором ничего не происходило.

Какая-то первозданная тишина стояла на земле. Будто все вокруг опустело. Даже представить себе нельзя выстрела, немца... словно там, в городке, где умерла Лена, умерла и война. «Ну невозможная тишина», вслушивалась Мария. Она лежала и думала, мысли были медленные и короткие, они быстро менялись, не оставляя в сознании и следа.

Что-то кольнуло в щеку. «Еловая ветка», – постигла цепенеющим сознанием. Но отодвинуться не могла. Она смежила веки. Все расплывалось, уходило, гасло, обрывалась нить, соединявшая ее с самолетами, с пылью на дороге, с голосами и огоньками в лесу... Надвигался сон.

Когда она проснется, все это повторится, – еще смогла подумать об этом – мертвая Лена, стреляющее небо, вязкий песок, боль в босых ногах... Это уже

надолго. И уже не будет трудным. Глаза привыкнут видеть ужасное. Ноги одубеют. И руки. И сердце тоже. Что знала она до сих пор? Ничего, ничего... Ночь навалилась, зачеркнув окружавший ее мир. Мария засыпала с бесстрашием изнуренного человека, у которого уже ни сил, ни желания защищаться от чего бы то ни было.

Глава четвертая

1

– Валерик, пошли.

Андрей вышел из блиндажа. Слегка раздвинув ноги, стал у молодой сосны. Он смотрел из-под ладони вверх и жмурился: сухое полуденное солнце било в глаза. Сосна пахла теплом солнца, и воздух был теплый. Будто и не приходили холодные, зябкие ночи. Он опустил голову и разомкнул веки. На земле лежал спокойный свет сентябрьского неба.

Андрей притронулся к пилотке, как бы проверяя, на месте ли, зажал в руке ремень автомата, висевшего на груди, поправил бинокль на ремешке, планшет на боку. Можно идти.

– Валерик! – «Чего замешкался парень?»

– А я вот он, товарищ лейтенант, – выскочил Валерик из блиндажа.

Проворный, живой, ни на минуту не отходил он от командира. По взгляду, по жесту улавливал его желания и с пылкой ребячьей готовностью бросался выполнять их. А тут, как назло, завозился: пилотку не

сразу отыскал.

– Я вот он, товарищ лейтенант.

– Пошли.

– Ага.

Валерик улыбнулся. Он улыбался всему. Война этому его не учила. Он улыбался от радости, откровенной и ясной, что идет вот с лейтенантом, что воздух пахнет водой и нагретым песком, что скоро наступит вечер, а завтра снова будет день и будет вечер... Он шел и улыбался. «У него это как из земли трава», – почти с завистью подумал Андрей. Во всем облике, в глазах, в улыбке виделось еще не кончившееся детство. Слишком верил он, Валерик, что жизнь обязательно удачлива и еще многое ему даст, что все плохое не надолго, а хорошее возле. Андрей попробовал представить на еще слабом лице Валерика складки в уголках по-детски припухлых губ, морщины на гладком лбу, рубцы от крыльев вздернутого носа до подбородка с озорной ямочкой посередине, – не получалось.

Шли вдоль извилистой линии траншеи. Солнце и ветер высушили бруствер, он кое-где осыпался, выложенный на нем дерн тоже подсох и завял, как бы постарел. «А хорошо, траншея», – довольно смотрел Андрей перед собой. Дело приказал ему комбат – рыть траншеи, когда начали окапываться здесь. Окоп-

ная ячейка, конечно, укрытие, да боец в нем один на один со своим страхом, неуверенностью и со всякой другой чертовщиной. А в траншее не так страшно солдату, сознание, что все тут – локоть почувствовать можно, ободряет. «Рой траншею», – сказал комбат. «И верно, траншея – хорошо», продолжал Андрей смотреть на неровную узкую линию рва с бруствером, поворачивавшую чуть в сторону.

– Давай, давай, – поторапливал Андрей, хоть Валерик ступал не отставая. Просто он выражал свое нетерпение. Его срочно вызвали на командный пункт батальона.

Он не мог избавиться от тревожного состояния, овладевшего им после ночного боя. Атаку рота отбила. Но чувство напряженности не ослабло. Он и глаза еще не смыкал. «Вот тебе и второй эшелон...» – хмуро усмехнулся Андрей.

Провод связи, едва приметный в уже старой жилистой траве, то выползал, то снова западал в полусухую зелень. Андрей и Валерик протиснулись сквозь заросли ивняка, следовавшие кривой черте обрыва, и пошли по его кромке. Ноги вдавливались в глубокий песок. В разное время дня ходил здесь Андрей, и когда песка касались солнечные лучи, он становился нестерпимо белым и горячим, как вот сейчас, и тусклым, словно это был пепел, лишь только смеркалось.

Внизу пустынный берег, до странности пустынный, и тихий, лишь всплески набегавшей воды доносились сюда, наверх. На воде лежало все: крутой откос, подрагивавший на мелкой ряби, бредущие облака, громоздкие, рваные, лесные вершины, упавшие в реку на том берегу... Слева, далеко, простирался луг, до самой рощи и холма с еле видимой тригонометрической вышкой, пронзающей покато там небо.

Тишина, как и вчера ночью, когда Андрей шел на левый фланг роты, накрыла пространство. Ни человеческого голоса, ни птичьего гомона. И дорога, белевшая за откосом, к переправе и за переправой, теперь недвижна, на ней и пыль не клубилась: казалось, жизнь ушла отсюда, совсем. И не верилось, что недавно все тут сотрясилось от снарядных разрывов, от лязга танковых траков, от пулеметной трескотни – распадалась земля и небо распадалось, даже дно траншеи тряслось, вздыбленный черный прах, перемешанный с дымом, забивал дыхание, ел глаза. Будто ничего этого и не было – тихий день с ленивым ветерком в вершинах бронзовых сосен, как бы источавших жар, тихий, очень тихий день, и только свет его открывал черные следы боя на лугу. Над головой невозмутимо синело небо, и нельзя было подумать, что такое небо могут кромсать фальшивые звезды трассирующих пуль, может застилать туча пыли и осколков;

и земля под ногами мягкая, добрая; нет, на такой земле не могут валяться убитые, не может быть заляпана багрово-черным цветом мертвой крови трава – веселый зеленый цвет жизни.

Андрей шел, опустив голову, не сводя рассеянных глаз с переступавших сапог, с протертых складок на голенищах, смотрел, как заравнивались обозначавшиеся в песке следы шагов. Дорога из города, двигавшаяся всю ночь, и атака немцев на рассвете, и вот приказание незамедлительно прибыть на командный пункт, – в голосе комбата Андрей уловил тревожные интонации. Все это смешалось в его взволнованном, еще не успокоившемся сознании.

С каждым шагом Андрея охватывало беспокойство: а вдруг противник опять попробует опрокинуть боевые порядки роты – в любую минуту может повторить атаку. А ребята, те, кто остался, вымотались, так вымотались в минувшем бою, что повалом, не разобрав где, уткнулись в землю и уснули. Ну во взводах выставили усиленное боевое охранение, ну Писарев в роте, и Кирюшкин не растеряется – тотчас достанет его, если что... Немцы учитывают, конечно: ночной бой раскрыл, что такое роцца за лугом и холм правее роцци, и понимают – на другой стороне кое-что делают, предполагая повторную вылазку противника. И все-таки мысль о возможной атаке не уходила. И немцы,

конечно, измаялись, не без того. Но могут им свежие силы подкинуть. Беспокойство не давало думать ни о чем другом. Не знал же Андрей, что делалось на переднем крае противника, не знал, что накапливалось там в глубине. Скорее, скорее. Кончить дело у комбата и назад. В роте как-то уверенней чувствуешь себя.

В воздухе стоял невыветрившийся запах тола и пороха, жженой земли, даже смолистый дух соснового бора не мог сбить этот запах. Андрей шагал по толстым и гулким окаменевшим корневищам, перекинувшись от сосны к сосне. Валерик следовал за ним, шаг его был неровный и частый – чтоб не отстать. Сколько раз шел он этим путем и всегда вот таким образом – частил и спотыкался о корневища, присыпанные желтыми и бурыми и уже почерневшими хвойными иглами. Иглы покрыли запылившиеся ботинки, нацепились на обмотки, гладкими витками облепившие ноги. Пилотка с малиновым кантом осела до ушей, а на правом боку чуть не все ухо прикрыла. Озорные искорки в глазах, светлых, как вода под солнцем, с двумя острыми камушками посередине на дне, еще больше придавали ему вид мальчугана. Казалось, он никогда не станет старше.

– Поднаддали фрицу, товарищ лейтенант, – пробовал Валерик заговорить с Андреем, и ожила ямочка на круглом подбородке. Ямочка делала веселым лицо

Валерика. – Здорово поднаддали, верно?

Андрей промолчал. И Валерик, подождав немного, сам себе сказал:

– Поднаддали...

Еще несколько шагов.

– Чего-то опять затеет он, товарищ лейтенант? Фриц же...

Андрей продолжал молчать.

Вышли из сосняка. Оба повернули голову: перед глазами все тот же широкий, далеко уходящий луг с островками воронок среди перепутанной травы. Еще вчера луг был похожим на луг, сегодня напоминал он пал, и те, не тронутые огнем клочки травы, уже не могли придать ему настоящего вида. К зеленым, желтым, голубым краскам, почти стертым, добавился густой черный цвет гари, и цвет этот особенно бросался в глаза, подавляя остальное, даже красные фонарики татарника были погашены черным. Посреди луга торчали искореженные остовы танков, трех из семи, двинувшихся на позиции роты. Пятнистые громады вгрузили в землю, и можно было подумать, что луг немислим без них, как без травы.

Андрей вскинул бинокль, хотелось лучше разглядеть вырвавшийся вперед танк. Танк круто накренился, всей тяжестью наваливаясь на сбитую гусеницу, лежавшую перед ним, как иссякшая тропинка, которая

никуда не ведет. Солнце окутало танк, зажигая отполированные катки, и белое железо отбрасывало свет, на который нельзя было смотреть. На броне черные пятна остывшего огня; два больших ворона, как два куска, оторвавшиеся от ночи, сидели на беспомощно задранном кверху стволе пушки. У недогоревшего танка – убитые. Убитые сегодня на рассвете. Бинокуляр приблизил и холм, и рощу, и тех, убитых, приблизил настолько, что Андрею показалось: ступи он чуть вперед, в направлении луга, и окажется возле них. Ветер тянул оттуда, он доносил душный трупный запах. Может, Андрею так показалось. Потому так показалось, что увидел в бинокль убитых.

Нет, луг этот, даже такой, каким стал, не приспособлен для кладбища. Вон качаются оставшиеся розовые и белые головки клевера, крепким духом дышит трава, шевелятся в воздухе перед глазами прозрачные крылышки кузнечиков и стрекоз, сверкает изогнутая паутина, она тянется, цепляясь за что попало, и, как подвешенный к небу, спускается по тонкой и длинной серебряной нити паук. Но война всюду делает кладбища. Ничего более. Потом и тут возникнут низкие деревянные обелиски, и они будут торчать из земли, точно сами выросли, как вырастают кусты, деревья. Картина эта ему знакома, уже немало прошел он дорогой войны и видел могилы с камнем у изголовья,

просто безвестные скорбные бугорки. И развалины, столько развалин! Можно подумать, что кладбищ стало так много, гораздо больше, чем городов для живых.

Перед мысленным взором Андрея снова возник бой, и увидел он его более определенно, чем на рассвете, будто происходило это сейчас вот, видел он и то, что в напряженной суматохе и не заметил даже. Из-за реки ударяют батареи. И рота открывает фланговый пулеметный огонь и отсекает, прижимает к земле следующую за танками пехоту противника. А на переправу танки не пошли. Немцы ринулись на взвод Рябова, на окопы Ваню. А Рябов – гранатами, бутылками! Он переполз за бруствер, за ним Юхим-Юхимыч и другие бойцы. Первый танк, тот, который Андрей рассматривал сейчас в бинокль, – его, Рябова. Его и Юхим-Юхимыча. «Здорово эти бутылки! – восхищался Андрей, вновь и вновь переживая происшедшее. – Бутылка против такой махины! Памятник, памятник тому, кто додумался до этого...» А Ваню, Ваню! Открыл фланговый кинжальный огонь, отсечный огонь по пехоте. Ну и парень этот с виду дурашливый Ваню. Немцы огрызались – сыпали из минометов, осколки вонзались в бруствер, в правый, в левый склон траншеи.

Рота выдержала натиск. Выдержала.

Андрей и Валерик ступали по валявшемуся лапни-

ку, и ветки, как живые, шевелились под ногами.

Андрей прижмурил глаза: солнце. Под солнцем все жило. Медленный ветер шевелил траву, и, замершая, но еще живая, двигалась она ветру вслед – то вправо, то влево, то вперед, то назад; видно было, колыхались вершины деревьев, вдоль которых шел ветер; перекликались птицы в ясной, как бы вымытой, вышине, – всего этого не могло быть ночью. Воевать днем совсем несправедливо, особенно когда солнце в небе и свет на земле, война – дело черное, ночное.

Холм и лес по-прежнему зловеще стояли перед ротой. Теперь, после атаки, уже было известно, что в лесу укрылись вражеские танки, а на холме крупнокалиберные пулеметы противника. Андрей вызвал в памяти опушку леса за холмом и за ней неоглядное пшеничное поле, а за полем длинный коровник с продырявленной снарядом крышей, а дальше – ручей, и еще дальше пустырь, а за пустырем первые дома города. Две недели назад перед западной окраиной города были окопы и его роты. Ничего, что передний край молотили «юнкерсы» с «мессершмиттами» в пару, и танки пробовали утюжить, и артиллерия лупила вовсю, – не смогли немцы врезаться в позицию роты. «Здорово держали оборону, – размышлял Андрей. – Окопались как следует. А ушли сами, по приказанию командования. Немец и не заметил, что ушли».

Словно думал о том же, Валерик произнес:

– И копали же мы там, и рыли, – огорченно покачал головой.

– Ничего, Валерик, – отозвался наконец Андрей. – Потом, когда наступать будем, пригодятся и окопы наши, и ходы сообщения, и все такое. Брустверы же повернуты на запад... Будем же наступать?

– Ага! – с поспешной готовностью согласился Валерик.

– А пока надо готовиться к худшему. – Андрей вздохнул, его мучили опасения, и он не заметил, как вырвался у него вздох.

– А что худшее, товарищ лейтенант? Куда ж еще худшее, товарищ лейтенант?

– Ничего, обойдется, – сдержанно пообещал Андрей.

Он поправил автомат на плече, Валерий, подражая, повторил движение ротного, подтянул ремень винтовки. Начинался орешник. Андрей нагнул голову, стараясь быть ниже кустов. «Следит же, сволочь, откуда-нибудь за всем, что тут делается...» Так шли минут десять. Там, внизу, на левом берегу, чернел лес. От приречного песка несло приятной прохладой. Вон и просека. Пересечь ее, миновать сторожку, спуститься в лощину, подняться наверх, а там и командный пункт батальона близко.

Миновали сторожку, спустились в лощину, прошли немного, выбрались на другую сторону лощины, к старым березам, свесившим поредевшие вершины. Еще прошли. У сосны с комлем, выгнувшимся дугой, Валерик остановился.

– Опять здесь дожидаться вас, товарищ лейтенант?

Андрей утвердительно кивнул головой. Он одернул гимнастерку, сбившуюся у пояса, и ускорил шаг.

2

Над входом в землянку, открывая доступ солнцу, откинут край брезента, навешенного вместо двери. На полу, покрытом хвоей, лежал постоянный сумрак землянки. Наклонившись над котелком, комбат ел кашу. Андрей помедлил немного и, придерживая планшет на боку, шагнул, вскинул руку, почти касаясь виска: доложил, что прибыл по его, майора, приказанию.

Комбат тронул за ухом дужку очков, посмотрел на Андрея невыспавшимися глазами. Посмотрел, словно удивился, зачем тот пришел.

– Хорошо, хорошо, – как бы вспомнил. Под рукавами гимнастерки угадывались длинные костлявые руки. Пальцы почему-то дрожали. Он похлопал по карманам галифе, извлек мятую пачку папирос. Щелчком

выбил из нее папиросу, закурил. Протянул пачку Андрею: – Кури.

Андрей тоже закурил.

Комбат зажал папиросу между пальцами, темно-желтыми от частого курения, и дрожь стала заметней – колебался огонек, лишь возникнув, осыпался пепел.

Комбат немного оживился.

– Хорошо, – сказал опять, уже твердо. Брови сомкнулись у переносицы, думал. – Ну-ка, покрути, – посмотрел на связиста. Словно забыл об Андрее. – Покрути.

Связист понял, кого надо вызывать. Рьяно завертел ручку полевого телефона.

– Я «Земля»! Я «Земля»! «Волна»! Я «Земля»! – сердился связист. – Что ты там, спишь? – уже орал он. – А с ним завсегда так, товарищ майор, весь замутился с ним... «Волна»? Наконец. Зови.

Трубку взял комбат.

– Как у тебя? – Пауза, слушал. – Хорошо. – Пауза. – Подтверждаю: двадцать три ноль-ноль.

Положил трубку. Опять поправил очки, повернул лицо к входу, и стекла вспыхнули на свету. Сам повертел ручку телефона, еще раз повертел.

– «Прибой», все тебе ясно? – Помолчал. – Да. – Еще помолчал. Двадцать три ноль-ноль. Действуй.

Андрей не догадывался, что значит это «двадцать три ноль-ноль». Понял только, что «двадцать три ноль-ноль» было продолжением до этого отданного приказа. Какого? – прикидывал Андрей. Комбат, наверное, скажет, для того, видимо, и вызвал.

Комбат бросил погасший окурок, придавил носком сапога, снова неторопливо закурил, выпустил из ноздрей сизые струи дыма. Взял со столика раскрытый планшет – из-под целлулоида виднелась сложенная карта – и поднялся со скамьи. Так устал он, заметил Андрей, что даже поморщился, вставая.

– Пошли, лейтенант, – показал на прямоугольник света под откинутым краем брезента.

Комбат и Андрей вышли из землянки.

Сухой и длинный, комбат уселся на низком пне, покрытом бронзой пожелтевшего мха. Жестом показал Андрею: садись. Тот примостился у пня, на пыльной траве, нагретой солнцем. Небо было совсем синее. «Таким синим бывает небо только в апреле», – подумал Андрей. И оттого, что небо было такое синее, синими показались ему глаза комбата, хоть и помнил их густо-зеленый цвет, и мешки под глазами были синие, и пепел на конце папиросы был синим.

Лицо комбата осунувшееся не соответствовало тону, каким на рассвете, во время боя, подбадривал Андрея по телефону. Седая голова, седые виски, на

лбу, на щеках, в уголках рта круто проступали окостеневшие складки ему можно было дать и сорок лет и шестьдесят. То были следы не старости, а фронтовой утомленности и непрерывных тревог. Крупные и резкие черты выдавали в нем человека сильного и решительного.

Андрей уже знал характер комбата. Сдержанный, он не выходил из себя. Что бы ни приключилось, лицо его выражало устоявшееся спокойствие. В сложных обстоятельствах по его лицу пробегала мгновенная тень, он прижмуривал глаза, как бы размышляя, по обыкновению доставал папиросу, долго не закуривал ее. И начинался деловой разговор начальника с подчиненным. В размеренных движениях чувствовалась твердость, даже жесткость, и все это не пугало, а привлекало к нему. Он, верилось, и самому себе приказывал со всей неуступчивой строгостью.

А сейчас Андрей не мог разобраться в состоянии комбата, никак не мог взять в толк: что же происходит?

Упираясь ладонями о землю, Андрей привалился спиной к шелковистому стволу березы, от нее тянулась тонкая сеть паутины.

– Достань карту, – сказал комбат наконец. Он вынул из планшета карту, исчерченную пометами условных обозначений. Синие стрелы на карте устремлялись спереди, справа, слева и целились именно сюда,

где пролегал рубеж обороны. Комбат, словно впервые увидел, слишком внимательно рассматривал их.

Андрей убрал руку с земли, к ладони прилипла травинка, и он стряхнул ее. Тоже развернул карту – карандашные линии, угольнички, подковки, кружки: схема переднего края. Но видел он в этом переплетении знаков реальную рощу и просеку в роще, и бугор, и поле, и длинный коровник, а за коровником силосную башню, а дальше – ручей, потом пустырь... Местность представляла перед ним такой, какая она есть на самом деле.

Комбат сосредоточенно продолжал рассматривать пометы на карте. Ни разу не взглянул на Андрея, словно его и не было рядом.

Он достал остро отточенный красный карандаш, тупым концом повел по карте: роща, холм, луг... Тень комбата недвижно лежала на траве, и когда он шевелился, тень тоже проделывала что-то похожее.

– Молодец, – поднял комбат глаза. Теперь смотрел он на Андрея в упор. Он улыбнулся одним уголком губ. – Молодец. Хорошо сработал.

Андрей понимал, к чему это относилось: удачное отражение атаки на рассвете. Не для этого ли вызван? И «двадцать три ноль-ноль» – ничего особенного? Он даже вздохнул облегченно.

– Потери, товарищ майор. Докладывал вам.

– Потери, – согласился комбат. – Война.

Оба помолчали.

– Семеро убитых, так? – Веки комбата заметно дрогнули. – Раненых? Шестнадцать?

– Так точно, товарищ майор. Шестнадцать.

– Когда стемнеет, доставишь раненых на левый берег, в санчасть. Только не по переправе. Начни сколачивать плоты. Небольшие. Повали сколько нужно сосен и давай плоты. Они тебе так и так понадобятся. Так вот, раненых на тот берег. Увезем их. Не только у тебя, во всех ротах убитые и раненые. И батальонный комиссар и мой адъютант старший ранены. Комиссар тяжело ранен, – произнес комбат совсем тихо, в потускневших его глазах отразилась боль, и она медлила уходить. – Всех раненых и увезем. Когда стемнеет. Так. Дальше. Сколько у тебя бойцов?

– Бойцов, без этих, шестнадцати, шестьдесят семь. Виноват, шестьдесят девять. Вместе со связными.

– Шестьдесят девять. Так. – Брови комбата снова сомкнулись у переносицы, как там в землянке, и лицо нахмурилось. – Придам тебе пулеметный взвод. Взвода, конечно, не будет. А все ж... К двадцати четырем переправлю тебе и лодки. Мне, видишь ли, они уже будут не нужны, а тебе, лейтенант, обязательно понадобятся. Немного их, правда, плоскодонок, тоном сожаления сказал комбат и махнул рукой, – а все ж...

– Понял, товарищ майор. Плоты, раненые, пулеметный взвод, лодки... В двадцать четыре? – Андрей сделал упор на словах – двадцать четыре. Может быть, комбат оговорился и поправит его: двадцать три ноль-ноль?

Комбат кивнул: правильно.

Нет, значит, не обмолвился, значит, ротам поставлены разные задачи. Андрей уже не сомневался, его подготавливали к чему-то важному.

– Обстановка сложилась так. – Комбат умолк, словно ему самому не совсем ясно было, как сложилась обстановка, и он хотел подумать. Но тут же круто повернулся к Андрею. – Ты знаешь, противнику удалось пробить нашу оборону севернее города. – Папироса погасла, он собирался затануться и заметил это. – Здесь вот, – показал карандашом на карте, – возможность такого течения событий и предусмотрело командование, когда переводило наш полк на запасные позиции. – Комбат нащупал в кармане зажигалку, прикурил. – Противник обошел укрепрайон и на рассвете намеревался с ходу вклиниться в наш батальонный район обороны и выйти к переправе. Не получилось. Батальон задал ему жару, так? Подразделения противника, атаковавшие нас, тоже довольно потрепаны. Этим обстоятельством мы и воспользовались.

– По тону ваших приказаний, товарищ майор, дога-

дался, что вы были уверены в успехе.

– Хм... По тону... Тон, учти, у командира всегда должен быть такой, поднял комбат указательный палец и долго не убирал. – Иначе разве поднять бойцов, если дело слишком горячее и, возможно, проигрышное? Так вот, противник переправы не захватил. А танки потерял. Ты подбил три, да твой сосед справа – два. А пехоты немца сколько полегло, пусть сам считает.

– Тут уж Ваню, уж Рябов постарались, товарищ майор.

Комбат, точно не расслышал слов Андрея, продолжал:

– Но все равно, задача у противника – наступать...

Он замолчал, как бы отделился от Андрея, смотрел куда-то вдаль. Щеки вспыхнули, не то блик солнца лег на лицо, не то старческий румянец проступил.

– И не пробует битые свои танки с луга утащить.

Андрей пожал плечами: зачем? Сказал:

– Ясно же, товарищ майор. Всю ночь двигались из города наши войска. На переправу. – «Конечно же, ясно...»

Теперь лицо комбата потемнело, на него пала медленная тень облака, проплывавшего над головой. Андрей чувствовал, его тоже накрыла тень глаза словно дымом заволгло.

– Все, товарищ майор, на виду: противник уверен,

что танки эти скоро окажутся у него в тылу. Потому что и не беспокоится. Ясно же...

– О! – снова поднял комбат указательный палец, и тон такой, будто обрадовался, что Андрей без объяснений понял все. Андрей увидел, рука комбата, в извилистых, огрубевших морщинах, похожа на сосновую кору.

Беглым рассеянным взглядом посмотрел комбат на опять погасшую папиросу, стряхнул пепел, гильзу смял и швырнул; достал другую папиросу. Неторопливость жестов уже не смогла скрыть глубокого внутреннего напряжения, и Андрей почувствовал это.

«Вот теперь вижу, – подумал Андрей, – комбат взволнован, старается подавить свое волнение. Не очень удастся...» И все-таки взял себя в руки комбат. Крепкие нервы? Закалка? Партийная выучка? Как хотелось в это трудное время походить на него! Андрей услышал:

– Верно сказал, лейтенант. Немцы не ошиблись, танки эти будут у них в тылу завтра утром, – нарочито медленно произнес комбат. – Или даже этой ночью.

Андрей вскинул на комбата смятенные, спрашивающие глаза. Не потому, что не понял зловещего смысла сказанного, все было понятно. И ничего неожиданного в этом не было – обстановка подсказывала необходимость нового отступления. Просто он еще не со-

всем отделался от мысли, что войска заняли здесь оборону и отсюда не уйдут, и это вытесняло доводы рассудка.

Комбат заметил состояние Андрея.

– Раз отход неотвратим, ничего не поделаешь, – угрюмо и твердо сказал он. Не докурив папиросу, бросил ее, втоптал каблуком в траву.

Вокруг пня, на котором сидел, как мотыльки, белели окурки.

– Понимаю, товарищ майор, – выдавил из себя Андрей. – Еще вчера я верил, что мы прочно закрепились на этой линии обороны, а потом пойдём вперед.

– Ну, вперед – еще впереди. Дойдет до этого очередь. Пока же...

– Бегство? – Андрей испуганно спохватился: как мог такое сказать? Даже прикрыл запоздало рот рукой. – Виноват, товарищ майор!

– Бегство? – спокойно произнес комбат и раздумчиво собрал на лбу морщины. – Отступление не бегство. В бегстве – паника, в отступлении умысел, горький, а умысел.

Комбат испытующе смотрел на Андрея.

– Обстановка, лейтенант, тебе ясна. Имеются сведения, что ночью, а всего скорее на рассвете, противник превосходящими силами начнет прорывать нашу оборону все с той же целью – овладеть переправами

севернее и южнее города, – продолжал комбат. – Командование упредило наступление противника, которое в настоящих условиях нам не отразить, и отвело основные силы на левый берег. – Он сделал паузу: пусть лейтенант привыкнет к мысли об этом. – Понял?

– Так точно, товарищ майор.

Комбату нелегко было говорить, он уже не старался скрыть это, часто останавливался, снова начинал, говорил то быстро, словно боялся потерять нить мысли, то очень медленно, будто не был уверен, что именно это надо сказать. Андрей не отрывал глаз от комбата, он видел, как пульсировали его припухшие веки, как по морщинистой шее криво стекал пот.

Под слабым ветром дрогнула береза, и по лицу комбата задвигались мелкие тени листы.

– Слушай дальше. И соображай...

Андрей пододвинулся к пню, на котором сидел комбат, хоть его хриповатый голос был хорошо слышен.

– Измотанная в обороне дивизия, – объяснял комбат обстановку, отходит на левый берег. – Короткая пауза, совсем короткая, чтоб втянуть в себя воздух. – В двадцать три ноль-ноль начнет отход батальон.

Вот оно что означает двадцать три ноль-ноль!

– Твоя рота прикрывает отход. – Комбату, наверное, казалось, что произнес это просто. Но худое и бледное лицо его, заметил Андрей, стало еще бледней,

стало неподвижным, будто не он только что говорил.

– Понял, товарищ майор.

Андрей понял, это не только приказ – это приговор.

Ветер снова коснулся березы и снес с ветвей сеть паутины. Две тонкие ниточки, сверкнув, пристали к вискам комбата и, серебряные, слились с сединой.

Андрей вдруг почувствовал какое-то облегчение. Потому, наверное, что все, наконец, прояснилось и улеглось в сознании, как неотвратимое и, собственно, естественное. Он обратил внимание даже на это – на две дрожавшие ниточки паутинки на седых висках комбата. Война переходила на новый рубеж.

Внизу вдоль кривого берега шла изогнутая вода, и пахла она теплой синевой, как в то воскресное утро, когда Андрей в последний раз ступал по Ингульскому берегу в своем родном городе. У Днепра, оказывается, такой же запах, как у Ингула. Андрей подумал об этом и, должно быть, улыбнулся. Улыбка была невпопад, потому что комбат удивленно взглянул на него. Глаза комбата воспаленные, красные.

Комбат и Андрей одновременно вскинули глаза к небу: шли самолеты. «Юнкерсы», – узнали они по монотонному, надрывному гулу. Должно быть, много самолетов – все небо гудело. Высоко двигались они, почти слившись с бледной синевой неба, в сторону от переправы.

– Сейчас начнется гром, – не отрывая от самолетов глаз, проговорил Андрей.

– Точнее, погром. – Комбат тоже все еще смотрел в небо. – И не малый. Вон их сколько! Восемнадцать сволочей...

Постепенно рокот моторов ослабевал. Потом, где-то южнее переправы, раздались тупые разрывы.

– Наседает на левого соседа, – обеспокоенно процедил комбат. – Может, и сюда уже идут... – Он повернул голову и взглянул вверх леса за лугом. Ладно. – Андрей увидел, на лоб комбата снова набежали морщины. – Так вот, твоя задача – прикрывать подступы к переправе и дать возможность полку оторваться от противника и перейти на левый берег. – Комбат промолвил это так, будто Андрей уже знал задачу и он просто уточнял ее. – В городе немцы через мост не пройдут, в нужную минуту он будет взорван. Естественно, кинутся к твоей переправе. – Самое трудное в разговоре с ротным было позади. – Сразу на переправу немцы могут и не пойти, опасаясь крепкого заслона. А вот обойти мост с фланга! И нажмут на твоего Ваню, на Рябова.

Комбат заметил слишком внимательный взгляд Андрея.

– Именно так предполагаю и я, товарищ майор. Укреплю Рябова всеми имеющимися у меня противо-

танковыми средствами.

– Правильно рассудил. Так вот, крепи первый взвод, перебрось все, что сможешь.

– Не густо у меня, товарищ майор. Бронебойка. Гранаты. Ну, противотанковые бутылки...

– Э, целый же арсенал! По нынешним обстоятельствам, конечно. Помолчал, раздумывал. – Бронебойка, знаешь, это вещь. – Комбат пожевал губами. – Хорошую штуку придумали наши оружейники. Только сейчас поступила на вооружение. Тебе досталась. – Он говорил о противотанковом ружье, которое батальон получил совсем недавно, когда стоял перед вражескими танками на Ирпене.

– Точно, товарищ майор, противотанковое ружье вещь подходящая. Жадан и Рыбальский бьют из него наверняка.

– А с боеприпасами как? Для пулеметов, автоматов, винтовок? Как?

Андрей сказал.

– Не густо, – вынужденно согласился комбат. – Ну, – повел плечом, придется экономно, с толком расходовать боеприпасы. Как бы то ни было, тебе надо продержаться как можно дольше и не давать противнику выйти к этому, правому, берегу. – У комбата задвигались скулы. – А пробьется прежде времени, считай, полк накрылся.

Конечно, еще как накроется... Андрей и сам понимал это. Он машинально обернулся: на восток отсюда под солнцем блестели песчаные отмели, открывавшиеся с обрывистого, высокого берега, и пустынное, замершее пространство за рекой, как в бинокле, отчетливо виднелось, и одинокие сосны на покатых холмах, и шоссе, и домики вдоль шоссе были видны. Такое царило там спокойствие, что поверилось: окажись он у холмов тех, возле тех домиков, и груз на сердце, все горести сникнут, как бы и не было ничего этого. Он отвел глаза от притягивавшей дали и снова увидел сухое, с желтизной лицо комбата. «Еще как накроется...» – подумал снова. Правда, у горизонта чернели рощи, а за ними, за рощами, на север, далеко отсюда леса. Андрей устремил глаза в карту и представил себе пущу.

– Понимаю, тебе придется нелегко, – вслух размышлял комбат. Он снова закурил, торопливо и жадно. – Противник идет на соединение с частями, прорвавшимися ранее на наших флангах и вышедшими нам в тыл. – Комбат бросил взгляд на правую половину карты, потом вернулся на левую половину. – Мы же должны пробиться через заслоны противника, находящиеся у нас в тылу, и дойти до новой линии фронта. Зада-а-чка! – протянул. – Но выхода нет. Выхода нет, и будем драться в этих навязанных нам условиях.

– Понял, товарищ майор. Задача – выбраться из окружения.

– Да. И от тебя, повторяю, не мало зависит. – Комбат стряхнул пепел с папиросы. Пепел посыпался на карту, и будто пылью покрылись дороги на ней, поляны. – Скажу больше: в эту ночь на тебя возлагается главное, – произнес размеренно. Глаза его сузились. – И надо предусмотреть все, что можно предусмотреть, понимаешь?

Комбат и Андрей склонились над квадратом на карте: зеленое пятно леса, голубой зигзаг реки, коричневая линия шоссе и черная – железной дороги, уходящей вправо.

– Основная опасность на твоем участке – вот этот лес, – постучал комбат карандашом по зеленому пятну. – Что там у противника сосредоточено? Неясно.

Он поморщился, провел по лбу рукой, словно снимал боль.

– Лес, товарищ майор, всегда неясность. И основной огонь думаю держать на лес. В меру моих возможностей.

– Ну, знаешь, – покачал комбат головой, – в такой обстановке нет меры возможности, потому что невозможного быть не может.

– Да с флангами вот, – помедлив, сказал Андрей. – Фланги ж у меня будут открыты... – Почему-то поду-

мал, что комбат, зная положение вещей, умышленно сглаживает действительные трудности.

Комбат прикусил губу, раздумывал.

– Ну, с левым флангом что? Третий взвод твой занимает оборону по обе стороны дороги, так? И охватывает мост справа и слева? А там, левее, сосед, ты знаешь. – Он назвал полк и батальон. Полк этот все время на стыке с их полком. – Вот как у тебя с левым флангом. А справа – загни фланг Вану у лощины, вот здесь, – постучал пальцем по карте. – А севернее лощины оставляю минное поле. За минным полем, известно тебе, болото. В болото немец едва ли пойдет. За болотом лес – танки не ткнутся. Вот как с флангами. Займешь круговую оборону. – Он пристально смотрел на Андрея, стараясь уловить, как тот отнесся к сказанному.

Андрей молчал. «Конечно, – раздумывал он, – минное поле – хорошо. Да минное поле и обойти можно. И болото не всегда преграда. А сосед слева, у переправы... Что ж, сосед тоже оставит такую же роту прикрытия... Ладно!»

А комбат, как бы не замечая паузы:

– Так вот, этот лес, черт его побери. После того как наша артиллерия поковыряла там, танки могли и уйти оттуда. Раз их засекли, машины, надо думать, противник не оставит на прежнем месте. А куда их отвели,

если отвели? Откуда ждать их?

– У меня два танкоопасных направления, вы знаете, товарищ майор: дорога к переправе перед третьим взводом и открытые подходы перед первым взводом, у Рябова. – Андрей лизнул губы и почувствовал, какие они сухие. Верно, на Ваню танки не пойдут – плотный сосновый бор. Да глубокая лощина.

– Постой, – твердым жестом остановил его комбат. – Лощина... лощина... Насчет танков ты правильно, сама природа создала тут эскарп. Находка для нас, да. Эскарп учтем. Но лощина и для противника находка, для пехоты. Ты ж воспользовался бы лощиной? Противник не дурак, всегда помни об этом. Если тебе пришло хитрое на ум, считай, что и ему пришло в голову такое же. А иначе, сам понимаешь... А тут и хитрого ничего. Так вот, ему бы пробиться в лощину. По лощине и – к берегу. И по берегу. И он у тебя в тылу. И – к переправе. Учти, задача Ваню – закрыть вход в лощину.

– Вчера Ваню отрыл окопы перед лощиной, товарищ майор. И в лощине у него огневая точка – ручной пулемет. Там у меня крепко.

Комбат кивнул: хорошо.

Он напоминал Андрею простые вещи не потому, что не был уверен в нем, самом молодом ротном в батальоне. Андрей, знал он, командир уже опыт-

ный, рассудительный, как-то сразу оказался на своем месте, словно всю жизнь был военным и командиром. Комбат вполне полагался на него. Чувство ответственности за людей, чья жизнь вверена его воле, тревога и боль за них ни на миг не оставляли комбата, и он старался все, что мог, предвидеть, подсказать.

– Что ж, прикидка это, не более, – повертел он сухощавыми пальцами. Точными разведданными о стоящем перед нами противнике мы не располагаем. Но знаем, что на этом участке резервов у него, как и у нас, нет. Вообще нет или не подтянуты. А численно превосходит нас. Ну, танки. Танки, выяснено, у него есть. Это чего-нибудь да стоит, конечно. Нам известно общее движение вражеской армии. Понимаешь, общее. А тебе выполнять определенную задачу на определенной местности и в течение определенного времени.

– Но ночная атака немцев дополнила наши разведданные, товарищ майор. Кое-что мы засекли, кое о чем имеем представление, – вставил Андрей.

– Не обольщайся. Огневые точки засек? Исходные позиции танков? Факт, действительный во время боя. Сейчас так, потом этак... Война – дело подвижное.

– Уравнение со всеми неизвестными, – грустно хмыкнул Андрей.

– Со всеми неизвестными, – утвердительно кивнул

комбат. – А вот задача ясная: выстоять. Выстоять, пока не оторвемся. Проведи разведку перед собой. Пошли обстрелянных, сообразительных бойцов. Такая разведка может тебе во многом помочь. Так? Переправляться начнешь в два тридцать. Комбат почему-то посмотрел на часы. – Может, противник промахнется и двинет на твои рубежи, когда тебя там уже не будет? Дай-то бог. А к этому времени наши войска успеют отойти на подготовленные позиции. К двум тридцати должны перебраться через переправу последние арьергардные подразделения из города. И – взрывавай мост. Плоты и лодки расставь таким образом, чтоб бойцы могли быстро погрузиться и с меньшими потерями, в случае атаки противника, выбраться на тот берег. Бродов нет, здесь везде глубоко.

– Разрешите, товарищ майор?

– Да?

– А если пропустить танки на мост и взорвать его вместе с машинами? выжидательно посмотрел Андрей на комбата.

– Никакого лихачества! – повысил голос комбат. Он сбился со своего спокойного тона, даже рассердился. – Оригинальная мысль, видите ли! А выскочат танки на мост и не взорвешь почему-либо в ту же секунду, тогда что? Танки следом за нами, а? Учти, танки и близко не должны подойти к переправе.

– Слушаюсь, товарищ майор.

– Возьми маршрут. – Комбат опять устремил глаза в карту. – Отходи вот в этом направлении, – прочертил линию. Линия тянулась от голубой полосы реки через зеленое пятно леса с песочного цвета проредями полян, с синеватыми штрихами болот и обрывалась у коричневого кружка. – Видишь? продолжал он. – Все время вверх и правее. Запомни вот эту высотку, держал он карандаш на коричневом кружке. – Высота сто восемьдесят три.

– Высота сто восемьдесят три. Понял, товарищ майор. – Андрей вглядывался в эту точку на своей карте, представляя себе дорогу и подступы к ней. Он наклонил голову, подбородок уткнулся в грудь, он услышал кислый и сильный запах теплого пота, пропитавшего гимнастерку. – Понял, повторил.

Комбат поймал себя на том, что не спускает с Андрея глаз.

И в них глубокая, невыраженная боль, видел Андрей, и почувствовал всю силу своей привязанности к комбату.

Комбат хрипло закашлялся, кровь прилила к лицу, и лицо потеряло на минуту мертвенный цвет. В складках лба собрался пот, скатывался и набегал на глаза. Стекла очков сверкнули, будто маленькие солнца. Он слепо прижмурился.

– Рота у тебя боевая. – Хоть еще что сказать!

– Но у меня нет роты, товарищ майор, – вырвалось у Андрея. – Какая ж рота...

– А все равно – рота. У меня тоже – все равно батальон.

Андрей уже свыкся с тем, что сказал комбат. Но произнес:

– Рота давно не получала пополнения. Вам это известно.

– И что? Просишь подкрепления?

– Так точно, товарищ майор. Люди выдохлись. Боюсь, что...

– Считай до сорока, – оборвал комбат Андрея, – считай до сорока и перестанешь бояться. И совет тебе или приказание, как хочешь: «боюсь» единственный глагол, который надо выбросить за ненужностью на войне. Остальные глаголы, даже бранные, можешь оставить. Ты так привыкнешь обходиться без него, что и после войны его не вспомнишь.

– Понял, товарищ майор.

– Передам тебе пулеметы. Два пулемета. С лодками вот еще штыков двенадцать получишь, я про тех, что лодки причалят к переправе. И еще. К исходу дня переправлю тебе часть своего хозяйства: телефонные аппараты, провод. Для сообщения со взводами. Меньше тебе понадобится связных. Как-никак,

несколько штыков добавится. – Комбат сочувственно развел руками: – И все. – Потом, почти жалобно и виновато: – Пойми, лейтенант, с дорогой бы душой, ничего у меня больше нет. Только раненые и обозы. Обе роты, которые отвожу, ну какие это роты?.. А с ними мне оборону держать на новом рубеже. Пойми, лейтенант, – с тяжелой тоской в голосе произнес. Говорил человек, которому горько и трудно. – Я-то вхожу в твое положение. А война не входит. Ни в твое, ни в мое. Рота твоя, какая ни есть, крепкая, и немцы повозятся с тобой. Это даст полку возможность оторваться от противника, а пока немцы наведут понтонную переправу, отойдем на заранее подготовленные позиции. – Он умолк, и пауза была томительной, гнетущей. Понял, старик?

Когда комбат переходил на доверительный тон, хотел подбодрить или что-нибудь внушить, сказать ласковое, он обращался к подчиненному по-доброму: «старик». Он был человеком душевным, уверен Андрей. В батальоне знали, что семья комбата не успела эвакуироваться и погибла. Сам он ничего об этом не говорил. Андрею подумалось сейчас о горе комбата. Может быть, затем подумалось, чтоб вызвать в себе сочувствие к нему и тем смягчить в своем сознании жестокость задачи, которую поставил перед ним комбат. Андрей знал, на войне все жестоко. Он привык

ко всему, к риску, опасностям, потерям, научился долгому солдатскому терпению и превозмогать страх научился, даже в обстоятельствах, когда все живое содрогалось в вечной и неборимой потребности обещать себя от гибели. Он машинально провел ладонью по жесткой высокой траве, и меж растопыренных пальцев просунулись зеленые гребешки.

Комбат ободряюще хлопнул Андрея по плечу.

– Ты должен выстоять. В данной ситуации это не просто. Совсем не просто... А должен! Ты – заслон. Впереди тебя – только противник. А позади – обозы с ранеными и те, кому тоже предстоит, быть может, завтра, стать заслоном. Ты же понимаешь...

В гражданскую войну он командовал ротой, как Андрей вот сейчас. Андрей знал это и вообразил себе комбата молодым, вообразил, что ему ставят непосильную задачу. Конечно же комбату не раз приходилось туго, подумал Андрей. – А выстоял. Все доброе, все храброе в нем, наверное, оттуда, с гражданской...

Комбат снял и тут же надел очки, поправил за ушами, потом у глаз, и все это без надобности, понимал Андрей.

– Вроде бы все, – произнес комбат. – Понимаю, на такое дело идут не с радостью – по необходимости.

– Тогда необходимость – самое сильное, что можем себе представить, посмотрел Андрей комбату в глаза.

Комбат поднялся с пня не так тяжело, как садился, движения его уже не были такими рыхлыми. Андрей тоже встал, сложил карту, сунул в планшет. Он был готов тронуться в обратный путь. Комбат обнял его, широко улыбнулся, будто обстановка, пока они сидели, изменилась к лучшему.

– Ладно, значит, старик. Особенно прощаться не будем, скоро встретимся. На новом месте. У высотки сто восемьдесят три. Ни хрена, еще попляшем, а?

Комбат снова зашелся кашлем, и опять на щеки его лег сухой румянец. На левом виске проступила короткая синяя жилка. Как ни силился, он так и не смог унять волнения, и Андрей уловил это.

– Значит, на новом месте или... где-нибудь... в раю?..

Шуткой старался он ободрить Андрея перед тем, как тот уйдет в роту, внушить ему, что все обойдется.

– В рай полагаете, товарищ майор? – Андрей ответил тоже шуткой. Значит, в рай в случае чего?..

– Только в рай! Только в рай! Не мы же напали, а они... Им и дорога в ад. Это уж точно, – усмехнулся комбат. – А мы поможем добраться туда...

Андрей почувствовал, что настроение как-то улучшилось, и захотелось еще немного побыть с комбатом. Он вернулся к делу, но теперь говорил в менее сдержанных выражениях.

– Ну, товарищ майор, оторвусь на исходе ночи от противника, уйду, а утром снова столкнусь с ним. Он же и с севера, и с юга, и с востока надвигается.

– Парень ты стреляный. Столкнешься с ним и опять уйдешь.

– Точно, товарищ майор, опять уйду. И опять же, до той высоты раз семь встречусь.

– Знаешь, старик, у меня всегда с арифметикой были нелады. Семь раз там или сколько, а уйдешь, должен уйти. – Развел руками.

Он обрекал почти на верную гибель роту, то, что от нее осталось. Он и раньше, сообразно обстоятельствам, принимал такие решения, и каждый раз испытывал эту муку вынужденности. Он видел, с какой ужасающей деловитостью готов Андрей отдать свою жизнь, и не когда-нибудь, а через несколько часов, этой ночью или на рассвете, и непереносимо больно сжалось сердце. «Они еще ничего не успели, ребятки, ничто большое еще не радовало и не ломало их, и вдруг – самое значительное и последнее, что может быть в жизни, – смерть...» Он все еще не научился храбро относиться к чужой смерти. Может быть, он истощил свое мужество и перестал быть командиром, сознающим, какие жестокие обязанности у него на войне? Он просто устал, успокаивал себя. – Он просто устал. Надо думать только о войне. В этом те-

перь высший смысл жизни.

Он расстегнул воротник гимнастерки, словно воротник сдавливал худую шею, которую свободно обводил белый целлулоидный подворотничок. В нерадостных глазах комбата, в осекавшемся голосе, в дрожании пальцев проступало что-то несвойственное ему, что-то беспомощное, даже старческое, показалось Андрею.

Андрей вскинул голову, чего-то ждал. Он не знал – чего, смотрел на комбата, и все. Комбат заметил это. «Я понимаю, как трудна задача. Я хорошо это понимаю. Но я вынужден ее поставить тебе. Если б ты знал, как тяжело мне сейчас, старик!» Комбат молчал. Это произнес его взгляд, устремленный на Андрея, взгляд, полный тоски и боли. «Что ж. Задача, конечно, трудная. Когда мне выдали солдатскую форму, я уже предполагал такую задачу. Ничего, товарищ майор, ладно». Андрей тоже молчал, он смотрел на комбата, прямой и твердый, может быть, потому прямой и твердый, что внутренне уже сжился с мыслью о предстоящем. И возникало смутное предчувствие, что видит комбата, быть может, в последний раз. Всего три месяца назад война связала его с этим человеком, а так тягостно расставание с ним! Он пойдет дальше, комбат, по фронтовым дорогам, грустно подумалось, – появятся у него другие лейтенанты, дру-

гие командиры рот. А его, Андрея, с ним не будет. Что-то оборвалось в нем от этой мысли, и он почувствовал пустоту в стиснутом сердце, оно, показалось, не билось, его просто не было. И он не мог и слова произнести.

Они стояли, комбат и Андрей, друг против друга. «Ладно, ладно», говорил один. «Ладно, ладно...» – говорил другой. Так простояли с минуту оба – в трудном молчании. И в молчании этом, в тихой минуте этой они испытывали отстраняющее все остальное чувство общности их желаний, их мыслей, их горя, жизни их.

– Задачу понял, товарищ майор. – Андрей сбросил с себя оцепенение.

Что-то хлынуло в грудь – что-то жаркое, доброе, освобождающее от сомнений, от страха, что-то из давней жизни, когда – поверилось ему – на свете не было ни боли, ни обид, ничего такого, что окружало его сейчас.

– Задача будет выполнена, товарищ майор! – сказал Андрей и почему-то приложил руку к груди. – Потребуется, умру достойно, как подобает коммунисту...

– Умереть? – Комбат растерянно сделал шаг назад. – «Как подобает коммунисту»? Что это ты, старик? Я коммунист, а умирать не собираюсь. Зачем? Жизнь хороша. А если б не хороша, то за нее и вое-

вать не стоило б. Гитлеровцам бы отдали. Пусть себе и живут на проклятье...

– Я в другом смысле...

– Другой смысл – храбро воевать и уцелеть. Вот и весь другой смысл! Понял? Покурим напоследок.

Потом комбат пожал Андрею руку. Андрей ощутил тепло длинных сухощавых пальцев комбата. Тот долго не отнимал руки, словно хотел еще немного продлить близость.

– Действуй, старик.

3

– Пошли, Валерик.

Валерик со сдвинутой на затылок пилоткой сидел под сосной и держал в зубах длинную травинку. Он перекусывал травинку и, пожевав, сплевывал вместе с зеленоватой слюной. В отворотах пилотки торчали набившиеся туда ржавые хвойные иглы. Увидев ротного, ловко вскочил на ноги и пристроился к его шагу.

– А я-то уж, товарищ лейтенант... – конфузливо улыбнулся Валерик. Мало ли что... Время-то прошло сколько...

Андрей молча взглянул на него. Когда губы Валерика приоткрывались в улыбке, можно было подумать, что во рту у него белые квадратики сахара.

Валерик снял пилотку, пропотевшую и лоснившуюся по краю, вытряхнул иглы, надел ее, пришлепывая руками на голове. Он соскучился в долгом одиночестве и ему хотелось поговорить.

– Видели, товарищ лейтенант, «рама» торчала тут? Видели, нет? А «рама», – глубокомысленно продолжал Валерик, – всегда висит, когда фрицы каверзу готовят. Это точно. Надумали, может, чего?.. – говорил он по-мальчишечьи, без малейших признаков озабоченности.

Андрей нахмуренно молчал. Валерик догадался: произошло что-то важное.

Спустились в лощину, выбрались наверх. Подходили к сторожке. Андрей покосился на нее. Черт знает, и лазутчик может там скрываться. Когда два часа назад проходил мимо нее, мысль эта не появлялась.

– Загляни-ка, Валерик, в хибарку.

Тропка к сторожке заросла травой, и Валерик двинулся напрямик. Отдернул скособоченную и врезавшуюся в землю фанерную дверцу, ткнулся головой внутрь, помешкал немного и зашагал обратно.

– Мыши одни...

– Мыши?

– Угу.

Чем-то мирным дохнуло на Андрея: мыши в покинутой сторожке, тропка, пропавшая в давно не топ-

танной траве, огромная тишина между небом и землей. Этих обыкновенных примет жизни он и не замечал раньше. Андрей стоял, склонив голову набок, опустив руки, вниз устремив взгляд, будто к чему-то прислушивался, во что-то всматривался. И опять, как вчера ночью, на него надвинулось давнее, может быть, уже умершее, но в его памяти это жило – живое, всамделишное, четкое. Свой город и юность свою в нем всегда видел почему-то только в ослепительном свете дня, растерявшем все тени, и все, до самых глубин, открыто, так и верилось, что в белое небо его города ни одно облачко никогда не забредало. Вот так, в гимнастерке, на которой блеклыми разводами проступили пот и соль, в мятой пилотке со звездочкой на лбу, будто это обычная его одежда, снова шагал он по улицам, и навстречу шли люди, все свои, и дома, тоже все знакомые, двигались навстречу.

– Товарищ лейтенант, я же сказал, ничего в той хибарке нету. Ну, обыкновенные мыши. – Валерик озадаченно глядел на Андрея. – А вам чего надо было там, товарищ лейтенант?

Валерик ждал, что Андрей скажет. Но тот не отвечал. Может, не слышал вопроса?

А он, Андрей, все еще стоял, не то терпеливо, не то покорно, и ждал, когда тот, другой Андрей, вернется на опушку бора, где в траншее, в пятистах метрах

отсюда, лежат бойцы с почерневшими измученными лицами, решительными и злыми глазами – его рота, готовая ко всему, к смерти тоже.

В трудную минуту каждый, наверное, переносится на далекое расстояние от беды. Не в пространстве даже – во времени. Война – это весь мир. И клочка земли уже нет, где не убивают.

– Так пустая, говорю.

– А! – Голос Валерика поднял голову Андрея.

«Нет, нет, так не пойдет, товарищ лейтенант, – сказал себе. – Так не пойдет. Сентиментальность всегда смешна, а на войне и вовсе». Но что поделать, если ничего не изгнать из памяти, даже если это мешает... И как мало в сущности нужно, чтоб возник достойный человека мир. Мыши вот в сторожке, тропка в траве, тихий ветер, белобрысый Валерик... И все равно, не нужно воспоминаний. Совсем не нужно. Они ничего не дают. Только то, что близко принимаешь к сердцу тяжелое настоящее.

Андрей рассеянно посмотрел на Валерика. Показалось, что глаза Валерика под белесыми ресницами перестали быть синими – какие-то мутные, будто в них набилась пыль. Оттого это, что стоит спиной к солнцу, подумал Андрей, – и в них померк свет. А может, потемневшие глаза выражали такую же, что и у Андрея, печаль Валерика? Он и школу еще не окон-

чил, остался в восьмом на второй год. Он и в четвертом классе оставался на второй год. Голубей гонял, – объяснил Андрею. Андрею нравился этот шустрый, сообразительный и смелый парнишка. Потому и взял ординарцем. Когда Валерик прибыл в роту, он выглядел смущенным, даже робким. Андрей поморщился от досады: столько юнцов в роте. «Не рота – детский сад...» Вот и этот... «Детский сад, ей-богу!» Ну да, как и многие его сверстники в роте, Валерик в первый же день войны осаждал военкомат: на фронт! И добился своего. А он, Андрей, возись с такими, воюй... Как чудесно ошибся он! В боях они проявляли себя настоящими бойцами. Бесстрашие юности? Собственно, Андрей старше Валерика лет на пять...

Андрей продолжал смотреть на Валерика: потное лицо, спутанные и тоже потные вихры, это шло ему. Другим Андрей и представить себе Валерика не мог.

По привычке взглянул на часы: четыре минуты простоял возле сторожки.

– Ладно, раз мыши, пошли дальше.

– Пошли, – шагнул Валерик.

Андрей вскинул к глазам бинокль, навел на резкость: горелые танки, облитые красным светом упавшего солнца, казалось, вспыхнули снова. Он убрал бинокль. На рассвете все это будет уже тылом немцев, – вздрогнул он, представив это. Невоз-

можно было подумать, что и этот обрывавшийся вон там, у воды, клочок земли завтра утром станет чужим и его ноги уже не пройдут здесь ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, ни, может быть, и через месяц... Земля эта продолжалась и за рекой, и тянулась вдаль, вдаль, далеко, очень далеко, через всю Россию, до самого океана, большая, родная земля, но каждая пядь ее кажется последней, и чувство прощания со всем, что сейчас видел он и сможет видеть лишь до наступления темноты, подавляло его. Он втянул голову в плечи и встревоженно, будто пробирался уже среди немцев, оглянулся.

Позади командный пункт батальона, рядом шагал Валерик, за рекой стояли батареи... И все же это не успокоило его. Если б рота, взорвав переправу, уже оказалась на том берегу... Если б он был уже на пути к новому местоположению батальона... Если б... Он прикрыл глаза, подумав об этом, и на секунду в самом деле оказался на противоположном берегу, и рота, топчя предутреннюю росу на траве, двигалась к высоте сто восемьдесят три...

«Да что со мной случилось! – спохватился Андрей. – Лезет в голову ерунда, – подумал с раздражением. Он даже остановился, словно для того, чтоб дать уйти этой мысли, освободиться от нее, успокоиться. – Точка! Хватит! – сердито опустил он руки, сжатые в кула-

ки. – С таким настроением не роту поднимать, а вытаскивать билет на экзамене...»

Совсем недавно был он уверен, что война не на долго: мало прольется крови. Это говорила еще сохранившаяся в нем сила радости, сила добра. У его поколения не было для ненависти причин. Когда он родился, революцию уже совершили, гражданская война кончилась, самые сложные и опасные этапы строительства государства были позади. И поколение Андрея делало свое ясное дело, ради которого стоило жить. Дело это не требовало ни злости, ни недоброжелательства, ни тем более войны для уничтожения кого бы то ни было. Андрей сдал экзамены, хорошо сдал, собирался на каникулы в Крым, а потом, осенью, преподавать историю в школе, в лучшей в городе школе. А началась война. Фронтовые месяцы сделали его другим. Чувство ненависти, ни с чем не сравнимое сильное чувство, проникло в его сердце, в сознание, в тело его, в кровь. Яростная, трезвая ненависть, необходимая теперь, как воздух, как вода, как хлеб. Ненависть, понял он, придавала ему силы, чтобы выстоять, даже если выстоять нельзя. «Если Гитлер одолеет нас, все – и наши страдания, и горе тех, кто там, позади нас, дома, и жертвы революции, и нелегкий труд минувших лет, – все станет бессмысленным, зряшным, покачал головой. – Но это же

невозможно, решительно невозможно...»

Вон и просека. Андрей услышал ровный гул над головой и замедлил шаг.

– Валерик!

– Ага. «Рама».

Оба прижались к сосне. «Фокке-Вульф» и впрямь похож на раму, плывущую в высоте.

Потом они перешли просеку. Андрей бросил взгляд вправо: там, в конце просеки, укрылось боевое охранение. Вошли в бор. В бору уже было сумеречно, на земле дрожали оранжевые блики остывавшего солнца, тень медленно накрывала ее. Под ногами слегка пружинил толстый настил хвойных игл. Прошли шагов сто пятьдесят. Дорога к переправе, теперь едва приметная между соснами, казалась стертой, и только сама переправа выделялась над потемневшей водой. А сбоку, на лугу, еще лежал сухой и прочный свет.

Андрей споткнулся о корневище.

– Вы б, товарищ лейтенант, и под ноги в бинокль смотрели, – засмеялся Валерик.

– Старику, знаешь, и телескоп не поможет, – шуткой же ответил Андрей.

Но в его голосе, в голосе Валерика, слышались глухие интонации.

Андрей удивительно ясно представил себе двигавшиеся на него танки, видел, как траки вгрызались в

землю и гусеницы выбрасывали из-под себя выдернутую траву с песком, видел ступавшую за танками пехоту. Три развороченных танка мертво торчали на лугу перед холмом, будто не на рассвете подбиты, а в бою за переправу, которого, видно, не миновать и который Андрей переживал сейчас.

Сам удивился, почему это пришло на ум. Он не мог уже не думать об этом. Не думать о предстоящем бое было невозможно. И чтоб избавиться от мучивших размышлений, мысленно вел бой.

Такие бои, как здесь, у реки, и как те, возле потерявшегося в длинных пространствах зеленого хуторка с кружевными плетнями и закинутым к небу колодезным журавлем, – это было недели две назад; и за оврагом с желтыми покатыми склонами, устланными пучками пыльной травы, – это было еще раньше; и еще раньше – у быстрого ручья с подмытыми берегами и медовым песком на мерцающем дне, – такие бои, наверное, и составляют теперь оборону родной земли. «Как из капель – океан», – припомнилось это сравнение. Потом, когда-нибудь, никому и в голову не придет, что там, возле зеленого хуторка, у ручья с медовым песком на дне, или вот здесь, на крутом берегу спокойной реки, шли бои и люди в ранах, в крови, отстаивали каждый метр, каждые полметра песчаного берега и погибали. Так же, как и теперь, бу-

дет течь розовая на заре и синяя в сумерки вода, и так же будут гореть под солнцем белые берега, – ничего особенного, никаких торжественных следов истории: вода, песок...

Он был спокоен, Андрей, словно комбат приказал ему выслать очередную разведку, и все. Как возле землянки майора, его охватила уверенность, что удержит переправу, удержит столько времени, сколько необходимо, и никаким другим мыслям, другим чувствам места не оставалось. Усилия и одной роты, пусть и неполной, могут многое значить, сказал же комбат: на него, на Андрея, в эту ночь возлагается главное. Так комбат и сказал. Выходит, небольшая эта операция – несколько часов удерживать тысячу пятьсот метров песчаной земли и взорвать переправу, – небольшое это дело тоже готовит будущее: в малом семени таится дерево... Оказывается, и от того, что сделает он на исходе наступающей ночи, зависит, пусть совсем немного, то, каким когда-нибудь, после войны, станет мир, – подумалось. Мысль была неожиданной, странной для него, удивительной. Просто ему не хватало ощущения и своей значимости, потому мысль эта и показалась странной и удивительной. Наверное, так.

«А, чудится всякое... – раздраженно махнул рукой. – Приказ рота выполнит, ясно. У нас у всех общее

солдатское дело. А солдатское дело должно выполняться как никакое другое – ничего более важного теперь нет...» И все-таки не мог не додумать до конца. Он, Андрей, тоже передаст что-то той, будущей жизни, он несет здесь, на войне, свою долю ответственности перед ней, и сознание этого еще больше возбудило в нем облегчающее чувство достоинства.

Несколько шагов и – окопы, блиндаж. Он объяснит взводным обстановку и задачу, отдаст нужные приказания, прежде всего приказание расставить группы прикрытия.

Он понимал, что в жизни его не было ничего более опасного, более важного, чем то, что предстояло. Но уже не ощутил в себе ни приподнятости, ни волнения: сейчас ему хотелось только одного – выспаться.

Глава пятая

1

– Сашко! А ну сюда.

Мария услышала, чей-то хриповатый голос кричал в ее сне.

Она не в силах разомкнуть тяжелые веки, она все еще уходит из Киева, и сердце стучит, не уймется, и она слышит это, и себя слышит, и тетю, Полину Ильинишну, и дядю-Федю, Федора Ивановича, слышит их стонущие голоса: и голос поварихи из столовой номер пять слышит; потом по дороге, белой от пыли, бредет в толпе; потом оказывается в горевшем городке, забитом смятыми машинами и еще теплыми трупами, она почти осязает, что теплые; потом видит Лену около домика, повитого диким виноградом, она не узнает ее, лицо Лены почему-то похоже на лицо милиционера, лежащего на мостовой, на лицо девочки с розовым бантиком в волосах, милиционер и девочка не то стонут, не то вздыхают, и она растерянно вглядывается в них: «Живы?..» Может, и Лена жива? Слабая надежда толкает ее к ней. Но она не в силах подойти к домику

– сделать несколько шагов не в состоянии, ноги будто приросли к земле. Все совсем настоящее, другого нет, только то, что происходит, и ничто иное не пришеивается, разве только обстоятельства почему-то меняются местами – сначала городок, потом плавни – тинистой водой утоляет она жажду и всполаскивает охваченное жаром лицо, сначала мертвая Лена, потом самолеты... Странно, все, что видит и слышит, происходит с ней самой и в то же время смотрит она на это как бы со стороны, словно их две, Марии, одна – та, которая мечется, страшится, мучается, а другая, как тень первой, тоже в тревоге, следит за всем. Запыхавшись, бросается первая, а за ней и вторая, в какую-то улицу, и улица ведет к библиотеке, в которой так недолго работала, и не знает, как укрыться и сможет ли укрыться от самолетов: все время висят над головой, она бежит на соседнюю улицу – все равно самолеты, прячется за высокий дом – самолеты, самолеты. Это на всю жизнь, наверное, самолеты, они и были всю жизнь, самолеты, но почему-то не замечала их над собой. Как слепая. А теперь они настигли ее. И не отпускают никуда, ни на шаг. Это был не ее сон. К ней приходили другие сны, потому что другие заботы, другие радости и страдания одолевали ее. И еще вот какое-то чудовище пялит на нее глаза, вот, кажется, ринется и задушит. Во сне всегда все пугает, – успокаив-

вает она себя, – и человек чувствует себя беспомощным; она проснется, и ничего страшного вокруг, и не надо бежать, пугаться не надо.

– Сашко! Сюда...

Еще несколько секунд Мария оторвана от действительности.

Она вскрикнула, и крик этот открыл ей глаза. Она поняла, что проснулась, и сознание, что наступил новый день, следующий за вчерашним, еще один день, испугало ее, как и то, что над ней, у ели, под которой лежала, наклонился пожилой, коренастый, рыжий человек в потрепанной, в масляных следах гимнастерке, в низких кирзовых сапогах, и рассматривал ее, будто гриб нашел. Лицо загорелое, ярко-рыжие усы под костистым носом с широкими ноздрями и такие же, давно не подстриженные, взъерошенные виски. С шеи свисал полевой бинокль на ремешке. «Что нужно этому человеку?» В ней оставалось ощущение, что сон продолжался, нарастал и становился еще зримей и страшней. «Чего боишься, то и появляется перед тобой».

– Кто вы? Что вам нужно?..

Спросонья не могла разобраться, что к чему. У нее такой испуганный вид, что казалось – она испугалась раньше, чем увидела страшное. Она растерянно озиралась. В голову кинулось все вчерашнее. Еще не

представляя себе, что предпринять, как бы защищаясь, прижала к груди руки, поднялась с земли. Руки слышали, как стучало сердце – быстро-быстро, быстро-быстро.

– Кто вы?..

– И спишь же, голуба, – не ответил рыжеусый на вопрос. – Унесут тебя, и не заметишь...

И тут только поняла она, что ни рядом, ни вон за теми деревьями, где ночью слышались голоса и мелькали огоньки курильщиков, никого нет. Пока спала, люди разбрелись, пошли дальше. Ночь разъединила ее с ними, сон увел из реального мира, и она ничего не видела, ничего не слышала, никуда не шла...

«Что за люди?» Сразу подумала о выбросившихся на парашютах немецких солдатах, обмундированных в красноармейскую форму, говоривших по-русски. В последние дни всех в городе предупреждали об этом. Трех таких переодетых немцев, рассказывали, поймали на Житомирском шоссе, она видела, как вели их мимо тетиного дома, по Софиевской.

– Сашко! – снова позвал рыжеусый. Он смотрел на девушку, на щеках ее лежал беспокойный свет утреннего солнца. – А Сашко!

– А чего, дядь-Данила? – протяжный голос из чащи. – Чего?

– Невесту тебе нашел.

Мария еще больше встревожилась. Оборвавшийся, недоконченный жест ее говорил об этом.

Рыжеусый заметил, у девушки слишком пронзительные глаза, слишком расширились они, и понял: от испуга это.

– А кто ты будешь? – выплыла на его лице смутная улыбка. – Кто, а?

Улыбка эта ослабила страх Марии. «Нет, может, и не переодетые немцы...»

– Ну, Марийка я... – выжидательно смотрела она на рыжеусого.

– А без ну?

– Ну тоже Марийка...

– Только и всего – Марийка? Маловато для знакомства, а?

Рыжеусый выпрямился. Живот слегка выдавался, и ременная пряжка выпирала, как напоказ. Руки широкие – ну просто две лопаты.

– А откуда-куда?

– Из Киева... в Москву... – со взволнованной пытливостью смотрела Мария на рыжеусого.

– Фью-ю-ю... – с притворным удивлением свистнул рыжеусый, и на его лице напряглись медные скулы. Будто не понял, склонил голову набок. Прямо в Москву?

– Да, – переминалась Мария с ноги на ногу. – Я живу

там, пояснила. – На Покровке...

– Ага, вот что, – с грустной усмешкой протянул рыжеусый. – Раз живешь там, то конечно. В Москву? – Он неопределенно посмотрел на нее. – А, может, голуба, на первах населенный пункт поближе наметишь? Нет?

Марии стало не по себе: что за человек – такое время, такое горе и беззаботно пошучивать!.. Определенно немец. Переодетый немец... окончательно уверилась она, и ее охватил страх. Она чувствовала, по носу полз муравей, было щекотно. Но боялась поднять руку и смахнуть муравья.

Между слившимися елями показался белобрысый, долговязый совсем молодой человек. «Не старше меня», – подумала Мария. Лицо у него мягкое, с тихим доверчивым выражением. По всему лицу, будто золотые пылинки, рассыпаны мелкие веснушки. Лоб стягивал, как венчик, бинт, уже побуревший от проступившей и засохшей крови. Бинт почти накрывал белесые брови, едва обозначавшиеся над светлыми спокойными глазами. «Не старше меня», смотрела на него Мария. Какой-то нескладный, длиннорукий, за плечами, как и у рыжеусого, вещевого мешок, на локте плащ-палатка. На коленях, как впечатанные, выдавались болотные пятна. Он остановился против рыжеусого и Марии, поправил винтовку на плече.

– Чего, дядь-Данила? – Но смотрел он на Марию. Смотрел внимательно и – показалось ей – удивленно: должно быть, всегда так смотрел, когда с ним кто-нибудь говорил. – Чего?

– Вот в Москву нас с тобой зовет.

Белобрысый перевел взгляд на рыжеусого, потом взглянул на босые ноги Марии, потом снова посмотрел на рыжеусого. Ничего не сказал.

– Сядем, раз так, – с ласковой усмешкой кивнул рыжеусый.

Что-то успокаивающее почувствовала Мария в голосе, в движениях этого усатого, наверное, добродушного человека с крупным лицом, на котором глубоко врезанные морщины казались вылепленными. Она уже не опасалась его. Она даже улыбнулась: хорошо, сядем, раз так. Но продолжала стоять.

Рыжеусый снял с плеч вещевой мешок, неторопливо опустился на мятую траву, на то самое место, где только что лежала Мария. Она стояла перед ним, ожидая – что будет дальше. «А будет хорошо... И чудачка какая! смущенно подумала о своем испуге в первые минуты. – Свои же... Красноармейцы. Ох и чудачка!..» Трава отогрелась, и ее босым ногам уже не было холодно.

– Садись, давай, хлопцы, – сказал рыжеусый и жестом позвал Марию и Сашу: садитесь.

Саша с робким любопытством разглядывал Марию. Он кинул на землю плащ-палатку, молча показал на нее Марии. Та несмело опустилась, свела колени вместе и медленно натянула подол юбки. Но загорелые плотные икры были Саше видны, он тоже сел, чуть наискось, против Марии.

– Говоришь, Марийка? Так-так, голуба, – раздумчиво произнес рыжеусый, роясь в вещевом мешке. – Значит, Марийка... Марийка... – будто запоминал он. – А я Данила, Дани-ла, – повторил. – Бывший колхозный бригадир. Курск. С Москвой, правда, не по соседству. А с Харьковом точно. Слышала, может, Казачья Лопань? – Руки его все еще что-то перебирали в вещевом мешке. Езды, голуба, до Москвы ночь. С гаком, конечно.

Говорил он об этом так, словно туда и держал путь. В последние дни память часто возвращала его под Курск. Он и сейчас был там. Вот поднялся с кровати и громко позвал: Дуня! Дуня не откликнулась. Поморщился: «С фермы, что ли, еще не пришла?» Болела голова. «Перебрал с вечера...» Под воскресенье после работы не мог отказать себе в лишней рюмке. «А почему, черти, лишняя, раз утро требует? – недоумевал он. – И надо же придумать такое: лишняя...» В нагретой солнцем горнице пахло помытым полом, березовым веником, из печи вкусно несло ща-

ми и пирогами. Мельком взглянул на часы: перевалило за двенадцать. Было тихо: значит, и дочь и сын по-
дались куда-то. Досадливо потер лоб: «Перебрал... перебрал...» соглашался с кем-то, наверное с женой, с Дуней. «Опохмелиться б, и порядок». Вечером заседание правления колхоза. До вечера далеко. Сунул ноги в шлепанцы, направился к буфету. Буфет празднично застелен широким и длинным полотенцем, по которому разлетелись розовые голубки и каждый держал в клюве оранжевый венок, а на концах полотенца два одинаковых петуха с высокими красными хвостами и большими красными лапами шли друг на друга и никак не могли сблизиться. «Эх, до чего ж Дунька моя мастерица! Вышила как... И где высмотрела таких голубков и петухов таких... Ни лицом, ни статью неприметная, а лучшей – сроду не видывал». На верхней полке буфета, в глубине, затененный, графин с водкой. Протянул руку, и пока снимал с полки, солнце наполнило графин золотистым светом. Он не успел налить и половины граненого стакана, как услышал в сенях задышающиеся шаги. «Вот балбес, а уж пятнадцатый пошел...» Тревожно распахнулась дверь. «Радио включай! Радио! – С чего это он, сын? А он: – Война! Война!» Непослушной рукой включил радио. «Враг будет разбит... Победа будет за нами...» Враз все погасло – и день за окном, и солнце, только что стояв-

шее на голубой вершине дня. «Дуня-я-я!» – завопил изо всех сил, хоть и знал, что еще не вернулась она с фермы. «Дуня-я-я!!» Как был, в шлепанцах, выскочил на улицу. Не может быть: лето, воскресенье, тихие думы, и война! Необычно шумная в этот час, взволнованная, потрясенная, улица бежала к дому правления колхоза, вся деревня уже толпилась там. «Враг будет разбит... Победа будет за нами...» – грозно повторял рупор, подвешенный к столбу на площади.

Все это и сейчас стояло перед ним. И графин, играющий на свету, и розовые голубки, и хвостатые петухи, и березовый веник тоже, и не сводил с этого глаз. И подумать не мог, что это когда-нибудь вызовет в нем волнение. «Боже ж ты мой, какие пустяки сохраняет память...» И ничего не поделает. Стоят перед глазами и стоят.

Данила протяжно вздохнул.

– А что, голуба, одна? – Он опять смотрел на Марию. – Растерялась с кем?

– Не одна... с Леной... – дрогнул голос Марии.

– Лена? – не понял Данила. – А где ж она, твоя Лена?

– Лена... Лена... умерла... вчера... там... – чуть повела головой в сторону. – Самолеты... – И совсем тихо: – А теперь я одна...

– Да-а... Досталось тебе, не приведи бог... Так вот,

голуба, хочь не хочь, а попутчики мы тебе. Ну, не в Москву пусть, а попутчики... Некуда тебе от нас.

Теперь голос Данилы успокаивал, внушал надежду. Сама надежда, если б говорила, говорила бы его голосом, – подумала Мария. Она опять услышала:

– Вот подхарчимся малость, силенок чтоб набраться, и айда в дорогу.

Она признательно смотрела на него.

Немного помедлив, спросила:

– А далеко до Яготина?

– Э, голуба. Так это совсем в сторону. А туда тебе чего?

– Нет, ничего... Через те места дорога на Москву, вот почему я...

– Ну, про Москву, голуба, забудь пока. Ты про другое думай. До Москвы сейчас дорога кривая... Поняла?

Мария опустила голову. Поняла...

2

Данила достал буханку, вытащил из-за голенища финский нож. Прижав буханку к груди, отрезал три ломтя ноздреватого, как сыр, хлеба.

– Держи, хлопцы. – Дал Марии, дал Саше, положил на траву свой ломоть. Нашарил в мешке консервную банку, повертел, любуясь ослепительным блеском бе-

лой жести.

– Разберись попробуй, чего тут. Энтикетки старшина, стервец, со всех банок содрал. Ладно, посмотрим.

Из вскрытой банки шибанул вкусный дух мясной тушенки.

Данила запустил в банку сложенные щепотью пальцы, вытащил шматок мяса, положил на хлеб и сунул в рот.

– Эх! – облизал губы. – Дай боже завтра тоже... Все ж выколотил у старшины сухой паек, – довольно качнул головой. – Две банки! Да вот эту здоровущую хлебину, – загибал он пальцы. – Ну, и соль. Больше ничего не дал. Прижимистый. Ладно, ешь, хлопцы.

Ели с аппетитом. И проголодались же!

– Кишкам теперь свобода, – почти счастливый хлопал себя Данила по животу. – Что, Сашко, понурился, а? – повернулся к Саше.

Саша не ответил. Поставив локти на колени, он задумчиво обхватил ладонями голову.

Мария тоже взглянула на Сашу.

– Рана? – показала на забинтованный лоб.

Саша кивнул: рана. В кивке этом было и другое: чепуха.

– Немец печатку поставил. Чтоб не потерялся хлопек. До свадьбы, говорится, заживет. А и невеста подождет, а? – лукаво подмигнул Марии. Кончим вот

войну...

Он вынул из кармана штанов обрывок газеты, кiset, поспешил край бумажного клочка, в который насыпал махорки, свернул сигарку, скрепил и сунул в зубы. Сигарка получилась толстая, как его палец. «Ну и ну...» удивленно смотрела Мария. Данила уловил ее взгляд.

– Что для солдатской жизни надо? – Чиркнул зажигалкой. – Хлеб, вода, дым. Ну, сколько-то дней можно и без хлеба. Не помрешь. И без воды. Обратное же не помрешь. А без дыму... на другой день загнишься...

С видимым наслаждением сделал Данила глубокую затяжку и долго не выпускал дым, потом медленно, тоже с удовольствием выпустил. Еще затяжка, одна за другой, казалось, весь он поглощен этим, ничего, кроме этого, не существовало. Он сжал губы, обкуранные, желтые, будто на них падал отсвет рыжих усов.

– Сашко, доставай котелок. Вон там, – движением подбородка показал на короткую двухвершинную сосну над обрывом. – Когда проходили, заметил понизу, у спуска, озерко. Метров сто отсюда. Мотай. Кипятком закрепим дело и двинем. Мотай.

– И я с ним? – несмело поднялась Мария. – Бинт-то загрязнился как... – легко прикоснулась рукой ко лбу Саши, и на ладони остался след пыли. – Постираю, и

опять перевяжем. Можно?

– Дело, голуба, дело.

Они спустились с обрыва. Овальное, затененное, лишенное блеска, лежало перед ними озерцо.

– Садись, Сашенька.

Мария осторожно, как когда-то показывала ей мать, сматывала бинт с его лба. Над виском чернела ранка. Горестно сложила руки:

– Сашенька...

Саша поднял голову. Она увидела, у него серые, как булыжники, глаза. Может быть, в них была грусть, жалоба, может быть, злость.

– Рана как рана. Да и не рана вовсе. Это когда больно, тогда рана. А так, пустое, – смущенно проронил он. Он все время смущался, когда говорил с ней, когда смотрел на нее, и Марии было смешно.

«Сердце у него такое же чистое, как это небо над головой, – подумала она. – И ему должно быть легко от сознания этого. Но осознает ли он это?» Она не сводила взгляда с него, как бы искала подтверждения своей мысли.

Потом склонилась над водой, стирала бинт. Потом расстелила на валуне, выступавшем из воды. Валун тяжело выползал на берег, из-под лобастого камня пробивалась травинка и тянулась вверх. Сколько понадобилось сил и терпенья, – подумалось Марии, – и

где взяла это тонкая травинка?

Мария села рядом с Сашей, повернула к нему лицо и провела пальцем по одной его брови, по другой, по лбу. Палец ее, ощутил Саша, пах терпкой озерной водой, в которой только что полоскала бинт.

Они сидели у берега и смотрели на коричневые кусты впереди, по ту сторону озера. Мария глубоко дышала, и тонкие ноздри ее вздрагивали, она чувствовала, как легкие наполнялись сильным хвойным настоем. Вот так сидеть бы и сидеть и пригоршнями пересыпать песок. Рука Саши тоже потянулась было к песку – что-то мирное, благостное почудилось в этом, что-то из недавнего детства. Он улыбнулся. Но рука машинально легла на винтовку, зажатую меж колен, и он почувствовал боль в голове, будто осколок впился только что. Даже прикрыл глаза.

Мария потрогала на валуне бинт, еще чуть-чуть влажный.

– Так даже лучше? Холодить будет, – обматывала Сашин лоб. – Все. Набирай котелок, и пошли.

Саша помедлил. Потом шагнул к берегу, присел на корточки, набрал в котелок воды. Вода мутная, в ней плавали сухие сосновые иглы, зеленые нити болотной травы.

Они поднялись по склону обрыва, поравнялись с двухвершинной сосной. Вон и Данила.

– Не утопли? – Данила подгробал ногой наваленные горкой сучья и разжигал костер. – А я уж уходить собрался, раз утопли, думаю. Давай котелок.

Костер разгорался медленно, сначала пустил рыхлый дым, потом выбросил робкие космы огня. Потом расшумелся вовсю.

Данила поставил котелок в середину костра. Внизу, вокруг котелка, костер подернулся сизой пленкой, будто его накрывал туман. Данила повернул затихавшие головешки, и огонь с новой силой кинулся к котелку. Вскоре гудели уже вместе, огонь и кипящая вода.

Данила вытер травой пустую консервную банку, по очереди попили из нее кипяток, сначала он, потом Мария, потом Саша. Данила опять развязал кисет. Веткой выгреб из костра уголек, ткнулся в него сигаркой. Привалившись на локоть, курил долго и дымно. Рдеющий кружок кончавшейся самокрутки, когда Данила затягивался, вспыхивал уже под самыми усами, и, рыжие, они казались оттого особенно красными. Губы Данилы так обкурены, что, должно быть, совсем не чувствительны к огню, заметила Мария. Он весь пропах табаком, изо рта, от пожелтевших пальцев исходил сильный табачный дух. Ни острый запах сохнувшей травы и опавших листьев, ни дыхание остывающих к осени деревьев и близкой воды, ни прохлада утренней земли не могли отбить этот прогорклый дух.

Данила сделал две последние затяжки, одну за другой, выпустил серо-голубые потоки дыма и выплюнул крошечный, непонятно как державшийся на губах окурок самокрутки.

– Ну, на ноги. – Он поднялся, закинул за спину вещевой мешок, потрогал ремешки бинокля на груди. «На кой хрен мне сдался! Нашел на что позариться, – подумал о разбитой машине, на которую вчера наткнулись, он и Саша. – Сашко, тот винтаря отхватил. Да еще вот компас. Ну и я не внакладе: гранаты сообразил, – поправил на плечах вещевой мешок, слегка оттянувшийся книзу. – Пять штук. – Гранаты выпирали из мешка и вдавливались в спину. – Толковая штука граната под рисковую минуту, подумал, чтоб оправдать это неудобство. – А больше ничего путного в машине и не было».

Саша и Мария тоже встали. Данила посмотрел на босые ноги Марии, посмотрел на Сашу. Тот стоял перед ней, в руках держал свои сапоги.

– Нет, Сашенька, Сашенька, нет, – поняла Мария и замотала головой. Земля еще не настыла, холодно не будет. Да и сапожищи твои – вон какие! Не надо, миленький, правда, не надо...

– Ничего. По две портянки навернем, и хорошо будет, – упорствовал Саша. Голос негромкий, просительный.

– Вот что, голуба, – вмешался Данила. – Хватит цирамоний. Напяливай кирзачи, и разговор весь.

Мария послушно взглянула на Данилу. Он снова попыхивал сигаркой, будто и не прекращал курить. Искуренная, сигарка жгла пальцы, но он как бы и не замечал этого.

– Быстрее! – уже требовательно произнес Данила. – Быстрее!

Мария неловко опустилась на траву, положила Саше на колено ногу, тот обернул ее портянкой, еще одной, натянул на ногу сапог, то же сделал с другой ногой.

– Ну! Ну! – торопил Данила.

3

Вчера, в сумерки, покинул он санчасть, или как ее там, и Сашу прихватил с собой. Вместе и попали туда, неделю назад: его контузило, а Сашу осколком ранило в голову. «И по-дурному вышло все. Ей-бо, по-дурному... Ну в самом деле. Пошел, сволочуга, бомбить передний край. Ну и бомбил бы передний край. Мне, дураку, лечь бы где стоял, и ладно. Не сообразил, да в кусты и хлопчика за собой потащил. А сволочуга в кусты и бухнул: и понимать тут чего – где живой силе прятаться, как не в кустах? И правда, туда и сунулись

бойцы. Легко отделались с Сашком...» А два дня назад стали спешно санчасть эвакуировать. Данила понял: неспроста. «Да тут любой поймет, что неспроста. И слух пошел: наших потеснили». Что ж, подумал Данила, – уже в норму пришел, ну малость какую не дотянул, и Саше полегчало – чего в санчасти делать? Уволокут куда-нибудь в тыл, и прощай полк свой, батальон, рота. «Обратно к своим попадешь разве. Да ни в жисть!» И решил Данила смыться. С Сашей, конечно. Куда ж Саша без него? Вместе влипли, вместе и выручатся. С утра начал старшину уламывать насчет харча. Не уломал. Уломали старинные часы с боем, отцовские еще. «Да мало, черт рязанский, дал за них. Ну на первое время кишки заговорить хватит...» Карту раздобыть не получилось. Хотел прибрать лейтенанта одного карты, в планшете лежали, – тому они уже ни к чему: тяжелораненого, его увозили в тыл. Стащить не позволил, а разглядеть разрешил. Два дня рассматривал Данила карты, лист за листом, пальцем водил по лесам, по дорогам, по болотам, по берегам рек, и глаза запоминали все это. «А чего сложного? Если знаешь, куда путь держать... Приглядись как следует, откинь ненужное, а остальное в голове держи». Так уж приходилось, бывало. Найдет, обязательно найдет он полк Бровченко. Боевой полк, значит, продолжает воевать. Далеко не отступит.

Данила шагал широко и прочно. Мария шла рядом, ногам было тепло. За спиной двигался Саша. Она была спокойна. Верилось: «С такими все обойдется».

– Смотри, Сашко, ноги не покалечь, – оглянулся Данила. – Теперь ноги – первая голова...

А в босые ступни, как назло, впивались невидные в траве острые сучья, сосновые шишки, и сколько же этих сучьев и шишек раскидано по лесу!

Данила, Саша и Мария ступали по длинным утренним теням, застлавшим лес. Лес то размыкался, впуская травяные полянки, то снова сдвигал деревья, и надо было пробиваться сквозь зеленую гущину. Птицы перелетали с дерева на дерево, словно камешки кто-то перебрасывал.

Шли долго, час, два, три. Четыре. Сосны, ели, осины, опять ели, опять осины, и поляны, покрытые хвойными иглами и желтыми и красными, как огонь, листьями. Все то же. Все то же. Ничего не менялось. Будто на одном месте перебирают они ногами – удивительно одинаковый мир, сколько ни шли. «Идешь, идешь, а вроде и не идешь – десять километров отмахал, двадцать или только пять, и не представишь себе». Потянулся березовый лес: белая стена справа, белая стена слева. «А за лесом – болото, – припомнил Данила карту. – Вроде правильно идем. На северо-запад. Перейдем болото, а там и искать „хозяйство

Бровченко“. Может, где на метку напоремся, а то и по-
расспросим. Попадутся же встреча частя...»

Данила двигался, зажав руками лямки вещевого мешка. Мария едва поспевала за ним. Хоть и намотали по две портянки, сапоги просторны, и когда ступала, ноги скользили и она спотыкалась. Чуть было не упала, ухватилась за березу, удержалась. Береза, тонкая, поддалась, склонилась под ее тяжестью, и Мария услышала дрожь, пробежавшую внутри ствола. Показалось, что Данила и Саша пропали.

– Сашенька, миленький, ты ж потеряешь меня...

– Нет. Давай руку.

Она протянула руку и ощутила жесткую холодную Сашину ладонь.

Шли, осторожно передвигая ноги, словно не были уверены, выдержит ли их земля.

А болота нет и нет. Можно было повернуть, обойти болото и выбраться на шоссе севернее болота, километрах в двух от него, – размышлял Данила. Но дорога выйдет дальняя, куда как дальняя, и – видно – все равно топкая. «Пойду на болото, – решил он. – Где же оно упряталось, проклятое!» Болоту пора появиться, если по карте. И день, как назло, кончается... Но еще светло, еще открыто небо. «А если скрючили и не так идем?»

– Смотри компас, а? – бросил Данила.

– Компас показывает: ждем своим курсом, – отозвался Саша.

Перед ними тянулось пространство, наполненное ветром, холодом, шорохом травы.

Березняк стал редеть. Гуще пошли травянистые заросли, оседая под ногами, и, хлюпая, наверх проступала зеленоватая вода: приметы болота.

– Перемахнем болото и – привал, – сказал Данила.

Зябко кутаясь в плащ-палатку, натруженной походкой человека, неуверенного в дороге, брел Саша. Мария видела босые ноги его, белевшие в тусклой приваленной траве. «Ой, Сашенька, – сжималось сердце Марии. Захолонет же... Хоть бы где сапоги раздобыть...» И как это потеряла туфли там, в городке!

Будто туфли могли что-нибудь значить сейчас...

«Добрались наконец, – соображал Данила. – Куда ж податься: вправо, влево? Где тут помельче? Черт его знает...»

– По карте болото влево с километр. А вправо километра два, зато выходит к самой поляне и ближе к шоссе. Правее и помельче вроде, прикидывал Данила вслух. Память хранила карту местности, все краски и знаки, точно была перед глазами.

В какую сторону все-таки? Влево? Вправо?

Взял вправо. Сзади тупо чавкали сапоги Марии, шлепали босые ноги Саши.

По дну стлалась скользкая, перепутанная мясистая трава, и они едва удерживали равновесие, чтоб не упасть. Потом услышали ровный шелест начинались камыши. На полный вымах протянул Данила перед собой руки, врезаясь в заросли. Он захватывал зеленые метелки, разводил в стороны и продвигался дальше. Он обернулся: Мария и Саша, тоже хватаясь за камыши, не отставали. Впереди все еще чернела болотная вода. Похоже, никогда болото это не пройти, точно конец его где-то на краю света. «И чертово, длинное какое, – досадовал Данила. – Проклятая карта... Показывала же: километра два. А идем уже сколько! Проклятая карта... Ладно, ладно, поворчал на себя. – Ну-ка, ногами тверже, ну-ка, рыжий!..» Он передвигался по вязкому дну. Мшистые кочки, как зеленые головы, чуть приподнимались над болотом. Данила обходил их. Саша и Мария следовали за ним. Водоросли обвивали ноги, и, как связанные, ноги едва переступали в этой густой жиже. «Засветло б успеть пересечь болото», – сглотнул Данила горькую слюну. Покурить, покурить!.. Свернул сигарку, ткнул в зубы. Нити дыма висели над головой, как потемневшая паутина.

Мария замедлилась, Данила услышал ее стесненное дыхание. Она не поспевала даже за его небыстрым ходом. «Не ослабла б девчонка...» Все время ду-

мал о ней. Она напоминала ему дочь. Доярка, как и мать. Заочница. Учится на зоотехника. Может, как и этой, придется пробираться бог весть где вот с таким же Данилой...

Впереди темнел олешник. Конец болота!

– Хлопцы, хлопцы, – поторапливал Данила.

Под ногами начало твердеть, камыши отходили назад, жирная жижа спадала и была уже ниже колен. Данила вздохнул, на душе стало легче.

Выбрались на поляну. За ней – шоссе. То самое, по которому туда-сюда, по предположению Данилы, должны двигаться войска: на передний край – в тыл, вперед – назад... «Ладно, без привала. Время дорого».

– Ну, голуба? – участливо посмотрел Данила на Марию. Он слышал, как хлюпали ее сапоги. – Осилишь еще с полчаса, а?

Она притворно улыбнулась: сущие пустяки, идет уже сколько, и еще столько может пройти. Улыбка не обманула Данилу, он видел, какие тусклые и слабые у Марии глаза. Он и сам едва брел, усталость сковывала ноги, туманила голову, – тело тащил он, как тяжелый мешок с неживыми костями и мясом.

Только сейчас, когда выбрались из болота, почувствовали они, как продрогли. Одежда на них не просхла. Солнце уже не согревало. Солнце плавилось в

самом низу неба – закат такой яркий, такой сильный, что весь огонь его истратился на неширокую полосу, придавленную лиловой грядой облаков. Было холодно.

– Сашенька, миленький, давай по очереди сапоги, – страдала Мария.

Саша не откликнулся. Возможно, не слышал.

Они подошли к шоссе.

По шоссе катили грузовики, в них сидели бойцы с пулеметами. Вдоль обочин топали красноармейцы в плащ-палатках, со скатками. На восток. На восток. Один красноармеец, худой и длинный, стал поправлять сползавшую обмотку на ноге.

Данила приблизился к нему.

– Оттуда? – кивнул в западную сторону.

– Откуда ж еще?.. – не глядя на Данилу, сердито отозвался красноармеец. Он обернул обмоткой ногу, выпрямился.

– И куда?

– Куда? – исподлобья посмотрел красноармеец на Данилу. – Вперед. Из Киева на Харьков.

Данила не заметил, как сжал в подступавшем гневе кулаки. Сдержался. Крякнул, чтоб остыть.

– Может, попало по дороге «хозяйство Бровченко»?

– На кой нам хрен твое «хозяйство Бровченко»! –

со злостью утомления выпалил красноармеец. – Тоже где-нибудь драпает.

– Э, друг... Кроме страху, выходит, ничего и не видишь, – покачал Данила головой. – Ладно, найдем свою часть. Прощевай... Далекo не забирайся, смотри, – съязвил, – вертаться устанешь. Прощевай...

– Эй, ты, «прощевай»... – уже участливо произнес красноармеец. Повороти оглобли, пока не поздно, понял? Сзади немец прет.

– Так он, немец, все время прет. Чего ж ему не переть, если драпаем...

– А, – принял красноармеец насмешливый вид, – вон с этими, – показал на Марию, на Сашу, – немца остановить собираешься? Давай. Давай. Повернулся и нетвердым, усталым шагом побрел по шоссе дальше, на восток.

Данила, и возмущенный и растерянный, смотрел вслед уходившим. «Паникерщики, – пренебрежительно подумал. – С такими остановишь немца, как же! Паникерщики...» Гневно сплюнул, как бы зачеркивая и встречу с теми, уходившими, и то, что сказал ему красноармеец. Так и не довелось узнать обстановку, чтоб сообразить, куда двигаться. Но это не смутило его. Он не сомневался, что наткнется на стрелку-указатель: «Хозяйство Бровченко». Он вернулся к своим размышлениям. «Бровченко на шоссе делать нечего,

объяснял самому себе. – Раз занимает оборону, то искать его где-нибудь в лесу или по линии реки. Поверну на лес».

Пересекли шоссе, щербатое, покореженное, взломанное.

Лес начался сразу, грузными елями, кряжистыми соснами.

Данила был уверен, что именно в этом направлении надо искать свой полк: рубеж полка, помнил он, проходил много севернее. Там и под бомбежку попал с Сашком. «Ну полк отступил пусть, такое, что и говорить, возможно, а драпануть чтоб – нет!»

Хотелось есть. Рот наполнялся густой слюной, он проглатывал слюну, но еще сильнее хотелось есть. Через некоторое время во рту снова набиралась слюна. «Молчат хлопцы, – сочувственно посмотрел Данила на Сашу, на Марию. – Идут, а только и думают про харч. Ну что там мясца на один зуб и хлеба кус? Работа же какая...» А нет, не тронет он оставшейся горбушки хлеба. «Энзэ, – покачал головой. – Энзэ». Но о чем бы ни старался думать, перед глазами все время эта мучительная горбушка, будто не в вещмешке она вовсе, а у самого рта, черт бы ее побрал!..

И все-таки сдался. Не помирать же с голоду. Бог даст день, даст и пищу. Не пропадут! А сейчас поесть, сила ногам.

– Поедим, хлопцы.

Он свалил с плеч вещевой мешок, бережно взял горбушку, точными движениями финкой разрезал ее, всем поровну. На траву упали крошки, поднял их, кинул в рот. Жадно, держа хлеб обеими руками, стал жевать.

Мария откусила от ломтя, еще раз откусила, на этот раз быстрее, и стала торопливо есть. Саша исподволь взглянул на нее. «Голодна как! подумал. – Не привыкла еще...» Свой кусок съела даже раньше Данылы, на минуту, а раньше.

– Возьми, – протянул ей Саша недоеденный свой ломоть.

– Нет, Сашенька, миленький, нет... – Она заплакала. Грудь стеснило чувство благодарности, голода, стыда...

Двинулись. Шли лесом вдоль шоссе, все дальше на северо-запад.

– Марийка, возьми, – снова протянул Саша свой кусок хлеба. Он чувствовал обворожительную тяжесть в руке, к глотке все время подкатывал комок. Еще немного, и не выдержит, съест.

– Сашенька, – отвернулась Мария, чтоб не видеть его руки, – нет. Нет!

Так и шел Саша с куском хлеба, зажатым в руке.

По шоссе проносились машины. По шуму движе-

ния понял Данила, что машины держали путь в западную сторону. «Вот-те: немец сзади прет... вспомнился красноармеец. – А и наши вот прут, да вперед, на запад...» Настроение поднялось. До шоссе шагов сто.

Они выбрались на опушку. По вечеревшему шоссе на небольшой скорости шли машины. Без фар, втемную. Грузовики с брезентовым верхом, сдвинутым гармошкой, что-то слишком длинные, слишком высокие кузова. Что за черт, и обрывки доносившихся разговоров не русские какие-то, немецкие?! Но машины шли с востока, шли на запад – какие ж могут быть тут немцы! – недоумевал Данила. Выжидательно-тревожно вглядывался, вслушивался. И Саша с Марией вглядывались, вслушивались.

Машины застопорили ход. Вон их сколько вытянулось по шоссе. Захлопали вразнобой дверцы кабин, раздался топот тех, кто выскакивал из кузовов. Должно быть, остановка в пути. Теперь немецкие выкрики, гортанные, резкие, отчетливо перебрасывались от машины к машине. Каски, глубоко надвинутые на головы, не так, как обычно носят красноармейцы, черные автоматы через грудь, долгополые, серо-зеленые, цвета травы, шинели. Немцы. Немцы. Данила, Саша и Мария оцепенели, особенно Мария, даже перестала дышать: настоящие фашисты, которых ни разу в жизни не видела, – неподалеку, несколько шагов

и – они. Глаза ее стали широкими, испуганными. До боли прикусила губу. Она не могла устоять на месте, ноги готовы были ринуться в сторону, все равно куда. И она ухватилась за руку Данилы. Рука Данилы, ощутила она, дрожала, и Марию совсем охватило отчаяние. «Конец?.. Конец... Конец!..» Она вглядывалась в лицо Данилы; лицо Данилы на этот раз не внушало успокоения. «Конец! Конец!..»

Данила и в самом деле растерян: что-то обрушилось в нем. На какое-то мгновение из сознания выпали враждебные машины, шинели, голоса, враждебное урчание моторов, и он было засомневался, видит ли, слышит ли все это или ему казалось, что видит и слышит.

Не казалось. Нет. Он уже твердо знал, что не казалось. И вдруг почувствовал, что шоссе это, ведущее к Днепру-реке, и пыльный боярышник вдоль обочины, и еловый лес за шоссе, и белые хатки, видневшиеся вдалеке, все это пространство – чужое. Он содрогнулся. То, что всегда было родным, своя земля и – чужое!.. Непостижимо. Не укладывалось в сознании. Но это так. Сейчас это так, не надолго пусть, но так. Если всего здесь надо бояться...

Немцы продолжали перекликаться. Они перекликались громко, безбоязненно, уверенно, как у себя дома. «Дают, сволочи, знать, что они победители, а мы

побежденные. – Данила скрипнул зубами. – Посмотрим. Мы будем вот так же кричать на ваших, сволочи, германских дорогах, на ваших, сволочи, улицах. Увидите. Увидите!..» Он верил в то, что подумал, он не мог не верить.

Данила подал знак, и Саша с Марией, бесшумно ступая, вслед за ним отходили в лес.

4

Машины тронулись, услышал Данила.

Рокот моторов отдалялся, потом пропал вовсе, и это значило, что немцы уже далеко отъехали и что он, Данила, тоже ушел далеко от шоссе. Но немцы знали, куда им ехать, а он теперь не представлял, направиться куда.

«Подымлю. Дымишь когда, проворней думается». Данила вытащил из кармана кiset. А нет, все равно, ничего такого, ясного, твердого в голову не приходило. Немецкие машины ни на минуту не оставляли его мыслей.

Темнота постепенно накрывала землю, деревья, словно все было лишнее, только проступившие звезды оставались нетронутыми, и далекий негреющий жар их лежал под ногами.

Данила двигался потерянный, надломленный.

Неизвестность держала его в напряжении, и он ничего не мог поделаться, чтоб ослабить это напряжение, успокоиться. Его вдруг осенила догадка. «Данила, Данила, черт рыжий! Вон ведь как оно выходит. Пробил немец нашу оборону и вырвался на восток, в тыл нам. Ну, так. И жать бы ему дальше. А нет. Обратно повернул. Вот, рыжий, и кумекай: не на своих же идет, там, впереди, значит, бьются наши, не отступают, значит, и норовят немцы ударить еще и сзади, с тылу. Чего ж тут понимать. Дурья твоя голова. Точно, впереди наши. Сразу видно, не военный ты человек, Данила. Тебе в земле копать, хлеб пахать. А ладно. Меня, немец, и на войне не проведет. Он идет. И я иду. Раз там наши. Слышал же, светало когда, отдаленный артиллерийский гул. Значит, какой-никакой, а был бой».

Синяя тьма уже слила все, и мир, утративший свет и простор, казался тесным, безмолвным.

Лес вдруг пропал: рванул свободный ветер. «Вышли в поле», – догадался Данила. Он сделал шаг. И второй, и третий. Во мраке лежало поле, наверное, поле – ничто не мешало движению. А за ним – река. Так по карте. Глаз у него верный, памятный. После реки придется идти наугад – у того лейтенанта последний лист карты обрывался на реке, река выходила в самый обрез карты.

Данила не виден в темноте, лишь по огоньку сигар-

ки, то вспыхивавшему, то тускневшему, можно определить, где его рука, где рот. Он курил, курил. Еще раз затянулся, задержал в себе дым, и швырнул окурок. Окурок не успел описать полукруг, как вверх взлетел лихорадочный свет ракеты. Ракета распахнула перед глазами выхваченное из мрака поле. Поле было видно все, от края до края. Оказывается, оно покрыто редкими и низкими, уже оголенными кустарниками, будто огромные ежи. Данила припал к земле, Саша и Мария вслед за ним тотчас бухнулись возле куста. Вдалеке, увидел Данила, разбросанные, приткнувшиеся к купам деревьев хаты, словно тоже искали, куда б укрыться от этого ужасающего света. И оттуда, из селения, ударил пулемет.

Данила достал гранату, положил возле себя. На всякий случай. Ракета, пулеметная стрельба, машины на шоссе соединились, и он мысленно увидел себя стиснутым немцами. Ракета медленно угасала. Пулемет пустил длинную очередь, пули просвистели поверх голов Данилы, Саши, Марии. Пулеметчик заметил их? Нет? Заметил. Иначе не бил бы сюда, где они залегли.

Дрожавшими пальцами вцепилась Мария в траву, мокрую от росы. Пулеметная очередь вызвала в памяти городок, Лену и все остальное. Все в ней замерло, она не чувствовала своего опустевшего тела. Да-

же сердце смолкло и не напоминало, что оно есть. Только слезы, ощутила, быстро и горячо текли по щекам, и поняла, что плакала. Лучше б умерла она там, рядом с Леной!

– Сашенька... – едва пробормотала одними губами.

Саша, как обычно, воспринимал усложнившуюся обстановку молча и сосредоточенно. Он доверялся опыту и сообразительности Данилы. Выпутаются и на этот раз.

– Лежи... лежи... – сказал. Все-таки услышал Марию.

Пулеметная строчка перенеслась правее, еще правее. Туда, на шоссе, пулеметчик не стрелял. Нет, он их не заметил, успокоился Данила, бьет наугад. Пулемет пустил еще одну сухую очередь, как бы в никого, и умолк.

Надо уходить. Надо уходить, тревожился Данила. А куда уходить? «Крышка... Немец спереди, немец сзади. Крышка...»

Небо опять зажглось, и теперь Данила увидел, какое оно холодное. Пушистые, громоздкие облака походили на скалы из ваты. И когда ракета рухнула, Данила, Саша и Мария быстро вскочили на ноги.

«Все равно, к линии фронта. Больше и некуда». С твердой решимостью шагал Данила, как бы уверенный, что идет по единственно верному пути. Озабо-

ченно оглядывался, словно ждал погони. Но позади было темно и тихо, впереди было тоже темно и тихо.

– Шире, хлопцы, шаг, – произнес он вполголоса. – Шире шаг...

Но Саша и Мария почти бежали, хотя Марии это было трудно, сапоги разъезжались в стороны.

А поле показалось бесконечным, как нескончаемым казалось раньше болото. Мысль Данилы уходила куда-то далеко, где он еще не был, и возвращалась сюда, в поле, которое никогда не пройти.

Что еще встретится на пути? Теперь Данила ожидал всего, худшего. Вот идут они, трое, маленькие люди, от всех отрешенные, затерянные в черном, невидимом поле, идут боязливо и не знают, куда и когда придут. Ну, переберутся через реку. Переберутся и пойдут дальше. А если дальше и некуда уже: одни немцы? Он содрогнулся от этого предположения. Все как-то расплывалось, и то, что в жизни было, и то, что предстояло. Нет, видно, ничего больше ему не предстояло.

Он понял: это испуг захватил его здесь, в полуночном поле, подавленного, не знающего, как выбраться на дорогу спасения. В укоротившемся мире, в который его втиснула судьба, образовалась пугающая пустота, и не за что было уцепиться, чтоб обрести уверенность. Саша? Мария?.. Ничем, ничем не могли они

помочь. Он и за них в ответе. Он испытывал слабость, пропало нетерпенье, совсем недавно вызывавшее в нем готовность сопротивляться тому, что мешало.

Он защищался от напавшего на него чувства одиночества. Это требовало сил неутомленного сердца, невымотанных нервов. «А как вымотало всего! Одуришь: у нас в тылу немецкие машины на шоссе!.. У себя в тылу – пулемет в меня!.. Одуришь... одуришь...»

И подумалось о смерти. Мысль об этом не испугала. «Я-то что ж... И помереть не то чтоб уж так страшно. Но смерть, чтоб в дело. Это, как и работа, чтоб в пользу кому... Ну, Дуне чтоб полегчала жизнь, девке моей да хлопцу моему, землякам, людям всем, – шел и размышлял Данила. – Война штука такая, могу и не остаться в живых, понимаю это». Он тяжело перевел дух. «Нет, этого я как раз и не могу. Она вот, голуба, может, останется, ну он, Сашко, останется, девка моя, хлопец останутся, и земля моя останется, и все, что на ней. И я, выходит, в них останусь. Хоть три раза меня убей, Гитлер проклятый! Хоть пулей, хоть бомбой, хоть веревкой на шею. А останусь. Так или так, а останусь...» Перед ним стояла его деревня. Почему-то увидел ее в летний полуденный час. Он смотрел в солнечное небо, потом опустил заслезившиеся от света глаза, и в них ударил тот же солнечный жар –

большое колосистое поле, полное золотых крупинок хлеба, стлалось перед ним.

Он становился прежним, настойчивым, уверенным. «Ты вот, Гитлер, побил меня сейчас. Это точно, побил. А все одно, сила во мне не убавилась. Потому и иду. И этих вот веду». Он говорил, ни к кому не обращаясь, это были думы, выраженные вслух, чтоб сам их услышал, только так мог он постичь их смысл. В сердце накипаало, накипаало, и чем хуже чувствовал себя, тем больше разжигалась злость. «Э, рыжий, вожжи выпустил... Это тут я один, тут. А там, – в сторону качнул головой, – там все мы! И не пугай меня, Гитлер. Сердце мое еще не обносилось. Ничего. Колотится. Мы еще сшибемся с тобой. Крепко сшибемся».

– Выберемся из окружения, – почти выкрикнул Данила.

О чем это он? – понимала и не понимала Мария. «Окружение?» Что выражает это слово? Даже Саша услышал ее дрожь. Он взял ее за руку, испугался: что с нею? Мария хотела представить себе это окружение, и не могла. Но ведь там, в городке, говорили о какой-то «щели», даже о поезде говорили.

– Мы окружены, да? Немцами окружены? – В голосе Марии – страх, боль.

– Не мы, а он, немец, окружен. В окружении нашего народа он, задыхаясь, откликнулся Данила. – Вот

и будем бить его в лоб и в затылок, раз окружение. Поняла? Верно, начало у нас получилось плохо. Плохо. Зато конец будет хороший. Это, голуба, и важно. Конец чтоб хороший...

«Конец хороший? – старалась Мария постичь, что имеет в виду Данила. О каком хорошем конце говорит он, когда все так плохо?..» В секунду-две мысленно пробежала весь страданный свой путь от тихого, белого городка до этого поля во тьме. «Значит, окружение?..» Страх возрастал с каждым шагом. И, как никогда раньше, искала она успокоения в надежде: без нее в этом мире невозможно, как без воздуха. Надежда и была воздухом этого мира: надежда не быть убитой, надежда выйти из окружения, надежда соединиться со своими.

– Ничего. Ничего, – не то себя утешал Данила, не то Марию с Сашей. Обтерпимся, и пойдет дело. Аль не русские мы, што ль... Почувствует нас немец, и почувствует же!.. – зло пригрозил.

Он услышал, вблизи шумели осины, по быстрому и мелкому шелесту листвы узнал, что осины.

И еще: ели – мягкие иглы скользили по рукам, по лицу.

Лес!

Нетвердой, шаткой походкой брели они, задевая длинные ветви елей, и ели, как бы оживая, приходи-

ли на миг в движение. Наткнулись на вывороченную сосну. Данила выругался. Переступили через нее. И опять, толстая, вся в сухих сучьях, неуклюжая выворотка. И эта тьма. Она не давала двигаться как следует, впрочем, они и не могли идти быстрее – ноги гудели, болели ступни.

«Еще шагов десять, больше не выдержу, – чувствовала Мария, как все в ней гаснет. – Нет, пять шагов, и все», – изнеможенно передвигала она ноги, заваливаясь то на одну, то на другую сторону. И – остановилась, уже не в силах и шагу ступить. Саша тотчас натолкнулся на нее и тоже остановился.

– Дядь-Данила... Хватит, а? – попросил. Он поддерживал Марию, ставшую тяжелой.

– Ладно, – хриплый вздох Данилы.

Они свалились на влажную от ночной росы траву, разбереженную ветром. Ветер пах полынью, и здесь, в лесу, это было удивительно. «Просека, што ль, недалеко, а за ней луг? Полыни-то быть откуда? – спрашивал Данила. Э, надо куда подальше отсюда, подальше. Нарваться можно...»

– Придется еще потопать, хлопцы, – сказал Данила голосом, полным сожаления. – Ничего не попишешь. В гущу, ну хоть километров пять. У самого ноги уже никуда, а надо. Потопали...

Гуськом потянулись в лес. Данила впереди, Мария

за ним, Саша позади.

Шли долго, наверное, очень долго.

– Ну, стоп. Отдохнем. Часа два. Ладно, три. Реку нам переходить. Данила похлопал себя по груди, по бокам. – От холода б не околеть. Ай, немец, проклятый, – скрипнул зубами. – Разведем огонь, может, обойдется.

Мария уже лежала на земле. Саша стянул с нее намокшие сапоги. Жгло ступни, ныли колени, ломило спину, саднило в груди, тело как бы распадалось на части, каждая часть жила сама по себе, со своей усталостью, своей болью.

Она не почувствовала, как Саша сунул ей под голову пилотку, как накрыл плащ-палаткой. И как поднялся Данила и пошел и вернулся, как раскладывал сучья и щелкнул зажигалкой, уже не слышала. Она спала.

Данила зажег наваленный горкой, отпавший сухой лапник, и в темноте блеснули оранжевые зубки огня, сначала скрытно, как бы стесняясь, потом пламя разгорелось, и Данила увидел, что близко к костру подошли высокие березы, озаренные розовые стволы их, казалось, излучали свет.

Костер осветил Марию. Она вздрогнула, очнулась, приподняла голову: едкая горечь дыма раздирала горло. Дым ел глаза, и она протерла их. Слепо посмотрела перед собой. С минуту думала, что еще спит, и

лицо ее было слабое, успокоенное.

– Отсунься, голуба, задохнешься. – Голос Данилы издалека, неясный, кажущийся.

Мария отодвинулась. Холод снова тронул ее. Протянула к костру затекшие ноги. Данила, видела она, держал над огнем распрямленные руки, во рту сигарка. Еще увидела, как, подперев ладонью качавшуюся в дремоте голову, изогнулся у костра Саша. Бинт на лбу размотался, и конец коснулся пламени. Она успела заметить и то, как Данила выхватил вспыхнувший бинт, погасил и откинул Саше за плечо. Данила что-то сказал Саше о карауле, и тот откликнулся: «Ага...»

Мария снова закрыла глаза.

5

Данила услышал свой круто оборвавшийся сиплый храп и подался грудью вперед, как бы храпу вслед. Несколько секунд сон еще продолжался. Но сон не помнился. Может, и не снилось ничего. Он силился сообразить, где он, что с ним. А! Все бедственно стало на место.

Данила почувствовал на затылке сонное дыхание прильнувшей к нему Марии. Она лежала рядом, под сосной, на бурых хвойных иглах, лежала лицом к солнцу. Белое солнце, подернутое легким туманом,

напоминало, что над головой утро. Данила посмотрел на нее: вздрагивавшие веки неплотно закрывали глаза, и оттого казалось, что глаза только сощурены. «Повернулась, голуба, спиной ко всему. Хоть на какое-то время уйти от беды. А не уйти...» По тому, как жалобно менялось ее лицо, догадывался: девушке снится что-то неладное, горькое, тяжелое. Она постанывала. Трудная действительность не покидает человека даже во сне. И все же, какое облегчение закрыть глаза и не видеть страшный теперь мир. «Доспи, доспи, голуба...»

Данила протянул ноги, и они скрылись в траве. Колючий озноб пробежал по телу и уходил куда-то внутрь. Но холодно было не от нападавшего и отступавшего ветра, понимал Данила. «Поспал бы еще немного и тепла б набрался. Да ладно. Река вот – беда». Мысль об этом тревожно не оставляла его.

– Посмотрим, – утешающим тоном самому себе сказал. И, жестом разрубая воздух, как бы снимал сомнения и подтверждал: посмотрим. Он свернул сигарку, закурил, пустил дым из обеих ноздрей.

Потом поднялся, подошел к Саше. Тот стоя привалился к молодой невысокой березке, голова почти вровень с ее вершиной. Винтовка в его руках то опускалась, то взбрасывалась вверх. Видно было, он боролся со сном.

– Давай, Сашко, винтовку, – сказал Данила. – Давай винтовку и валяй спать.

Саша подошел к сосне, где спала Мария, повалился возле. Он уснул тотчас, как только коснулся земли.

Данила посмотрел направо-налево: спокойно, спокойно вокруг. Почему и не быть спокойно здесь, в глубоком лесу, далеко от дорог. Дальше как будет, неизвестно, совсем неизвестно. Он шагал между деревьями туда-сюда, весь слух, весь глаза. Данила приблизился к спавшим Саше и Марии. Мария испуганно шевельнулась. Но услышала знакомый неторопливый шаг Данилы. Толстая ее коса цвета веселого зноя сбилась с головы и вытянулась на земле, неловко повторяя проступивший наружу окаменелый золотистый корень сосны.

Мария тяжело задышала, она возвращалась откуда-то, куда увел ее сон, она уже на полпути где-то, вот-вот откроет глаза, – ждал Данила. И она открыла глаза, в них отразились трава и солнце.

– Дядь-Данила! – Сон разделил их, и она обрадовалась, увидев Данилу.

День стоял уже весь в свету и тепле, свободно накрытый сверху голубым солнечным небом. И воздух душистый и яркий. Она сдунула прядку волос, выбившуюся из косы, повернулась, и открылась розовая наспанная щека.

– Дядь-Данила... – назвала, как Саша называл, просто и естественно. И невольно подумалось: так обращалась к дяде-Феде, Федору Ивановичу. Как они там, с тетей? Что делают в эту минуту? – сжалось сердце. – Дядь-Данила!..

Данила приложил палец к своим губам и с минуту не убирал: тс-с-с!.. Показал на Сашу. Втянув голову в плечи, поджав посинелые ноги, тот лежал, сцепив зубы, словно мучился и во сне.

– Поспит пусть хлопец. Совсем выбился из сил, – шепотом сказал Данила. – Босой, – добавил сокрушенно.

Мария взглянула на сапоги, они сушились на колышках, посмотрела на недвижимого Сашу. «Сашенька...»

Данила опустился на старый, почерневший пень. Пальцем поманил к себе Марию.

Мария подошла, присела возле, на траву. Потом прилегла, согнув руку в локте, поддерживала голову. Две ветвистые жилки под кожей у локтя казались двумя прилепившимися длинными травинками. Данила смотрел на них, пока она не выпрямила руку и травинки эти пропали в настоящей траве.

– Плохо, а? – скривил Данила губы в сочувственной усмешке. – Плохо, плохо. А крепись, голуба. Жизнь теперь мутная, корявая. И не жизнь вовсе...

Никогда раньше не задумывалась Мария о том, что такое жизнь. Она жила, все было ясно, хорошо и в общем радостно, и все вокруг на своих местах. Мир для нее был готов. Она и предположить не могла, что может быть иначе, хуже, что у белого, у черного столько оттенков. Смерть матери, уход отца на фронт, теть Полина Ильинишна, дядя-Федя, Федор Иванович, оставшиеся в Киеве на гибель, расстрелянный городок и Лена там, – в жизни, оказывается, плохое сильнее хорошего...

– А что есть жизнь, дядь-Данила? – Голос ее звучал отдаленно, глуховато, почти неслышно.

– Что есть жизнь? – удивленно откликнулся Данила. – А шут его знает. – Он и не подумал, ответил сразу, будто уже привык отвечать на этот вопрос. Потом, размышляя: – Жизнь, голуба, это когда ноги твои упрутся в землю и ты знаешь, что не провалишься, когда солнце в лицо, и ты знаешь, что тепло его твое, когда река, поле, небо, ветер, лес, – ну все такое, тоже твои, и люди вокруг тебя твои, и делают они твое дело, а твое дело и ихнее дело. И дружно все так, и весело так, хоть горькую всем миром пей... – Он неожиданно улыбнулся, как бы довольный своей шуткой. – Вот, голуба, какое мое понятие об жизни этой.

Мария помнила, как она и сверстники ее жили, радовались... Хорошо было. Лучше и не надо.

– Теперь поняла я, легкая была жизнь... Будет ли она опять такая?

Данила, прикрыв глаза, посасывал слабо дымившийся окурок сигарки, и Мария не знала, он слушал ее или думал о другом, о чем-то своем.

– Легкая, говоришь, голуба, жизнь? – Помолчал. – Это какое у кого понятие об ней. А по мне только дышать, ходить по траве, есть хлеб еще не жизнь. Нет, не жизнь. Что-то большое, нужное в ней делать – тогда жизнь. А иначе... как тебе сказать... это, ну, вроде камня... того тоже греет солнце и тоже окропляет дождь. – Данила затянулся дымом и затоптал каблуком окурок. – Вот и спроси, раз сейчас не пашем хлеб и земля раз не колосится, то зачем мы на свете и земле этой делать что на свете? А? – Еще помолчал. – Остается одно, голуба, воевать, уж если так пришлось. Чертополох выкорчевывать, чтоб жизнь была настоящая, живая. Какая нам с тобой нужна. – Он прижмурил глаза, будто еще что-то хотел сказать, но ничего не сказал.

Данила заторопился. Время идти... Он поднялся, склонив голову, словно чувствовал какую-то вину, подошел к сосне, под которой, как мертвый, лежал Саша.

– Сашко... Сашко... – тронул его за плечо. – А Сашко... Ты уж не кляни меня, сынок, а поднимайся... Ид-

Здесь, в поле, свет был чистый, ясный, без примеси зеленого, как в лесу, из которого только что вышли. По всему простору ничего не было пусто, и потому нигде даже слабой, короткой тени. Прошли километра два. Данила заметил поодаль колесную колею. Неглубокая, с обвалившимися гребнями, видно было, давно по ней ничто не двигалось. Данила обрадовался: «Колея... Значит, ведет к переправе, к броду ведет. Колеи и держаться».

– Пошли, пошли.

Часа через полтора колея, проложенная в траве, снова привела их в лес. Колея поднимала их на взгорье. Лес поднимался вместе с ними, опережал их. Сосны. Сосны. Ближние сосны выбросили на колею толстые крученые корни. Над взгорьем, над соснами клубились грузные, клочковатые облака, и небо казалось вскопанным.

Лес негустой, и все вокруг просматривалось. Данила приложил к глазам бинокль и тотчас ушел далеко вперед: там было то же – сосны, отбежавшие друг от друга, разъединенные березы. То и дело подносил он ко рту толстую самокрутку, жадно и долго затяги-

вался, и поднималась грудь, поднимались плечи, казалось, всем телом курил. Пепел осыпался на гимнастерку. Данила не замечал этого.

«Переправа где-то есть, – не сомневался Данила, – как же без переправы. – Покачал головой. – А нашли б ее, переправу, и что? Немцы же по ней сейчас перебираются. О переправе и думать нечего. Только вброд. А где он, этот брод?» Он тревожился о Марии. «Девчонка все ж... Рослая, верно, а вдруг глубина, хоть и брод? Сможет поплыть, если что?..» Данила размышлял, глядя куда-то в сторону, словно ее и не было рядом. Потом повернул к ней лицо:

– Послушай, голуба...

Мария подняла на него ожидающий взгляд.

– Понимаешь, река. Переходить будем. Как, поплывешь, коль придется? Данила внимательно смотрел на Марию.

– Поплыву, дядь-Данила, поплыву, – слишком поспешно откликнулась она.

– Ладно, справимся, – вздохнул. – С Сашком вместе...

– А я и сама, дядь-Данила... Первенство по плаванию держала в школе...

– Э, голуба. То бассейны-кисейны там разные, да по-спокойному, да раздеванная. А тут... Справимся, ладно, – точно убеждал себя в этом, повторил Дани-

ла.

Он озабоченно следил, как солнце, двигавшееся прямо на него, взбиралось на самый верх неба, вокруг лежал желтый полуденный свет.

Данила услышал, сбоку позванивала вода. Вспомнил, когда повернул за березняк, он уловил чистое и гулкое бульканье. Потом блеснул оловянный свет воды.

Колея взяла обочь, они тоже повернули. Сосны пропали, потянулись ели, лес сдвинулся, потемнел, и небо убавилось. Колея выскользнула из-под ног, свернула и пошла вниз. Лес тоже заметно начал спускаться. Припадая к стволам, захватывая в горсть колючие еловые ветви, чтоб не упасть, скатывались и они вниз.

Внизу колея была уже глубокой и влажной.

– Вот он брод! – громко радовался Данила. И Мария радовалась, и Саша радовался.

В этом месте река разделяла лесную чащобу на две стороны. Тесно сомкнутые деревья на правом берегу и деревья на левом берегу бросили на воду свои длинные тени, и тени эти накладывались друг на друга, и казалось, что наполнена река зеленоватым мраком, а не водой. У берега, на дне, откликаясь течению, слышно шевелились, будто живые, круглые, как пуговицы, обкатанные камешки, синие в тени и бурые на свету. Здесь запах воды и леса смешался и лег-

ко было дышать. Ветер подгонял воду, и по ней бежали быстрые морщинки. На противоположной стороне, там, где выходила колея, чернел кустарник.

Вода шумно спотыкалась о камни и коряги, поднимавшиеся со дна, откатывалась и, оставляя желтые отмели, устремлялась дальше. «У берегов неглубоко, это точно, а по середине как?.. – Данила взглянул на Марию. Может, и по голову. Не утонуть бы...» Но выхода не было. Он решительно шагнул в реку.

Вошла в реку и Мария. Вода сразу по колени. Саша обжег ноги, как только коснулся настылой воды, потом притерпелся.

Солнце давно уже перевалило за вершину леса, воздух стал лиловым, словно усилившийся ветер окрасил его в этот цвет. Данила смотрел в сторону, откуда приближалась темнота.

Саша не отступал от Марии, он чувствовал ее локоть. Они двигались, взмучивая ил, и на воде не было их отражения.

Фиолетовая вода блестела, и видно было, какая она холодная. Мария погружалась в воду глубже и глубже. Сапоги, портянки, одежда, все намокло и стало тяжелым. Она шла осторожно, нетвердо. Вдруг покатилось вниз, наверное, слишком взяли вправо или влево от брода. Саша не успел протянуть Марии руку, и она, подавшись вперед, не устояла. Почти

вплывь, разводя руками, кинулся он на помощь.

Она захлебнулась. Руки то опускала в воду, то взмахивала ими, удерживая равновесие, и с растопыренных пальцев спадали капли. Постепенно отдышалась. Она слышала, как стучали зубы; сжала челюсти, и все равно не могла унять этот противный дробный звук. Вода ледяным обручем охватила ее. «Мороз... мороз...» Никогда еще не было ей так холодно. Она крепко держала руку Саши, мокрую и сильную.

– Не бойся, иди. Подхвачу, если что, – подбадривал ее Саша.

– Я не боюсь, я не боюсь, – невнятно произнесли отвердевшие губы Марии.

Слабость все больше одолевала ее, уже одолела, совсем одолела, еще минута – и она не в силах будет и шагу ступить. Но сделала шаг, другой, третий, она двигалась, задыхалась и двигалась.

Крутые облака низко катились куда-то наискось, в сторону.

Вот и берег. Шагов пятьдесят, не больше, устало прикинула она, даже сорок. Она шла, шла. И все же это далеко, сорок шагов, пусть тридцать...

– Голуба, – обернулся Данила, – поднатужься, ладно?

– Да, – откликнулась Мария, – да... – Почувствовала, что вода убывает, убывает, она уже покрывала

только живот, уже у колен плескалась.

Берег! Берег! Обессиленная, на четвереньках, Мария выкарабкалась из воды.

Колея выходила из реки и, впечатавшись в прибрежный песок, вползала в кустарник, разделенный просекой. Данила осмотрелся. За кустарником начинался проселок. Проселок бежал в селение, выступавшее вдалеке. Туда податься? Нет. После того, как его обстреляли из села, он опасался селений. Что делать? «Ну перешли реку. И – куда? Вслепую же... Недолго и немцу в руки попасть». В самом деле, куда направиться? Вопрос этот встал перед ним со всей жестокой определенностью. Он пытался утешить себя, представляя положение не таким безвыходным. «Ну прорвался где-то немец. Ну ходит по нашим тылам. Не паникуй, рыжий. Страх видит и то, чего нет на самом деле».

По проселку пылила телега. Данила пристально следил за ней, телега медленно приближалась. Будто желтоватый дым валил из-под копыт лошади в оглоблях. В такт бегу лошадь мотала головой. «Хорошо б свой, русский...»

– Н-но! – услышал Данила. – Н-но!..

«Свой... Свой... – обрадовался. И тут же мелькнуло: – А свой ли?...» Лошадь выскочила на просеку и двинулась к броду.

– Стой, друг. – Данила высунулся из зарослей. Седой человек с морщинистыми щеками от неожиданности даже выпустил вожжи из рук. Лошадь почуяла, что на нее смотрят, вскинула голову, заржала. – Какое то село, друг, а?

– Яке село? – с подчеркнутым удивлением переспросил возница. – На що воно тобі те село, дурень старий. – Человек с морщинистыми щеками рассерженно сбил картуз на затылок. – Ось що. Швидче тикай видсиля, поки пули не схопив. И сосункив оцих тягни. Там ось, – боком повернулся к селенью и ткнул кнутом в воздух, – хрицев повнесенько... Ховайся! сказал, понизив голос, будто кто-то мог его подслушать. Он подхватил вожжи. – Н-но! – решительно рывкнул, и лошадь осторожно ступила в воду.

«Никуда дело, – помрачнел Данила. – Совсем никуда. Влипли...» Сознание, что оторваны от всех, что остались одни и совершенно неизвестна обстановка, удручало. Он заметил, Мария смятенно смотрела на него. Обычно спокойный, Саша растерянно сжал губы, опустил голову.

– Ладно, хлопцы, – выговорил Данила наконец. – Понял, что нужно делать.

– Что? – выпрямился Саша и посмотрел на Данилу в упор.

– Подожди, еще поразмыслию.

Но думать было уже не о чем. Все ясно, все устрашающе ясно. Надо поворачивать в обратную сторону, на юг, что ли. «Раз немец везде тут, значит, Бровченко отошел. А может, а?.. Били же на рассвете орудия, снова вспомнил. – Слышал же... Выходит, где-то еще держатся наши». В надежде нет ничего predetermined, ничего обязательного, просто без нее нельзя сделать следующий шаг.

И они шли дальше. Шли вдоль берега, по течению вниз, оглядывались, озирались. Обходили селения, забирались в рощи, в кустарники, когда те появлялись на пути.

«На родной земле к своим людям не свернуть? – горестно размышлял Данила. Он покачивал головой. – И не поверил бы, ей-богу, в такое, скажи мне кто...» Он еще не совсем постиг законы войны, на многое смотрел как человек мирный.

Под ноги легла тень, она скользила, передвигалась по прибрежному песку, показывая след бредущего по небу облака. Шли молча, сломленные усталостью. Данила уже не искал свою часть. Хоть к какому-нибудь подразделению прибиться. Но дорога пустынна.

Показались несколько сосен, одиноких, пыльных, со слегка наклоненными стволами, тоже пыльными.

– Сашко, – прервал Данила молчание. Саша вопросительно взглянул на него. – Влазь-ка вон на сосну.

Может, чего и заметишь, а? Биноклю на!..

Саша скинул вещевой мешок, прислонил винтовку к стволу и, сдирая кожу на коленях, вскарабкался на высокую, сукастую сосну.

– Подкрути окуляры под свои глаза, – напомнил Данила. Задрал вверх голову, смотрел он, как Саша, одной рукой прижимая бинокль к глазам, другой подкручивал окуляры, наводил на резкость. – Видишь чего, нет?

Саша всматривался вдаль. Увидел слабую линию пролета моста.

– Мост, дядь-Данила, – бросил вниз, не опуская бинокля. – Километра с полтора отсюда.

– Мост, говоришь? Плохо, раз мост. Немец. – Данила совсем пал духом. «В мешке... Никуда не деться...» – А на мосту чего? Приглядишь.

– Увидишь разве? Пустой вроде мост.

Выхода не было. Данила решил все же подойти к мосту поближе, а там понаблюдать, выяснить обстановку. «Терять нечего, так и так – крышка».

Глава шестая

1

Он не мог оторваться от сна, хоть и слышал над собой голос Валерика. Голос Валерика он узнает среди тысячи других голосов. Чего он хочет, Валерик? Чего он хочет?..

– Сами приказали разбудить через полтора часа, а уже минут десять тормошу вас, и – никак, – жаловался Валерик.

Андрей медленно постигал смысл того, что говорил Валерик. Веки, чувствовал он, тяжелы и не поднять их, и окончательно не пробудиться. Глаза еще заставлены сном, и сон продолжает разворачиваться перед ним. Вот подкатывает к перрону поезд. Мама и Танюша с Адмиральской двадцать три выходят из вагона. У них сияющие, радостные лица. Он встречает их. Он тоже доволен. Вечером, помнит он, все отправятся в Большой театр. Он берет их чемоданы, легко несет. Входит в вокзал. Какой-то чужой вокзал, весь из мрамора и стекла, с лепным золоченым плафоном. Никогда не был он здесь. Никогда, – подсказывает па-

мять, отделяясь от сна. И какие-то люди рядом, у них точные, определенные лица, но у него нет знакомых с такими лицами, ни разу не встречал их... Как появились они перед ним? Но это же сон, думает он во сне. В снах так же мало логики, как и в жизни, из которой возникают сны... Что-то происходит, что-то хорошее, но он уже не поспевает за этим, начинает отставать...

Где же он, где?.. Он вынырнул из цепкой глубины сна и старался разобраться – что с ним на самом деле и что не на самом деле.

– Да подымайтесь же! – теребил его за плечи Валерик. – Сами ж приказали, а сами спите. Подымайтесь, а, товарищ лейтенант!..

Андрей задвигал кулаками – протирал глаза. Где ж он?.. Помнилось, повалился он прямо на землю, а проснулся вот, и под ним шинель. Кто ж подстелил, как не Валерик. Андрей и не слышал, не чувствовал, как тот поворачивал его с боку на бок и подсовывал шинель, сон сморил его враз.

«Сон, это великолепно, – доволен он сном, который виделся и от которого так безжалостно оторвал его Валерик. – Выдумываешь себе мир, и ни от кого, ни от чего он не зависит, это твой собственный мир». Андрей все еще тер кулаками глаза, как бы приспособивая их для другой жизни, отличной от той, что минуту назад они видели.

Наконец сообразил – вон он где! Он там, где ему и надо быть. Бремя трудной его жизни снова лежало на плечах.

– Писарев!

– Я.

– Есть что от комбата? – вскинул Андрей глаза, красные и мутные. Он вопросительно смотрел на Писарева.

– Есть, есть, товарищ лейтенант. Три пулемета.

– Три? Не два?

– Что это, я до трех не сосчитаю?

– Хорошо, что три, – обрадовался Андрей. – Погода улучшается!.. А обещал два. Слушай, все три Рябову. Все Рябову. Всего вероятней противник двинет на него.

– А пулеметы уже у Рябова, – пожал Писарев плечами. – Приказали же. Когда ложились отдыхать. Говорили вы, правда, о двух. Ну, а я все три Рябову. – И как бы удивляясь: – Расщедрился комбат: связисты еще и телефоны приволокли, провод. И уже протянуты линии во все три взвода. И проверили: связь как надо...

– Ну да, ну да, – проговорил Андрей. – Сон так в мозги ударил, что я и забыл предупредить тебя о телефонах. – Вспомнил: сон камнем придавил его к земле. – Теперь, считай, мы не рота, – полк.

– Полк, полк, – подтвердил Писарев и улыбнулся. – Еще три станкача и расчеты – семь бойцов...

«Взвода, конечно, не будет», – пришли Андрею на память слова комбата. А все ж – пулеметы.

– Так. Ясно, – сказал Андрей. – Ваню загнул свой правый? – Правый фланг роты беспокоил его теперь больше, чем мост. Укрепиться перед ложиной, делившей откос надвое – на северную сторону и южную, значит закрыть противнику выход к берегу. А выйдет к берегу, отрежет роту от воды, и она окружена.

– Копают еще. – Писарев стал протирать стекла пенсне.

– Затягивает Ваню. Ему пересечь просеку, дотянуть до вырубки, как приказал комбат, и – круг.

Писарев хмыкнул:

– Ну пересечет, ну дотянет. И что? – Он помолчал, собирался с духом, чтоб сказать. Андрей ждал. – А и накопает, чучел, что ли, понапишет в траншею? Штыков у Ваню, известно, раз-два – и обчелся.

– Ничего не поделать, с «раз-два – и обчелся» придется выполнять задачу.

И чтоб отойти от неприятного для обоих разговора, Андрей спросил:

– С плотами как?

– Валят сосны. Таскают к берегу и связывают.

И как бы в подтверждение слов Писарева Андрей

услышал отдаленные удары падавших сосен, услышал глухой стук топоров.

Андрей заметил на лице Писарева стеснительную ухмылку.

Видно было, тому хотелось вызвать у ротного любопытство.

– Не мудри.

– А мудрить чего? – блеснули стекла пенсне. – У нас, кроме плотов, еще кой-чего завелось. Про запас, так сказать.

Андрей выжидательно смотрел на Писарева. Тот не отвел глаз.

– Ребята Ваню выскочили на шоссе и растаскали брошенный, видать, сбитый, грузовик. Ну, не растерялись и приволокли скаты. Все пять, и – под откос. Так что, не успеет кто на плот, на персональном баллоне на тот берег переберется.

– Молодцы.

– Молодцы, – согласился Писарев. – Так что порядок. Плыть будет на чем...

– Так сказать, забота о кадрах?.. – улыбнулся Андрей.

– Точно. О кадрах.

До войны Писарев работал начальником отдела кадров в каком-то химическом научно-исследовательском институте. Андрей иногда прокатывался на-

счет анкет и прочего, что было связано, по его представлениям, с деятельностью отдела кадров. Сейчас Андрею хотелось ненадолго отвлечься от всего, что вот-вот обступит его во всей своей мрачной определенности. То, что сообщил старшина, стоило минутной радости.

– А кадры наши – дай бог! – пошутил Андрей. – Хотя анкеты, возможно, не у всех на «пятерку»...

Писарев уловил настроение командира роты.

– Анкета, товарищ лейтенант, должна быть непременно на «пятерку», анкета – развернутая исповедь. Бывает, субчик какой столько в ней разведет – ахнешь: вот работник! А подразберешься: сукин сын.

– А выяснить чтоб, сукин ли сын, товарищ бывший начальник отдела кадров, достаточно пары вопросов, а?

– На фронте их и всего два, больше не требуется: храбрый? трус? На второй вопрос, однако, никто не отвечает, все ставят прочерк...

– А ты бы как ответил на эти два вопроса?

Писарев рассмеялся:

– Для меня нужен третий вопрос, так, чтоб между первым и вторым... И смущенно покраснел.

Писарев всегда смущался и краснел. Робкий с виду, бледнолицый, близорукий, в пенсне, из-под которого смотрели глаза серьезные, вдумчивые, иногда улы-

бавшиеся, он мало походил на старшину, на помкомроты. Он сам понимал это. И голос не командный, и весь какой-то не боевой, – трезво оценивал он себя. – И это пенсне, делающее похожим на интеллигентного хлюпика... Правда, он прошел курс военной подготовки, имел звание старшины.

До него вот, до Писарева, был помкомроты, тоже старшина, уральский сталевар. Тот был что надо... – восхищенно качнул головой Андрей, вспоминая. – Твердый, смелый, никому спуску не давал. «Вой, раз винтовку в руки дали», – требовал от каждого. Во всяком случае, трусы в роте вывелись. И в этом здорово помог помкомроты, – признавал Андрей. – Жаль, убили парня на Ирпене. А этот, – подумал Андрей о Писареве, – этот... бог его знает!.. В бою еще не был. Наверное, точно о себе сказал, для него нужен третий вопрос – между первым и вторым... Да и с виду ясен – ни то ни се... Анкетка у него, верно, на «пятерку» – правильная, не споткнешься...

– Ладно, старшина. К вопросу об анкетах вернемся после войны. Ладно. Лодки, когда придут, вместе с гребцами направь к Володе. Не забудь в суматохе.

– Ну, такое забыть! – обидчиво пробормотал Писарев.

– Надо все проверить, пока противник молчит. Посмотрим, что разведка принесет...

– Разведка – дело не скорое, – вздохнул Писарев.

– Ладно. Поторопи ребят, побыстрее пусть плоты связывают. А стемнеет, начнем переправлять раненых.

– Есть.

Писарев поправил спавшую набок пилотку, застегнул пуговицы на мятой гимнастерке, снял с колышка винтовку. Вышел из блиндажа.

2

– Володя, глянь... Видишь, нет? – Семен козырьком приставил ко лбу ладонь и всматривался туда, куда показывал.

Между соснами двигались по левому берегу неясные фигуры. Скрылись, опять показались, снова скрылись и показались.

– Вроде вижу. Вроде и не вижу, – неопределенно откликнулся Володя Яковлев. – Да, вижу, пожалуй.

– Подозрительно. Пошли-ка кого-нибудь проверить.

– Никита!

– Я! – Перед Семеном и Володей Яковлевым с винтовкой на ремне стоял, готовый к исполнению приказания, круглолицый, широкий в плечах, грудастый красноармеец, такой грудастый, такой плечистый, что

гимнастерка на нем трещала и в локтях расходились швы. Сапоги с желтыми голенищами, напоминавшими краги, которые снял Никита с немецкого офицера на Ирпене, держали на себе опадавший солнечный свет. – Я, – повторил большой улыбавшийся рот.

– И ты, Тиша, сюда, – позвал Володя Яковлев.
– Есть.

Маленький, с рыхлым безбровым лицом, с узкими крохотными глазами красноармеец остановился рядом с Никитой:

– Есть. Есть.

Земляк Никиты – оба из Луги, что под Ленинградом, – незлобивый, трусоватый, он не разлучался с ним, держался около, будто опасался остаться один, без него. Куда Никита, туда норовил и он. Перед тем как приступить к какому-нибудь делу, вскидывал на Никиту спрашивающие глаза. Здоровенный Никита относился к нему насмешливо, но в обиду не давал. Втихомолку чистил его оружие. Чистка винтовки была для Тиши мукой, долгое время путал части и не мог их собрать, и лишь недавно это стало у него получаться. И надо ж было этому случиться: в первом своем бою, за Ирпением, Тиша так оробел, что намочил в штаны. Он услышал вдалеке рокот двигавшегося танка противника и орудийный выстрел. Тиша опрометью кинулся в укрытие. Раздался и второй выстрел и,

кажется, третий. Никита, залегший неподалеку, когда все смолкло, поднялся, отряхнулся: «Э, Тишка, да у тебя никак мокрые штаны?..» – «Да ну? – с безразличным удивлением осматривал Тиша темное пятно у себя между ногами. – Так десять же танков били в меня, не видел разве?.. И не такое может получиться...» – «Ну, землячок, считай обмыл свое первое сражение с Гитлером...» – «Ага, Никитка... Штаны обсохнут. Было б на чем им сохнуть...» А тут, как назло, прнтопали бойцы из отделения. Ну, шутки, смех. Так и пристало к нему прозвище: Тишка-мокрые-штаны. Не обижался он на добродушное посмеивание товарищей, сам потешался над своим «грехом», к прозвищу привык. Говаривал даже: «Дешево отделался...»

Вот и сейчас, взводный прикажет чего-нибудь, ему и Никите.

– Есть, – потоптался на месте Тишка-мокрые-штаны.

– Вон, видишь? – показывал Володя Яковлев Никите на двигавшиеся фигурки.

– Точно.

– Мотнись. Выследи. Не стрелять без крайней необходимости, предупредил Володя Яковлев. – Приведи.

– Есть не стрелять, товарищ сержант. Есть привести.

Никита и Тишка-мокрые-штаны переходили от сосны к сосне, останавливались у толстых стволов, наблюдали.

– Два мужика, – сказал Никита. – Не вываливай, слышь, свой зад за ствол, заметят. Смирно стой.

– А я стою, Никитка. А я стою, – настороженно, будто опасность в шаге от него, откликнулся Тишка-мокрые-штаны.

– И баба. У того, слева, винтарь. Сюда чешут.

Сбоку – раскидистая ель, и оба, Никита и Тишка-мокрые-штаны, пригибаясь, перебежали к ней и укрылись в густых ветвях.

Минут через двадцать те, трое, не очень уверенно подходили к ели. Никита пропустил их. А когда оказался у тех за спиной, выступил.

– Стой! – Винтовка наизготовку. – Стой!

Данила и Саша вмиг обернулись. Мария, ошеломленная, отпрянула в сторону. Никита и Тишка-мокрые-штаны шли прямо на них. Саша сдернул с плеча винтовку.

– Брось винтовку, – приказал Никита. В голосе слышался тон превосходства и насмешливости. – Нашел играть чем. Брось!

Саша решительно:

– Не подходи! Стрелять буду!

– Попробуй. Уши надеру... – Тот же насмешливый

ТОН.

– Не подходи! – повторил Саша. – Еще шаг, и стреляю.

– Ладно. – Никита и Тишка-мокрые-штаны остановились. – Какой части, старина? – спросил Никита у рыжеусого.

Данила не спускал подозрительных глаз с желтых голенищ Никиты. «Френцевские сапоги?..»

– Так какой части, говоришь?

– А я не говорю. С чего ты взял, что говорю? – Данила продолжал рассматривать Никиту и Тишку-мокрые-штаны. – А вы кто?

– Как это кто? Красноармеец Никита из Луги. Вот кто. Не слышал? Так я и думал, что не слышал. А этот красавец – Тишка-мокрые-штаны. Может, знаешь?

– А на кой мне твои Мокрые-штаны? Скажи, чего тебе надо от нас, и проваливай.

– А вот чего. Кто вы есть?

– Бойцы Красной Армии. И пошел ты ко всем чертям со своими расспросами, – сердито произнес Данила: видит же, что красноармейцы. Сказал тебе, и не мешай идти.

– Значит, Красная Армия? – Никита не придавал значения тону Данилы видел: от испуга это, от неуверенности. Он перекинул винтовку за спину сигнал тем, у моста: все спокойно, винтовка не потребуется. – Так

куда путь держите?

– Куда, куда... – сдержанно-враждебно буркнул Данила. – А никуда. Идти некуда. Везде немцы.

– Давай за нами! – требовательно произнес Никита. Саша взглянул на Данилу: стрелять?

Никита заметил этот взгляд, усмехнулся:

– Переодетые, думаете, фрицы за вами гоняются?.. Ничего не скажешь, обстановочка.

«Шут их знает, вроде нет, не фрицы переодетые», – склонялся Данила к этой мысли.

– Убери, Сашко, – дернул головой, показывая на винтовку.

3

Андрею все еще хотелось спать, тело было тяжелым, ноги слабо повиновались. Но тоже, вслед за Писаревым, выбрался наверх. Присел на землю возле блиндажа. Тепло дня еще не убыло на песке.

Из кустарника, в котором был протоптан проход в третий взвод, неожиданно появился Никита, он держал винтовку наперевес и вел перед собой Данилу, Сашу и Марию. У Данилы между пальцами торчал огонек сигарки.

– Товарищ лейтенант! – приставил ногу к ноге Никита. Он собирался доложить, как полагается.

Андрей поднялся, махнул рукой – жест, означавший: короче, в чем дело?

– Политрук приказал доставить в роту вот этих. Недалеко от моста задержали. Никаких документов. И не могут толком сказать, чего надо им у переправы. У этого, – показал на Сашу, – винтовка была.

– Кто такие? – жестко оглядел Андрей троих сразу.

– А такие... – почти вызывающе ответил Данила. Он не мог подавить в себе обиду: слишком сердито допрашивали у моста его, Сашу и Марию, отобрали бинокль, винтовку и как подозрительных с конвоиром доставили сюда, и Данила дал волю раздражению. – Ваши уже требовали: руки вверх! Где ж это видано, чтоб красноармейцы руки вверх поднимали?

– А документов почему нет, что красноармейцы?

– А потому нет, что в полк из санчасти самовольно смотались. Сдезэртировали оттудова, одним словом. Кто ж нам какие документы даст? укоризненно посмотрел Данила на Андрея. – А девка по дороге прибилась к нам. Не на смерть же оставлять. Красноармейцы же...

Андрей не сводил глаз с петлиц Данилы: показалось, что на них следы знаков различия, которых нет. «Содрал. На всякий случай». Охваченный подозрением, Андрей зло прищурил глаза:

– Звание?

– Мое звание войну держит, товарищ лейтенант. Рядовой!

– Назовитесь, – потребовал Андрей.

– Ну, Данила Никитин я.

– Ты? – перевел Андрей взгляд на Сашу. Саша стоял на своих длинных, прямых ногах позади Данилы, голова опущена, будто и в самом деле в чем-то виноват.

– Рядовой Афанасьев.

– А девка, – поспешил объяснить Данила, видя растерянность Марии, никуда не приписанная, ну, гражданская.

– Полк? Дивизия? – допытывался Андрей.

Данила назвал свой и Сашин полк, назвал дивизию.

Верно, на Ирпене стояли, левый сосед, – помнил Андрей.

– А оружие куда девал, рядовой Никитин? Или так и воевал без оружия?

– Из санчасти, товарищ лейтенант, известное дело, уходят с перевязками, оружия не дают.

– А рядовому Афанасьеву винтовку выдали, ту, что на мосту отобрали? В виде исключения?.. Так вот, есть оружие – возьму в роту. А кто оружие бросил, – налево, кругом! И к чертовой матери.

– А ты, лейтенант, не шуми. – Рывком скинул Данила с плеч вещевой мешок, одним движением развязал

его, и Андрей увидел котелок, ложку, несколько пачек махорки, нательное белье, еще что-то и под всем этим гранаты. – Пять штук! По дороге с ним, – кивнул на Сашу, – вооружились. Большие спокойные крестьянские руки зажали гранаты. – Биноклю твои бдительщики отняли, а добром энтим не поинтересовались. Спешили дюже биноклю отымать. Похвалили ищо... Как это сказали?.. Во, – вспомнил, восьмисильный, цейсовский. Трофейный, выходит, так? Пусть восьмисильный, пусть там цейсовский или какой. Не жалко. Сам чужое отхватил. Не жалко, медленно уступал Данила. – Пусть. Раз пондравился. – Спыхватился, что говорлив. От волнения, понял. – Так берешь, лейтенант? А не возьмешь, пойдём, отпустишь если. Где-нибудь да приплюсуемся.

Андрею начинал нравиться этот рыжеусый самоуверенный крепыш. Но все еще сохранял строгий, недоверчивый вид. Он опять посмотрел на Сашу. Вылинявшие, в болотных пятнах гимнастерка и штаны, мятая, кургузая пилотка, грязная повязка вокруг головы. «Как горестный нимб», – подумал Андрей, всматриваясь в Сашу, будто искал следы терний. Потом глянул на его босые ноги. Ноги были одного цвета с землей, на которой он стоял.

– Сапоги кинул, чтоб легче было драпать?

– Не бросил он сапоги, – почти закричала Мария. –

Вот его сапоги! выставила вперед ногу. – Зачем говорите так? – настойчиво, чуть не плача, продолжала она. Сердце билось неровно, стукнет-стукнет, остановится, еще стукнет, остановится, даже дышать оттого было трудно.

Андрей увидел ее расширившиеся, полные правды глаза. Если б глаза ее с большими черными зрачками и золотистым отсветом были не продолговатыми, овальными, а круглыми, они походили бы на цветущие подсолнечники, почему-то подумалось ему. «Как у Танюши...»

– Не бросил он сапоги! – Слезы душили Марию. Сдержалась, не заплакала.

– Пять шагов в сторону, – приказал ей Андрей.

– Никуда от них не пойду. – Но под властным, непреклонным взглядом Андрея отошла немного вбок. Никогда с ней так не обращались. Если не считать того, что произошло там, на мосту. Это просто жестокий человек, решила она, камень!

Данила уже не сомневался: лейтенант прогонит. Ко всему придирается, все ему не так...

– Так берешь, нет?

– Как стоишь перед командиром, рядовой Никитин? – одернул Данилу Андрей. – Разговариваешь как?

– Виноват, товарищ лейтенант.

«Два штыка в моем положении тоже прибыль, – раздумывал Андрей. – Да девушка, перевязывать, наверно, сможет. Дело нехитрое».

– Ладно, – сказал.

– Чего ладно? – потерянно спросил Данила. Он снова сбился с тона и быстро поправился: – Не понял, товарищ лейтенант.

– С пулеметом справишься? Или только гранаты бросать обучен? – Это и был ответ, сообразил Данила.

– Так точно! – Он уже чувствовал себя под командой. – Ко всему приучен. Руки у меня русские, веселые...

– Хорошо. Возможно, придется пострелять из «максима». А потом к своим пробираться будем.

– А пробираться, разрешите доложить, товарищ лейтенант, – Данила запнулся, – пробираться – большая сила нужна. Немец уже везде – и там и там дорогу нам перекрывал.

– Не паниковать. – Андрей повернулся к Марии: – Возврати сапоги.

Мария, притихшая, безропотно опустилась на траву и, слегка упираясь носком в задник, стянула с ног сапоги. Андрей увидел ее исцарапанные колени. Она заметила этот взгляд и прикрыла колени ладонями.

Она поднялась.

– Надевай, – кивнул Саше. – У меня рота, а не команда босяков. – И Валерику: – Где Тонины сапоги?
– А в блиндаже. Голенища сильно пробиты пулями.
– А все ж сапоги. Принеси. И санитарную сумку ее. –
И – опять к Марии. – Перевязывать сумеешь в случае чего?

– Попробую.

Валерик принес небольшие сапоги со следами пуль, санитарную сумку и передал Марии.

– Вот еще бери, – небрежно бросил ей берет защитного цвета. – Вдруг налезет на твой кандибобер, – насмешливым жестом изобразил этакую прическу.

Мария на лету поймала берет. «Что начальник, что его подпевала оба...»

Валерик смотрел на Андрея.

– Вы б подзаправились, товарищ лейтенант, – насмешливо произнес он. – Отощаете с голоду. И я из-за вас тоже. Как раз кухня приволоклась. Народ уже наворачивает.

– А знаешь, есть не хочется. – Ему не хотелось есть.

– Всегда вы так, – проворчал Валерик. – С утра ж не ели.

Андрей развел руками: что поделаешь?

– Котелки есть? – спросил Данилу.

– А как же солдатам без котелков?

– Подкрепитесь пойдите. Кто знает, когда еще при-

дется поесть.

Данила, Саша и Мария, голодные, потянулись на дымок кухни.

Андрей двинулся вдоль траншеи. Валерик увязался за ним.

– Вернись! – заметил его Андрей.

– Почему это – вернись? Служба моя такая.

– Ты вот что, «служба такая», рубани каши как следует, ложись и поспи. И уже я буду тебя будить. Понял?

– Как же вы один, товарищ лейтенант? – озадаченно вскинул глаза Валерик и, как всегда в таких случаях, сбил пилотку на затылок, пряди волос тотчас спали на лоб. Он определенно не знал, подчиниться или вместе с Андреем идти дальше. – А вдруг фриц опять?

– А тогда я тебе свистну. А сейчас – поворачивай. Выполняй!

Валерик нехотя, понуро пошел назад.

4

Воздух наступавшего вечера помутнел, все стало синим – песок, луг и поле, и роща, и холм впереди. Андрей поравнялся с сосной, прямой, как стрела, сосна отбрасывала далеко от себя длинную тень. «Толь-

ко девятнадцать, – посмотрел Андрей на часы, – да четырнадцать минут в придачу».

В стороне противника тихо, как в пустынном месте. Наверное, птицы поют, стрекозы летают. Да есть ли кто-нибудь там? – прислушивался Андрей. Ветер, сухой и быстрый, бежал прочь от него, и движение ветра обозначал след на пригнувшейся траве. И опять ни с того ни с сего в голову полезли: зеленая калитка на Адмиральской двадцать три, лучшая школа в городе, белый берег Ингула... Андрей подивился, что мелочи живут в сознании несоразмерно своему истинному значению.

У пулеметной ячейки Андрей остановился.

– Тимофеев?

Тимофеев, свернувшийся калачиком возле пулемета, дремал.

– Я! – вскочил.

Тотчас поднялся и второй номер, длинноногий Ляхов, недавний слесарь московского завода.

– Тимофеев, пришлю сюда пулеметчика, – Андрей подумал о Даниле. – А вы – на свое место.

Андрей зашагал дальше. Дошел до блиндажа первого взвода. Рябов, скрестив ноги, сидел под кустом и не спеша ел. Увидев ротного, осторожно отставил котелок и собирался встать.

– Сиди, сиди. – Андрей тоже сел на траву, возле

Рябова.

– Поспал?

Рябов неопределенно посмотрел на Андрея.

– Спал, товарищ лейтенант, – почему-то виноватым голосом сказал. Весь взвод по очереди отдыхает. Не то без сил будем, – как бы оправдываясь, добавил он.

Русоволосый, лобастый, с пытливым прищуром глаз, Рябов все делал с паузами, говорил медленно, тоже с паузами, будто все время прикидывал, что и как сделать, что и как сказать. Говорил без жестов, не меняя интонаций, и потому слова его казались менее убедительными.

– Самое время отдохнуть. Если все подготовлено к делу, – одобрительно сказал Андрей. – Участок твой, считай, самый горячий в нашей обороне. Учти. Дашь промашку, все полетит к такой-то матери. Проверь связь, напомнил Андрей. – Видишь, и телефончики взводам подкинули. Забота о живом человеке, как говорится. – Помолчал. Наклонился, как бы для того, чтобы на ухо сказать, и внятно, в полный голос произнес: – Отход – три красные ракеты. Ты знаешь. Внизу будет плот, знаешь. Есть вопросы? Нет? Тогда бывай...

Андрей спустился к берегу. Метрах в ста, как мосток, виднелся на воде плот. Поодаль, у самого обрыва, темными кругами лежали баллоны на белом пес-

ке. Андрей постоял немного, еще раз грустно подумал: «Было бы кому переправляться...»

5

Андрей вернулся в свой блиндаж. Его обдало запахом махорки и пота: в блиндаже находились Писарев, Валерик, Кирюшкин, Данила и еще бойцы, пришедшие сюда покурить. Мария приткнулась в углу. Андрей пригляделся: голова ее лежала на поднятых коленях Саши, наверное, дремала. «Вот чего мне не хватало – влюбленной парочки...»

– Валерик, – громко сказал. – Веди Данилу к пулемету. К Тимофееву.

Валерик покровительственно кивнул Даниле:

– Пошли.

Данила, помедлив, с достоинством поднялся, ткнул под сапог и придавил окурочек сигарки, посмотрел на Марию с Сашей, двинулся за Валериком вслед.

– Кирюшкин, крути в третий, – подошел Андрей к телефонному аппарату.

Андрей приложил трубку к уху.

– Семен. Как у тебя? А-а... Пока порядок, значит? Да и у меня. И правее тоже. Что? Может быть, может быть, выпутаемся. Все? Ладно.

«Только б не промедлить и вовремя взорвать

мост, – тревожился Андрей. – Все в порядке, сообщает Семен. Семен – человек точный, быстро ориентируется в обстановке и принимает твердые решения. И Володя Яковлев парень смышленный. У переправы бойцы с противотанковыми гранатами, с зажигательными бутылками. На случай, если немцы двинутся на мост. Сомнительно, сомнительно... На мосту, должны немцы предположить, кое-что скрывается. – Андрей часто прикидывал в подобных положениях, что может противник предпринять. – Но и противнику не грех подумать, как я могу поступить. Возможно, что примет в расчет и то: раз переправу не взорвали, значит, будем ее защищать. Едва ли пойдут немцы на мост в лоб. Всего скорее, все-таки, попробуют смять оборону у Рябова, в обход выйти к самой переправе и захватить целехонькой. – Андрей устало смежил веки, но мысли не обрывались. – Алгебра... – вздохнул. – Но и противник решает алгебраическую задачу с неизвестными. Ему в этом смысле не легче, чем мне. – Он открыл глаза. И усмехнулся, подумав: – А все равно, мне не легче оттого, что ему не легче...»

Он сидел, обхватив руками голову: все ли сделано для предстоящего боя, если немцы двинутся до того, как взорвет мост. Самое главное, как можно меньше потерь, каждый боец в поредевшей роте сейчас особенно дорог.

Андрей вытряхнул из пачки папиросу, щелкнул зажигалкой, из тонкого круглого отверстия торопливо выскочил похожий на длинный ноготь оранжевый огонек. Закурил.

Что же не предусмотрено? Мысленно шел он от взвода к взводу. В третьем взводе ясно, бойцы готовы к отражению атаки, у Рябова, сам проверял, тоже, и у Ваню вроде бы порядок. На блиндажах по три ряда бревен – ничего накатники: сделали, что смогли. Брустверы окопов прикрыты дерном, кое-где перед ними воткнуты низкие кусты. Нет, для ориентира противнику не подойдет. Что еще, что еще? – размышлял Андрей. – Ну, на чем перебираться на тот берег есть. «Ладно, будем ждать. Мост взорву вовремя. В этом, собственно, и смысл».

Он запустил руку в свалявшиеся волосы, пальцы ощутили песок. Волосы сухие, слишком жесткие. «Ключая проволока, хоть заграждения оплетай».

Андрею захотелось есть, он был голоден, по-настоящему голоден.

– Валерик, каши или чего...

– А это мы разом. – Тон Валерика уверенный и довольный. – Народ уже по второму разу ложками стреляет. Котелки налили по края, вот и добирают, чего в обед не смогли доесть. Впрок животы набивают. – Стараясь походить на старших, присел на корточки,

степенно развернул шинель, в которую был закутан котелок. – Может, на воздухе?

– А-а.

Андрей примостился напротив блиндажа – чуть что, и Кирюшкин кликнет. Валерик хлопотливо поставил перед ним котелок, еще теплый, положил ложку:

– Наворачивайте.

Андрей засмеялся, он привык, что Валерик в таких случаях позволял себе запросто обращаться к командиру. Он пристроил котелок на коленях и стал есть.

Неподалеку расположились бойцы, с шумом прихлебывали они из котелков. До Андрея доносились скупые, грубоватые шутки, сдержанные, сквозь зубы, смешки, и ругань, и короткие вздохи... Задача, которую поставил бойцам, подумал он, – воспринималась ими как обыкновенная. Настолько вымотались они, что было безразлично, какое дело делать на войне. Прикрывать отход? Держать переправу? Не все ли равно! Раз обстоятельства принуждают. На войне, собственно, постоянно от чего-нибудь зависишь. От приказания командира, от атаки противника, от всего...

– Эх, не кулеш, доложу вам, товарищ лейтенант, – довольно пробасил боец с крутыми плечами. Петрусь из Бобруйска, узнал Андрей. Петрусь Бульба. – Не кулеш, а райское блюдо, хочь и в котелок навалено. –

Он сидел, скрестив ноги, и размеренно опускал ложку в котелок, выбирая кусочки мяса.

– Райское, райское, – подтвердил Андрей. Кулеш и в самом деле был вкусный. Еще бы, когда наголодался. Слова Петруся Бульбы напомнили ему шутку комбата о встрече в раю, и он усмехнулся: вот и райская еда уже...

Петрусь Бульба вычерпал все до дна, облизал ложку, сунул за голенище. Потом широко провел ладонью по губам. Не удержался, опять похвалил кулеш. Теперь разделял он свое удовольствие с Ершовым, сидевшим поодаль.

– Верно говорю, первый сорт! – восторженно крикнул Петрусь Бульба. Хлебал бы и хлебал, верно говорю?

– Про сорт давай не будем, – охлаждающе махнул рукой Ершов. – Сорт, он зависит от аппетита. Не жрамши, и старой кобылы мясо за высший сорт сойдет.

Петрусь Бульба выдернул пучок травы и вытер котелок, домовито достал кисет, свернул сигарку.

– Покурю пойду. А то и вам на сигарку, товарищ лейтенант?

– А махра хорошая?

– Только у меня и есть такая, товарищ лейтенант. Сам на приусадебном вырастил. Уходил когда по повестке, вместо всего целую торбу добра этого при-

хватил. Докуриваю остаток. Свернуть, товарищ лейтенант?

– Давай махру. Сверну и сам.

Петрусь Бульба аккуратно оторвал от газеты полоску, осторожно, чтоб не просыпать, вытряхнул из кيسета золотисто-зеленые крупинки махорки, передал Андрею и направился в траншею: покурить.

Андрей проводил его взглядом. Он подумал о нем, о тех, кто был сейчас рядом. Они проживут еще один день, неполный, вот этот и, возможно, еще одну ночь, тоже неполную. Во всяком случае, многие из них. Все это знали, но никто не говорил об этом, словно и не их касалось. Их одолевала злость, такая злость, что, знай о том немцы, не сунулись бы сюда, подумали бы... Но немцы не знали этого и, конечно, сунутся.

Прикрыть отход вполне могла б и рота Миши Кальмановича, вторая рота, ее меньше потрепали, – подумал Андрей, – и третья рота могла бы. «Но и я тоже. Почему бы и не я?.. Каждому, в конце концов, приходится взрывать какую-нибудь переправу. Не обязательно, конечно, переправу. Но что-то вроде. Что-то свое». Так сказать, для будущего мира сделать, чтоб был он, потом, после войны, этот мир, таким, каким хочется, чтоб он был.

Мысль эта, возникшая на пути от командного пункта батальона в роту, мысль о том, что небольшое и

несложное в сущности дело – взорвать мост тоже как-то скажется, пусть капельку, на будущем, не выходила из головы. Просто она стала уже естественной. Он понял, что нужно об этом думать. Нужно потому, что это придавало силу и решимость. Он порывисто во-брал в себя воздух. Прохладный, горьковатый, у воздуха был привкус хвои.

Андрей почувствовал себя готовым ко всему. Все-таки выпался, как-никак – почти два часа, и поел вот. Он согнул полоску газеты, как бойцы делали, ложбинкой, из махорки, оставленной Петрусем Бульбой, свернул сигарку, припал к земле – быстро прикурил. И, пряча зажженную сигарку в ладонях, глубоко зата-нулся.

Мгла растворяла все. Уже слабо виднелись потемневшие вершины сосен, стали погасать тени впереди. Пространство словно наполнялось густым холодным дымом.

Андрей поднял голову: те же звезды, что и вчера, переполняли небо. Лес и холм под звездами казались теперь гораздо ближе, чем были днем, и потому выглядели суровой и еще более зловеще. Он представил себе дорогу из города, истыканную двигавшимися огоньками подфарок. До двух тридцати, или около того, будут части перебираться через мост, и надо же время, чтобы подальше уйти от переправы. Не накры-

ли б дорогу самолеты, пока части будут на виду. Ну, тут он бессилён. У него свое.

Дело его, Андрея, дело первой роты, может быть, вот сейчас начнется. Надо действовать, надо действовать. Еще раз связаться со взводами. С комбатом не надо. Если б что-нибудь было, тот и сам бы позвонил. «С комбатом погожу. – Он смотрел в пустое пространство. Качнул головой: – А позвоню. Хоть голос еще раз услышу...»

Не успел позвонить.

– Ты, Писарев? – За спиной шаги.

– Я.

– Как там? – повернулся Андрей.

– Нормально. Последний – третий – плот сколачивают. – Писарев присел рядом.

Андрей взглянул на часы. «Сейчас двадцать шесть-надцать. До двух тридцати далеко...» Он подумал, до того, как начнет просеиваться утренний свет, вокруг опустеет, уйдет артиллерия, что на том берегу, уйдет комбат, уйдут вторая рота, и третья, все уйдут, и он останется здесь один. Один с горсткой бойцов, которая все еще считается ротой. И полтора километра тысяча пятьсот метров родной земли, по которой проходит ротный рубеж обороны, еще несколько часов будут советскими. Что-то сдавило горло, и он ни слова не произнес, только подумал об этом, и оттого, что

не смог ничего сказать, стало еще тяжелее на сердце.

6

Разведчики еще не вернулись.

Они отправились четыре с половиной часа назад. Предстояло, незаметно двигаясь орешником, обогнуть луг и поле за ним, спуститься в овраг, подняться, выйти в еловый лес, затем взять северней, на плавни, пробраться через плавни и подойти к окраине селенья, скрывшегося за холмом, за рощей.

Будто сам с разведчиками шел, Андрей отчетливо представлял себе луг, поле и овраг, приваленные темнотой, вслушивался в настораживающий шорох камышей в плавнях, в густое бульканье жижи, тронутой ногами, и голову кружил кисловатый дух болотной воды. Местность эту видел он не по карте, он знал там каждую тропку, каждый кустик знал – совсем недавно все это было передним краем его роты. В бинокль можно разглядеть силосную башню, она как раз на окраине селенья, метрах в ста от большака. А пройти по большаку еще триста метров – и откроется, окруженная соснами, мельница из красного кирпича. Мельница в бинокль не видна, но перед глазами Андрея вот она... В силосной башне, наверху, и на мельнице были тогда установлены пулеметы Рябова и Ва-

но. Андрей помнил, помнил все. Теперь там было расположение противника и туда отправились разведчики. Ребята пошли толковые – Капитонов, Абрамов Костя, Иванов, они тоже знали эту местность, как свою деревню. Еще бы, рыли там окопы, по тропинке, петлявшей меж сосен, ходили к полевой кухне, на прикрытой деревьями полянке собирались на политчас.

Дорога неблизкая, – прикидывал Андрей, – километра три-четыре, туда и обратно, а то и больше. Напрямую если б, то вон передний край противника. А дело у разведчиков нелегкое – установить исходные позиции танков. Это требует времени, и немалого. Часа через три появятся, не раньше. Хорошо б, установили, где танки...

Впрочем, – размышлял он, – можно было разведку и не посылать. В конце концов, что бы она ни разведала, ничего не изменить. Рота прикрытия, – это же ясно... Какие бы силы ни противостояли, она должна выполнить задачу: до двух тридцати удерживать берег и переправу, потом взорвать ее. Роте предстоит нечеловечески трудное, даже на войне, – остаться здесь, на небольшой прибрежной полоске земли, которую отдают противнику, после того, как все уйдут, без надежды выбраться отсюда.

«Рота прикрытия, – это же ясно...» Он удивился спокойствию, с каким подумал об этом. Потому, на-

верное, что до двух тридцати очень далеко и был он еще отделен от опасности.

Андрей ждал, когда наступят минуты, в которые предстоит выполнить то, что потребует опыта целой жизни. Его жизненный опыт – три месяца войны, и это гораздо больше, чем двадцать два года, которые до того прожил на земле. И хотелось, чтоб минуты эти уже миновали, были позади, пережиты.

А время длилось, длилось. Он мог бы поклясться, что время не трогает стрелки на часах, что стрелки остановились, особенно та, короткая, всегда неторопливая. Сколько же прошло с тех пор, как комбат звонил? Минут тридцать, наверное. Он снова взглянул на циферблат. Оказывается, лишь девять минут. Только девять минут? – нервничал Андрей. – Столько терпения нужно, чтоб дотянуть до двух тридцати! А может быть, может быть, течение времени потому казалось медленным, что ночь – тихая, спокойная, и ветер немного унялся. Тишина особенная, грустная, какой и представить себе нельзя, она подавляла своей неподвижностью.

«Черт его знает, противника! А вдруг второй раз не полезет на ночь глядя? Ночью немец воевать не любит, это уже известно. „Рус, бай-бай! Нахт нитс – паф-паф, – обычно кричал в рупор. – Утром нашиной будем...“ А под Житомиром, кажется, часа через два по-

сле „Рус, бай-бай“, ударил и мы откатились километро-
ров на двадцать. А в общем, ночи немец опасается.
Может, роте удастся отойти незаметно, без боя, – по-
думал Андрей. – Если б!..»

И он уже шел по дороге на противоположном бе-
регу, видел редкие желтоватые перелески, песчаные
бугорки, травянистые лощины, безошибочно поворачи-
вался, где надо, и шел, шел, уверенно, хоть никогда
нога его не ступала здесь. Путь к высоте сто восемь-
десят три был в его воображении той самой, хорошо
знакомой с детства дорогой через Ингульский мост на
Терновку или мимо элеватора на Водопой и на Горо-
ховку...

«Если б отойти без боя...» Размышляя, Андрей все-
таки постепенно склонялся к тому, что боя не мино-
вать. Мало шансов, чтоб без боя. Все-таки, думать на-
до о бое. – Он вынул из кармана смятую пачку папир-
ос. Пальцы нашарили папиросу. Сунул в губы. – Не
в бое даже дело, – продолжал думать. – Как в поло-
женное время на виду противника перебраться на тот
берег, вот дело в чем... – вздохнул. «Ладно, как-ни-
будь переправимся...» На миг представил себе плоты
и лодки, они плыли перед глазами, зыбкие, легкие, ка-
кие-то невсамделишные. «Переправимся...» Андрей
жестко усмехнулся: «Если будет кому переправлять-
ся...» И у надежды, пусть самой несбыточной, есть

границы. Он дошел до самой границы, дальше – конец. И еще раз потерянно подумал: «Если будет кому переправляться...» Он подавил в себе эту мысль.

– Товарищ лейтенант... – Кирюшкин передал Андрею телефонную трубку. Комбат.

– Я! – приложил Андрей трубку к уху.

Опять о том же, о разведчиках? Ну да.

– Как? Ребята все еще в гостях? – спокойный и теплый голос комбата. А-а, понятно. Жди, жди...

Андрей знал, столько в эти последние часы у комбата дел, – скоро батальон начнет отход. И звонит комбат, понимал Андрей, чтоб поддержать его дух, чтоб хоть еще какое-то время не ощущал одиночества. Одиночество страшно потому, что человек остается один на один с целым миром, в котором много боли, страха. И комбат понимал это. И Андрей понимал это. И старался преодолеть в себе что-то такое, неуместное сейчас, что-то мешавшее ему, хотел оттеснить надвинувшееся чувство безысходности, когда вокруг пусто, никого. Он хотел забыть на какое-то время все, что с ним происходило, и не думать о том, что еще должно наступить.

В сердце хлынула волна благодарности этому, похожему скорее на преподавателя, чем на комбата, седому, с истомленным лицом, иссеченным крутыми морщинами, как затвердевшими ссадинами, челове-

ку, уже потерявшему на войне все, кроме собственной жизни, которой, видно было, он теперь и не дорожил. Комбат не уходил из глаз. Долговязый, сухощавый, с потухшей папиросой между пальцев, сидел он на пне возле землянки и участливо смотрел на него. Он и сейчас был еще недалеко, комбат, спокойный и строгий, терпеливый, добрый, он был рядом, и от сознания этого делалось хорошо и казалось, нет такого, чего нельзя превозмочь.

Кирюшкин, кажется, опять задремал над телефонным аппаратом.

– Кирюшкин, – потряс Андрей его плечо.

– Да?..

Андрей выбрался из блиндажа. Легкий ветер, налетевший с реки, обдал песком лицо Андрея. Он смежил веки. Потом обвел глазами сомкнувшееся вокруг него пространство, в черном воздухе ничего нельзя было различить, он прощался с этим краешком земли, который должен удерживать до двух тридцати. Во что бы то ни стало. И он отстоит этот краешек до двух тридцати, во что бы то ни стало. Он понимал, конечно, что тут, между рощей и холмом, где находился противник, и берегом, где стояла рота, лишь клочок войны. Но для солдата, в ту минуту, когда на него идут танки, главная война здесь. И здесь должна быть победа.

«Я знаю, они меня одолеют, – грустно покачал го-

ловой, – их много, очень много, и пушки, и танки. Противник пустит танки. – Андрей уже не сомневался в этом. – Потом пойдет пехота, превосходящая мои силы. И все-таки я должен выстоять, пока не перейдут переправу последние наши подразделения». И с новой силой охватила Андрея уверенность, что удержит переправу, сколько надо, и взорвет ее. И взорвет ее, во что бы то ни стало. Об этом думал он все время. Только минута, та, что наступит после двух часов двадцати девяти минут, только эти тысяча пятьсот метров оставляемой земли, только мост, контуры которого и во тьме выдавали его тяжелую и неподвижную красоту и которому осталось недолго жить, только это было важно сейчас, все остальное уже не имело значения. Андрей с удивлением подумал вдруг, что граница земли, до которой он дойдет, – берег реки, отстоявший всего метрах в семистах отсюда, для него и граница войны и жизни тоже. И он это знает. Человек знает, что смертен. Но ему счастливо неизвестно, когда именно наступит его конец. Теперь Андрей это знал. Смысл его жизни, оказывается, был в том, чтоб дойти до какого-то луга и белого песчаного берега, которых до этого и не видел никогда, и здесь ни с того ни с сего умереть...

Умереть всегда страшно, что бы там ни говорили, но он видел красноармейцев, бросавшихся вперед;

вперед – это на пулеметы, бившие в упор, на строчившие автоматы; он видел перекошенные в ярости лица, и перекошенные лица эти были прекрасны. Вперед – это смерть, они знали, что смерть; они знали, и ничто не могло их остановить; и подумать нельзя было, что им страшно. Только поправленная правда может вызвать такую силу, поднимающую человека над всем, над страхом тоже, даже над боязнью умереть.

Долгий шорох заставил Андрея прислушаться, показалось, что ветер трется о бруствер. Шорох приближался, потом донеслось срывающееся дыхание. «Ребята! Они... Наконец!» Андрей не выдержал, поспешил навстречу.

У поворота хода сообщения возникли три смутные фигуры.

– Черт бы вас побрал! – обрадованно выпалил Андрей. – Черт бы вас побрал! – Он похлопал по плечу одного, другого, третьего. – Спасибо, Капитонов, все целы.

– Целы, товарищ лейтенант, – утомленно, как бы безразлично, откликнулся Капитонов. – Долговато получилось.

– Ничего, главное – все вернулись. Пошли.

Уселись в блиндаже. На столе – лампа-гильза. Вьющийся вокруг желтого язычка пламени дымок казался тенью огня. Огонь отбрасывал неровный свет на сте-

ны, на потолок. Лица всех троих, увидел Андрей, как-то сразу исхудали, осунулись, словно только что вышли парни из боя. Круто опущенные плечи, бессильно повисшие руки, смыкающиеся глаза, которые трудно было держать открытыми, – всех троих одолевала усталость. Они протянули вперед онемевшие ноги, давая им отдых. С голенищ сапог еще не отвалилась не совсем засохшая грязь. На коленях, на локтях тоже чернели сгустки грязи.

– Воды бы, – просительно взглянул на Валерика Капитонов, низкорослый, щуплый, тоненький-тоненький. «Неужели ему под тридцать?» – удивленно подумал Андрей.

Валерик шустро подхватил с пола два котелка с водой, один подал Капитонову, все еще смотревшему на него, другой – тем, двоим. Капитонов, запрокинув голову, пил, пил долго, не отрываясь от котелка. С уголков губ стекали струйки, оставляя след на гимнастерке.

– Курите, – Андрей раскрыл пачку папирос.

Три руки потянулись к пачке. Прикурили от лампы-гильзы. И трое, как заводные, одновременно вобрали в себя как можно больше дыма и одновременно густо выдохнули его.

Для того, чтоб усесться, утолить жажду, закурить, понадобилось несколько минут. Но и эти минуты по-

казались Андрею долгими.

– Давай, сержант, – нетерпеливо бросил он Капитонову. – Что?

– Ничего такого разведать не удалось, – сказал Капитонов. Он сипло вздохнул. – Танки нигде не обнаружили. Вон Абрамов Костя, он прополз в глубь опушки.

– Метров на триста в лес пробрался, – как бы пробудившись, вскинул голову и додал остроносый парень в осевшей на уши пилотке, – куда вы говорили. Ну, прополз, и чуток дале, верно, котлованы есть, по двум полазил, потому что пустые и – черт его знает – охраны никакой. Котлованы те, должно, были танковые укрытия. Шибко там бензином разило. Ну, взял правее, против нашего первого взвода, как вы приказали, и еще правее. Никаких моторов не слышал. И голосов никаких.

– Мертво, – подтверждая, кивнул Капитонов.

– Возможно, противник увел оттуда танки, раз место нашей артиллерией пристреляно. – Слушая разведчиков, Андрей рассуждал сам с собой. – Куда вот увел?

– А мы – лугом и выбрались к большой дороге, думали – там в кустах сосредоточены танки, чтоб по ровному и на мост, – продолжал Капитонов. Он говорил, наклонив голову, чтоб глаза ни на что не отвлекались, а видели только луг, по которому то, неслышно сту-

пая, шли они, то ползли, и большую дорогу. – Непонятно, – приподнял плечи в удивлении. – И сторожевого охранения вроде не выставили нигде.

– Дальше, дальше, – поторапливал Андрей.

– Дальше, товарищ лейтенант, опять вышли мы в луг... приблизились к силосной башне. На самой верхотуре мелькали хитрые огоньки.

– Как – хитрые? – не понял Андрей.

– Ну, вспыхивали они в западную сторону, с нашего боку их бы не увидеть. Курили, точно. Не иначе, пулеметы там. Дот, точно.

«Дот, точно. – Андрей повторил про себя слова Капитонова. – Не уверен, значит, боится немец контратаки. После вчерашнего, когда потрепали его танки». Андрей внимательно смотрел на Капитонова, тот продолжал:

– А за мельницей, подглядели мы, фрицы разгребали завалы. Те, что наши набросали.

– А почему думаешь, что завалы разгребали? – насторожился Андрей.

– Сам слышал. И вот он, Иванов, – показал, – слышал.

– А как же вы слышали? – уточнял Андрей. – Не рядом же с немцами стояли...

– Не рядом, – согласился Капитонов. – Завалы ж и разгрести и разобрать надо. А помните, делали их из

необхватных сосен. Вот и слышали мы тяжелый след, когда сосны волоком волокли и когда фрицы на себе таскали. Топали же как!..

«Тягачи не пустили. Чтоб шум моторов до нас не дошел, – понял Андрей. – На себе и таскали. Так, ясно. Разгребают завалы, – продолжал он размышлять, – значит, открывают дорогу танкам. Танки, значит, здесь. И собираются двинуть их не прямо на переправу, а в обход. Важное наблюдение. Но завалы, правильно говорят разведчики, – за мельницей. Как раз против обороны Ваню. – Здесь начиналась неясность. – Зачем противнику готовить дорогу туда, где танкам пройти почти невозможно? Там же тесный лес, крутая лощина там... Куда пускать танки? – Лес и лощина с отвесными, как стена, склонами возникали перед ним. – В чем тут умысел? – терялся в догадках. Возможно, противник бросит танк-два в сторону Ваню, чтоб отвлечь туда какие-то силы, а потом ударить на Рябова? – Андрей продолжал размышлять. Еще странность: кроме пулеметного гнезда в силосной башне да солдат, разгребавших завалы, судя по данным разведчиков, вражеских подразделений против роты никаких, – недоумевал он. – Не смогли разведчики высмотреть? Пехота и машины могут находиться где-то в укрытиях и в определенное время выйдут на рубеж атаки. Над всем этим надо подумать.

И поставить в известность комбата. Раз он еще не отошел, он и командует».

– Продолжай, Капитонов.

– Все, товарищ лейтенант, – вскинул Капитонов глаза. – Что разведал, то и доложил, – и виновато развел руками. Тень его сразу задвигалась и заполнила всю стену до потолка. – Все.

Андрей поднялся.

– Добро. Отдохните, ребята.

И – Кирюшкину:

– Комбата.

Андрей доложил комбату обстановку.

– Все равно, готовься, старик, к музыке. Есть еще что? Ну, продолжим разговор, когда встретимся у тещи на блинах. Как условились с тобой. Адрес знаешь. Так?

Андрей понял, это последний разговор с комбатом здесь, на правом берегу.

Он рассеянно взглянул на Кирюшкина, на Валерика, посмотрел в угол: Капитонов, Абрамов Костя и Иванов, совсем сморенные, свалились на еловый лапник, выстланный на полу блиндажа, они уже спали, глубоко, даже дыхания их не было слышно.

«Неужели немцы оставили роццу и холм и втихую перешли куда-то, далеко отсюда, на новый рубеж? – верилось Андрею и не верилось. – А завалы разгре-

бали зачем? Чтоб мы подумали, будто прорываться собираются здесь, а на самом деле ударят совсем в другом месте? Засекли разведку, с умыслом пропустили, и пусть возвращается и доложит, что именно здесь разгребают завалы? Ну, так. А танков, пехоты ребята не обнаружили. Ничего не ясно. Может, все же удастся без боя оторваться от противника?» – снова подумал с надеждой.

Посмотрел на часы. Два тридцать еще не скоро. Как движение на шоссе? Кончается? Нет? Что, впрочем, это меняет? Время взрыва переправы определено. Но мысль о Володе Яковлеве не оставляла Андрея. «Что-то не доносит ничего. Да и Семен не звонит».

Андрей стал крутить ручку полевого телефона.

7

Дорога начала гаснуть и вскоре стерлась в темноте. Показалось несколько машин, по расположению подфарок, должно быть, грузовики. Потом, спустя полчаса, еще три грузовика – один за другим выплыли они из мрака и ушли во мрак. И дорога стихла, похоже, совсем.

Семен и Володя Яковлев смотрели вниз, на дорогу. Ночь заслонила все, и облака на небе, и лес, и холм, и реку на земле.

– А молчит немец, – тревожно недоумевал Семен. – В этом что-то есть, как думаешь, взводный?

– Молчать ему недолго, – мрачным шепотом произнес Володя Яковлев. Рассветет, и обнаружит, что мы оставили позиции. А то еще раньше – услышит и увидит, как мост летит вверх тормашками, и сразу трехнется, что к чему.

Они продолжали смотреть на дорогу.

– Два тридцать, – это еще полтора часа, – надсадно выдохнул Семен. Твердыми пальцами сжал плечо Володи Яковлева. – И не догадаться, что немец делает в оставшиеся полтора часа.

Еще две машины неслись к переправе.

– По времени батальон, кроме нас, уже смотал катушки, – сказал Семен.

Володя Яковлев не откликнулся.

Нервное возбуждение заставляло их то говорить, то подолгу молчать.

С реки тянуло ночной прохладой.

– Послушай, взводный, – Семен поежился. – Чего тут вдвоем делать. Тебе, по-моему, лучше остаться здесь. А мне дай автоматчика, пойду посмотрю, все ли как следует у подрывников за переправой.

Оба знали, что к взрыву моста все подготовлено: в основные опоры заложены заряды и от окопчиков подрывников протянуты к ним провода.

Семена тянуло вниз, на дорогу, по которой двигались войска, как бы рассчитывал найти там разгадку того, что видел, но до конца еще не понимал.

– Так давай. Заодно перехвачу кого-нибудь на дороге, выпрошу, что там в городе.

– И то дело, – согласился Володя Яковлев. Он повернулся, сделал несколько шагов. – Никита!

– Есть! – раздался над плечом Володи Яковлева басовитый голос Никиты.

– С товарищем политруком пойдешь.

– Есть пойти с товарищем политруком.

– Разрешите и мне, товарищ сержант.

«Тут как тут, – невольно усмехнулся Семен. – Тишка-мокрые-штаны». Он узнал его.

– Так можно, товарищ сержант? – настойчиво стоял Тишка-мокрые-штаны.

– Разрешите, разрешите, взводный, – в голосе Семена слышалась улыбка... Как же Никита без него?

– Верно, – усмехнулся и Володя Яковлев. – Идите оба.

– Давай, – позвал Никита.

Они двинулись по косогору. Впереди Никита, грузный, твердый шаг его отдавался в ушах Семена, ступавшего вместе с Тишкой-мокрые-штаны чуть сзади. Тот спотыкался, будто ноги его не научились ходить.

Начался спуск. Ноги увязали в сухом шевелившемся

ся песке. Дорога должна быть уже недалеко.

Вот и дорога. Видно было, впереди и сзади включали и выключали подфарки. Когда подфарки включали, по дороге двигались синие молнии, а когда выключали, казалось, что молнии прихлопывала тьма.

Тишка-мокрые-штаны опять оступился, едва не упал в кювет.

– Ты, хмырь, держись ногами за землю, – сердился Никита.

– Держусь, Никитка, держусь.

Они услышали хриплый голос неподалеку. Выжидательно остановились. Кто-то матерно бранился. «Шофер, – понял Семен. – Что-то не заладилось в машине».

– Здорово, товарищи, – бросил Семен в темноту, предупреждая тех, невидимых, что свой. «Как бы не пульнули с перепугу, не разобравшись, в чем дело...» – Здорово! – громко повторил.

– Пошел ты к бабкиной матери! Не то еще дальше пошлю! – зло огрызнулся тот же хриплый голос. – Какого хрена тебе?

– Патруль, – нашелся Семен. Он подтянул сползавший с плеча автомат.

– Патруль? – другой голос, протяжный, недоверчивый.

Семен услышал, к нему направлялись медленные

шаги. Кто-то шел навстречу, тяжело и устало. Их разделял уже один шаг густой темноты. Слабый щелчок карманного фонарика, и в руках того, кто шел, вспыхнул белый круг. Секунда, и свет погас. Семен успел заметить: старшина, высокий, худое стеариновое лицо. И еще увидел прижавшийся к обочине грузовик.

– Небольшая авария, товарищ политрук, – огорченно произнес старшина. – И не вовремя так...

– Авария всегда не вовремя. А спешишь когда, особенно.

– Ждем, товарищ политрук, ждем. Переправу приказано перескочить. А тут задержка.

– Все? – полушепотом спросил Семен. – Все выбрались? Или еще остались там?

– Не знаю, товарищ политрук, – не сразу ответил старшина. – Не знаю.

– Немцы уже в городе?

– Двадцать минут назад немцев еще не было, – проронил старшина.

– Да-а, – вырвался у Семена горестный вздох.

– По правде сказать, – доверительно шепнул старшина, – мы еле оторвались от них. Вот оно как...

Сверкнув холодным огоньком, мимо пронеслась одна машина, другая, третья, будто роняли на дорогу фиолетовые искры и те мгновенно угасали.

– Всё. Давай, давай садись, – прикрикнул шофер.

Послышался топот многих ног. Гроыхнули крюки, накинутые на задний борт грузовика.

– Садись!.. Садись, говорю!..

Старшина бросил Семену на плечо свою руку, словно тот хотел убежать.

– Эх! – прозвучало, как стон. Старшина торопливо отошел от Семена.

Стукнула дверца кабины.

– Поехали! – раздался возглас облегчения: шофер прощался с опасностью, которую оставлял позади машины.

Теперь нажал на кнопку карманного фонарика Семен, и из-под руки вырвался клочок света: хотелось взглянуть на тех, кто через минуту перемахнет переправу. Переправа как бы делила мир и жизнь на две половины, он оставался на обреченной половине. Он увидел на грузовике запахнувшихся в плащ-палатки бойцов, одни сидели спиной к движению, другие – к боковым бортам. Он повел фонариком и тотчас убрал свет.

Машина двинулась.

Включенные подфарки тронули шоссе, оно чуть приметно открылось перед машиной. Семен смотрел ей вслед. Он слышал, как шуршала под ней дорога. Через полминуты стерлись машина и дорога, будто никогда и не были здесь. Семен услышал, как ухнула

выхлопная труба. «Уже выскочила на переправу, прикидывал он. – И, считай, оторвалась от противника».

Постоял еще немного. Ни одной машины больше. Все словно вымерло. Тьма и тишина.

Снова огоньки, там, за поворотом.

– Смотри, – локтем толкнул Семен Никиту в бок.

– А-а, – угодливо пискнул Тишка-мокрые-штаны, словно к нему обратился политрук. – Цельная колонна. Наши, а?

На них надвигались холодные фары машин. Глухие огоньки неслись быстро, быстрее тех, что уже промелькнули. Отсюда, с поворота, видно было – большая колонна машин двигалась к переправе. Значит, еще не все выбрались из города, – подумал Семен. Часы показывали – двадцать пять минут второго. Так по времени и выходит. Рассчитано. Переправу же снять через час. «Двадцать минут назад немцев в городе еще не было, – помнились слова старшины. – Счет идет уже на минуты...»

По дороге, шурша опавшими листьями, пробежал ветер.

– Пошли, ребята.

Они шли к мосту, туда, за переправу, где в ожидании сигнала лежали в окопчиках подрывники.

Впереди опять ступал Никита. Теперь, слышал Семен, в его шагах уже не было твердости.

Глава седьмая

1

Напряженное ожидание действий противника вконец истомило Андрея.

Раньше он не поверил бы, что минута – это долго, очень долго, так долго – можно успеть всю жизнь вспомнить. А еще столько до взрыва переправы. Он старался заполнить время, отвлечься от ожидания, и то связывался со взводными, хоть приказания на разные случаи уже отдал, то в который раз просматривал по карте маршрут к высоте сто восемьдесят три, то шел к пулеметчикам, словно забыл, что совсем недавно был у них. Тревога, как и радость и все другое, понимал он, была в нем самом, вещи и обстоятельства лишь пробуждали ее. Как-то, вспомнилось, противник атаковал его батальон, он тогда не испугался, не кинулся прочь, просто не думал об опасности, думал о том, что надо держать оборону и ни с места, и деловито действовал, и отбил атаку. Не паниковать, не паниковать, это очень важно на войне.

Андрей выбрался из березового колка, он проверил

боевое охранение и возвращался к себе на командный пункт. Колок, белый, отчетливо проступал в темноте, и, наверное, у немцев на прицеле. Скорее отделиться от него и войти во мрак. Он убыстрил шаги. С боевым охранением в порядке, размышлял он. – По всей линии обороны как будто в порядке. Двадцать пять минут обходил он участок, – не отрывал глаз от стрелок, словно сомневался, не остановились ли. Он часто, слишком часто взглядывал на часы, хоть и сдерживал себя: пусть пройдет еще немного, но он торопил время, охваченный неослабным нетерпением, он торопил время. Стало на двадцать пять минут меньше. На двадцать пять минут меньше ждать.

До командного пункта осталось шагов двести. Тихо. Тихо, удивительно тихо. Ночь, полная звезд и снов. И разведчики донесли: ни моторов, ни голосов не слышали, пока пробирались они туда и обратно. «Мертво», сказал Капитонов.

«Либо здорово замаскировались немцы, либо в самом деле после нашей вчерашней контратаки передвинулись куда-то. А, может, тут что-то другое, что-то похуже?..» Тревоги одолевали Андрея, тревоги, вызванные мрачными предположениями. Он неуверенно сопротивлялся им. «А что, собственно, похуже? Что бы ни было, все хуже. И – ничего!..» Ладно, он не будет строить догадок. Догадки, как назло, не успока-

ивали, они пугали. А страх штука сильная, и его надо одолеть. Его надо одолеть, чтобы самому стать сильнее. Ладно, он попробует думать о другом, о чем угодно, но о другом. В конце концов, то, что должно произойти, произойдет, и он встретит непреклонное с достоинством, как сможет. Вспомнился разговор с комбатом после одного ожесточенного боя. На войне, хочешь – не хочешь, а будешь храбрым, сказал Андрей, и в этом гражданский долг чудесно совпадает с инстинктом самосохранения – быть трусом просто неблагоприятно. «То есть, слепая храбрость? – с недовольным удивлением произнес комбат. – Нет, старик, нет. Такая храбрость унижает». Пусть слепая, пусть не слепая, – он выполнит поставленную комбатом задачу.

«Мертво», – сказал Капитонов. И верно, мертво. Но относилось это уже не к возможным подвохам противника. В тишине угадывал он спокойствие, с которым улегся на миллионах постелей далекий отсюда мир, выключив электрический свет в миллионах домов и кинувший перед закрытыми глазами миллионов людей, ставших счастливо-беспомощными, видения без начала, без конца, неожиданные и в то же время совсем обыкновенные, и, словно продолжалась знакомая жизнь, люди чему-то радовались, чего-то пугались, спешили куда-то, что-то делали, без какого-ни-

будь смысла порой, так только, чтоб и во сне действовать, как и положено живым... Андрей любил эти облегченные часы жизни – он и все сущее, окружавшее его, расходились в стороны, и лишь смутное подобие действительности сохранялось в утомленном сознании. Сейчас ему не спалось. Он и раньше, случалось, бессонно встречал такие тихие, глубокие ночи, когда ветер не в состоянии и листья на деревьях шелхнуть, когда жизнь отдыхает от всего, от дневных дел и забот, от тревог, движения, желаний, и не думалось ни о чем, только дышалось, только дышалось, медленно, неторопливо.

Между человеком и тем, что ему противостоит, всегда есть что-то есть люди, есть улицы, дома, деревья, лощины, дороги, есть облака, свет, подумалось Андрею, – сейчас между ним и противником только и была тяжелая, все прикрывшая темнота. Ничего не видно, самой земли не было. Его охватило гнетущее ощущение повсеместной необитаемости. И не верилось, что где-то ходит боевое охранение, сидят и лежат люди в окопах. И вдруг почудилось, что ничего нигде нет, и война тоже лишь видение во сне, странное и бессмысленное, ненароком возникшее в ночи. И еще показалось, что тысячелетия стоит, как мертвая, эта ночь, она далеко ушла от сумерек и, похоже, никогда не дойдет до рассвета, и все в ней неподвижно,

и небо, и воздух... И дремлет все. Сон не может отсюда уйти, слишком темно и слишком спокойно. Звезды стали крупнее и ярче, и светили как раз над дорогой к высоте сто восемьдесят три. Чуть слышно тронулись под слабым ветром сосны, и хвойный дух дошел до окопов. Неужели в такую ночь может произойти что-нибудь плохое?

Война и эта тихая ночь жили рядом, не соприкасаясь. Андрей попеременно находился то тут, то там, но больше, пожалуй, все-таки в тихом мире. И с огорчением выбирался из него, возвращался в действительность, удивленный, что мог хоть на мгновение уйти из нее. Там, немного дальше сторожки, – пусто, комбат ушел, на другом берегу реки уже не было своих пушек, и Андрей остро почувствовал, что остался один. Мысль о пушках задержалась. «Батарея ушла», – почти жалобно подумал он. Пехотинец еще больше, чем сами артиллеристы, понимает, что такое батарея позади него. Только пехотинец знает в полной мере, что значит артиллерия за спиной. Рота, неполная рота, стояла теперь против немецкой армии, наступавшей на переправу.

Он ловил себя на том, что все время надеялся на какой-нибудь просчет противника, и подойдет назначенный срок – и Андрей сделает то, что приказано сделать, сделает и рванет на левый берег. Если удаст-

ся. И напрасно комбат переживал, ставя ему эту задачу. Андрей видел, тот переживал. В эти часы мысль о невозможности без боя оторваться от противника слишком часто овладевала его сознанием. Раскис, значит? Не верит в себя? Не убежден, что выстоит? Рота еще повоюет, рота еще повоюет!

«Солдатом становятся без радости, – подумалось, – тело человека сотворено не для того, чтоб его дырявили пули. И разве надо это доказывать? Все дело в том, ради чего мы стали солдатами. Мы хотим того, чего нельзя не хотеть: прогнать с нашей земли тех, кто не родился, не вырос на ней, а пришел управлять ею и нами. Что может быть справедливей, если мы даже убьем их всех?»

Он снова стал думать о различных вариантах атаки, которую может предпринять противник. Ничто новое не возникало.

Так и оставалось: главный удар противник, следует ожидать, нанесет по первому взводу – на самом танкоопасном участке роты. Конечно, может и по-иному случиться, все может случиться. А пока – Рябов. Все, что мог, Андрей передал Рябову, у него и пулеметов больше, чем у Ваню и у Володи Яковлева, и бойцов больше. Не много, но больше.

Рябова было Андрею особенно жаль. И не потому, что знал его дольше, чем других взводных и бойцов, –

ничто их близко не связывало. Нет, сержант Рябов, колхозный тракторист, появился в роте недавно. Андрею было известно, что у Рябова трое маленьких детей – девочки, они остались на руках жены, больной. Хоть бы он уцелел, если кому-нибудь суждено в сегодняшнюю ночь уцелеть.

Андрей добрался до блиндажа.

– Рябова.

Кирюшкин повертел ручку телефонного аппарата.

– Я! – отрывистый голос Рябова – на весь блиндаж. Будто стоял рядом. «Ну и мембрана! И к уху трубку прикладывать не надо», – хмыкнул Андрей.

– Что скажешь? – как можно спокойней произнес он. – Нормально, говоришь? Ладно. Держись, все хорошо будет. Ну вот, и ты так полагаешь. Значит, все действительно будет хорошо. – Он услышал, что коротко засмеялся.

Может, и в самом деле все будет хорошо...

«Вряд ли. Вряд ли, – грустно покачал головой. – Даже нет, определенно нет». Андрей услышал, что вздохнул. «Кончать надо думать об этом. Надо думать только о том, как дольше задержать противника на этом берегу и вовремя взорвать мост. А не внушать себе разные страхи. Страх не отменит приказа. Приказ остается в силе, если и кажется невыполнимым. Приказ на войне предполагает, что все выполни-

мо. – Он это уже знает, как и многое другое уже знает. – Конечно, выполнимо, раз приказ предусматривает и смерть твою. Если потребуется. На войне, считай, всегда требуется твоя смерть. И с этим ничего не поделать. Но давай думать не о смерти. О приказе давай думать. И о том, как, выполнив приказ, перебраться на тот берег. И оставить противника с носом. Поторчит пусть у взорванной переправы...»

Ладно!

Андрей связался со вторым взводом, с Ваном.

– Как у тебя?

– Порядок, – довольно бодро откликнулся Ван. – Порядок. В карты вот дуемся, в «дурачка».

«Весь Ван в этом», – улыбнулся Андрей. И в тон ему:

– Плохо командуешь, товарищ Ван. Гитлер вон как командует, а только ефрейтор. А ты сержант...

– Подучусь еще, товарищ лейтенант, да? Война, слушай, не завтра кончается. Гитлер дальше ефрейтора не пойдет, да? А я, может, под Берлином уже лейтенантом буду, два «кубаря». А то и «шпалу» нацепят...

– «Кубари» и «шпалу» заслужить надо, Ван. Делом. Вот сегодня и покажи себя. Ладно. Значит, в «дурачка»?.. – «Что могу иное сказать в такие минуты, когда нервы напряжены?» – оправдывался перед со-

бой Андрей. Ладно.

– Все будет в полном порядке, товарищ лейтенант, да? – с бездумной уверенностью произнес Ваню.

Андрей положил трубку.

Приземистый, ширококостный грузин с мясистыми, блестящими щеками, с горячими глазами, с крутой горбинкой на длинном носу и двумя лихими хвостиками-усиками, Ваню, казалось, не понимал, что такое опасность. Просто он ни в чем не видел риска и шел на риск, как отваживаются дети совершить проделку. Бывало, небрежная храбрость, которую проявлял, сам того не замечая, грозила гибелью, но ему всегда удавалось выпутываться из самых сложных положений. И понять было нельзя, как получалось, что Ваню ни разу не попал в госпиталь. «Я везучий, понимаешь, да? У меня в роду все везучие...» – расплывались его толстые губы в лукавой ухмылке. «Ты поосторожней, Ваню, – говорили Андрей и Семен. – Храбрость дело ведь умное, а не так... Риск нужен, но расчет лучше, надежнее. Усвой ты это...» Ваню лишь улыбался, понимал, что ротный и политрук выражали ему таким образом одобрение. «Не могу поосторожней, да? Кавказский я человек, кровь горячая...» В свои двадцать лет Ваню успел переменить много мест работы. Кое-как окончив школу, поступил на шоферские курсы, не понравилось, бросил; пошел в винодель-

ческий совхоз, выгнали – слишком пристрастился к вину; устроился гидом в экскурсионное бюро, водил любознательных туристов по черноморскому побережью, в горы, но довольно скоро пришлось убраться и отсюда – неравнодушные к смазливим туристкам выражал слишком откровенно и слишком стремительно. Еще где-то устраивался, и увольняли, увольняли... Ваню сам рассказывал о своем невезенье и не сочувствия искал, рассказывая об этом, – просто хотел, чтоб слушавшие его, как и сам он, удивлялись несправедливости, которая существует на земле. Призванный в армию, Ваню оказался отличным стрелком – никто не стрелял более метко, более точно, чем он. Он не обладал послушностью, без которой не бывает солдата и которая именуется крепким, как гранит, словом – дисциплина, оттого, когда началась война, случались с ним вещи непозволительные. То расстреляет пленного эсэсовца, не доведя до места назначения: «Виноват. А ничего поделаться с собой не могу. Совсем не в состоянии видеть фашистов на своей земле. Сердце обрывается, да? На самого Гитлера, прикажете, один пойду... понимаешь?.. Не могу фашиста живого видеть... Вот и получилось у меня. Виноват...» То проберется в расположение противника и притащит оттуда вина в канистре из-под бензина, и вино противно отдавало бензином «кагор-мотор», скаля в

улыбке зубы, объяснял Ваню. То выйдет на дорогу в ожидании полевой кухни, когда не прибывала вовремя, и силой заворачивал в свой взвод котел, следовавший в соседнее подразделение... «Ты – кто? Хулиган? бандит? – распекал его Андрей. – Ты – кто?..» Ваню непонимающими глазами смотрел на ротного: «Красноармеец я, товарищ лейтенант!» Такой уж он, Ваню. А может, и ничего, что такой? Сколько раз запрашивали о нем политотдел полка, и следователи прокуратуры, и Особый отдел! Когда выбыл из строя двенадцатый командир взвода, пришлось временно назначить взводным Ваню, тринадцатым. Хоть анкета у него, прямо сказать, неважнецкая, усмехнулся Андрей, вспомнив свой разговор со старшиной Писаревым, с бывшим начальником отдела кадров научно-исследовательского института Писаревым. Да ни один серьезный отдел кадров не рискнул бы взять такого в учреждение. На войну всех берут. И Ваню, человека с плохой анкетой. Даже взводным назначен, временным, а взводным, и Андрей несколько не жалел, что назначен. Сейчас у Ваню, сказал он, порядок, в карты дуются... «Ладно, Ваню, не сердись, если что у нас и не так с тобой получалось, – с грустью подумал Андрей. – Сам понимаешь, война...»

Над снарядной гильзой со сплюснутыми краями выгнулось на фитиле невысокое зазубренное пламя,

похожее на петушиный гребень, и негустой свет падал на трех разведчиков, все еще недвижно спавших на еловом лапнике.

Андрей посмотрел на тусклые, казавшиеся плоскими, щеки Капитонова, на прядку волос, выпавшую из-под свалившейся на затылок пилотки. Он стал думать о Капитонове. Капитонов пришел в роту после госпиталя. О своем ранении не рассказывал, не хотел рассказывать. А узнали. Добыл он «языка» и, связанного, волоком тащил, тот умудрился ухватить разведчика за ноги, повалить и всадить кинжал в бедро. Кое-как Капитонов дотащил «языка» до боевого охранения и, потеряв сознание, упал. Кто-то доставил разведчика и пленного в роту. Капитонова наградили медалью «За отвагу», но вручить не успели. Медсанбат. Госпиталь. Выписался из госпиталя, и его направили в этот батальон, в первую роту.

А потом подумалось о Писареве. Андрей приказал ему отдохнуть. Как бы обстановка ни сложилась в ближайшие час-два, все равно будет трудно, очень трудно, и надо набраться сил. А поспать солдату – дело большое. Писарев лежал в трех шагах от Андрея с подтянутыми к животу ногами, сначала громко дышал, потом утих, словно ушел далеко, и его стало не слышно. Лет на семь Писарев старше Андрея, но Андрей чувствовал себя более искусственным. Ни-

чего не скажешь, исполнительный, точный. А военного – нисколько. Да и сам он, Андрей, никакой не военный, всего-навсего несостоявшийся учитель истории. Но эти месяцы сделали его фронтовиком, иногда казалось, что всю жизнь воюет, всю жизнь – атаки, контратаки, окопы, бомбежки, переходы... А Писарев, что ж Писарев... Так и не мог решить, какой он, Писарев. «Пусть спит, пусть спит...»

Потом на ум пришли Семен, и Володя Яковлев, которому взрывать мост, и Рябов, и Валерик, и комбат. И комбат. Андрей даже ощутил на плече добрую, успокаивающую тяжесть его руки. О Саше он забыл, забыл о Марии. Только Данилу помнил. Помнил, что тот с Ляховым у пулемета.

Андрей бросил взгляд в угол и только сейчас заметил Сашу и Марию. Ей показалось, что сердито, даже зло взглянул на них.

Мария сидела с Сашей в углу, подобрала под себя ноги, спиной опираясь на Сашин вещевой мешок. Саша, как обычно, молчал, и она не могла понять, доволен он или огорчен, что после опасных странствий попали под команду этого лейтенанта. В блиндаже тихо, свет от лампы – снарядной гильзы такой тусклый, он не в состоянии одолеть полумрак, и оттого клонило в дрему. Она видела, как доставал Андрей папиросу, слегка помялее, потянулся к огню, прикурил. По-

ка прикуривал, разглядела его глаза: голубые они, серые или еще какие? «Утомленные, – решила она, – и жестокие».

– Спите, нет? – К ней и Саше обращался лейтенант. – Поспите, поспите... Пока еще можно спать. – Голос какой-то стертый, равнодушный, в нем даже малейшей заинтересованности не слышно. – Или уже выпались?.. Да?..

– Нет. Не выпались, – откликнулась Мария с некоторым вызовом. Горе этих дней, неопределенность положения, неприятное чувство, которое вызвал этот лейтенант с первой же минуты, как увидела его, все смешалось и вырвалось в озлоблении. – Нет. Не успели.

– А можете не успеть. – Все тот же бесстрастный тон.

– Послушайте, лейтенант. – Что-то дрогнуло в Марии. Ей вдруг припомнилось, как осаживала в школе ретивых, когда те проявляли мальчишечье высокомерие. Она всегда не терпела высокомерия по отношению к себе. – Послушайте, лейтенант...

– Слушаю.

Мария запнулась.

– Да? – настаивал Андрей. Он уловил ее колебание.

Она собралась с духом.

– Понимаете, вы такой... холодный такой человек, лейтенант. – Она распалась. – Сухой...

Андрей закинул руки за спину, попыхивая папиросой, заходил по блиндажу, туда-сюда.

– Как ты сказала? Сухой?.. Холодный?.. – Он улыбнулся, в первый раз за этот день. Улыбка вышла беглая, короткая, Мария не увидела ее. Он уставился на девушку. Сашу взгляд его отделил от нее и отвел далеко отсюда. Он смотрел только на Марию. – Видишь ли... Работа у меня горячая. А при горячей работе самому надо быть холодным. Я хочу сказать, спокойным. И мне не до любезностей. Особенно сейчас.

– Куда уж любезности! – Мария уже не могла сдержаться. – Когда отступать надо... – В сердце ударили уходивший Киев, Полина Ильинична, дядя-Федя, Федор Иванович, Лена... – Сматываться надо...

– Что? – вскинул голову Андрей. – Что?.. Ты колодила немцев, а я тебя увел от этого дела? Так? Или помешал драпать?..

– Я не драпала, я ушла.

– А, вот как...

– Хотите сказать, нет разницы? Есть, есть, – подчеркнуто резко произнесла. – Есть! Я вынуждена была уйти, потому что вы... – Она не закончила. Андрей хорошо понял, что имела Мария в виду.

– Болтовня! – строго осадил ее. И зло отчеканил: –

Болтаете. И прекратите.

– Не приказывайте. Я не ваша подчиненная, – негодовал неуступчивый ее характер.

– Вы в расположении моей роты, и мои приказания для вас обязательны. Поняли?

Мария сжалась: «С ума сошла! Прогонит! Прогонит! А Данилы нет. Пропала! И дернул кто за язык!.. Дура! Дура!.. И правду Лена говорила: еще соплюшка...» Она сразу почувствовала себя жалкой, беспомощной. Нет, никогда она не повзрослеет.

Андрей заметил: губы у нее задрожали. «Расхнычется еще...» Он смягчился.

– Все-таки, девушка, поспи. И ты тоже, – кивнул Саше.

Марии показалось, что то был голос другого человека, она даже поискала глазами этого другого человека. Но перед нею стоял ротный, потупленный и грустный, и в зубах погасшая папироса.

Андрей посмотрел на часы. «Ну, стоит время...» Он снова вышел из блиндажа.

Отвлекись от всего! О чем-нибудь хорошем думать. Это принесет успокоение. Ненадолго, а все же.

Но отстраниться от неизбежной атаки немцев, от моста, от переправы через реку и от всего другого так и не смог. Это неудержимо надвигалось на него, как вода, вышедшая из берегов, и ничего не поделать.

Мысленно опять прошел по взводам, остановился возле бронебойки, у пулеметчиков побывал. Все как будто на месте, продумано, предусмотрено. Конечно, конечно, на войне все предусмотреть невозможно, – вернулась прежняя мысль, – не глянешь же на карты противника, не прогуляешься по его расположению... Не исключены и непредвиденные вещи. Ладно. Надо ждать. Есть приказ, и баста.

Он стал под дерево и смотрел перед собой, руки вяло опущены. Из-за луга донесся сухой запах соснового леса. Андрей стал думать о прибившейся в роту девушке. Он усмехнулся: и не догадается, бедняжка, что к смертникам пришла. Он мог под любым предлогом отправить ее в тыл, а тех двух оставить, они нужны, как-никак – бойцы. Но где этот тыл? Никто не скажет. Куда б пошла? Чего б искала? А тут... – Он задумался... – Тут может и повезти. Если удастся переправиться на тот берег. «А вдруг и удастся, а? Гадать не стоит. Ничего не даст. Когда знаешь, что с тобой произойдет через час, через десять минут, ты привыкаешь к этому и все выглядит совсем по-другому». Ладно. Ладно. Он будет думать о девушке. Он заставлял себя думать о девушке. Но что о ней думать, если он толком и не разглядел ее? «Вы холодный человек... Сухой...» Эх, девчонка, девчонка... Он снова взглянул на часы.

Он смотрел в небо, слившееся в полной черноте своей с землей – ничего ему там, в небе, не надо; ходил вдоль траншеи – несколько шагов вперед, несколько шагов назад; поправлял каску на ремешке, перемещал бинокль с груди на бок... Хотя что-нибудь да делать! Когда что-нибудь делаешь, чувствуешь живое движение времени. А ему нужно было, чтоб время, такое спокойное, совсем без выстрелов, чтоб время это шло, шло.

Он не знал, куда себя деть, и снова пошел в пулеметный взвод, присланный комбатом и состоявший из семи бойцов.

Он сделал шаг и натолкнулся на Валерика. Андрей и не заметил, что тот все время шел вслед – по траншее, в окопы, к бронейщику, к боевому охранению, в блиндаж к телефону...

– Ты чего тут? – не то ласково, не то строго спросил.

– А где ж мне? Я ж ординарец ваш, товарищ лейтенант. Все время гоните...

– Нечего, нечего, – уже требовательно произнес Андрей.

– Вроде с должности меня спихаете, – проговорил Валерик жалобно и обидчиво.

– Не с должности спихиваю, а в блиндаж. – В голосе Андрея слышалась невольная улыбка. – Ничего со мной не случится. Позову, если что. Давай в блиндаж.

– Не пойду, – по-прежнему жалобно, но твердо произнес Валерик.

– Пстой, пстой, командир-то кто – ты или я?

– Чего пустое спрашивать?

Андрей повернул по ходу сообщения. Он думал о двух отделениях у поворота дороги, о баллонах, о лодках, подогнанных к переправе... Было, было о чем думать.

2

На переправу потянулись орудия на тягачах, потом по мосту пронесся грузовик со связистами, и второй грузовик со связистами, связисты и сказали Володе Яковлеву, что за ними – машина с минометчиками. «Хреново. Сматывайте мост и сами сматывайтесь». Это тоже сказали связисты. Володя Яковлев прикидывал: раз сняли связь, ждать уже недолго, вот-вот арьергард переберется на тот берег.

Верно говорили связисты: через несколько минут проехали минометчики. Протопало какое-то подразделение, шли бойцы торопливо, словно опасались, что не успеют на мост. Вместе с ними двигались хриплый кашель, простуженные, усталые голоса.

– Как там, ребята? – допытывался Володя Яковлев.

– Сбегай, узнаешь, – отозвался хмурый, раздра-

женный голос. А когда приблизился вплотную, уже спокойней добавил: – Напирает, спасу нет...

Потом из-за поворота вырвались быстрые огоньки покрашенных фар. Машина, как раньше орудия на тягачах, и грузовики со связистами, и грузовик с минометчиками, не сбавляя скорости, выскочила на мост и тотчас канула в темноту.

Оттуда же, где шоссе поворачивало, слышалась стрельба. Автоматная. В ответ судорожно простучал пулемет, четко бухнули винтовочные выстрелы.

– Что-то неладно там, – насторожился Семен. – Володя, мотнись туда, посмотри. Определенно что-то неладно.

Володя Яковлев, вскинув винтовку, молча бросился в кустарник вдоль дороги и – к повороту.

Семен поспешил в блиндаж, вызвал командный пункт роты.

– Как у тебя, Андрей? Так-так, понятно. У нас? Шут его разберет. Вроде ничего особенного. На шоссе вот только зашебаршилось. – Пауза. – А черт его знает что! Володя побежал туда. – Пауза. – Нет, связи с соседом нет. И соседа нет. – Пауза. – А черт его знает, драпанул. – Пауза. Понял, понял, уже окопались отделения у поворота. Уже. Понял, понял. А ты, в случае чего, прикрой наш правый фланг.

Выстрелы на шоссе прекратились.

Володя Яковлев вернулся.

– Пулеметная рота напоролась на разведку противника, – сказал. – Три машины пулеметчиков. Одну вдребезги расколотили, пришлось сбросить в кювет. – Помолчал. – Что – ротный?

– Что – ротный, что – ротный... – пожал плечами Семен. – А ничего ротный. До срока надо держать переправу, вот что ротный. Видишь же, не все части выбрались.

Еще две машины вырвались на мост. Наверное, те пулеметчики.

– Гляди, вон еще машины на переправу, – проронил Семен. – В тоне его слышались нетерпенье и желание, чтоб скорее все кончилось. – Черт знает, отходят, отходят, а вся армия вроде еще там, в городе.

Володя Яковлев не ответил.

Внизу, слышно было, хлюпала вода у бортов плоскодонок, привязанных к кольям. Володя Яковлев подумал о бойцах, пригнавших лодки. Как-никак, а пополнение. Вдруг кольнуло в груди: кто потопит эти лодки, если некому будет перебираться на тот берег? Не для немцев же пригнали сюда лодки.

Мысль оборвалась: на шоссе снова грянула частая, настойчивая стрельба. «Теперь уже не разведка...» – понял Володя Яковлев.

– Погоди, погоди. – Семен, увидев, что Володя Яко-

влев готов был броситься туда, где стреляли, схватил его за локоть. – Будь с отделением, тут, у переправы. Тебе взрывать. – Он прицепил к ремню гранату. – Дай мне и противотанковую, ту, запасную.

И ринулся – с автоматом наперевес.

3

Из рожи ударили орудия.

Словно обрушилась гроза. И все сломалось враз.

– Писарев! – крикнул Андрей что было силы.

У-ах!.. У-ах-х!.. У-ах!.. С грохотом врезалось в самые недра земли расствившее железо, и она гудела и тряслась, растревоженная земля.

– Писарев!

– Я!

Андрей молчал.

– Я... – выжидательно повторил Писарев, и, как всегда, когда волновался, пальцами прижимал к переносице лапки пенсне. В свете разрывов вспыхнули старшинские треугольнички, словно на петлицы гимнастерки упали огоньки.

Андрей и сам не знал, зачем окликнул Писарева. Может быть, хотел успокоить себя, убедившись, что тот возле него, может быть, проверял, послушен ли ему голос – что-то сдавило горло, и он не мог захва-

титель воздух, и первое, пришедшее на ум, было: Писарев!

Выстрелы показались Андрею почему-то неожиданными. Весь день, после разговора с комбатом возле командного пункта, весь вечер и теперь, ночью, ждал он: вот-вот стукнут пушки противника, и они стукнули, и это привело его в замешательство. Все в нем замерло. Он понял, немцы начали артиллерийскую подготовку атаки.

Все это уже было вчера на рассвете. Но вчера на рассвете позади роты, на левом берегу, еще стояла батарея, был комбат, и Андрей мог в любую минуту услышать его голос, его приказание, и были еще две роты, весь батальон был. А сейчас он один...

Затаенная надежда без боя оторваться от противника развеялась. С этой секунды начиналось главное время в его жизни, оно будет недолгим, хорошо понимал Андрей.

Немцы били из рожи, правее холма, гораздо правее, определил он по вспышкам выстрелов.

Он всматривался во мрак перед собой, стараясь что-нибудь разглядеть. Но видел только вырывавшиеся из рожи шквалы гремящего огня, обваливавшегося неподалеку. Грудь наполнялась дымным, пахнувшим горелым, воздухом.

Еще раз ахнуло. Снаряд грохнулся поодаль.

Потом Андрей увидел, как рвануло воздух, и тотчас на небе и на земле возник свет, необыкновенно белый, как вата, с синеватым отливом. Показалось, что в ночь на минуту, на полминуты пришло утро. Свет ракеты вернул земле деревья, кустарник, траву, и даль, и голубизну воздуха, но что-то холодное, неживое было во всем этом. «Над берегом повисла, – поднял голову Андрей. – С холма просматривает немец все пространство – луг и до самой воды». И без всякой связи с происходящим почему-то подумал: ночь с понедельника на вторник.

Собственно, уже вторник, час пятьдесят четыре, успел он глянуть на циферблат. Начало вторника, двадцатое сентября. «Час пятьдесят четыре... неуверенно вымолвил про себя, будто это невозможно – час пятьдесят четыре. – Тридцать бы шесть минут еще, и взорвал бы переправу, и – на тот берег. И – на север, в лес, к высоте сто восемьдесят три».

Ракета оседала, и тьма неотвязно следовала за ней и снова плотно сдавила все вокруг.

Орудия неумолчно били.

Снаряды с воем проносились над траншеей и разрывались позади.

На Андрея надвинулась грохочущая ночь.

Край плащ-палатки сполз с плеча и настывшие, отвердевшие полы болтались у голенища. Разгоря-

ченным лицом припал Андрей к жесткому от сухого и холодного песка брустверу. Потом, будто вспомнив о чем-то, оторвал от бруствера лицо.

– Лупит по левому берегу, – произнес он наконец, хоть и понимал: Писарев и сам видит и слышит, что по левому берегу. – По гаубичной батарее, полагает.

– Лупит, – сказал Писарев, тоже только для того, чтоб произнести слово. Молча стоять было невозможно. Ночью артиллерийский обстрел особенно устрашающ, как все в темноте.

– Немцы, значит, не знают, что батарея еще в сумерки снялась с огневой позиции, и бьют по оставленным дворикам, – вполголоса сказал Андрей, будто опасался, что противник может услышать и переменить направление огня.

Между ним и левым берегом, и лозняковым кустарником на левом берегу, и двориками в кустарнике, где до вечера стояли гаубицы, было метров девятьсот неподвижной темноты. Днем это казалось совсем близко и можно было, казалось, слышать даже, как ругаются артиллеристы.

– Пусть бьют! Пусть бьют! – проговорил Андрей, теперь уже громко. И удивился: его занимало почему-то, что немцы били по пустым артиллерийским дворикам.

А немцы продолжали стрелять.

«Куда перенесет огонь? – томила Андрея неизвест-

ность. – На Рябова? На Ваню? Или на Володю Яковлева? Куда? Перенесет на них огонь или нет? Перенесет или нет?.. – лезло в голову. – Черта с два разберешься в действиях противника, демонстрирует одно, делает другое. Нормально, конечно. Но все-таки, куда?..»

По доносящемуся грохоту разрывов Андрей догадался, что снаряды ложились далеко ватю.

– Начал молотить по рубежу третьей роты, севернее даже. Ей, третьей, икается где-то... – На мгновение Андрей представил себе третью роту на дороге к высоте сто восемьдесят три.

Немцы стреляли в омертвевшее пространство – в покинутые блиндажи, траншеи, ходы сообщения, которые уже никого ни с кем не соединяли.

«Противник, оказывается, в полном неведении, – недоумевал Андрей. – А и без разведки очевидно: мы отходим. Непрерывное движение машин на переправу и без разведки установить несложно. Разве немцам не ясна обстановка?..»

Гул разрывов, услышал Андрей, грозно приближался и накатывался уже на оборону его роты. Снаряды грохали в расположении второго взвода, потом первого взвода.

– Ну, наша очередь подошла, – осевшим голосом произнес Андрей: близко разорвался снаряд. Так близко, что ударило в сердце, словно снаряд в него

вошел, весь.

Андрей полуобернулся к Писареву: плохо дело!

Опасаясь быть сваленным взрывной волной, Писарев стоял, расставив ноги, руки держал на винтовке, переброшенной через грудь. Он тоже тревожно вслушивался в канонаду.

– Точно. Наша очередь подошла, – выдавил Писарев из себя.

Видно, противник бил не по целям, бил по площади, наугад. Все равно, страшно – снаряды, пущенные наугад, убивают с той же силой.

Угрожающе нарастал свирепый свист, и Андрей напряженными пальцами сжал плечо Писарева – потянул на дно траншеи: ниже, ниже давай, голову снесет... Грохот! Плотный вал жаркого воздуха накатился на траншею.

Грохот. На этот раз позади траншеи.

Грохот. Снова позади, совсем недалеко. Андрей втянул голову в плечи, словно над ней нависло что-то. Быстрые комья тупо стукнулись о каску, в ушах гуд, тоже тупой, но долгий.

Вокруг клокотало, все спуталось, казалось, выстрелы и взрывы следовали одновременно, в одно и то же мгновенье, и вверх вскидывались бешеные струи песка, горячие брызги ударяли в лицо, засыпали глаза.

«Ад...» – негнушными пальцами протирал Андрей

глаза. Еще удар! Перед самым бруствером. На Андрея навалились тяжелые груды земли. Он сделал усилие, чтоб приподнять спину, выгнуть шею, – не смог.

– Писарев...

Писарев догадался: произошло что-то.

Торопливыми движениями освободил засыпанного Андрея.

Андрей подвернул рукав гимнастерки, чтоб все время видеть светящиеся стрелки часов. Тридцать бы шесть минут продержаться... Тридцать шесть минут... Теперь уже на две минуты меньше... И все равно, долго, бесконечно долго – тридцать четыре минуты.

«Ты должен выстоять, старик...» С глаз не уходил комбат. Там, возле землянки командного пункта батальона, в полуденной, почти сонной тишине второго эшелона, когда комбат произносил эти слова и сердце Андрея наполнилось чувством готовности сделать все, что потребует этот вконец утомленный человек с сухими и красными от недосыпания глазами, смерть не стояла рядом. Не одно и то же – быть готовым к смерти в минуту, когда ничто не угрожает, или видеть смерть перед собой, огненным железом разрывающую землю, неистовыми осколками целящуюся в грудь.

Его охватил трепет.

Он взял себя в руки. «Выстою!» Сейчас Андрей был уверен в этом еще больше, чем несколько часов назад, когда комбат ставил ему задачу. «Как сказал он, комбат? – припоминал. – А, он сказал: считай до сорока. Андрей с усмешкой покачал головой: – Много времени – до сорока...» И вздохнул.

Кажется, Кирюшкин окликнул его. Да, он, Кирюшкин, передал ему телефонную трубку.

– Ты? – услышал Андрей свой перехваченный голос. – Что у тебя, Рябов? Ничего не слышу, черт возьми. – Он силился перекричать грохот разрывов. Гулко вздрагивали накаты на блиндаже. Ну, наконец, снова Рябов. – Что, спрашиваю, у тебя? Слышу, что долбаёт. И соседа твоего долбаёт. И меня. Тоже слышать должен, а? А? Опять саданул? Не слышу. Не слышу тебя! Сам себя не слышу. – Он прижал к другому уху ладонь. Близко так ухнуло, с такой силой и с таким громом, что отдалось это, наверное, глубоко, в каменных недрах земли. – Погоди, стихнет. Ну, давай. «Фонари» вешает? Вижу. Не демаскировал бы огневые точки. Что? Минометами накрывает? Подожди, опять снаряды рвутся рядом. Что? Половина бойцов вышла из строя? Успел подсчитать – половина? Не паникуй. Еще не знаем, чего противник хочет, вот и страшно. А разберемся, куда клонит, сообразим, что делать. И

страшиться некогда будет, понял? Следи за ходом. Ну, правильно, другой разговор.

Андрей быстро вышел из блиндажа. Пальцы дрожали. Крепко сжимал клапан трубки, оттого, наверное. Когда слышимость такая, черт бы ее побрал! Он почувствовал тяжесть каски, обеими руками приподнял ее, освободив немного лоб.

Он прислушался, мины гулко шлепались в расположении первого взвода. «Половина бойцов вышла из строя, – слова Рябова, как заноза, застряли в голове. – Пустил минометы. Половина не половина, а серьезные потери непременно. Но минометы следовало ожидать». Стало ясно: на первый взвод обрушился основной удар. По открытому лугу и пойдут танки: и вот, минометы – именно здесь стараются немцы выбить как можно больше противостоящей им живой силы. Опрокинув Рябова, рассчитывают, видимо, развернуться и с тыла левым флангом смять Ваню, а правым выскочить на переправу.

Такой ход противника предполагал и комбат, когда ставил Андрею задачу. Но тогда это было предположение, одно из многих. А сейчас противник обнажает свое намерение. А может, попытка запутать? Едва ли. Во всяком случае, такое решение немцев логично. Потому-то комбату это и пришло в голову. И ему, Андрею, тоже.

И он уже видел: танки идут на Рябова, пехота нажимает на Ваню, а сил в роте так мало! Что предпринять? Вот сейчас, сию минуту? Только минутами, даже секундами располагает он, надо быстро принимать верные, спасительные решения, иначе – все, конец, гибель.

Мины продолжали рваться у окопов первого взвода, слышал Андрей. Потом услышал, как мина, и еще одна, рассыпались неподалеку. Он присел на корточки. У самых ног шлепнулся осколок. Он почувствовал солоноватый вкус слюны, набравшейся во рту, и не мог продохнуть. Он оперся ладонью о дно окопа, чтоб подняться. Ладонь ощутила упавший в окоп осколок мины, еще горячий, зазубренный. Андрей подержал осколок в руке, выбросил за бруствер. Он проглотил наконец слюну и только после этого смог заговорить.

– Писарев, выбирайся в первый взвод! Там скоро заварится каша. Это уже ясно. Если у взвода такие потери, как донес Рябов, то надо что-то предпринимать. Но – что?.. – прозвучало почти растерянно. – У Ваню брать некого. Володя Яковлев сам едва продержится. Беги к Рябову. Разберись. И оставайся до переправы.

Андрей обнял Писарева, и тот почувствовал, как дрожали на его спине руки ротного.

– Ну, до встречи, дружище, на том берегу.

Не оборачиваясь, может быть, слишком медленно,

нетвердо шагнул Писарев по ходу сообщения. Андрей смотрел ему вслед, Писарев уже пропал, словно его и не было здесь никогда. Андрей все смотрел, смотрел...

Он потерял нить: о чем думал? Никак не держится в памяти даже то, что было минуту назад. Только это, только то, что происходит сейчас вот: пули свистят, осколки свистят, земля горячая вверх летит и грозно осыпается на голову...

Слева разорвались три мины, одновременно, без пауз, будто догоняли друг друга и догнали. Разорвались, показалось, перед самыми окопами, даже в окопах, потому так показалось, что тугая волна воздуха ударила в лицо. Андрей весь сжался: «Скверно. Хочет минами искромсать нас...»

Полминуты, минута, полторы – выжидал Андрей еще разрывов.

Дым рассеялся, и опять пробился ночной еловый дух. И тут только Андрей заметил, что все стихло. По всей линии обороны прекратился обстрел – ни одного разрыва нигде, недоверчиво вслушивался и всматривался он. Все, определено все.

Андрей не отрывал глаз от запястья левой руки – лучики стрелок лежали на циферблате часов, и в сгущенном мраке только они и выделялись: час пятьдесят девять. «Пять минут долбал...»

Рябов в сердцах положил трубку полевого телефона. Кого успокаивал ротный, самого себя или его, Рябова? Потери-то какие! В первые же минуты...

Только что, сообщили Рябову, мины накрыли отделение Юхим-Юхимыча и бронейку, выдвинутую перед окопами на случай, если танки пойдут напрямик. Юхим-Юхимыч убит, сообщили, все отделение убито, все трое, и оба бронейщика убиты. Приполз связной и сказал, что тяжело ранен пулеметчик Василий Руденко. И еще, наверное, есть раненые и убитые. «И – не паникуй!.. Это мне сказал ротный, – скривил губы. – А пошел он! Разве удержать оборону, если немец по-настоящему двинется на меня?.. Амба!..» Он закинул руки за спину, соединил пальцы, и пальцы хрустнули. Он думал о том, что во взводе осталось тридцать два бойца. И тридцать два бойца должны сдержать весь натиск противника. Ничего, кроме этого, не воспринимало смятенное сознание. «Разве удержаться? Амба! Амба!..» Он потирал лоб, словно стало больно от этой мысли.

Но удержаться надо. Удержаться придется. Даже ценой жизни. Пусть на полчаса, на сколько сможет. Тут, далеко от родной подмосковной деревни Малин-

ки, где остались его жена с дочурками, защищает он дом их, и надежды их, и поле, которое вспахал и засеял, а теперь на нем убирают хлеба. Плохо же защищает, но что поделать, если самолетов наших мало и танков мало. Он просился в танковую часть – тракторист же, а послали в пехоту. Поначалу это сердило его, потом привык, был даже доволен: не один на поле боя, целая цепь рядом бежит, матерится, кричит «ура», и залегает, и поднимается, и опять бежит...

«Малинки, Малинки», – не покидало его. То ли взволнованно вслушивался в звучание этого отдалившегося от него слова, когда-то не вызывавшего никакого трепета, то ли представлял себе, как выглядят они сейчас, его Малинки – тихая-тихая деревушка, совсем зеленая и совсем голубая. Над белым в золотых зайчиках озером у околицы стоит уютно-темный лес, а над лесом – небо, чистое-чистое, синее-синее, как придуманное. А от леса вправо-влево веселые луга, окутанные желтым летним воздухом, высоко в небе висят жаворонки, чуть повыше травы летают стрекозы с прозрачными, как стекла, крылышками. И пахнет сеном, и медом, и яблоками, и теплым хлебом только что из печи, и еще – родниковой водой: другого запаха и не бывает в Малинках. Ему почудился этот запах, голова даже закружилась. Малинки, это хорошо, это сама жизнь, которой ничего и не нужно, чтобы быть...

Близко разорвались две мины, и третья, и четвертая. «Ну и гвоздит! Всех накроет. Амба!» – ощутил Рябов учащенное биение сердца. Он вздохнул громко, будто преодолевая что-то тяжелое, застрявшее в груди.

Пока не пошли танки и пехота противника, надо, не теряя времени, послать бойцов к бронебойке, она не повреждена, сообщили, и к пулемету послать, и положить в окопы между соснами другое отделение, взамен убитого отделения Юхим-Юхимыча. Надо действовать! Надо действовать.

– Антонов!

«Нет, отставить, – передумал Рябов. – Этот может дрогнуть».

– Отставить! Полянцев!

– Есть Полянцев!

– Беги с отделением в передние ячейки. Заменишь Юхим-Юхимыча. Оружие оставь здесь. Возьмешь там «дегтяря» и обе винтовки. Как раз сколько нужно. – И в отделении Полянцева осталось всего трое. Эх!.. – Захвати гранату. Беги!

Рябов облизнул губы. Сухость не прошла. Еще раз нервно провел языком по губам.

– Пилипенко!

– Я Пилипенко. А шо? – Медлительный голос уверенного в себе человека.

– Пилипенко, к пулемету!

– А що, самое по специальности, – прозвучало добродушно и безразлично. – А с куревом как, товарищ сержант? – поднялся сидевший на корточках Пилипенко. – Я же ж сдохну там без курева, товарищ сержант. А сдохну, обратно замену придется посылать. – Тон его как бы предупреждал, что останется балагуром, в каких бы обстоятельствах ни оказался. – Так как же с куревом?

Кто-то хмыкнул, кто-то сдержанно засмеялся. «Хорошо, хорошо. Спасибо, Гаррик Пилипенко. Спасибо, Гарри Пиль...» – довольно подумал о нем Рябов.

Грузный, плотный здоровяк, с широким лбом, на который спадали густые волосы, как только снимал пилотку или каску, со спокойными жестами, с развалистой походкой, Гарри Пилипенко выглядел не очень расторопным. Никогда не унывавший, он видел вокруг себя лишь веселых людей, лишь веселые люди окружали его, и не представлял, что может быть и по-иному. Ко всему и ко всем относился насмешливо и небрежно, к командиру взвода тоже. «Смотри, – предостерегали Пилипенко. – Поосторожней со взводным. Ничего, что выглядит покладистым...» – «А шо со мной сделает? – бахвалился. – Да и я – палец в рот не клади. Шо со мной сделает? Шо? Дальше переднего края не пошлет. А я так и так все одно

на передовой...» Во взводе рассказывали, что у отца Гаррика, одесского портового грузчика, в молодости самым любимым киноартистом был прославленный в то время Гарри Пиль. И когда у портового грузчика Пилипенко появился первенец, он назвал его Гарри. Во дворе, на Молдаванке, потом в школе, потом в армии Пилипенко так сокращенно и называли – Гарри Пиль. Он прилагал немало стараний, чтобы добиться сходства со знаменитым тезкой. Усики короткими квадратиками, гладко зачесанные кверху волосы, конечно, обворожительная улыбка. Вот улыбка-то ему как раз и не давалась, улыбка получалась несмешливой, даже язвительной. От улыбки пришлось отказаться, сбрил и усики. Потом махнул рукой на Гарри Пиля: чем Пилипенко хуже?.. А чтоб отбиваться, если кто-нибудь особенно настырный наваливался, он выдавал себя за тезку «Гариклита». Как-то, когда рыли траншею, ротный поинтересовался, какого Гариклита имел Пилипенко в виду. «Не слышали? Это как же?! – изумленно вскинул Пилипенко глаза. – Ученый был такой. Когда-то. Давно». – «Что-то не слыхал про такого», – уже улыбался ротный. «Не слыхали? Как же так, товарищ лейтенант? – искренне удивлялся Пилипенко. – Ну тот, что порох выдумал. Или нет, постойте, небесное тяготение придумал. А может, первым врачом был или как... – терялся он. – В общем, Гариклит.

Все знают. Да и вы, товарищ лейтенант, знать должны, институт же кончали...» – «Кончал, кончал. Да нас учили – Гераклит...» – рассмеялся ротный. «Значит, очки втерли, когда в загсе имя вписывали...» – рассмеялся и Пилипенко.

Сейчас Рябов благодарно подумал о Пилипенко, ответившем и не так, как положено, и тоном, не подходящим в этой обстановке.

– Так нащёт курева, товарищ сержант?

Рябов полез в карман, вытащил кيسет, неполный, меньше половины. И наугад сунул Пилипенко в его протянутые руки, не видные в темноте.

– Разрешите сполнять? – уже по-воински произнес Пилипенко.

Должно быть, рукой махнул, представил себе Рябов. Жестом, одним и тем же, Пилипенко откликнулся на все. И когда радовался, и когда огорчился, и ругался когда, он неизменно взмахивал рукой, как отрубал.

– Исполнять. Немедленно!

Рябов побежал дальше по траншее.

Он бежал, не пригибаясь, и поверх бруствера всматривался в черный мрак неба. Огонь противника заметно ослабел, это не ускользнуло от внимания Рябова, потом стрельба и вовсе прекратилась. Его остановил сухой голос.

– Поломает он, гад, зубы об нас.

Говорил бронебойщик Рыбальский, Илюша Рыбальский, узнал Рябов голос.

– Не поломает, шею нам поломает... – вскинулся жиденский тенорок. Если бой, то обязательно отступить. Да, да. Бой – обязательно драпать. Сам знаешь...

«Это Сянский...» Сянский был Рябову неприятен. Малорослый, толстоватый, с выпуклыми, как у пышной женщины, вздрагивавшими бедрами, ходил он вразвалку; голову обычно склонял набок и просительно и настороженно смотрел томными, скорбными глазами. «Видите же, меня нельзя обижать», – говорил его обезоруживающий взгляд. Мясистый нос с миндалевидным вырезом ноздрей, казалось, все время к чему-то принюхивался. Пухлые губы приоткрывали маленькие зубы, острые, частые, как у зверька. Ни у кого, во всем полку, даже у медсестры, не было такого размера ноги, как у него, Сянского, тридцать четвертый номер, что ли... Когда рота отходила, бежал он проворней всех, впереди всех, и это вызывало скорее удивление, чем осуждение: с крохотными ножками так бежать!

– Драпаем и драпаем... – с неискренним сожалением продолжал Сянский.

– Помолчи, – сердито попросил Рыбальский.

– На большее мы и не способны, – не унимался

пискливый голосок Сянского. – Только драпать.

– Помолчи! – резко и решительно повторил Рыбальский.

– А молчать чего?

– Перестань, говорю, трепаться. Я же знаю, от страха треплешься. Заткнись! По мордам смажу.

– Ты мне рот не затыкай. Тоже мне храбрец. Говорю тебе, мы никогда и не узнаем, что значит наступать...

– Узнаем. А пока здесь накостыляем ему шею как следует и оторвемся...

– А и оторвемся если?

– Пошел ты...

Рябов постоял еще несколько секунд.

– А и оторвемся, – потерянный лепет Сянского, – а потом?

– Потом? Потом, что генералы прикажут.

– А вот такое генералы видят? А? Видят, я тебя спрашиваю?

– Генералы такие ж солдаты, как и мы, – хмуро обрезал Рыбальский.

– А-а. Такие же, – язвительно согласился Сянский. – Но лежат они в кроватях, а не в окопах, и от переднего края на сто километров дальше, чем мы.

– Ну, знаешь! – укорительно произнес Рыбальский. – Ну, знаешь. Если и генералам быть тут, то вся война топтаться будет на этом пяточке. А немцы тем

временем на Москву пойдут.

– На Москву и идут, – продолжал Сянский тем же тоном, но придал ему оттенок огорченности и осуждения: допустили же до этого! Он умолк. Должно быть, тоже вслушивался в наступившую тишину. – Ну, пострелял, попугал и хватит, – просительно произнес, как бы обращаясь к немцам. Потом – к Рыбальскому: – Скорей бы мотать отсюда. Кашу сделает из нас...

– А ну! А ну, отваливай. А то за бруствер выкину!

«И выкинет!» – подумал Рябов. Он знал Рыбальского довольно долго, месяца полтора, он дал ему рекомендацию для вступления в партию. И три дня назад на партийном собрании его приняли.

– А что... я ничего... я ничего... За что будешь меня выкидывать?..

Рябов ощутил неприязнь к Сянскому. Он представил себе: склоненная набок голова, скорбные глаза... Что в них, в этих постоянно просительных глазах? Желание вызвать к себе сочувствие? У мужества один соперник трусость, соперник не шуточный, и Сянский сделал выбор. Он боялся всего, тишины, снарядных разрывов, тьмы и ракет, самолетов в небе, нарядов в караул, даже своей винтовки боялся. «Повойой с таким дерьмом», – злился Рябов.

– Сянский!

Не отозвался.

– Сянский!

– А?.. – Голос упавший, заискивающий. – В чем дело?

Рябову показалось, что видит, как тот мелко суетится. Захотелось ударить его, вот так, с размаху. Но, сдерживая порыв, гаркнул:

– Отвечаешь как? – дал Рябов волю своему раздражению. – Ты где, на именинах или на войне? Научу отзываться моментально!

– Я!.. – оробело выкрикнул Сянский, поправляя себя. – Я!.. – Теперь страдальческий тон выдавал его боязнь перед возможным приказанием командира.

– Рыбальский!

– Я!

– К соснам! Оба. Ты и Сянский. К бронебойке!

– Ясно, товарищ сержант.

Рыбальский побежал по ходу сообщения, потом раздались короткие, плетущиеся шаги Сянского. «Ей-богу, прибить бы такого... Гнида!»

Рябов вернулся на свое место.

5

Рыбальский влез в окоп. Рукой нашарил впотьмах площадку. Опрокинутое противотанковое ружье торчало сошками кверху. Рыбальский наощупь поставил

его на сошки.

Бережно, будто это был живой, но больной человек, отодвинул он убитого бронебойщика и лег на его место, рядом с ним.

– Ложись, – отрывисто сказал Сянскому.

Рыбальский не мог отделаться от гнетущего состояния – возле, слева от него, лежал Жадан, Ваня Жадан из Очакова, и ему никогда не подняться. Еще на границе, когда началось отступление, подружались они. Делили горе, короткие радости, и махорку, и хлеб делили. Теперь Рыбальский был вторым номером у смелого и удачливого Жадана, Вани Жадана. Рыбальский знал, глубокая боль придет потом, после боя, или еще позже, когда сердцу станет опять доступно все человеческое и оно сможет, как прежде, вобрать в себя горечь потерь.

– Ложись, – снова сказал Рыбальский.

– А куда я лягу, а куда я лягу, – огрызаясь, залопотал Сянский. Этот же лежит...

Рыбальский представил себе, как Сянский брезгливо скривил свои толстые, собранные в комок и похожие на куриную гузку, губы.

– Хм-м... – вырвалось у него гневно.

– У тебя что, есть ко мне слово? – хотел Сянский понять Рыбальского.

– Есть.

– Ну?

– Дрянь.

Рыбальский громко сплюнул. В тоне слышалось и презрение, и непонимание, кто же он, этот Сянский?

– Повернулся язык сказать: этот...

– Ну, не этот... Коля Богданов...

– Передвинь Колю и ложись, – приказным тоном произнес Рыбальский. Тебе понятно, что я сказал?

– А как я его передвину, а как я его передвину, если он убитый?

Сянский услышал, Рыбальский скрипнул зубами.

Ногой отпихнул Сянский тело бронебойщика Коли Богданова, и улегся.

Рыбальский как бы и не замечал его присутствия, он прилаживался к противотанковому ружью. Он был спокоен. И уверен, что встретит танки точными выстрелами.

6

Они бежали вместе – Полянцев с двумя красноармейцами и Пилипенко. Там, где Пилипенко свернет к кустарнику, Полянцев должен взять влево, и он вслушивался, ушел уже Пилипенко или нет.

– Гаррик!

– Тут еще, тут я, не дрейфь еще!

– С чего бы мне дрейфить?..

– Прикидываешься. – В нескольких метрах ухали сапоги Пилипенко. – Был такой хмырь. На Дерибасовской семнадцать, где я жил... то есть, на Дерибасовской двадцать пять...

– Ты ж говорил, что жил на Дерибасовской сорок шесть, – напомнил ему Полянцев.

– Чего? Дерибасовская сорок шесть? Разве? Да, да, вспомнил: нам, как рабочему классу, дали лучшую квартиру. На Дерибасовской семнадцать.

– Ты сейчас сказал: Дерибасовская двадцать пять.

– А, трясця твоей матери, забыл уже. Не все равно, – семнадцать или двадцать пять? И отвяжись.

– Гаррик!

– Ну шо, обратно я за него, – пробасил Пилипенко. – Шо тебе?

– Сердито! Ишь: «я за него...» Что, имя разонравилось? – ровняя дыхание, проговорил Полянцев.

– А шо поделаешь, – топали сапоги Пилипенко. – Меня не спрашивали, как назвать. Теперь таскать этого Гарри до старости, и потом тоже.

Они перебрасывались шутками, оттого что у каждого было беспокойно на сердце.

– Думаешь до старости дотянуть?

– А то как! – топали сапоги.

– Самонадеянный товарищ...

– На войне без этого самонадеянства никак.

Он шутил, Пилипенко, он шутил, как бы ничего не принимая всерьез, он и не собирался унывать, словно находился за пределами того, что окружало остальных.

– Все одесситы на ходу подметки отрывают...

– А ты думал – олухи царя небесного?

Полянцев слышал топот Пилипенко. Пилипенко тоже слышал: Полянцев еще бежал рядом.

– А сам откуда, Полянцев?

– Металл.

– С Урала, значит?

– Значит.

– Знаешь, товарищ металл, кончится вот это, и самую вкусную бабенку облапаю. Мои руки еще при мне. Во! – протянул он руки, будто Пилипенко мог увидеть, и пошевелил пальцами, как бы убеждая себя, что все в порядке. Самую вкусную.

– Бабы, они все вкусные...

– Все, – сразу согласился Пилипенко. – Ну, привет! Я поворачиваю.

– Привет. Я тоже...

Топот сапог отдалялся.

«Не проскочить бы мимо», – забеспокоился Полянцев. Он приостановился. Где-то здесь должны быть эти сосны, шесть сосен, помнил он, шесть сосен. Он

услышал тупой стук – споткнулся, наверно, о выдавившиеся наверх толстые корни бежавший впереди боец и упал.

– Есть, есть... Сюда! – звал тот боец. – Добрались! – И тукнулся в окоп.

Полянцев и второй с ним, тихий красноармеец Пулька, недавний слесарь-водопроводчик домоуправления номер девять, что на Сретенке в Москве, шли на зов. Вот они, сосны. Он и Пулька двигались осторожным шагом.

– Ты где? – окликнул Полянцев бойца, того, что свалился в окоп.

– Тут я... – Голос справа.

Так и есть, три стрелковые ячейки.

– Ложись, Пулька, влево.

– Ага.

Полянцев, ощупывая на поясе гранату, сделал еще несколько шагов. Вот здесь, чуть выдвинутый, должен быть окоп, тот – между правой и левой ячейками. Он подумал, что ему показалось: из окопа раздавался невнятный стон... И тут же Полянцева пронзила мысль: кто-то из отделения Юхим-Юхимыча. «Не все убиты?» Выставив вперед руку, пошел немного быстрее, стон становился явственнее, громче.

Полянцев прыгнул в окоп.

– Кто? – опустился Полянцев на колени и наклонил-

ся над кем-то. – Кто?

– Та Юхим... Ой...

«Юхим-Юхимыч? Жив?»

– Куда тебя, а?

– Хиба ж я знаю? Кудысь тут... – Чувствовалось, раненый сдерживался, чтоб не застонать в голос. – Уживит сдається... Силы нема пидняться...

– А зачем? Подниматься зачем? Дело теперь короткое будет. Кончим, я тебя в траншею перенесу.

– Попить бы... – словно и не слушал его Юхим-Юхимыч. – Пить. Каплю воды хоч. Высох весь...

– Потерпи, друг. Кончится вот петрушка эта, перенесу тебя, там и напьешься вдоволь. Потерпи, говорю.

Юхим-Юхимыч смолк. Полянцев коснулся рукой гимнастерки Юхим-Юхимыча. Как решето, тело его обильно пропускало кровь, и кровь, почувствовал Полянцев, была теплой. Потом положил ладонь на лоб Юхим-Юхимыча, пальцы соскользнули и легли на губы. Горячим и беспомощным ртом хватал Юхим-Юхимыч воздух.

– Лежи спокойно, – сказал Полянцев. – Не кидайся туда-сюда. Сможешь улежать спокойно? Тогда больно не будет, а главное – из тебя вся кровь не уйдет. Так сможешь?

– А бис його знае, – натужно и слабо произнес Юхим-Юхимыч. – Попробую хиба...

И, будто наперекор, стал ворочаться и никак не мог принять удобное положение и улечься спокойно, чтоб не было больно и чтоб вся кровь из него не ушла.

Полянцев отодвинулся от Юхим-Юхимыча. «Цел ли дегтябрь? – подумал. Есть из чего стрелять?» Он нажал на кнопку карманного фонарика. На дне окопа вспыхнул быстрый кружок. Ручной пулемет, как длинная птица, уцепившаяся лапами за землю и недвижно замершая, стоял с приподнятым стволом. Отлегло от сердца. Полянцев успел увидеть и лицо Юхим-Юхимыча необычно костлявое, с косыми полосами приставшей ко лбу земли. Потом он нащупал диски с патронами, семь дисков.

– Как там у тебя? – крикнул направо.

– В порядке. – Полянцев услышал, как тот двинул затвор винтовки назад-вперед.

– Винтовка в порядке? – крикнул налево.

– В порядке. Вот она, лежит. Да патронов не нахожу, – голос Пульки из левого окопа.

– Есть патроны. Есть... – прохрипел Юхим-Юхимыч.

– Есть патроны, – повторил Полянцев слова Юхим-Юхимыча. – Посмотри получше.

Ответа он не услышал. Возникший гул двигавшихся танков захватил его всего. Полянцев положил ствол ручного пулемета на бруствер, он должен был отсе-

кать пехоту, если пехота пойдет вслед за танками.
Тапки уже шли.

7

Обозленные и напряженные, переступая с ноги на ногу, стояли бойцы, готовые по команде броситься вперед. По низу окопа, будто на дно брызнули капли крови, проступали и гасли багровые огоньки, это бойцы не могли удержаться, закурили. Присев на корточки, наклонялись они, жадно затягивались, и тогда видно было, как капли набухали. Рябов тревожился, но на этот раз не смог приказать: отставить, прекратить! «Пусть покурят. Пусть нервы подавят. Немцу не видно, не засечет... Пусть покурят». Самого тянуло свернуть сигарку. Но не позволил себе, не ему нарушать порядок.

– До чего курить хочется! Одну б затяжку!.. Одну б затяжку!.. – не выдержал Рябов, он и не заметил, как это вырвалось у него.

Он оглянулся. Над головой услышал он голос Писарева. Высокий, никто в роте не доходил ему и до плеч, стоял он перед Рябовым.

– Ну и поклонялся я и осколкам и пулям, – тяжело выдохнул Писарев. Он поправил свернувшееся набок пенсне. – Хорошо ноги длинные, быстро добрался.

Рябов не откликнулся, он не слушал его. Весь он был рядом с Рыбальским и Сянским у бронбойки, и возле пулеметчиков, скрытых в кустарнике, и там, где уже лежал Полянцев со своим отделением из двух бойцов, и возле Гаррика Пилипенко, припавшего к «максиму», был.

Писарев понял это и вернул его в окопы.

– Ты доносил о потерях, – проговорил Писарев, он все еще не мог перевести дыхание. – Перепугал ты нас. Половина взвода, говоришь?

«И этот вот начнет пилить: не паникуй, и прочее!» – взвинченно подумал Рябов. Он почувствовал, что не выдержит и пошлет куда следует и старшину, и ротного, и эту проклятую войну, и все на свете... И так и так – амба! Но сдержался.

– Говоришь, старшина, перепугал вас? Я и сам перепугался. А что? произнес Рябов тоном человека, сознающего, что главное выполнит. А остальное не заслуживает внимания. – Перепугаешься тут. Минами немец завалил. Надо ждать танки.

– Не исключено. И мы так думаем.

– Потери будем вместе считать? – горько усмехнулся Рябов.

– Спокойней, сержант, спокойней.

– Не могу спокойней, товарищ старшина, – запальчиво сказал Рябов. Но раздражение, удивился он, не

нарастал, а пропадало, его уже не было, он проникся спокойствием, которого ему как раз не хватало. – Мне скоро на танки идти, а не с кем. Я не могу спокойней, – повторил.

– И пойдешь, – не повышая тона, подтвердил Писарев. – Кто у бронебойки?

Рябов сказал кто.

– А этого, Сянского, думаю, зря туда. Подведет. Определенно подведет, – озабоченно сказал Писарев. И помолчал: – Сянского, думаю, зря...

– В моем положении выбирать не приходится, куда кого ставить. Взвод тридцать два бойца, со мной. И того меньше. Еще не установили, сколько выкосило. А ты мне, того ставь, того не ставь... – И снова раздраженно: Мне воевать не с кем, понял?..

– Тебя, сержант, послушать, так ты все еще в трактористах ходишь...

Рябов ничего не успел сказать, он уловил мерный гул, зародившийся вдалеке, на противоположном конце луга, и понял все.

Глава восьмая

1

Ракета противника, внезапно вырвавшись из пустоты, бросила в небо мертвый свет, и свет этот перевернул всю ночь и раскрыл унылый, зло притаившийся мир. Человек боялся этого мира, этого света. Бледно-желтый круг ракеты, медленно покачиваясь, широко повис между землей и звездами. Звезды, как бы ослабев, едва виднелись в небе. Еловые зубцы рощи становились оранжевыми, потом бело-голубыми, потом пепельными и постепенно пропадали.

Снова ракета, и снова: оранжевое, бело-голубое, пепельное... Над лугом зажглась и третья ракета. Андрей настороженно приложил к глазам бинокль: из рощи выходили танки. Два, три, пять... Танк, двигавшийся впереди, поводил орудийным стволом, как бы шаривая дорогу, и тронутый его силой, воздух клубился и гудел.

Недолгий свет ракеты стал иссякать. И в этом тускнеющем, ускользающем свете Андрей успел даже заметить кресты на мрачной броне танков. Или только

показалось, что увидел кресты, а на самом деле это подсказала память.

Ракета окончательно истратилась, и тотчас все в бинокле погасло: тьма. словно перед глазами поднялась стена дыма и земли. В черной высоте снова остро зажглись звезды. Лес и холм под звездами в мутном воздухе казались теперь гораздо ближе, чем были днем, и потому выглядели сурово и зловеще.

В глубине ночи двигался рокот, слабый еще, но настойчивый.

Что-то сжимало голову, почувствовал Андрей, даже больно стало. «А, каска давит, – убеждал он себя, что нашел объяснение. – Как гиря на голове. К черту каску!» – швырнул ее на дно окопа. Запустил пальцы в волосы. Кажется, стало легче. «Ну, конечно, каска».

Танки шли уже с минуту, не меньше.

Над мостом, увидел Андрей, тоже взвилась ракета, и воздух там заголубел.

Потом близко взлетели одновременно еще две ракеты.

Андрей снова вскинул к глазам бинокль, и опять танки, огромные, грузные, сразу выросли перед ним. Он вздрогнул. Он убрал бинокль, и машины как бы вернулись и по-прежнему были еще далеко. Сердце учащенно стучало.

Танки на ходу стреляли из пушек, строчили из пуле-

метов. Красные, синие, зеленые точки быстро чертили воздух. Летевшая линия трассирующих пуль показывала – танки шли на окопы первого взвода, на Рябова. Хорошо, не забрал у Рябова бронбойку! Хоть и сообщили разведчики, что разгребают немцы заваль перед вторым взводом, перед Ваню, все же удержался и бронбойку оставил в первом взводе. Хорошо, хорошо... Андрей испытывал удовлетворение, что не ошибся.

Воротник гимнастерки стал тесен и стягивал шею, и вспомнилось прощание с комбатом, когда тому тоже мешал воротник. Пальцы Андрея никак не могли найти крючок, чтоб его расстегнуть. Наконец расстегнул. Но все равно, что-то сжимало шею. Он повел головой раз, еще раз, не помогло.

Циферблат показывал: два часа три минуты.

«Только бы вовремя взорвать мост... Только бы выполнить задачу... Переправиться на тот берег не удастся...»

Андрей полузакрыв глаза: успокоиться, успокоиться, привести мысли в порядок – иначе пропасть.

2

– Танки, старшина.

Будто Писарев не знал, что танки.

– Далеко, как думаешь? – изменившимся голосом попытался Рябов.

– А не все равно, раз идут? – хмуро откликнулся Писарев. Он прислушивался к смутному гулу, доносившемуся с противоположного конца огромного луга.

Рябову почудилось, что происходит это не сейчас, совсем не сейчас, что все еще длится вчерашняя ночь и идут танки, и вот-вот, вместе с Юхим-Юхимычем, бросится он танкам наперерез и ахнет зажигательную бутылку в башню. Он чувствовал себя увереннее, чем вчера, когда кинулся к танкам. Может быть, потому увереннее, что теперь уже знал: в башню танка полетит бутылка с горючей жидкостью, а под гусеницы метнет гранату Юхим-Юхимыч, и боец отделения Юхим-Юхимыча и второй его боец швырнут зажигательные бутылки в мотор танков, двух танков, и через несколько минут, равных вечности, помнил он, машины вспыхнут и, горящие, остановятся. А утром вся рота будет смотреть из окопов на три этих танка. А он, – он не сможет оторвать глаз от заглохшей машины, от той, с задымленной башней, припавшей на развороченную гусеницу, метрах в пятидесяти от окопов. Его и Юхим-Юхимыча танк! Он вздрогнул от мысли, что Юхим-Юхимыч лежит теперь недалеко от этого танка, тоже мертвый. И сразу все стало на место: танки шли на него сейчас, и именно сейчас надо их остановить,

сейчас, когда сил у него меньше, чем было вчера.

Почему-то из всего, что нагромоздила в его памяти война, только вчерашняя контратака стояла перед глазами. И совсем выпало из головы то, как будет он отрываться от противника, когда Володя Яковлев взорвет переправу. Об этом не думалось. Он не думал о том, что должно произойти через полчаса, через четверть часа: на него шли танки, на него шли танки, и их надо остановить, их надо остановить, хоть во взводе тридцать два бойца, вместе с ним, и того меньше – сколько взвод в эти минуты потерял, он уже не успеет узнать. На него шли танки, все остальное ничего не значило.

Уже слышно было, траки вгрызались в землю. Три танка? Четыре? Рябов напрягал слух. Три, определенно три танка двигались на окопы. Он различил ход трех машин.

«Все. Амба!» Он поморщился, как от нестерпимой боли. Он сознавал свою беспомощность, и беззащитность, и обреченность. «Все. Амба!»

В два прыжка оказался он в блиндаже, у телефонного аппарата. Повернул ручку, второй раз повернул, третий. Трубка молчала, даже треска, даже шороха не было в ней.

– На кой хрен мне телефон, если ни хрена в него не скажешь!.. надрывался он. – Связь!.. – скосил глаза

на связиста Петреева. – Есть, спрашиваю, связь?..

Маленький, с бледным лицом, с худыми узкими плечами, тот выглядел в блеклом свете коптилки совсем растерянным.

– Только что была связь, товарищ сержант. – Губы его тряслись. – Вот секунду... вот сейчас...

– Какой к хрену – сейчас! Нет связи с капэ роты! Обрыв, что ли? Снарядом где перебило?..

– А-а, – голос Петреева виноватый, испуганный.

Он неловко опустился на землю и дрожащими руками торопливо наворачивал развернувшуюся на ноге обмотку.

– Чего расселся!.. На линию! – кричал Рябов, словно Петреев и в самом деле виноват, что снаряд где-то перебил провод.

Схватив моток провода, Петреев побежал.

Рябов непрестанно вертел ручку телефона. Молчание, молчание. «Носит его где, этого Петреева! Столько времени! До города добежать можно и вернуться!..» Но он знал, прошло чуть более трех минут. Снова с силой повернул ручку, что-то в трубке зашевелилось. «Ага, есть!..»

3

Андрей открыл глаза, он, кажется, успокоился, и

первое, о чем подумалось: выстоит ли Рябов.

– Товарищ лейтенант, – выбежал из блиндажа Ки-рюшкин. Он шумно дышал. – Товарищ лейтенант... Рябов! Что ж это будет, товарищ лейтенант? бормотал оторопело. – Танки ж...

– А пошел ты!.. – Андрей сердито отмахнулся от Ки-рюшкина. Подскочил к телефонному аппарату, схватил трубку.

– Давай... Знаю, что танки. Не глухой, не слепой. – Он понял: Рябов растерян. – И что палит вовсю, слышу.

«Бьет семидесятипятимиллиметровыми». Андрей не раз находился под танковым обстрелом, он узнал этот калибр.

– Три танка? Ну и что? – Пауза. – Не сдержишь, говоришь? Я тебе не сдержу! Я тебе не сдержу! Сдерживай, и все! – властно потребовал Андрей. Рябов, показалось ему, собирался еще что-то сказать, но промолчал. Выдержку! Выдержку! – Пауза. – Нет, нет. И торопиться не надо. Нет! – Он начал задыхаться. – Подпусти... на расстояние... броска гранаты... и бутылки... и тогда действуй... Сумел же вчера!.. Надо бить наверняка!

«Выжди, потерпи, дружище Рябов, – стучало в мозг. – Не наверняка если, – гибель. Прорвутся через боевые порядки и – на переправу». Андрей задрожал

от этой мысли.

– Следи, следи и выжидай момента, – уже спокойней произнес Андрей. Он понимал взводного: противник ведет такой огонь – бруствер, наверное, обваливается, дно в окопах, наверное, ходит ходуном, а должен молчать – ни одной пули не выпустить. Какие нервы выдержат это? Никакие нервы не выдержат.

Война приучала к терпению, а как трудно приучаться к этому опасность подталкивает, торопит... «Выжди, выжди, Рябов. Сунешься преждевременно – и пропал...»

Андрей тяжело положил трубку.

«А пробьются танки, – сперло дыхание, – определенно пробьются, нечаянно подумал так. А подумав, уже не мог отделаться от этого. – Их не сдержать, если пробьются. – Дальше мысль не шла. И, как бы защищаясь от надвигавшейся беды, судорожно сжал кулаки. – Нет, нет... Перемахнут если через траншею, ребята Рябова не растеряются, ударят в моторы. Так даже вернее...» Рыбальского с противотанковым ружьем выдвинул Рябов вперед. Правильно сделал. И у сосен положил Полянцева с отделением. «С отделением, – усмехнулся. – А все равно – отделение», – вспомнилось, и он вздохнул. Вздох получился долгий. И Пилипенко там, сбоку, с пулеметом. Тоже правильно. Он убеждал себя, что все будет в порядке, все бу-

дет хорошо.

4

Отдаленный гул нарастал. На этот раз левее рубежа взвода. Рябов склонил голову в левую сторону, вслушивался. Не ошибся, нет.

– Старшина, слышишь?

– Слышу. – Писарев горбился, то и дело поправлял на носу пенсне. Прямо с исходных пошли танки на переправу? – Он не спрашивал, – утверждал: не зря же ракетами освещал немец переправу. Ракеты и проступивший в пространстве рокот левее обороны первого взвода связывались в представлении Писарева в одно действие противника: он двигал танки к переправе.

Минута – долгая-долгая, вторая минута – еще более долгая. Рокот не отдалялся, напротив, становился явственней, громче, ближе. Что бы это значило?

– Слышишь, старшина?..

Писарев молчал.

Оба поняли, что ошиблись: танки, несколько танков, не к переправе шли – шли на них. Дрянь дело. Значит, решили атаковать Рябова и Ваню и заходили слева, с менее защищенной стороны. Дрянь дело.

Танки зайдут в тыл Рыбальскому, пулеметам, замаскированным в крушиннике, повернут и откроют

проход остальным машинам, соображал Рябов. Дело дрянь.

– Их надо остановить, танки, – стиснутым голосом произнес он наконец. – Справа ладно, там бронебойка. А слева пройдут запросто. Скрыпник! – позвал. – Зельцер! Вартанов! Гранаты в руки! И ползком. На танки. На те, что слева. Вперед!

Короткий топот. Двое. Схватили связки гранат и кинулись на бруствер. С бруствера, слышно было, свалились вниз комья земли. А третий где? Где третий? Раздались шаги и третьего.

«Не проворонят решающие секунды? А проворонят – амба!..»

Хорошие, крепкие ребята. Рябов знал их, всех. Но перед танками, с убивающим грохотом идущими на тебя, можно рассудок потерять. Он видел, как под Тернополем танки настигали бойцов и те пытались бежать, и бежали впереди стрелявших машин, бежали уже мертвые, с погасшим сознанием, в корчах, только ноги были живы, они нетвердо цеплялись за оранжевую утреннюю землю, и она не могла удержать их. И через несколько секунд они сровнялись с землей, и в том месте, где это произошло, земля, даже в тени, покраснела. Рябов хотел избавиться от видения, как на зло выплывшего в памяти, и не мог: люди в свернутых набок касках, с винтовками, беспомощно поднятыми

над головой, с исковерканными ужасом лицами, бежали, все время бежали, скрежещущие гусеницы уже смяли их, ничего не оставив, лишь красноватый след, но все равно, они продолжали перед его глазами бежать.

Он неистово замотал головой, отбрасывая видение.

Он кинулся к телефону.

– Доношу... танки... обходят меня слева... – выпалил Рябов голосом, налитым тяжестью. – Понял! Уже послал... навстречу... Я сам... – Он не успел досказать, в мембране задребезжал прерывистый голос Андрея. Рябов умолк, но рот еще яростно перекошен, и казалось, не слушал он, а кричал в трубку.

Он не помнил, как выскочил из блиндажа, как остановился рядом с Писаревым. Он силился что-то сказать и не мог, все слова выпали из памяти. Ощущение потерянности длилось мгновение, все, что металось в его лихорадочном мозгу, в гулко стучавшем сердце, длилось не больше мгновения. «А, да! Тут Писарев». Ничем, конечно, помочь Писарев не мог. Но он здесь, с ним, живая душа, и этого было достаточно, чтоб слабость прошла и уступила место собранности. В самом деле, если не тратить душевной силы на сомнения, если не думать, что положение безвыходно, то все выглядит по-другому, даже наступавшие танки.

Локтем резко толкнул Писарева в бок, и выровнялось дыхание, и спокойно, как ему казалось, произнес:

– Старшина... Ротный приказал... ни в коем случае не пропустить... танки слева... понимаешь же... самая большая опасность... Я... к ребятам...

Рябов шагнул к нише, ухватил связанные проволокой три гранаты: две ручкой вперед, одна – к себе. Вскочил на ступеньку, выбитую в траншее, перевалил тело через бруствер и плашмя растянулся на песке.

5

Душный запах сухой пыли, поднятой танками, донесся до окопа. Было ясно: танки близко, время открывать огонь. Вытянув шею, Рыбальский напряженно вслушивался в двигавшийся гул, чтоб на слух поймать, куда направить выстрел. Поймал... Кажется, поймал... Движения его были привычные и он не думал о них. Он прижался щекой к прикладу противотанкового ружья, и приклад как бы сросся с плечом. Положил палец на спусковой крючок, по привычке же – глаза в прорезь прицела, хоть ничего увидеть не мог; он был на дне ночи – его давила тьма, густая, черная.

Он увидел слева короткое жало пламени, быстрые, багровые искры, рвавшиеся из глушителя танка. По

вспышкам, по искрам прикинул, с какой скоростью шел танк, и стал медленно нажимать на курок.

Он выстрелил.

Тупой удар отдачи в плечо – его оттолкнуло назад, даже голову тряхнуло. Он замер, секунду, вторую выжидал. Танк продолжал греметь гусеницами. «Проманулся... не попал... не попал... Черт возьми, пулю за молоком послал...» Жар охватил все тело. «Не попал!..» Дрожащей рукой взял у Сянского патрон, двинул затвор, снова прислушался. Вспомнил: «Выбери точку прицеливания – по смотровой щели, еще лучше по гусеницам. Выбрал? Выбрал. И жди, когда машина подойдет к этому месту. И – грохни!» Рыбальский улыбнулся: «Спасибо, Ваня, спасибо, Ваня Жадан, ты учил меня делу, но попробуй вот выбрать точку прицеливания...» Он немного повернул ствол. Выстрелил. Опять грохнул перед глазами огонь. И снова тот же мрак. Слышно было, танк по-прежнему надвигался на него. «Опять, значит, не попал!.. И эта за молоком. Что со мной случилось?» – злился он. Он прикусил губу: пот, кативший со лба, жгуче заливал глаза. «Ваня, Ваня Жадан... Очнись, помоги мне... У тебя это так хорошо получалось...» Он плакал, и он знал это.

Он повторил свои движения, теперь он все делал быстрее, лихорадочно, нельзя было и доли секунды упустить. В третий раз нажал на спусковой крючок.

Рыбальский верил в себя, но два эти промаха, именно сейчас, подавили в нем уверенность. И когда после третьего выстрела увидел, как вскинулся впереди огонь и стал растекаться в темноте – шире – ярче – выше, превратившись в бесноватый костер, и когда там, где полыхало пламя, услышал, раздались оглушительные удары, и понял, что горел и взрывался подбитый им танк, он недоверчиво покачал головой.

Потом дошел до него горький, удушливый дым. Дым забивал дыхание. Рыбальский пробовал заслониться, но дым бил в глаза, проникал в нос, в рот.

– Здорово? Здорово, скажи? – Голос Рыбальского вдруг охрип, будто сорвал его в крике. – Здорово?

Сянский уткнул лицо в землю и жалобно поскуливал. Он ничего не видел.

– А вот даст сдачу, тогда будет здорово...

– А пока давай патрон! Добавим!..

Рыбальский снова обрел уверенность и уже не сомневался, что попадет и в другой танк, и этот тоже не сможет идти ни вперед, ни назад. Он прижмурил глаза, затаил дыхание, словно и в самом деле целился. По грохоту гусениц определил, где двигался танк, и надавил на спусковой крючок.

Выстрел был громкий, как два или три выстрела вместе. Это, наверное, шум в ушах от напряжения, от тревоги. Все смешалось в его распаленном созна-

нии. «Промазал? Нет?» В той стороне, куда выстрелил, вспыхнуло пламя, сначала тусклое, потом оранжевое. Еще один подбит! Видно же... Подбит! Точно... На всем лежал густой багровый свет, радостный свет, радостный свет, охвативший луг, бескрайний какой-то, единственный, потерявшийся на земле луг, и роща вдалеке была багровой, и холм. Рыбальский даже высунулся из окопа и смотрел на огонь, становившийся тускловатым в закипавших клубках дыма.

– Патрон!!

Одновременно со своим выстрелом услышал Рыбальский сухой свист возле себя. «Определенно бьет разрывными... – узнал он эти звуки. – Ай, подлец! Разрывными...» Пули срезали еще не совсем уплотнившийся бруствер, вонзались в землю возле головы, возле плеч, у боков, поднимая вверх струйки песка. Песок засыпал глаза, их нельзя было открыть. Пуль он уже не слышал, уши заложило, в них стоял грохот взрывавшегося танка.

Рыбальский ощутил острый толчок в грудь. Будто раскаленным шилом кто-то ткнул, и стало невыносимо жарко, точно печка распалась внутри, и он хлопнул по груди, по животу ладонями, часто и быстро, раз, другой, и еще раз, как бы сбивая на себе невидимое пламя. «Разрывная, не иначе...» не сомневался Рыбальский. Но боль пропала. «Нет, не пуля, – счаст-

ливо успокоился. – Запоздалый удар отдачи».

А силы убывали, он слабел, слабел... «Просто голова кружится...» Нет, не пуля. Он был спокоен.

– Пат-рон...

– Вот! Илюша! Вот!.. – Сянский, перепуганный, совал ему патрон.

Слишком суетливо получилось у Сянского, возможно, его смутил необычный для Рыбальского бесстрастный тон.

– Вот! Вот! Илюша!..

«Он кричит, дурак, он кричит, чтоб не так бояться, – сердился Рыбальский. – Страх всегда будет у него за плечами, впереди тоже. Такой человек». Ему показалось, что, рассуждая об этом, отвлекался от другого, о чем думать не хотелось. Но слабость все больше охватывала тело. Рука окаменела, палец немо лежал на спусковом крючке. «Фиговина какая-то», все еще удивлялся он в каком-то полузабытье. Мысли стали нетвердыми, случайными, далекими от того, что сейчас происходило. Подумалось о том, что так и не написал Катеньке, а она ждет письма, ждет его самого; не написал и братишке, жаждавшему попасть на фронт, но вместо фронта вынужденному ходить в пятый класс; махорки, вспомнил, осталось немного в «сидоре», там, в траншее, не вытащил бы кто, все-таки махорка, любой позарится; потом обрадованно

уверил себя, что партийный билет получит, когда рота выберется отсюда; и еще подумалось: баклагу забыл, а, черт, так пить хочется, во рту пересохло...

Он порывался крикнуть, все равно что, лишь бы закричать и пробудить в себе силу. Он открыл рот. Ни звука проронить он не мог. Пропал голос. Он снова попытался что-нибудь сказать, вернуть голос, но – ни слова! И оттого, что вынужден был молчать, все в нем разрывалось.

Силы убывали, он слабел. «Надо глубоко вдыхать воздух, и силы восстановятся», – утешал себя. Но дышать стало нечем, широко раскрытым ртом пробовал ловить воздух, и ни струйки, ни глотка не мог поймать вокруг воздух иссяк. Он задыхался. И тут пришло в голову: все-таки ранен, потому это. Да рана, должно быть, пустяковая, никакой же боли. Царапнула пуля или осколок какой полоснул. И не разобрать, куда попало. «Ну фиговина чепуховая».

А не двинуть ни рукой, ни ногой. «Вроде и не мои они, а чужие», удивился. Никогда до этого не испытывал он такого состояния. И когда было в его двадцать лет испытывать? «Сейчас пройдет, сейчас пройдет», – обещал он себе. И кажется, в самом деле проходило. Он снова дышал ровно, хоть и не глубоко, на глубокое дыхание не хватало сил. И сердце, чувствовал он, билось. «Это значит, что смогу стрелять, –

палец все еще лежал на спусковом крючке бронебойки, – смогу еще немного сопротивляться, ну минут десять, быть может, или пятнадцать, может быть, может быть, даже полчаса или чуточку больше». Сознание этого доставляло ему нескончаемую радость, по присмиревшему телу пошли упругие, горячие толчки, они сулили надежду, что все обойдется, и становилось легко, благостно. И он испугался, что эти десять минут, или пятнадцать, или полчаса – самое бесценное за всю его жизнь время – уйдут на переживание этой радости, и он не успеет сделать нужное.

Но палец на спуске не пошевелился. Да и куда стрелять? – выпало из головы. Сознание затекло, как, бывает, затекает нога, рука. Боли по-прежнему не было, страдания не было, и желания не было делать что-нибудь – бежать, стрелять, ругаться. Все, значит?..

Он сделал над собой усилие, чтобы приподняться, ничего не получилось, мускулы обмякли. И все же удалось повернуться набок. Он не заметил, как откатился к Ване Жадану. Голова пришлась на вытянутую руку Жадана, и он уткнулся в его плечо, словно и сейчас искал у него поддержки, утешения.

Но он уже ничего не искал. Он вдохнул воздух, расслабленно, медленно, и уже не выдохнул его. Он ощутил, что перестал жить.

Сянский понял это сразу.

В замешательстве оглядывался он и не мог решить, куда податься впереди и позади было одинаково неопределенно и страшно. Он почувствовал себя один на один с немцами, со смертью.

«Что же делать? Подняться? Побежать? Пуля догонит на первом же шагу. И куда бежать? Стреляют немцы, стреляют наши – кругом стрельба! Днем лучше. Видишь чужих, видишь своих. Сообразишь, где укрыться...» Страх надвигался со всех сторон, он уже сдавил сердце, сжал горло. Задушит, задушит!..

– Илюша!.. Я же ж один!.. – потерянно простонал Сянский, забыв обо всем и помня только, что остался среди вражеских танков, вражеского огня, враждебной ночи. – Илюша! – крикнул еще раз, еще, в третий раз, в четвертый... – Илю-ша-а! – Он продолжал выкрикивать это имя, вдруг ставшее самым нужным, родным, уже ни на что не надеясь. – Куда ж я?.. Куда?.. Я ж один... Илю-ша-а-а...

6

Полянцев напрягал зрение, но это было ни к чему, глаза живут только при свете, во тьме они гаснут, как всё – деревья, кусты, дороги, песок... Как ни старался, не мог он увидеть густой крушинник, где затаились пулеметы, два пулемета, увидеть траву, которую на-

смерть мяли гусеницы танков, и шесть сосен, прикрывавших три окопа – его, Пульки и того, справа, нельзя было разглядеть.

Удар – удар – удар!.. «Наши бьют!..» Ему показалось, много гранат, очень много, стало весело, словно удары эти отводили от него опасность и ничто страшное уже невозможно. Он даже вскрикнул озорно, задиристо:

– Давай, ребята! Давай!..

Разъяренно вздыбились огни – горели танки, и на лугу – от рощи и холма до воды – пропала ночь. Вверх, под самое небо, суматошно взметнулись сосны с темными куполами, сосны, прикрывавшие окопы отделения Полянцева. И тотчас в глаза бросилась неровная цепь немецких автоматчиков, они обходили пылавшие танки и, то припадая к земле, то вскакивая, то снова залегая и снова поднимаясь, суетливыми перебежками неслись мимо Полянцева на траншеи роты.

Бег автоматчиков остановили длинные и короткие пулеметные строчки из крушинника. Цепь залегла. Потом со стороны холма двинулась вторая цепь, она развертывалась и шла на Пилипенко, видел Полянцев. «Что ж Пиль молчит? – тревожился, и сердился, и ругался он. – Заело что-то?.. Решил подпустить немцев поближе?.. Меняет ленту?..» Немцы ступали в полный рост и строчили из автоматов. Немцы прибли-

жались. «Вот они...» – сцепил Полянцев зубы, будто уже слышал топот ног, прерывистое дыхание автоматчиков. «Что ж Пиль молчит, черт его побери?..»

Разом – видно, по команде, – поднялась первая цепь, повернула – на Полянцева. Он весь напрягся. «Самое время вступить в дело. Ну, „дегтярь“, давай...» Он нажал на спуск. Короткая очередь. Он почувствовал упругую дрожь приклада. Палец снова надавил на курок. Короткая очередь. Немцы, шедшие на левом фланге цепи, залегли. Нет, не залегли, – свалились. Короткая очередь.

Он менял диск, и пока менял, слышал, как рядом хлопали винтовки, четко и гулко. «Мои ребята...» Он опять нажимал на спусковой крючок. Короткая очередь, короткая очередь... «А Пиль, что ж он?.. – раздражался Полянцев. – Чего ж молчит его станкач?..»

Пилипенко ударил. Почти одновременно с ним, с Полянцевым. «Тоже, значит, чего-то рассчитывал...» Пилипенко ударил. Цепь автоматчиков, не добежав до Полянцева самой малости, бросилась на землю, увидел он в отвесах дальнего огня полыхавших танков. «Попали, голубчики, под перекрестный, – радостно клокотало в груди. – Под мой и Пиля...»

Но Пилипенко умолк. «Заправляет новую ленту», – предположил Полянцев. А сам он, Полянцев, давил на спусковой крючок, крепче, сильнее. Что такое?

Молчал и его «дегтярь». Разгоряченный, Полянцев в первое мгновение не сообразил, что опять кончились патроны, что диск пуст. Протянул руку. «Где они, запасные диски? Где?.. Где?.. – возбужденно шарил рукой. – Вот тут положил... Вот тут... Эх!.. И надо же такое... Ну, наконец!..» Схватил диск. Пока будет вставлять диск, немцы сделают перебежку! Чертов Пилипенко, молчит! А может, ранен, убит? Слишком долго, если меняет ленту. Столько времени не требуется, чтобы заменить ленту. Да и у него так медленно идет с диском! Немцы определенно поднимутся и рванут вперед... Ну, слава богу! В порядке! В порядке!..

Полянцев снова стрелял.

Он вскинул голову, посмотрел вверх перед собой. Ракета! Что означал этот зеленый свет, рванувшийся из рожи в небо? А! Ракета дала команду. И немцы стали отползать.

Они отползали. Потом вскочили, суматошно понеслись обратно к роже, к холму, возможно, в укрытие, которое только что покинули. Но снова рухнули, как срезанные. Полянцев нажимал, нажимал на спуск – очереди, очереди. Воздух прошила долгая пулеметная строчка, твердая, сильная, глуша и прикрывая короткие очереди Полянцева. «Пиль! Пиль!.. Ну и дает жизни! Ну и Пиль!» – чуть не выкрикнул Полянцев.

Ракета догорала, под ее меркнувшим светом, неук-

люжие, как мешки, лежали убитые, раненые. «Вон сколько мы их с Пилем положили!..» ожесточенно и восторженно подумал Полянецв.

Немцы бухнули из минометов по обозначившимся целям – по пулеметам в крушиннике, по Пилипенко, по окопам Полянцева. Мина разорвалась у самых окопов. Полянецв, втянув в плечи голову, припал к песчаному дну и, ощерясь, разжал губы. О каску стукнулся осколок, удар был легкий, но уши плотно заложило, будто в них напихали ваты. Потом наступила тишина. Полянецв поднял голову, обеими руками поправил сдвинувшуюся каску. Рот набит землей. Полянецв сплюнул, все равно – в зубах скрипел песок.

Полянецв вспомнил о Юхим-Юхимыче. Потом вспомнил, что ни одного звука тот не проронил. Убит? Повернулся, тронул его за плечо.

– Жив?

– А толку шо? – жалобно, едва слышно отозвался Юхим-Юхимыч. – Лежу бревном, хоч бы диск мог подавать...

– И сам диски возьму. Были б. А стихнет, понесу тебя. Сказал. Я ж здоровенный.

Полянецв взялся за приклад своего ручного пулемета, и в ладонь впились рваные острые зазубрины металла, торчавшие оттуда, где быть прикладу. «Разбили „дегтяря“! Эх!!..» В первую секунду это ошеломи-

ло. Он понимал, что мог быть ранен, мог быть убит. Но чтоб живому стрелять нельзя было, – не укладывалось в голове. Стало ясно: стрелять не из чего... Он яростно выматерился. Сглотнул собравшуюся в горле слюну.

– Как там у тебя? – крикнул направо. Из окопа не откликнулись. – Как у тебя, спрашиваю? – крикнул громче. Ответа не было. «Понятно. Все».

– Пулька, жив? – крикнул уже неуверенно.

– Ага, – тотчас ответил окоп слева.

Прошла минута.

Полянцев услышал: на окопы надвигался танк. Он был уже недалеко.

– Пулька! – повернул Полянцев голову налево.

– Ага. Танк.

– Бери гранаты.

– Ага.

Полянцев неподвижно, с нервным напряжением ждал: пусть танк подойдет поближе, теперь рисковать нельзя...

– Выходим, Пулька, на гада! Готов?

– Ага. Готов.

Полянцев не успел выбраться из окопа, а Пулька, тихий Пулька, уже бежал на танк. Он бежал на танк, это Полянцев услышал. А когда, словно из-под земли, вырвался громкий костер и свирепо разме-

тался во все стороны, понял, что Пулька метнул гранаты, и метнул удачно. В ярком свете видно было, как под огненными осколками упал Пулька. Танк дернулся вперед, и Полянцеву показалось, что услышал хруст, это гусеницы, понял, вминали в землю мертвое тело Пульки. И тут же вспыхнувший танк беспомощно завертелся на месте – гусеница, значит, сорвалась с хода и, как бы рассыпаясь, с грохотом расстелилась на песке.

Взвилась осветительная ракета, и стало видно, как, обогнув танк, автоматчики неслись на окопы. Уже отчетливо слышен был вязкий, в песке, неровный топот. Несколько шагов отделяли немцев от окопов. «Накрылся, – с тяжелой тоской подумал Поляnceв. Два диска, знал он, лежали у его ног. Эх! Вот когда б „дегтяря“. Уложил бы их, а сам, может, и выкрутился б...» Почему он должен умереть... если столько сил в нем для жизни? Мысль эта первый раз пришла в голову, и он невольно ужаснулся. Он снова видел Пульку, бежавшего на танк, и слышал хруст костей под гусеницей, словно это повторилось. Злость, какую никогда еще не испытывал, поднялась из глубины его существа и захлестнула все. И рука стиснула гранату.

Надеяться не на что. Рассчитывать больше не на что – «дегтярь» разбит. Только на гранату вот. На эту, одну-единственную, которая у него в руке. Все в нем

натянуто: мышцы, жилы, сердце под ребрами, руки, ноги.

Полянецв считал секунды, считал минуты, нет, минуты он не считал, минуты – это слишком долго, теперь у него не хватит жизни считать минуты. Не потерять – самое важное в его положении, не потерять, нельзя же умереть вот так, как подстреленному зайцу. «Жизнь моя дорогая, фрицы. Сейчас вы узнаете это!..» Он поставил гранату на боевой взвод и судорожно сжал рукоятку.

– Не придется мне, Юхим-Юхимыч, выносить тебя отсюда... Прощай...

Два немца, три, пять или больше были уже совсем близко, совсем близко, Полянецв отчетливо слышал их. Он резко встряхнул гранату, – она щелкнула, – и швырнул.

Гром и свет!..

Свирепый треск осколков над головой.

Полянецв упал. Режущая боль вонзилась в глаза: полоснуло что-то острое и горячее, и он смежил их. Он почувствовал, из орбит текли медленные, будто липкие, струи, и это были не слезы, понял он, что-то другое.

Он удивился тишине, наступившей вдруг после разрыва гранаты, и даже открыл в изумлении глаза.

Но глаза уже ничего не видели.

– Тю! Шоб ты сдох, проклятый!

Пилипенко привык разговаривать сам с собой, особенно когда что-то не ладилось. Сейчас с ходу ему не удавалось как следует установить пулемет. Один каток слишком погрузился в песок, и пулемет перекошило. Пилипенко вытащил каток, разровнял руками место и подложил под каток пилотку. Пулемет снова стоял прямо. Пилипенко потрогал кожух, прикосновение это совсем успокоило его, словно убедился, что пулемет в порядке.

– Ну, давай, немец, при на меня...

То и дело поглядывал он на лежавшего в кустах, рядом, пулеметчика Васю Руденко. Почти земляк. Из Херсона. Студент. Пилипенко, правда, сторонился его: студенты, они все какие-то... Ротный сказал: ранен. Может, и был ранен. Да не дождался подмоги, отошел. Пилипенко еще раз склонился над телом пулеметчика, сильно потряс за плечо, нашарил в темноте лоб, щеки, руки: молчит, похолодел. Пилипенко вспомнил: нет, пожалуй, Василь, студент этот, был ничего-парень...

Он свернул сигарку, не таясь чиркнул зажигалкой, закурил.

– Увидел бы взводный, – съехидничал. – Ну и увидел бы. А шо со мной сделает? Под пули пошлет? – хмыкнул.

Пилипенко невозмутимо наслаждался сигаркой, долго и глубоко затягиваясь. Он и курил озорно. Начало прижигать пальцы, они едва удерживали короткий окурочок, и Пилипенко стал затягиваться медленней и не так часто, курить чтоб подольше.

– А шо моя сигарка? – возвращался он мыслями к взводному. – Тьфу, и только. Огонечек с комариный глаз. Вон немцы горят, так это да, восхищался пламенем горевших далеко впереди танков. – Эт-то да-а...

До него донеслись тукающие строчки «дегтяря» Полянцева. Прислушался.

– От и пуляет русак... – Он восхищался и тем, как ведет Полянцев огонь. – От, чертяка, и пуляет...

Вспыхивавшие ракеты сделали видным луг и то, что было на лугу.

– Лю-ми-на-а-а-цяя...

Пилипенко спокойно водил глазами вправо-влево, смотрел вперед. Глаз у него наметанный, не упустит, чего не надо упускать.

Он успел увидеть: между холмом, густо черневшим вдаль, в конце луга, у леса, и его окопом, мелькала еле различимая цепь фигурок, они то бросались на землю, то, склонившись, перебежали, то неслись во

весь рост.

– От и мне, хохлу, наспела работа.

Он приник к пулемету.

– Посмотреть в прорезь прицела? – снова хмыкнул Пилипенко. – Нужен он сейчас, прицел! Как прыщ на заднице. Разве наведешь в этой смердючей темноте куда надо? Буду бить вслепую. Уложу, сколько выйдет... Приготовиться! – приказал самому себе. – Приготовился! – доложил через секунду. И еще, через несколько секунд: – Давай!

Он нажал на спуск. Длинная строчка полилась свободно и весело. Длинная строчка!.. Длинная строчка!.. Гильзы слышно сыпались рядом, на землю.

Кончилась лента. Он откинул ленту с пустыми гнездами, заправил новую. Взглянул за рукоятки пулемета и, не торопясь, повернул направо: немцы обходили его справа. Наметанный, наметанный у Пилипенко глаз.

– А шо? Столько уже воюю, – будто объяснял кому-то.

Что – да, то – да: глаз у него точный. И спокойный. Главное спокойный. «С глаз все и начинается, разная там паника и все такое, убежден Пилипенко, – глаза напугают ноги – и бегом назад...»

– Не, меня не напугаешь... А, чертяка! Весь трясется, как скаженный. – В руки ударяла мелкая дрожь ру-

кояток пулемета. – Давай, Пиль, давай, Пилипенко! – подгонял он себя.

И нажимал на гашетку. И нажимал, и нажимал...

– От еще беда!.. Тю! – Вода закипала в кожухе. А воды в обрез, вот только что во фляге осталось. – Себе на несколько глотков. К чертям собачьим, попробую обойтись. Я же ж понимаю и смогу обойтись, а пулемет же ж, к бисовой матери, не поймет. А пить хочется!..

Почти всю воду из фляги вылил в кожух. Потом, запрокинув голову, отправил в широко раскрытый рот тонкую короткую струйку. Вода пахла гарью и еще чем-то, будто болотная. Пока пил, вода была вкусной, очень вкусной. А оторвал от фляги губы, поморщился: вода точно отдавала болотом. Он потряс флягу, и губы поймали еще несколько капель.

Опять застучал под его руками пулемет.

Еще лента. Еще лента. Еще лента.

– Не, аккуратней надо. Потихше... Лент не много уже. – Он с трудом сдерживал себя. – Аккуратней, аккуратней, браток. Не в тире.

Пилипенко вдруг показалось, что, если не заставит немцев отступить туда, за холм, за рощу, война будет проиграна и Гитлер войдет в Москву.

Обливаясь потом, облизывая запекшиеся губы, продолжал он стрелять.

Вдруг остановился.

– Э, постой, постой. Шо то? В канаве Полянцева вроде граната ухнула? – не мог Пилипенко сообразить, что произошло, и на секунду его охватила оторопь. – Немцы... или сам шибанул?..

Холодная испарина покрывала лоб, он провел по лбу ладонью, но испарина оставалась. «А, шоб его!..» Похоже, что лоб всегда влажный, только он этого не замечал.

8

Здесь луг вдавался в прибрежный песок, и ползти было трудно. Колени, руки вязли в песке, и Рябов еле передвигал свое, показавшееся ему тяжелым, тело. Поравнялся с кустарником, жузгуном. Он выбрасывал руки вперед, напрягал пальцы и отталкивался от кустов, и кусты отходили назад, на шаг, на полшага, все-таки назад... Он переводил дыхание и полз дальше. Он не мог представить, далеко ли отполз от траншеи. Кажется, недалеко. А ползет уже сколько!.. В спокойной обстановке он в две минуты пробежал бы это расстояние.

Впереди слышался слабый шорох. «Ребята... Они... Шагов пятьдесят до них, не больше». Рябов полз на шорох, полз, полз. Он поворачивал шею то

в одну, то в другую сторону, поднимал голову, полз, полз.

Спина взмокла. Стало жарко. Связка гранат мешала двигаться быстрее, и он злился, что ползет все медленнее и медленнее. Он напряжился, набирая силу, сделал несколько рывков. И в голову не могло прийти, что проползти пятьдесят шагов по песку так изнурительно...

Он услышал сдавленный голос:

– Возьми левее... Слышь, левее... А мы прямо...

Рябов не мог вспомнить, чей это голос. Скрипника? Или Зельцера... А может, Вартанова... «Правильно, нечего кучей, надо рассредоточиться». Именно это хотел Рябов сказать и потому старался доползти до них, троих.

Передвигаться дальше уже не хватало сил. Ломило в локтях, ломило в коленях. Самое трудное – выбрасывать вперед правую руку, зажавшую гранаты. Какое, оказывается, они тяжелые, гранаты! Нет, ребят не догнать. Далеко отползли, ползут быстро. Не догнать.

Рябов вытянулся. Губы уткнулись в холодный песок. Рукавом провел по рту, на который налип песок, потом лизнул губы. Он прерывисто дышал, и на щеки тоже лепились тронутые дыханием жесткие песчинки.

Он двинул локтями, двинул коленями, подгребая под себя песок, и тело переместилось еще на полмет-

ра, еще на метр. Метр – такой длинный – неужели состоит всего лишь из сантиметров! А сантиметр-то – с ноготь... «Все! Все! Ничего больше не могу. Ничего... Амба!..» Здесь встретит он танк, если танк пройдет между тем, кто взял влево, и теми, кто пополз прямо. Он вытянулся, ноги вместе, руки чуть выброшены вперед и тоже вместе. Правая рука немного согнута и дрожит – сжимает гранаты.

Танк и в самом деле шел на него. Рябов слышал рокот мотора и прижался к земле и задержал дыхание, точно боялся, что выдаст себя. И совсем отчетливо, отчетливей, чем прежде, снова возникло поле под Тернополем: танки настигают бойцов, и бойцы с корчами на лицах бегут впереди танков, и танки давят их, давят... Почему-то именно это часто бередило память. Может быть, слишком запомнились лица, отражавшие обреченность и какую-то невозможную долю надежды, дававшую им силы бежать; может быть, не забывалась утренняя земля – красная, как заря в небе, – покрытая кровью тех, от которых ничего не осталось. «Выдержку! Выдержку!» – напомнил себе слова ротного. Сейчас по-настоящему проникся он смыслом этих слов.

Но танк не приближался к нему.

Между ним и танком расстояние как бы и не сокращалось. Рокот замолк, танк, должно быть, остановил-

ся.

Гул опять тронулся, надсадный, со скрежетом, и все равно на одном месте: танк, возможно, буксовал в слишком глубоком песке.

Наконец донеслось громыхание гусениц. «Пошел, пошел...» Теперь танк уже недалеко. Танк строчил из пулемета, и по вспышкам выстрелов, на короткий миг высвечивавших темный кусок железной громадины, Рябов понял, что двигался он чуть в стороне от него.

Танк все ближе и ближе. Все резче и резче треск пулемета. Рябов вжался в песок, не решаясь поднять голову. Голова лежала на левой согнутой – руке. Что-то смутное, тяжелое поднималось из самой глубины сердца. И сердце билось, билось... «Выдержку, выдержку, и все будет в порядке», – повторял про себя.

Танк уже шагах в десяти от него, даже ближе на шаг, на два. Пули, слышал он, ложились справа. «Так-так-так...» – колело в мозгу. Рябов догадался, что находится в непростреливаемом пространстве. «Не промедлить, не промедлить! Секунда, две, три, и танк отойдет, далеко, метров десять, двадцать, больше... И – амба, я пропал...» Сердце еще неприятно билось, но в голове уже было ясно и спокойно. Одно желание завладело всем его существом: взорвать танк, заходивший в тыл обороны. Взорвать танк, ничего больше. Он просто устал от тревог, от риска, и от надежд

тоже, они не сбывались и потому утомляли.

Широко раскрытыми глазами смотрел Рябов в сторону двигавшегося танка. «Амба!»

Он почувствовал, что рука не в силах бросить гранаты. «Не получится. Не получится... Оттого это, что куда-то в бок стукнуло. Пуля? Может, и пуля. Нельзя, нельзя, чтоб не получилось! Нельзя... Вот-вот танк отойдет...» Рябов испугался этой мысли. Он выдержал чеку, поспешно привстал на левое колено, хотел еще что-то сделать, но не мог сообразить что и, припадая грудью вперед, метнул гранаты... низко... над самой землей... Рука еще ощущала тяжесть, казалось, что еще держит связку гранат. Он почувствовал боль в запястье. «Это от напряжения... во время броска... жилы натянулись... оттого и больно». Он уже врылся головой в песок, в песок судорожно врылись растопыренные пальцы и перестали дрожать.

Он не дышал. Он ждал взрыва.

9

Дрогнули накаты на блиндаже.

На лугу раздавались долгие взрывы, один за другим, и Писарев видел метавшийся огонь. Горела трава, горел песок, горел воздух.

Жмурясь от едкого дыма, валившего на траншею,

Писарев медленно провел ладонью по лицу, вытер выступивший пот. От радости это, подумал. Сердце больно колотилось, это была боль радости, понимал он.

– Горит!.. Горит!.. – возбужденно вырвалось у него. И от того, что выкрикнул это, еще более уверился, что танк в самом деле горел.

Писарев почувствовал слабость. Когда переживаешь радость, оказывается, тоже слабеешь.

Слева явственно донесся грызущий землю скрежет траков. Слева, слева. Танк, один... Пропустили, выходит, не смогли этот остановить. Где они? Писарев думал о Рябове, думал о Скрыпнике, о Зельцере, о Вартанове. Что с ними?

Танк приближался, и Писарев забыл о Рябове, о ребятах, он беспокойно думал о том, что танк определенно прорвется и с тыла, из-за спины, сомнет тех, кто ему противостоит.

– Антонов! – позвал Писарев. – Ан-то-нов!

– Я! Я! – раздалось из мрака траншеи.

И тотчас услышал Писарев торопливые шаги.

– Я!

– Сколько у тебя осталось в отделении бойцов?

– Два. Я и вот он... – показал Антонов на темный силуэт жавшегося к стенке траншеи красноармейца в каске. На каске лежал отсвет пламени, и можно было

подумать, что голова красноармейца в розовом дыму.

– Поставь его к телефону. Петреев пропал где-то... – «Связь-то наладил. А не вернулся. Может, укрылся где, пережидает огонь», подумалось. – Поставь бойца к телефону. Пока Петреев не придет.

– Понял, – откликнулся Антонов.

– Ротный, если спросит, скажешь: танк прорвался, я по-быстрому Рябову на выручку. Понял? Не успел сам доложить, – спокойно, обыденно добавил Писарев.

– Куда? Скосит... Товарищ старшина! Пулеметом скосит, – срывающимся голосом выкрикнул Антонов. – Мы с вами и тут справимся с танком. Не мечись, старшина!

Писарев подвесил противотанковую гранату на поясной ремень.

– Рисково так, товарищ старшина, штучку эту таскать, – еще прокричал Антонов.

– Ничего. За обтянутую проволоку подхватил. Ладно. Так ротному скажешь, если спросит, что я Рябову на выручку, – слишком отчетливо повторил Писарев. – Понял? – Тоже слишком отчетливо.

– Понял!

– И это пойми: ты и тот боец теперь весь взвод. И если мне не удастся задержать танк, сам с гранатами, с бутылками кидайся...

Не дожидаясь, что скажет Антонов, Писарев пере-

махнул через бруствер и неестественно торопливо взял с места. Он понесся туда, где грохотал, двигаясь, танк.

Антонов испуганно смотрел ему вслед. Длинная фигура Писарева виднелась в светлом от полыхавшего огня пространстве и казалась еще длиннее, чем была.

Писарев бежал пригнувшись. Ударил пулемет, и он упал, набок, придерживая рукой гранату. Вскочил, короткий бросок и опять наземь.

Больше Антонов не видел его, тот пропал в гудящей черноте ночи.

А Писарев выждал, пока оборвалась пулеметная строчка, поднялся и дальше. Противотанковая граната, тяжелая, оттянула книзу ремень, и Писарев почувствовал неловкость в шагу. Он весь вспотел – лицо, шея, руки. Он наткнулся на распростертое тело. «Один из трех», – мелькнула догадка. Полшага – и опять: «Второй из трех?» Шаг, шаг... Писарев опять чуть не свалился на кого-то, недвижно лежавшего на песке. «Третий из трех, сдавленно произнес про себя. – А четвертый? С Рябовым их четверо...» Четвертого не было. Кого?

Писарев уже не думал об этом. Танк двигался, сбавив скорость. Заподозрил что-нибудь? Танк бил из пулемета, огненный пунктир врезался в темноту, и когда

огоньки летели, угадывались контуры машины.

«Танк пройдет... точно... пройдет... – билось в мозгу. – Пройдет... Уже прошел!..» А в траншее пусто, в ней и укрываться больше некому, Антонов и тот, в каске, жавшийся к стенке траншеи и стоящий сейчас у телефона. Ничего, Антонов услышит танк, прямо же на блиндаж идет. Под рукой у Антонова гранаты и бутылки. «А растеряется вдруг?..» Вспомнился подавленный тон Антонова, хоть тот и произносил твердое: «Понял!» Тогда, второпях, Писарев не обратил внимания на это, а сейчас вспомнил, словно снова услышал Антонова, его подавленный тон. «Испугаешься, – Писарев усмехнулся. – Антонов остался один на один с враждебной неизвестностью. С глазу на глаз с противником обо всем забудешь!» И тут же – успокоенно: «На виду танка, жить если хочешь, и невозможное сделаешь». И Антонов сделает. А почему – Антонов? – спохватился. – Танк-то еще не ушел. Вот он, землю рвет.

Земля скрежетала, раскалываясь, под танком, и всем телом Писарев ощутил ее содрогание. Ослабевшие ноги едва держали его, и он свалился. Не успел подхватить слетевшее пенсне, заморгал глазами: что-то вокруг изменилось, стало еще черней. Колющая муть какая-то. Руками пошарил по песку, не нашел.

Никаких мыслей в голове, никаких чувств в серд-

це, только сознание, что надо в танк швырнуть гранату. Только это. И эта сосредоточенность удваивала силы. Рывком сбросил каску, показалось, что мешает, каска глухо стукнулась о песок. Писарев почувствовал, ветер тронул волосы, лоб. Стало легче, всему телу. Пальцы беспорядочно водили по поясу и никак не могли снять гранату. «Что же это такое! – злился Писарев. – Что же это такое!» Граната не поддавалась. «Что же это, в самом деле!»

Танк шел теперь быстро, словно торопился выбраться из разгоравшегося луга.

Впереди, правее и левее, горели танки. Огонь уходил высоко в небо, дым уходил в небо, но до звезд огонь и дым не достигали, звезды были все такие же – спокойные, белые и красные, и голубоватые.

В малую долю секунды танк продвинулся настолько, чтоб отойти от третьего из трех, мертво растянувшихся всего лишь в пяти-шести метрах позади, и оказаться возле Писарева. Выхлопной дым обдал его, горячий песок из-под траков посыпался в глаза, надсадно взывал мотор, настагающе лязгали гусеницы. Писарев шевельнул рукой, убедился: жив. У него занялось дыхание, и длилось это две-три секунды, и в эти две-три секунды сознание привыкло и к реву мотора, и к лязгу гусениц, и к виду танка, и вернулись силы, вернулась решимость.

«Танк не пройдет... не пройдет... Нельзя, чтоб прошел...» – самого себя убеждал Писарев.

Неуклюже перебирая ногами, сбывчив голову, словно разъяренно шел он на кого-то, сделал шаг, и другой, и третий, граната как бы потеряла вес. Он рванул пряжку. Еще шаг, последний, и, резко выпрямившись, с взведенной гранатой на снятом ремне, кинулся танку наперерез.

Он упал у самого танка, уже наступавшего на его распластавшееся тело. Он почувствовал жаркое прикосновение трака, и тяжелая, свирепо взгремевшая тьма мгновенно надвинулась на него.

10

Часы остановились? Восемь с половиной минуты прошло, как тронулись танки? Не может быть, – не верилось Андрею. Он приложил руку с часами к уху, поддержал немного. Четкое, поспешное тиканье: идут... Неужели всего восемь с половиной минуты? Показалось, что время замедлилось, растянулось.

Андрей видел: на лугу горела трава. Должно быть, от разлитого и запылавшего бензина. Он понял, подбиты танки. Сколько? Не разобрать... Его беспокоили танки, вырвавшиеся на левый фланг обороны первого взвода. «Что ж Рябов, язви его душу? –

раздражался Андрей. – И те, на лугу, не дают о себе знать. Долго как ползут... Танки раздавили их, что ли?» Он подождет немного, самую малость, и, ей-богу, сам кинется с гранатами. И Валерик с ним, и Тимофеев, и Кирюшкин. Все, кто есть на командном пункте.

«Стой! Стой!..» – екнуло в груди. Даже не поверил тому, что увидел. Там, где предполагал он, должны были находиться Рябов с бойцами, вздыбились бурные костры, полные огня и дыма. «Молодцы! Здорово! – зашло от радости сердце. – Молодцы!» Он затопал на месте.

Ночь отступила перед взметнувшимся пламенем, и перед Андреем предстал весь луг, каким видел его днем, под солнцем, пламя держалось долго, и он успел рассмотреть рощу и холм, они были в движении, и он знал, это шли танки, бежала пехота на Рябова, на Ваню; потом услышал взрыв, еще один, лопалась земля, и пламя вскинулось выше, выше, перебросилось левее холма, потом правее холма, и не уходило, и гремело – горели танки.

Андрей возбужденно всматривался в то, что происходило шагах в восьмистах от него, и все в нем билось, радостно и шумно. Будто то, что увидел, принесло самое большое утешение, какого никогда у него не было и после чего и умереть не жаль.

Фигурки, возникавшие в дыму, видел он в бинокль, неслись к лощине, на Ваню. Немцы были храбрые, точно, иначе бы повернули назад, иначе бы залегли: такой огонь! Но и Ваню, и ребята с ним – храбрые. Более чем храбрые – не сокрушить! Они не отступят, они продержатся. Андрей и не мог думать по-другому.

Танки продолжали двигаться. «Сколько их еще бросит немец? Рота не выдержит такого напряжения. Рота может не выдержать, – начал тревожиться Андрей. – По натиску видно, противник решил во что бы то ни стало пробить оборону, выйти нам в тыл. И захватить переправу...» Пулеметный и автоматный треск приближался и приближался, и противник, значит, приближался, значит, рота не в состоянии его сдерживать, волновался Андрей. Его качало из стороны в сторону.

«Немец думает, наверно, что в обороне по меньшей мере полк, усмехнулся, – вот и двигает силу в расчете на полк». Роте и держаться, как полку. И держится, черт подери!

Нет, нет, не все потеряно. Во всяком случае за жизнь роты противник дорого заплатит. Сердце сжалось от обидного сознания, что комбат этого не узнает, как жгли танки, как горела под немцами земля, как погибали ребята, хорошие, добрые ребята, вот здесь, у берега реки, перед переправой, где он оставил их.

У переправы было тихо. «Может, немец думает, что у переправы сосредоточена вся техника, вся сила, и не лезет в лоб? – терялся Андрей в догадках. – Куда ж теперь рванет? Или попробует прорваться у Ваню?»

Его охватило беспокойство: как Ваню, как Ваню, горячий, своевольный Ваню? Не учудил бы чего...

– Кирюшкин, свяжи с Ваню!

Кирюшкин не успел повернуть ручку, как послышался звонок, и он схватил трубку и передал Андрею.

– Я! Я! – наклонился Андрей, прижал плечом трубку к уху. – Говори давай. Двинулись? Фрицы двинулись?

Слишком оживленный голос Ваню рокотал в мембране и, чуть притушенный, слышен был и Кирюшкину, и Валерику, стоявшим рядом.

– Чего, чего?.. Ты что – опупел? – сорвался Андрей на крик. – Какая контратака? Куда контратака? Сообщаешь чего-нибудь? Контратака, значит, давай из укрытия. Перебьет всех вас! Воют не только храбростью, но и с мозгами! – все больше гневился он. – Есть у тебя мозги, я спрашиваю? Есть?

– Есть, – совершенно серьезно выкрикнул Ваню. – Есть мозги! обойдемся без контратаки, да?

– Не дури, говорю! Секи пехоту! Кинжальным секи! Ни одного фрица не пускай в лощину! Всем, что у тебя есть, загороди лощину. Не пускай к берегу, нам в тыл! Ясно тебе?

Андрей выпрямился, словно очень устал стоять вот так, склоненным над телефонным аппаратом.

Он вышел в траншею.

Он обратил внимание, что пулемет Данилы и Ляхова уже несколько минут молчит. Слишком близко от их окопа раздавался стук немецких автоматчиков. И – разрывы снарядов. Туда побежал Саша. «Донесет, что там...»

Мысль Андрея все время возвращалась к переправе. Он взорвет, он взорвет переправу! А если не получится?..

Андрей с ужасом смотрел на медлительные стрелки часов, будто все злое и беспощадное исходит от них.

Валерик вывел Андрея из состояния, в котором надежда сменялась чувством неуверенности.

– Вот она, каска ваша, товарищ лейтенант. Вы на голову ее, товарищ лейтенант, – с ребячьей покровительностью произнес Валерик. И протянул Андрею каску.

Андрей машинально взял ее, надел. Ремешки, не подвязанные, болтались у подбородка.

– А ты в блиндаж давай, – рассеянно бросил Андрей. – Посиди с девчонкой. Успокой. Душа у нее, по-ди, в пятки ушла.

– А если и ушла, товарищ лейтенант, ваш Валерик

мне не утешение. Оказывается, Мария стояла в траншее и Андрей не видел ее. – Не скажете, где Данила? Саша где?

– Что за дурацкие вопросы! – неожиданно для себя взорвался Андрей. Оттого, наверное, что нервы напряжены. – Доложить тебе или как?..

– Извините, лейтенант, – перепуганный голос девушки. В нем слышалась слеза.

«Вот еще на мою голову! С девчонкой возись...»

– Марш в блиндаж, – приказал Андрей уже менее раздраженно. – И ты, Валерик. Понадобисься, крикну.

– Нечего мне в блиндаже делать, – поймал Валерик нетвердую интонацию в голосе ротного. – И не гоните, товарищ лейтенант.

Валерик проговорил это так простодушно и просительно, что Андрей махнул рукой:

– И шут с тобой, – сказал мягко, почти ласково. – Пропадешь...

И забыл о нем.

Что там, на шоссе? – тревожился Андрей. Он связался с третьим взводом.

– Как у тебя, Володя? Стрельба, говоришь, на шоссе? Держись! Держись! Смотри, противник не должен продвинуться к переправе. Держись, Володя!..

У Андрея такое чувство, будто все в жизни – это гремящие вблизи разрывы, гул моторов, скрежет гусе-

ниц, покрасневшее над рощей и холмом небо, трава, горевшая на лугу... Это и был сейчас весь мир, ничего другого не было, только это, остальное просто не существовало. И когда уши Андрея заложил оглушающий удар, потом еще два таких же, или три, четыре, пять, и глаза ослепил яростный свет, на который, как на солнце, нельзя было смотреть, – ничего уже не добавилось.

Глава девятая

1

Семен задыхался. Он втягивал в себя воздух, но все равно дышать было трудно. С автоматом наперевес, с двумя гранатами на поясе неся он по шоссе. Чуть не свалился, наскочив на выбоину, выровнял движение и снова кинулся вперед. Стрельба слышалась уже совершенно отчетливо, отрывистая, гулкая, будто стреляли прямо в него.

А до окопов отделений, выдвинутых к повороту по обе стороны шоссе, еще далеко, очень далеко. «Метров триста – не меньше, даже четыреста. Или метры перестали быть метрами? – удивлялся Семен. – До чего разные представления о расстоянии в мирное время и на войне». Он уже не раз поражался этому несоответствию.

На переправе, знал он, сбились, опережая друг друга, грузовики, тягачи с орудиями, легковые машины – все торопились: на тот берег. А тут вот эта чертова стрельба! «И немцы рвутся к переправе, – сообщал он на бегу. – Какие силы бросил противник? Да

какие б ни бросил, круто нам придется. Здесь, у поворота дороги, уже заваривается. Ну что два отделения, неполные? Все, что было. Одно отделение, тоже неполное, осталось у переправы, с Володей. Ему взрывать...»

Семен уловил по левую сторону шоссе ожесточенные голоса. «Третье отделение, – мелькнуло в голове. – Слева окопалось третье отделение Поздняева. Второе держит оборону справа, подальше от шоссе».

Он услышал какой-то перепуганный топот. Его осенила недобрая догадка: кто-то убежал из-под огня? Фигура бегущего смутно проступала в темноте.

– Стой!

Семен бросился наперерез.

– Стой бежать! Солдаты не бегут! Стой, говорю! Застрелю!!

Тот, кого останавливал Семен, ничего не мог произнести, он запаленно дышал.

– Боишься?

– Боюсь, товарищ начальник! – откровенно простучали зубы бежавшего. Лицо его скрывала темнота.

– Трус!

– Ноги побежали, товарищ начальник...

– Ты что, не хозяин своим ногам? Вздумали и побежали? – выкрикнул Семен. – Хозяин ты своим ногам или нет? Обратно! – гневно толкнул бойца в спину. –

Фамилия?

– Моя? – не сразу откликнулся мрак. – Шишарев, Шишарев...

Меньше минуты задержался Семен, а показалось долго, очень долго. Семен и боец, не видя друг друга, бежали рядом.

– На войне – бойся не бойся, а убей. Или тебя убьют. – Семен бежал, бежал и тот, другой, слышал он. – Сукин ты сын, Шишарев. Тебя расстрелять следует...

– Шишарев, Шишарев я... – потерянно бормотал боец, словно то, что он Шишарев, должно было все объяснить и оправдать.

Они задыхались от бега.

Несколько метров оставалось до отделения, усиленного бойцами, что пригнали лодки к переправе. Отделение окопалось за левым кюветом.

– Свои! – предупреждая крикнул Семен и прыгнул в окоп, накрыв кого-то. Но тот, на кого свалился, не расслышав или не сообразив в запале, в чем дело, резко вывернулся и схватил его за горло.

– Пусти... ч-черт!.. – задохнувшись, выговорил Семен. – Политрука задавишь.

– Виноват, товарищ политрук. Думал, фрицы обошли.

– Отделенного! – во весь голос крикнул Семен.

По цепи пошло:

– ...лен-ного-о!..

Отделенный оказался поблизости.

– Ребята на правой стороне как? Держатся? – спросил Семен. – Там же второе отделение?

– Правая-то и колотит по нас... – удивляясь, сказал отделенный.

– Странно...

Отделенного и Семена пронзило: немцы смяли отделение, занимавшее оборону справа от шоссе. И, словно в подтверждение, оттуда грянул автоматный стук.

Твердое уханье винтовок в ответ.

Немцы залегли, это можно было понять по тому, как они отстреливались – автоматные очереди стелились низко, совсем низко. Дрогнули, значит? Значит, не так уж и много немцев, раз отделение привалило их к земле, – мелькнула у Семена догадка. Догадка эта принесла облегчение, завладела всем его существом, пропало тягостное, напряженное чувство. Он даже подумал о том, что надо отогнать немцев от шоссе, чтоб дать дорогу машинам, выбиравшимся из города. Мысль эта держалась в голове, не уходила, становилась тверже, определенной. Ну что лежать? Все же кинуться через шоссе не решался. «Может, ждут немцы чего-то. Подкрепления?»

С бруствера шпарил по немцам пулемет – длинная очередь, короткая, пауза и снова очередь. «Лежать так – ничего хорошего, – продолжал Семен размышлять. – Кончатся боеприпасы в этой пустой трескотне, и накроют нас. В темноте как: попадешь – не попадешь. Ничего не дает такая стрельба. Пугать немцев нет смысла. Надо решаться. Немец удара боится. Прет, когда перед ним драпают. Вот и сейчас, залегли ведь...» И убежденность, что надо подняться и отодвинуть немцев от шоссе, все нарастала, подавляя сомнение, неуверенность.

– Слышите, политрук? – прервал отделенный его размышления.

– Слышу, ну. Немец бьет.

– Слушайте, слушайте. Вот!..

– Что – вот? – не понимал Семен, чего добивается от него отделенный Поздняев.

– А то, что по звуку выстрелов до фрицев метров четыреста. По секундам считаю. Вот!.. вот!.. слышите?

«Метров четыреста... – подумал Семен. – Метров четыреста пробежать под огнем... Попробуй поди! А все равно, придется. То же, что и лежать тут под обстрелом».

– Отделенный! Шуганем давай фрицев от шоссе. Побольше огня, побольше крику, и матерка побольше,

будто много нас, – побегут фрицы. А, Поздняев?

Отделенный помедлил с ответом, сказал:

– Не оторвем хлопцев от земли. Обессилели уже хлопцы.

«Но это надо сделать. Надо сделать», – сверлило в мозгу Семена. Сияясь перекричать несмолкаемое гроханье выстрелов, он выкрикнул:

– Коммунисты, вперед!

– Это почему ж только коммунисты? – почти над ухом Семена рассерженный голос Билибина, Ваньки Билибина. Семен хорошо знал Билибина. Перед самой войной был он выпущен из тюрьмы, сидел за ограбление. Как-то сказал он Семену: «Меня надо туда, погорячей где, товарищ политрук. Кровь чтоб пролить. Судимость кончится. Чистым хочу перед народом быть». Почему только коммунисты? – повторил громче. – А мы кто – не советские? А ну! – крикнул со злой торопливостью. – На ноги все!..

Как продолжение команды Билибина, раздался требовательный, подстегивающий голос отделенного:

– Слушай мою команду! В атаку! За мной вперед! – Отделенный проворно вскочил на бруствер. – За мной! Ура-а!!

Семен сдвинул шишечку предохранителя на автомате и рванулся из окопов. Не сразу перемахнул через бруствер, мешали гранаты на ремне, особенно

тяжелая, противотанковая. Он почувствовал сильную руку Билибина, подтолкнувшего его наверх.

А бойцы уже пустились прочь от окопов. Словно утратили чувство реальности, словно тела их – легкие, свободные – начисто лишены всего, неслись они на автоматные очереди, как бы и не подозревая о смертельной опасности, и ничего не меняло то, что рядом и впереди замертво падал один, другой, третий. Те, оставшиеся, продолжали бежать, будто и не видели этого. Ничто, казалось, не в состоянии помешать им, остановить их. Повинуясь непостижимой силе, возникшей из глубины их существа, они, должно быть, и сами ничего не могли поделать с этим, одно желание влекло их вперед – преодолеть расстояние в сто метров до шоссе, пересечь шоссе и промчатся еще столько-то метров по ту сторону шоссе.

– За мной!! – Бойцы не отступали от голоса отделенного. Некоторые уже обогнали его. – Ложись! – властная команда. И все кинулись на землю. С тонким свистом проносились голубоватые, зеленые, оранжевые огоньки пуль. Бегом! – Бросок вперед. – Ложись! – Топот на минуту стих. – Бегом! – Еще несколько метров убивающего пространства.

Семен слышал возле себя четкий, торопливый перестук крепких ног Билибина.

– Давайте, товарищ политрук!..

Билибин убыстрил бег. Семен тоже.

Семен нажал на спуск автомата. А навстречу уже простучала длинная очередь. Билибин, кажется, споткнулся, дернулся, задел плечом грудь Семена. И свалился, сначала на колени, потом рухнул лицом вниз. Обеими руками обхватил Семен отяжелевшее, потерявшее упругость, безвольное тело Билибина, приподнял, и ноги, только что уверенно бежавшие, не могли уцепиться за землю, подкашивались, подгибались. В ладони Семена лилось что-то теплое, липкое. Он приложил руку ко рту Билибина – дыхания не было. «Ванька, Ванька Билибин, – ударило в сердце. – Ты уже не узнаешь, что чист перед народом. Чист, Ванька Билибин, чист, товарищ мой...»

– Прощай, Ваня... Прощай, храбрый парень...

Семен догонял бойцов. Наскочил на труп, лежавший поперек, пробежал несколько шагов, и нога снова наткнулась на что-то мягкое, наверное чей-то мертвый живот.

– Антанас! – гремел совсем близко, чуть правее, голос отделенного. Голову пригибай, дура! Снесет!..

«А, – стало ясно, – это отделенный Антанасу Цвирке, высоченному, худощавому литовцу». Семен представил его себе. Бледное лицо Антанаса ничего не выражало, словно никаких чувств не испытывал, словно размышления не обременяли его. Такие лица

бывают только у святых, на иконах. И верно, пули, те, что поверху, не минуют его, если не пригнется.

Антанас не ответил, продолжал бежать, и стрелял, и стрелял.

Семен перебежал наконец через шоссе. Вот уже окопы второго отделения. Оттуда били автоматы немцев.

Семен вскинул руку. Руке не хватало твердости. Он напрягся и швырнул гранату, припал к земле, вскочил. Потом услышал исступленную ругань и крики, приглушенные выстрелами винтовок, и радостно догадался: бойцы ворвались в окопы.

Он настороженно повернул голову: там, у моста, нарастал и накатывался давящий гул моторов, словно ночь вдруг задвигалась и, раскачиваясь, гремела на ходу. Его охватило замешательство, почти растерянность, даже дыхание пресеклось. Он угадывающе всматривался туда, но ничего не видел, только гул, только гул, буравивший тьму, выхватывало его сознание. Танки определенно шли к переправе, грохот их движения хорошо был слышен. И по этому грохоту Семен соразмерял расстояние между собой и танками.

И в первый раз Семен надрывно выругался, и ругань эта выразила всю силу его ненависти, и обиды, и жалобное чувство своей беспомощности. «Обвел нас

противник! Отвлек от переправы сюда, на шоссе, и пошел в обход обороны. Мы отрезаны». Это был уже стон.

2

Рябов дернулся: словно в бедре торчал гвоздь и гвоздь тронули. Он вспомнил, когда танк был совсем близко, что-то жгучее впилося в тело. Конечно, пуля. Пуля. Тогда он и не подумал об этом. Напруженное тело, как железное, пока лежал, ничего не воспринимало, боли тоже. Но вот он двинулся и ощутил резкую боль. Он прикусил губу, чтоб не застонать. В смеженных глазах расплывались круги. Он полз наугад. Но ему казалось, что полз куда надо.

Он полз обратно, к блиндажу, неловко перебирая руками по пересыпавшемуся под ним песку, поддерживая эти движения ногами, согнутыми в коленях. Одно колено, левое, едва поддавалось, и когда подтягивал ногу, боль толчками отзывалась в груди, в голове. Он смотрел вперед, но ничего не видел. Оглянулся. Сзади, в свете подоженного им танка, можно было что-то разглядеть. Но и там, кроме клубившегося тяжелого дыма, рыжеватого снизу, ничего не было. И в дыму танк пропал. Но танк был, в дыму, подбитый. Рябов знал это.

Только сейчас испытывал он удовлетворенность сделанным; в ту минуту, когда бросил связку гранат, испытывал страх и необходимость метнуть гранаты, ничего больше, а сейчас, глядя на клубы дыма позади, почувствовал, что волна радости наполняла все его существо и осилила боль в левом бедре, и показалось, что в состоянии даже подняться. Подняться он не мог, и не пытался подняться. С головы свалилась каска, и в темноте Рябов не увидел, куда откатилась. Ветер студено охватил голову. Впереди и позади раздавались выстрелы.

Он сделал еще несколько движений, как бы пробовав, выдержит ли его песок. Песок оседал, разваливались гребни, которые надул ветер.

Рябов всматривался, вслушивался, куда повернуть. Руки ощутили траву. Теперь – понял – полз он по кромке луга. Он замедлился, потным лицом прижался к похолодевшей за ночь траве. Опять почувствовал резь в бедре, такую острую – не превозмочь. Он захватил зубами клочок травы, чтоб не крикнуть и утишить боль. Не дать боли овладеть им – это уже кое-что значит.

Стало ясно, дальше ползти не сможет, руки вялые, словно в них нет костей, колени еле сгибались. «Амба! – сдавался он. – Амба!» – кусал в бессилии кулак. Он ужаснулся от мысли, что тут и останется, один,

оставленный всеми. Его охватило гнетущее чувство жалости к себе. «Но это же невозможно. И что думать об этом! Ползти дальше, ползти...»

Он собрался с духом, чтоб поползти. Ничего не вышло. «Надо рукам дать отдохнуть, коленям тоже, особенно рукам. Если спокойно полежать минуты две, силы, может быть, вернутся», – успокаивал себя. Затаив дыхание, лежал он на животе, раскинув ослабевшие руки и ноги.

Сзади, оттуда, где ветер, подхватив клочья огня горевшего танка, метал их из стороны в сторону, слышался сухой автоматный треск. «По мне... Амба...» – вжимался Рябов в землю, сколько мог. Всегда кажется, что стреляют именно в тебя. И когда пуля пронесется мимо, с большим напряжением ждешь следующего выстрела – этот уже не промахнется. Так от выстрела до выстрела. Удивительно, никто не сходит от этого с ума.

Синие огоньки пуль ложились рядом с Рябовым. Синий огонек впился в бедро, в то же бедро, в левое, и он ощутил нестерпимое жжение, даже сердце остановилось. Автоматные очереди не прекращались, еще настойчивей, еще гуще пули ложились возле него. Уходить! Спасенье в этом, иначе и верно, останется тут, навсегда. Но он продолжал лежать. Он уже мертв? – странно подумалось. – Только мертвые

могут проявлять такую храбрость.

«Будет тебе! Кой черт душу мучить?.. Ничего плохого не произойдет. Ничего. Вот увидишь. Не бойся. Только не бойся. Вот увидишь. Ничего не произойдет. Ничего. Только не бойся...» – шепотом говорил самому себе. Надо же как-то успокоиться, побороть страх. Он очень мешает соображать. «Он очень мешает, учти это...» Но что может побороть страх? Благоразумие? Самовнушение? Вера в невозможное? Ложь? Что?.. Громко, чтоб утвердить себя, произнес:

– Без паники... Спокойно... спокойно...

Нет, они не могут внушить спокойствия, эти слова, в них не было крепости. И для лжи, чтоб отвлечься от истинной обстановки, тоже слишком они слабы. Но что-нибудь же надо делать!

Он вздрогнул: кто-то полз сзади, и слышно было хрипловатое дыхание того, кто полз. Свой?.. Немец?.. Тот настигал его, уже ткнулся каской в ногу.

– Какого дьявола разлегся, туды твою мать!.. – поравнялся он с Рябовым. После секундного молчания: – Пригвоздит, зараза, тебя и меня... Как ни есть, а пошли, пошли!..

У Рябова отлегло от сердца: спасенье! Теперь он не один, и кто-то с ним, живой, и поможет в случае чего. Он не знал ни имени, ни фамилии того, в каске. «Из тех, должно, присланных комбатом пулеметчиков...»

Подперев Рябова плечом, он подталкивал его.

– Подавайся на меня... подавайся...

Ухватив Рябова за руку, волочил его по песку за собой до мгновенья, когда, охнув, разжал руку. Он молча вытянулся возле Рябова. Рябов почувствовал у плеча, вдоль бедер, у ног всю длину как бы прижавшегося к нему красноармейца. Подождал несколько секунд, толкнул в бок, еще подождал, стал трясти. Красноармеец не шелохнулся, и Рябов вспомнил, что боец охнул, и понял: убит. Никогда не увидит Рябов лица, не узнает имени близкого товарища... Минуты четыре ползли они вместе, и четыре минуты эти соединили их на всю его, Рябова, жизнь, если еще суждена ему жизнь.

Он услышал голоса. Кто-то кого-то сердито посылал к ядерной матери. И еще раз рявкнул что-то про мать... И, напрягшись, Рябов потянулся туда.

– Дорогуши, сволочи! Бейте же из винтарей, чтоб костей, собаки, не собрали! Братушки! Нажимайте! Тю!.. – безнадежно. – Дерьмо в касках! Надейся на сморкачей!

Рябов узнал голос: Гарри Пилипенко. Обрадовался. Хотел окликнуть Пилипенко, но получился глухой хрип. Да тот бы и не услышал, если б и крикнул. Протрещала пулеметная строчка. «Немцы наседают, – понял он, – и Пилипенко с ребятами сдерживают их».

– Сянский! Не вертись возле моей задницы! Подавай ленту! Ленту!

«А, Сянский... а, Сянский! – вдруг дошло до Рябова. – Как он тут оказался? Рыбальский где же? – Он не в состоянии постичь, что происходит. – А Полянцев?.. Да и Пилипенко не на месте где ему быть. Может, обстановка потребовала, и Писарев быстро передвинул его сюда?..»

Пулемет Пилипенко строчил, пулемет строчил.

Рябов не помнил, как добрался до Пилипенко. Он почувствовал на плечах сильные его руки. Он будет спасен, это точно, он, может быть, еще вернется к своим девочкам, надо же вырастить их.

Он успокоился, рядом Пиль, даже раны в бедре не так давали себя знать.

3

– Немец! Не-мец!!

– Орешь, слушай, зачем? – Ваню сжал кулаки. – Почему, слушай, оборону бросил? Приказание было, да?

– Так немец же!.. – повторял насмерть перепуганный голос. – Прет же... А я что с ним сделаю?

Ваню представил себе ефрейтора Шуранова, круглолицего, с выпуклыми и красными, как две разрезан-

ные половины арбуза, щеками, с широкой челюстью.

– Ну – немец, и что?..

– Прет, спасу нет... – срывающимся голосом настаивал Шуранов.

– А ты – для чего, слушай?

– Так не берет его огонь, – растерянно продолжал Шуранов. – Лезет, не приведи бог!

– А Горелов – что?..

– Горелов и послал сказать, что не сдержим. Надо отходить...

Окопы отделения ефрейтора Шуранова, выдвинутые вперед, в двухстах шагах от траншеи, прикрывали ложину, выходящую к берегу. Ваню послал туда, к Шуранову, помкомвзвода Горелова. «До последнего, – наставлял Ваню Горелова. – Помотайте его сколько сможете. А прорвется, с нами тут, перед траншеей, почиается. Пока нам не прикажут отойти. В ложину и к берегу не пустим». И вот – ефрейтор Шуранов: «Надо отходить...»

Ваню терял терпение.

– На место! – повелительно крикнул Ваню. – Ползи!

– Духу уже не хватает. Ей-богу...

– Мозоли на животе натер, да? – процедил Ваню сдавленным до шепота голосом, словно не хватило дыхания, чтобы кричать, и в шепоте этом отчетливо слышались злость, гнев, угроза: вот-вот с кулаками

набросится.

Шуранов протяжно вздохнул, пополз обратно, к окопам своего отделения.

Из рожи стукнули орудия, несколько снарядов разорвались в середине луга. В отсветах горевших танков Ваню было видно, как Шуранов грузно полз, как вдруг зачем-то шарахнулся вправо, потом подался вперед, потом влево, и снова вправо. «С ума сошел? – злился Ваню. – До сих пор не знает: когда бьют снарядами, бежать зигзагом пустое?..» Шуранов опять ринулся влево, опять повернул в сторону и залег, словно то место заговорено от пуль, от осколков и всего другого, что несет смерть. Ваню приподнялся над бруствером, удивленно посмотрел, где укрылся Шуранов, и в то же мгновение как раз там разорвался снаряд. Ваню даже пригнулся, ослепленный вспышкой разрыва. «Пропал!.. – подумал о Шуранове. – Умер с полным пузом страху. У трусов всегда так...»

Теперь и Ваню увидел: немцы бежали к окопам, где находился помкомвзвода Горелов. Бежали на пылавшие перед окопами танки, и когда приблизились к ним, их освещенные пламенем фигуры были похожи на двигавшиеся костры, они отдалились и погасли в темноте. Бойцы открыли огонь. «Вот-вот, Горелов! Правильно, Горелов! Вот так и надо, кацо!..» тор-

жествовал Ваню. Немцы залегли. Вскочили, опять понеслись.

«Почему там пулемет молчит? – выходил из себя Ваню. – Почему не сечет пехоту?..»

Немцы огибали окопы отделения. Только пулемет мог остановить наступавшую цепь. «Ворвутся в лоцину, трудней нам будет, совсем трудно».

Ваню еще не сообразил, как ему быть, – поодаль от танков, тех, окутанных огнем и дымом, показалась громадина с длинным прямым хоботом, выставленным перед собой, и на броне увидел Ваню десант. Громадина двигалась к лоцине.

– Самусев, слушай! Держи оборону! Ни шагу назад! А я с гранатой. Да?..

Ваню выбрался из укрытия и торопливо пополз.

Он все делал порывисто, Ваню, подчас сумбурно, как и говорил. Всегда кидался вперед, Ваню, даже тогда, когда и не следовало бросаться. Такой уж он, Ваню.

Он поравнялся с воронкой, ставшей могилой Шуранова. Земля тут еще пахла порохом. И какая горячая она, земля! Еще не остыла от разорвавшегося здесь снаряда. В воронке и подождет Ваню танк. Он следил, как машина приближалась, медленно так, так медленно, умереть можно. Нетерпенье не давало улежать, и он ворочался с боку на бок.

Вано отвел руку с противотанковой гранатой, тяжелой-тяжелой. И как добросишь ее до танка, если рука дрожит, дрожит, проклятая! «Доброшу! Доброшу!» – убеждал он себя, и верил, что добросит, и знал, что добросит.

Танк вдруг изменил направление, просто издевался над ним, над Вано, и это взбесило его, Вано, и он метнулся танку вдогонку, во весь рост, не пригибаясь даже.

На танке, наверное, заметили Вано и старались достать его автоматными очередями. Цвик... цвик... цвик... Он бросался на землю, вскакивал, бежал, снова растягивался на земле, не выпуская из рук гранату. Пули, пули... Шевелился песок... Засыпал глаза... Пули, пули...

Танк отдалялся.

«Хитрит фриц... Выманивает из лощины? Нашел дураков!»

Вано раздражался: какого черта пулемет молчит? Почему молчит пулемет? На него и надежда...

Он решительно повернул к кустарнику, туда, к пулемету.

Он смежил веки – в глазницы натекал пот, скатывался на щеки, на губы, соленый, горчичный, обжигал глаза, схватывал горечью рот.

Вано добежал до кустарника. На кустарник падал

отдаленный отсвет горевших танков, и оттого казалось, что ветви, листья подернуты слабым и долгим огнем. Пулеметчик припал к земле, опираясь на согнутые в локтях руки, и бормотал ругательства.

– Зачем, слушай, не стреляешь?

– А стрелять чего? – не оглянулся пулеметчик. – Лежат же фрицы, мать их так, вставать не хотят, – обрывал он свои ругательства.

Так вот почему пулемет молчал!

Рванула ракета. «Дурак немец, раскрывает своих», – Ваню и в самом деле увидел залегших солдат, и каски, будто булыжники разбросаны по лугу.

– Во! – восторженно пулеметчик. – Кинулись! – Он ухватился за ручки затыльника, пулемет застучал.

Короткая очередь – длинная очередь – короткая очередь... Лента, пустея, ложилась на землю.

– Давай! – ожесточенно гаркнул пулеметчик.

Второй номер, невысокий, сухонький боец держал ленту наготове.

Длинная очередь. Очень длинная. Не было ей конца.

Немцы рвались к ложине, не обращая внимания на пулеметный и винтовочный огонь. «Сомнут... сомнут нас...» Ваню охватило беспокойство.

– Строчи, кацо! Строчи, да? – волновался Ваню. – Оставляю тебе противотанковую, – проговорил быст-

ро, словно опасался, что не успеет сказать. – Тебе граната нужней, чем мне. Кончатся ленты, рви гранатой. Понял, да?

Пулеметчик как бы и не слушал Ваню. Он был весь в работе, требовавшей неимоверного напряжения, за пала, ненависти, всего, что есть в тронутым болью сердце, в возмущенном сознании, в мускулах человека.

– Давай! – снова выпалил он. – Ленту!

– На, на, – слабым голосом пропищал невысокий, сухонький боец второй номер.

Ваню ринулся обратно, к траншее. Откуда-то сбоку щелкали автоматы. Он не заметил, как пробежал эти двести шагов, отделявшие кустарник от траншеи.

– Самусев! Самусев! – позвал Ваню.

– Я! – откликнулся Самусев. – Танк было попер сюда, а развернулся и от нас.

– Видел тот танк. Рядом был. Что-то мудрит фриц!

Там, возле кустарника, где был пулемет, будто земля провалилась, грохнул оглушительный взрыв. «Ясно. Моя, противотанковая», – пронеслось в голове, и Ваню понял: это последнее, что мог пулеметчик сделать.

Потом за бруствером слышался сбивающийся топоток, кто-то бежал, спотыкаясь, бежал и останавливался, бежал и останавливался. Ваню держал авто-

мат наготове, напряг слух.

– Ваню... взводный... Ваню...

Ваню опасно приподнял голову.

– Скорее, – торопил он бежавшего. – Скорее!..

Тот, заваливаясь на один бок, на другой, протяжно застонал в ответ, должно быть, его настигла пуля. Он ступил уже на бруствер и как бы окаменел, не в состоянии сделать еще один шаг. «Накрылось отделение». Все в Ваню похолодело.

Он протянул руку и втащил бойца в траншею. Больше ничем не мог ему помочь. Теперь, по крайней мере, пули не будут впиваться в его еще живое тело, уже неспособное ни двигаться, ни укрыться от опасности. Это был второй номер – тот самый, невысокий, сухонький боец. Весь мокрый и липкий, он почти не дышал.

– Что там, говори!.. – тряс Ваню его за плечи.

– Все-е-е... – прохрипел боец. – Гранато-ой...

– Что все? – продолжал его трясти Ваню, хоть и понимал, что имел в виду сухонький, невысокий.

– У...би... – еще успел невнятно пробормотать боец. И затих.

Немцы, значит, все-таки ушли из-под пулеметного обстрела. Во всяком случае, те, что бежали к траншее. Слышно было, пули вонзались в бруствер, в заднюю стенку траншеи.

«Спокойно, Ваню, спокойно, – убеждал он себя и сердито усмехался: – У Ваню разве выйдет спокойно?» Нетерпенье брало верх, и он уже было раскрыл рот, чтоб приказать: в контратаку! «Не горячись, Ваню, ну не надо, Ваню, упрасивал себя. – Ваню, ладно, может поступать как ему взбредет. Но у Ваню взвод». И, пересилив себя, громко крикнул:

– Приготовиться! Петров! Оба Петрова! Скворцов! Тухватуллин! Анисимов! И Клязин!

Темные фигуры возникли по обе стороны Ваню. Зажали винтовочные затворы.

– А Клязин?.. Ты где, Клязин?.. В штаны наклали?.. Я тоже наложил полные штаны, не думай. А обороняться придется...

Рядом кто-то рванул затвор, вогнал в ствол винтовки патрон. «Клязин...» – догадался Ваню.

– Рассредоточиться!

Торопливый перестук ног. Направо, налево.

– Самусев! – дернулся Ваню. – Сколько в твоём отделении? Четверо? Вали на правый... Фрицы могут повернуть на правый фланг... Ищут же слабинку, да? Вали!..

Четверо, пригнув головы, побежали по траншее.

Цвик... цвик... цвик... Немцы уже близко. Цвик... цвик... Песок с бруствера, будто ветром сдувало, порошил лицо. Ваню протирает глаза, но резь не прохо-

дила.

«Заставлю фрицев залечь, да? – Но мысль эта не убавила тревоги. Заставлю залечь. На две-три минуты задержу их продвижение. Две-три минуты, как-никак – время». А что это даст? Что изменит? – вдруг подумалось. «Не знаю. Не знаю... А все-таки время, да?..» Он сознавал: положение безвыходное. Пусть. Так, задаром, он им не дастся. «Ты, фриц, еще нарешься у меня земли». И требовательно крикнул:

– Тухватуллин! Приготовить гранату!

И еще тверже:

– Клязин! Гранату!

Решительный тон Ваню должен был придать бойцам чувство уверенности. Он и сам услышал в своем голосе нотки надежды, которой у него уже не было.

– Кидай!!

Гранаты ахнули одна за другой. Из траншеи видно было: вспыхнули огненные кусты и клочковатое пламя метнулось вверх, потом вниз, как бы придавленное тьмой.

Автоматный треск прервался. «Залегли, собаки!» – успокоительно стучало в груди. Ваню показалось даже, что беда отведена. «Может, отобьемся?»

Близко снова раздались раскатистые очереди противника.

– Петя Петров убит! – надрывно крикнул Петров,

Миша, узнал его Ваню.

А немцы лезли, лезли вперед. И где их взялось столько?

Еще вскрик, мученический, короткий.

– Клязин? – встревожился Ваню. – Клязин!

Клязин не откликнулся.

– Мертвый уже. На мой спина свалился. Совсем упал, – жестко вздохнул Тухватуллин. – Совсем, думай, убит.

Ваню уже не слушал, его отвлекли немецкие автоматные выстрелы рядом с собой. И он дал очередь, вторую, еще...

Он нажимал на спуск, нажимал на спуск – автомат молчал.

Кончился диск, последний.

– Винтовку!! Хоть Петрова! Хоть Клязина! Быстро винтовку!!

Тухватуллин сунул Ваню чью-то винтовку и подсумок. Ощущение спасительной тяжести в руках вернуло ему уверенность.

Выстрел. Выстрел. Обойму за обоймой выхватывал Ваню из подсумка, заряжал винтовку и стрелял, стрелял, как только в темноте обозначалась цель.

– Ой! – вскинулся голос, не то растерянно, не то испуганно.

– Что?! Скворцов?! Что?! – «И этому пришел ко-

нец?»

– Приклад пулей перешибло... – виновато проговорил Скворцов, будто сам винтовку расколол. – Гранатой дам сейчас...

Но гранату швырнуть не успел.

Выстрелить Ваню тоже не успел.

Немцы метнули гранаты. Ваню и Скворцов шлепнулись на дно траншеи над бруствером вскинулось пламя и чиркнули осколки. Ваню упал на спину и, когда убрал руки от лица, снова зажмурил глаза: резко сверкавшие звезды в небе показались ему множеством осколков – вот-вот бухнутся вниз. Будто тугой мешок кто-то бросил в траншею, тяжело свалилось живое, злобно напрягшееся тело.

– Немец!

Под ударом сапога голова Ваню отклонилась назад.

– А! – Не от боли крикнул Ваню. Боли он не ощутил, словно со стороны смотрел, как чей-то сапог врезался носком ему в подбородок. Он сглотнул кровь, наполнившую рот.

Он оказался перед темной глыбой, свесившейся над ним. Отворотив приклад винтовки, Ваню подался головой вперед, готовый ринуться на глыбу и в то же время увернуться от возможного удара. «Немец без автомата, мелькнуло в сознании. – Обронил, видно, когда падал...» В отсвете огня, полыхавшего в сторо-

не, над траншеей, Ваню разглядел немца. Высокий, толстый. Он склонился, угрожающе вобрав голову в плечи, раздвинув локти. Перед глазами Ваню белели скрюченные пальцы немца, – он старался изловчиться и схватить Ваню за горло.

Примериваясь, стояли они друг против друга, и, наверное, ни тот, ни другой не могли отличить своего дыхания от дыхания чужого. «Так, слушай, долго продолжаться не может, – лихорадочно соображал Ваню, – кто-то кого-то должен свалить. Свали его, Ваню...» И, собрав силы, Ваню прикладом двинул немца в бок, даже руки занули. Сшиб немца. Сшиб!

Ваню не успел перевести дух, как тот вскочил, выпрямился, взмахнул руками, словно в воду бросался, и, высокий, толстый, снова бросился на Ваню. Ваню не выдержал тяжести, ноги подломились, он упал. Немец накрыл его своим широким телом, сомкнул руки на горле Ваню и сдавливал, сдавливал. У Ваню преклось дыхание, и его охватила слабость. Он почувствовал, какие у немца сильные и цепкие пальцы.

Ваню все-таки выдернул руку из-под немца. Уперся ладонью в землю, приподнял плечо и пробовал скинуть его с себя. Не получилось. Немец плотно стиснул его, густо дышал кислым ему в лицо, дышал часто, толчками, грудь немца, чувствовал Ваню, подымалась и опускалась. Подогнув колени, Ваню уткнулся немцу

в живот. Силы еще были, но долго держать так колени он не сможет, немец снова его подомнет. Сделав последнее усилие, Ваню сбросил с себя немца. Он уже стоял, покачиваясь, на широко расставленных ногах. Одновременно рванулся с земли и немец. Не давая немцу опомниться, Ваню вцепился ему в ноги, ниже колен, и тот свалился. Сжав кулак, Ваню двинул в правую скулу, в левую скулу, еще раз, еще раз, и еще раз, и потерял счет. Потом нашарил выпущенную из рук винтовку, неловко, как вышло, выстрелил. Немец дернул плечами, головой, всем телом и затих. Он больше не двигался, он лежал, подобрал под себя ноги и выбросив вперед руку, словно все еще хотел дотянуться до Ваню.

Вспыхивали ракеты, и бледный свет вырывал из темноты то один, то другой кусок траншеи.

В траншее все еще дрались.

Ваню кинулся на крик Анисимова. Обхватив немца, он клубком перекатывался с ним в темноте траншеи. Анисимов хрипел, немец хрипел, у кого-то из них булькало в горле, словно захлебывался. Ваню выждал секунду – перед глазами спина немца, и голова, с нее свалилась каска. Со всего маху опустил Ваню на голову немца приклад.

– Не лезь, слушай, куда не звали, сволочь-Гитлер! – прорычал, и опять прикладом. – На моей земле толь-

ко мне жить! – Удар, удар. – Я тебя, слушай, и с того света достану и еще раз убью! Обязательно, слушай, убью! Вот как сейчас... – дышал он прерывисто, тяжело.

Анисимов вскочил на ноги, схватил винтовку, выретенную им, когда немец его подмял, он нетвердо держал ее в трясущейся руке. Растерянный, не двигался с места.

– Ты сдурел, слушай? – прошипел Ваню. – Сдурел, да? С одним фрицем чикаться столько, когда их куча вон!..

Анисимов не откликнулся, слышно было, рванул затвор винтовки и побежал по ходу сообщения, где смешались матерная брань и немецкие ругательства.

Кто-то встревоженно дернул Ваню за руку.

– Взводный!.. Ваню!..

Тухватуллин?

– Немцы!.. лазай!.. наверх!.. Спасай надо дело!..

– Лазай?.. Наверх?.. – Ваню не мог, не хотел поверить, что немцы обходили лощину и по гребню спустились вниз, вырывались к берегу. «А огневая точка Леонченко, Мити Леонченко, прикрывавшая лощину! Смяли? А Татировский где? Убит? Где он?..» И почему раньше не пришло ему в голову, что может так случиться! Спасать надо дело! Спасать надо дело! Спасать!.. Иначе какого черта нужна была огневая точка

и сама траншея? И, значит, напрасна смерть товарищей? Будто прикорнули, они лежали у стенки траншеи он еще не знал кто.

Ракеты широко открывали пространство. Теперь Ваню видел их, убитых. В двух шагах от него лежал Петров-второй, Миша, чуть дальше – Скворцов, Анисимов, и еще, и еще, и убитый раньше невысокий, сухощавый боец – второй номер пулеметного расчета... Лица у всех одинаковые, слабого лимонного цвета, тихие, спокойные, словно не они только что матерились, кричали, колотили немцев прикладами по головам, по ногам, куда попало.

– За мной все! – Ваню кинулся по ложине к берегу. – Тухватуллин! Прикрывай «дегтярем»!

Ваню слышал за собой быстрый топот бойцов. Они должны успеть выйти к берегу раньше, чем немцы спустятся с гребня вниз.

Опять холодным пламенем сверкнула ракета. В ее безжалостном свете отчетливо проступила ложина и видны были бойцы, бежавшие по ложине. Вслед им раздавались пулеметные очереди. Ваню оглянулся: бойцы падали и не поднимались. И Тухватуллин, увидел он, тоже упал, навзничь, и тотчас оборвалась строчка его ручного пулемета.

Ракеты погасли, а другие еще не успели воспламениться, и в эти секунды темноты Ваню и те, что уцеле-

ли, переползали и перебежали.

– Ходу! Ходу! – бился в лощине нетерпеливый и настойчивый голос Ваню. – Ходу!!

Ваню выскочил из лощины на берег. Несколько немцев уже взобрались на гребень, побежали, тени их спускались по склону. Они уже ступили на прибрежный песок. «Один, два, три, четыре...» Ракета повисла над ними, над Ваню, и все залила белым светом. Ночь стояла теперь далеко, справа и слева от света ракеты. «Пять, шесть, семь...» – лихорадочно считал Ваню. Он вскинул винтовку, выстрелил. Еще раз выстрелил, еще раз. А по гребню двигались каски, каски, каски, каски... Проклятые каски! Проклятые каски!..

4

До Андрея доносился странный шум слева, и он вслушивался, но ничего толком не разобрал. Надо разведать... На войне все подозрительно, во всем опасность. Не знал он, что на танках, подбитых Рябовым и Писаревым, был десант, и когда под машинами раздались взрывы, солдаты, которым повезло и они остались живы, бросились в сторону от огня – в ивняк. Ивняковые заросли тянулись к траншее и дальше, по откосу, и к берегу.

– Тимофеев!

– Я!

– Прoberитесь в лог, поближе к ивняку, понаблюдайте. Неладно что-то...

– Есть пробраться к логу.

Нетвердый свет лампы-гильзы падал на Тимофеева. Ему под сорок. Замкнутый, что-то трудное чувствовалось в его судьбе. Молча исполнял он приказания, говорил без всякого выражения, и потому плохое и хорошее выходило у него одинаково.

Андрей задержал взгляд на желтых, как пальцы курительщика, глазах, казалось, ко всему равнодушных: разmozжи ему сейчас голову, он и не шевельнется. И вчера, и позавчера, и раньше, глаза Тимофеева ничего не выражали, и можно было подумать, что в них неотступно стояла смерть, что он примирился с мыслью о ней, как только пошел на войну, и ему уже ничего не страшно. Это же совсем нечеловеческое, когда не страшно, – сжалось сердце Андрея.

– Поняли задачу? – быстро спросил.

– Понял, товарищ лейтенант, – спокойно произнес Тимофеев. – Разрешите выполнять.

– В случае чего, лимонкой! Возьмите с собой: вам, чтоб отбиться, и мне будет знак. Сигнал отхода знаете. Три красных ракеты. Выполняйте!

– Есть.

Тимофеев мешковато шагнул к выходу. Андрей

смотрел ему вслед и тоже вышел из блиндажа. Тимофеев двинулся зарослью. С полминуты Андрей еще слышал, как крупное тело Тимофеева раздирало кусты. Потом все пропало – и отдалявшиеся шаги и стихавший треск в кустах.

Тимофеев держал винтовку перед собой и протискивался сквозь кустарник – весь напряжение, весь слух, весь внимание. Он двигался осторожно, хоть ничто не выдавало опасности. Только ветер перебирал редкие уже листья на ветках, только приглушенный звук его крадущихся шагов. Он продолжал двигаться осторожно и когда, казалось, окончательно уверился, что все спокойно. Он приблизился к логу. Постоял, вслушался: ни голоса, ни шороха даже; он стоял и вслушивался... Грохот боя раздавался гораздо правее, в километре, что ли, отсюда, у Рябова, у Ваню.

Тимофеев повернул было обратно, как хлопнул выстрел. Ф-ть! – успел услышать и почувствовал сильный толчок в спину. Голова качнулась назад, ноги не удержали его и он навзничь повалился в лог. Пробовал приподняться, немного, чтоб взглянуть, откуда пришел выстрел, но ничего не получалось, и, ослабевший вдруг, продолжал лежать в логу. Он прикрыл глаза, вслушивался: ветер трогал траву. «Из ивняка выстрел. – И как бы отзываясь на собственную мысль: – Точно, из ивняка. Заметили, гады», – не сомневался

он.

Он не выпускал винтовку из рук, слишком тяжелую теперь, и не удержать. А удержал, прижался щекой к прикладу, хотел надавить на курок, но палец недвижим в спусковой скобе. «Хорошо, что лимонка. Отплачу гадам!»

Он поводил раскрытым ртом, чтоб глотнуть воздух, но воздух словно отошел отсюда. Наконец вздохнул, вздох получился слабый, будто и не вздох.

Тимофеев пересиливал себя, чтоб не вскрикнуть. «Не в сердце, в левую лопатку, это точно. Иначе б... – проглотил комок, застрявший в горле. – Да ничего, не надолго это. – Он вдруг испугался своей мысли. Мысль была неопределенной, возникла так, просто, чтоб не думалось о другом, худшем. Тимофеев вздрогнул: – А что не надолго? – ждал ответа от самого себя, хоть и понимал, что именно имел в виду. – Ну что не надолго? – Он собрал все свое мужество. – Ясно же – жизнь, вот что». Но не мог представить, что не поднимется и не пойдет или не поползет обратно, в траншею. Выбраться из лога, проползти малость по кустарнику и – траншея. «Это из-за боли пришло в голову, что жить осталось недолго, – не очень определенно подумалось. Что ни говори, а дельная штука жизнь. Кому не жаль расставаться с жизнью? Если и плохо живется. Каждому жаль». И ему тоже жаль, мо-

жет, больше, чем кому другому. Тут и объяснять ничего не надо.

«Но отсюда уже никуда не уйти, – остановил он мысль, да и думать уже было не о чем. – Смерть, вон она, за логом, в ивняке. Поползти бы...» Совсем же просто – ползти. А лежит... И не повернуться, как пришел кто к земле! Силы покинули его, это он чувствует. Даже пальцами не пошевелить. Черт возьми! Неужели эти руки, в которых уже никакой твердости, сажали деревья, клали кирпичи, сжимали топориче и еще многое другое делали, неужели не в состоянии они оттолкнуться и выползти из проклятого лога?.. не верилось. И лог неглубокий. В самом деле, еще выстрел, и все. Оттуда, из ивовых кустов, нельзя не попасть. И попадут, если выстрелят. А выстрелят, это верно. Он вдруг понял, что боится умереть здесь, в логу, в стороне от всех. И дернулся, одолел метра полтора и в беспомощности приник лицом к земле.

Ветер перебирал волосы на затылке. Тимофеев очнулся, кое-как повернулся на спину. «Не уйти. И пробовать не надо, – смирился он. – Они тоже не уйдут отсюда. Те, что меня убили!..»

Опять подумал о лимонке и испытал тихую радость – он оплатит им, гадам, и здорово оплатит, пусть там, в ивняке, проживут еще несколько минут, теперь торопиться ему и незачем. Надо прислушаться, уста-

новить надо, где и что – и лимонкой!..

Боль держалась, туго прищемила спину, грудь и не отпускала. Глаза смежились, и он испугался, что не откроет их. Но глаза открылись. Он всматривался в сторону, откуда шлепнул выстрел. Ничего не было вокруг пустота, только звезды над самым лицом.

Все в нем выжидало: что же дальше, что будет дальше? «А ничего дальше...»

Лог, кусты, немцы в кустах, выстрел в него, траншея позади, все как-то поблекло, отодвинулось, словно ничего этого нет и вызвано игрой воображения. И память почему-то выдавила из себя что-то давнее, приглушенное годами, и это приблизилось к нему и застигло врасплох, и был он уже в другом времени и в той беде, которую лучше не вспоминать. Семья Тимофеевых тогда, в двадцать девятом, собиралась в колхоз, а ее раскулачили: разорили двор, отобрали дом. Раскулачили и с другими односельчанами увезли за тысячи километров от родного края, выгрузили на далекой станции Уш-тобе. На грузовике доставили в солончаковую степь: «Здесь стройтесь». Это значило – копать землянки. Выкопали, стали работать, жить. Конечно, выжили. А чего б не выжить? Потом выяснилось, что Тимофеевы никакие не кулаки, их вернули в свое село. Пришлось начинать все сначала. Трудно, трудно было жить. Теперь, здесь, на войне, не хо-

телось верить, что было это, и он пытался понять, что привело все это сюда, в лог под ивняковыми зарослями, когда ему и так плохо, совсем плохо. Значит, не умеет он выбирать из прожитого то, что стоит удержать в себе, пустить внутрь, – нет, не умеет, значит. «Пустишь яд, змею, отчаяние, сомненье, тогда, считай, пропал. Это источит тебя, а потом убьет. Надо быть разборчивым в таком. Осторожней, хочешь сказать? – с издевкой обратился к себе. – И это...» Словно не о своем несчастье подумалось, – о несчастье другого, все-таки стряхнул с себя вспомнившееся – лишнее, ненужное, мешавшее сейчас. В самую неподходящую минуту пришло это и здорово мешало ему вести себя мужественно.

Мужественно вести себя значило, по его теперешним представлениям, спокойно идти навстречу гибели, если другое уже невозможно. Он понимал, что другое невозможно. На войне такое вполне обыкновенно. Вполне обыкновенно. Он подавлял в себе то, что было сильнее его – желание жить во что бы то ни стало, и не смог подавить. «Можно же и спастись, – не очень убежденно раздумывал он. – Убить тех, в ивняке, а самому выручиться. Что-нибудь предпринять...» Боль стукнула в голову, и думать стало трудно. Просто из тела выходила кровь, потому и боль. Он провел рукой по земле возле себя, и рука ощутила, что земля

мокрая. «Кровь... А когда кровь выходит, всегда больно...» Но он не мог перестать думать, как быть дальше. «Конечно, если тихонько отползти и податься кустарником к берегу, то все было бы в порядке... Все было бы в порядке. Только бы до берега...»

Почти над самым ухом опять просвистело: ф-ть...
Еще раз: ф-ть...

– Я крепкий, меня одной пулей не возьмешь... – прохрипел Тимофеев. Меня убить одной пули мало...

Он услышал: щелкнул затвор; насторожился. Потом до сознания дошло, что это он отвел затвор и, щелкнув им, вдвинул на место. Превозмогая боль, прижал к себе приклад винтовки и, не спеша, словно впереди у него вечность, выстрелил. Подумалось, без винтовки было бы ему совсем одиноко, винтовка намного смягчает одиночество, это здорово, что возле – винтовка, просто здорово, это вправду здорово. Когда у человека случится вот так, как у него, он начинает особенно понимать, что винтовка лучший друг, и верно, нет чувства одиночества, – рассуждал Тимофеев сам с собой.

Он потянул затвор на себя, на землю выпала гильза. Снова двинул затвор, дослал патрон. Он собирался выстрелить еще, и не смог. Рука стала неповоротливой. Он почувствовал, что окончательно ослабел. Жить трудно, жить всегда трудно, что ни говори, –

качнул Тимофеев головой, – а умереть обязательно должно быть легко, если по-справедливому. Почему же ему и умирать трудно?.. В груди будто кто ножом ворочал, больно, больно! Пуля пробила спину и прошла к сердцу. Совсем несправедливо, мучиться, мучиться и – умереть. А он умирал. И понимал это.

Он снова закрыл глаза, в них вошел спокойный мрак, и посторонилась боль. Пуля под самым сердцем, и не больно, – не то удивился, не то обрадовался он, – и стонать не приходится, и ничего такого страшного не видится ему, будто спать улегся в логу, проснется, и все опять будет хорошо. Он уже не ощущал себя, все в нем было пусто – ни костей, ни мыслей, ни желаний. Он почувствовал потерявшие удары сердца. На войне легко умереть – счастье, и, спасибо, – хоть это выпало ему на долю.

Он разомкнул веки.

«Лимонка... лимонка... Где же... лимонка?.. – мучительно припоминал. Вспомнил, в кармане. Медленно, с усилием повернулся, сунул руку в карман. – Ну да. Вот она». Тимофеев ощутил рубчатые квадратики лимонки.

Ничего не видно. Совсем ничего не видно. Он понимал, что может промахнуться – ничего не видно. Но лимонка у него одна, на этот раз нельзя промахнуться – нельзя же умереть так, за будь здоров! Конечно,

как бы ни получилось, а лимонка сделает свое дело: даст ротному знать, что действительно тут немцы, и тот сообразит, как поступить.

Кустарник – вон, в нескольких шагах.

Цепенеющие пальцы никак не могли выдернуть кольцо. Дернул зубами, еще раз дернул. Не поддавалось кольцо. Поднатужился, опять дернул. Выдернул!

Опираясь на локоть, приподнял голову, медленно отвел в сторону руку для броска. Он вкладывал в эти движения всю оставшуюся силу. И швырнул гранату.

Над миром, озарив все небо, всю землю, все на свете, пронеслась громкая, яростная вспышка. Это еще успело схватить, как последнюю радость, меркнувшее сознание Тимофеева.

5

Немцы вынырнули из темноты и выгнувшейся цепью тронулись в направлении, которое прикрывал Данила. Он отчетливо разглядел их. Справа от двигавшейся цепи немцев горел танк, раз за разом раздавались взрывы. «В танке, видно, все как следует – полный комплект боеприпасов, – насмешливо подумал Данила. – И рвутся!» Слева тоже горел танк. Огонь тяжелыми красными клубами валил вверх, в стороны, и оттого все, и воздух, и небо, облака в небе, и деревья,

трава, песок, стлавшийся до бруствера окопа, приняли красный цвет, и бегущие фигурки немецких солдат казались красными.

Данила бил из пулемета, бил длинными очередями, длинными очередями...

Фигурки вырастали, становились выше, темнели, потому что пламя горевших танков было уже позади них. Фигурки бежали прямо на Данилу, припадали к земле, снова бежали. Данила еще раз нажал на гашетку. Получилась короткая очередь. И пулемет умолк.

– Ленту! Ляхов, ленту!.. Ленту!..

Данила вставил в пулемет новую ленту, положил палец на гашетку. Гашетка легко подалась, и – длинная-длинная очередь.

– Рус! Коншай дело! Дело твой пльох! Коншай!.. – гортанный голос откуда-то снизу, тот, кто выкрикивал это, должно быть, лежал.

– От, курвы! Прижал их к земле, и мне же кричат, что дело мое плохо. От, курвы!.. – давил Данила на гашетку.

– Рус...

– А хрена лысого не видел? – огрызнулся Данила. – Ленту, Ляхов! Ленту!..

– Данила, не шебутись, – просительно сказал Ляхов. – Бей короче. Ленты кончаются.

– Чего? – озадаченно взглянул Данила на Ляхова. – Как так? – И тут же забыл, о чем сказал Ляхов.

Данила втолкнул ленту в приемник и опять без удержу пускал очередь за очередью.

– Ленту-у!.. Слышь?..

– Последняя была, Данила...

– Чего ты мелешь?

– Последняя...

– Последняя?..

Данила поразился, словно этого быть не могло, он постигал смысл того, что говорил Ляхов. Сейчас, когда немцы подошли так близко к окопу, последняя лента? «Ах, дурень старый! Дурень... Конечно же и ленты имеют счет». Разве можно было палить, ни о чем не думая? «Что ж ты наделал, Данила? Пропадать теперь...» – почти простонал он от жалости к себе, к Ляхову. Он отер пот со лба, хотя было совсем не жарко. Из-за спины ночной ветер нес речную прохладу и шевелил над окопом песок.

Данила вспомнил, утром положил в карман несколько патронов.

– Вытаскивай из карманов, – решительно произнес, словно был уверен, что у Ляхова в самом деле карманы полны патронов. – Есть у тебя? Все до одного, вытаскивай. – И бережно, как крошки махорки или хлеба, вытащил из карманов патроны. – Возьми вот,

пять штук, еще два, и вот еще. Набивай ленту. Еще вот четыре. На одну очередь, на какую-нибудь совсем короткую, выйдет. Быстрее, Ляхов!..

Немцы, прижатые пулеметом Данилы к земле, лежали, пуская несчастные автоматные строчки. «Не знают, что у меня последняя лента, неполная лента, – тяжело подумал Данила. – И эта неполная должна сдержать их атаку. Немцы не знают этого и потому не поднимаются. И мы спасены... Еще на минуту...»

«Тра-та-та-та...» – пулемет Данилы.

Танк с ходу ударил из пушки. И тотчас пулемет как бы подпрыгнул и повалился набок, ствол погнут, кожух смят. Пушка ударила еще раз, снаряд разорвался недалеко от окопа. Вместе с осколками посыпались сшибленные с деревьев ветки.

– Ну, Ляхов, накрылись мы...

В свете ракеты Данила увидел, что у Ляхова из-под каски стекали на щеки темные полоски. Тот сдвинул каску на затылок, словно уже не была нужна, даже мешала. А дождь осколков падал и падал.

– Ляхов! Ляхов!

Данила встревоженно склонился над ним. Убит? Ранен. Но как и чем помочь ему? Данила растерян, он подхватил Ляхова под мышки, но что дальше делать, не знал. Он забыл о себе, забыл, что сам без каски – пилотка на голове. Помочь раненому Ляхову! Два-

три часа назад Данила не знал о его существовании, не думал, что тот есть на свете. Опасность, грозящая жизни, объединяет людей, особенно если они солдаты.

Кто-то подползал к окопу, услышал Данила и опустил Ляхова на землю приготовился вцепиться в горло тому, кто подползал.

– Дядь-Данила... Я...

Данила обрадованно вздохнул: Сашко!

– Пулемет замолчал чего? – Саша ввалился в окоп. – Лейтенант беспокоится.

– Пулемет дал дуба...

– Ага, – понял Саша. – Принес гранаты. Те... Наши...

– Сашко! Гранаты? – обрадованно. – Ну и Сашко!..

Несколько немцев уже поднялись в рост и перебежками бросились на утихший окоп.

Данила хотел выпрямиться и метнуть гранату в набегавших немцев, но что-то кольнуло в ногу. Он провел рукой по ноге. Нигде ничего. «Этого еще не хватало! Ну-ка вперед... – приказывал ноге, и нога подчинялась: ступала, ступала. Все-таки было больно. – А немцы ж, вот они!.. – обдало его жаром. – Вот они!..»

– Сашко! Не теряйся, Сашко!..

Саша приподнял плечо, отвел в сторону руку, размахнулся и бросил гранату перед собой.

«Мы отрезаны...» Семен подавил в себе замешательство, он думал уже о том, что делать в сложившейся обстановке: вблизи, во тьме, в стороне от шоссе, затаились выбитые из окопов немецкие автоматчики, к мосту вышли танки. «Что предпринять?..» Вернуться к мосту. «Но пробьемся разве?»

– Послушай, отделенный. – Семен сделал паузу, как бы еще раз взвешивая то, что собирался сказать. – Послушай, отделенный, – произнес тверже, – положение наше никудашное. У моста – танки. – Рокот танков был отчетливо слышен. – Надо помочь взводному. Двинем к переправе.

– Попробуем, – откликнулся отделенный Поздняев. – В голосе ни растерянности, ни надежды.

– Где твои противотанковые, Поздняев?

– Вот. – Семен услышал, отделенный хлопнул себя по бедру. – Вот. А вторая у Дунаева. Дунаев! Граната?

– Есть. А куда ей деться?

– И у меня граната. Пошли, – сказал Семен.

Семен и отделенный выскочили из окопов.

Вслед за ними выбрались на шоссе бойцы.

Из тьмы ударили по ним автоматы. Очередь. Очередь.

– Ползком! – возглас отделенного. – Вправо за обочину!

Очередь! Очередь!.. – не унимались автоматчики. Семен врыл голову в песок, безотчетно прикрыл ее руками: возле самого уха врезались в песок пули. «Чуть-чуть левее взял бы немец, и – каюк.» Не взял. Пронесло.

Ползти дальше. Ползти. Ползти. Ползти, не оставиваясь. Несмотря на очереди. Добраться до моста... Семен полз.

Торопливая ракета взмыла вверх, и небо, тронутое светом, просторно раскрылось. Семен разглядел возле себя на земле несколько сраженных страхом касок. Каски тоже медленно ползли.

Автоматный треск усилился. Теперь каски лежали, не двигались. Страх, обычно толкавший куда-нибудь бежать, в этот раз приварил бойцов к месту. Потому, наверное, что некуда было бежать: в их воспаленном воображении немцы стреляли отовсюду. Семену тоже казалось, что отовсюду.

До Семена донеслось:

– А дальше что, браток?.. Что – браток?..

– Хрен его знает, – обреченно откликнулся кто-то. – Ухайдакают всех. Точно. Тут автоматы, там танки...

– А-а. Ухайдакают... ухайдакают...

И верно, все здесь вело к гибели и ничто к спасе-

нию. Спасти могло только чудо. Но чудо – вещь слишком редкая в жизни, а на войне особенно. Семен не рассчитывал на чудо, и когда стих огонь, удивился, что остался цел и невредим.

«Во что бы то ни стало продвигаться вперед. Не лежать же так...» волновался Семен. Подавить страх! Подавить у бойцов страх! Семен понимал, что сейчас нужно только это. «Выхода нет... – спазм сжал горло. – Мы отрезаны», – снова подумал Семен, на этот раз убежденней. И как бы испугавшись этой мысли: «Не задуривай себе голову. Не задуривай себе голову... Пусть отрезаны. Из каждого положения есть выход, – уговаривал себя. И упрашивал: – Подумай хорошенько. Подумай. В самом деле! Выход есть, только подумай хорошенько!»

А думать нечего, чего думать! Свернуть с шоссе и продолжать ползти в сторону моста.

Автоматчики больше не палили. Переменили позицию? Рассчитывают на танки? Как бы то ни было, а воспользоваться перерывом.

– Отделенный! Поздняев!

– Я, товарищ политрук!

– Кто там с тобой?

– Четверо.

– Гранаты у них есть?

– Три. На всех. И моя, противотанковая.

– Гони, отделенный, с ними к переправе с правой стороны. А я...

– А мы как?.. – оборвал Семена испуганный голос из кювета.

– Шишарев? – узнал Семен. Вот кто тревожился. «Дальше что, браток? Теперь что, браток?..»

– Шишарев я, Шишарев...

– Сосед кто?

– Я, Дунаев, – второй голос. Тот это: «Ухайдакают...»

– Еще кто с вами есть?

– Никого.

– Так давай, отделенный. А я с Шишаревым, с Дунаевым зайдем танкам слева. Задача ясна?

– Понял!

– Шишарев! Дунаев! За мной! – негромко скомандовал Семен.

Пригнувшись, Семен бросился в сторону от шоссе. За ним Шишарев и Дунаев. Он слышал их прерывистый, пропадавший топот за спиной.

Отделенный Поздняев с бойцами растворился в черном пространстве.

Полоснула длинная, самая длинная за эту ночь пулеметная очередь. Возможно, немцы услышали голоса и били на голоса. Семен залег, повалились и Шишарев и Дунаев.

Ракета снова подожгла небо и обнажила на земле все. Семен увидел себя в ужасающей полосе света. И мост. Грузный, словно повис он в посветлевшем воздухе.

Ракета погасла. И тотчас Семен, Шишарев и Дунаев подхватились с земли, побежали. Огонь им вслед. Залегли-побежали-залегли-побежали... Ворвались в придорожный кустарник и, замедленной, неслись дальше.

«Успеет Поздняев со своей четверкой вовремя добраться до переправы? Успеет. Нет, не успеет... Может успеть... Нет... Успеет, успеет...» Семен нервничал. «Успеет... Почему б не успеть?..»

Он не смог бы ответить на этот вопрос. Просто нужно было, чтоб отделенный успел, очень нужно, и поэтому верилось, что можно успеть. Отделенный успеет прийти со своей гранатой на помощь взводному у моста.

Мост уже близко. Семен тоже успеет. Но где танки? Все молчит. Тихо так, что страшно даже. Где танки? Вот теперь бы ракету. Чтоб увидеть, засечь. Семен вытащил карманный фонарик. «Будь что будет...» И, словно серебряная монетка, брошенная в темную пустоту, мигнул короткий свет. Семен кинул взгляд вправо-влево: два танка не дошли до моста, стояли. Ждали чего-то? Опасались, что переправа заминирована.

на? Один танк пустил пулеметную очередь. Заметил, наверное, что мелькнул огонек. «Ладно. Ладно. С другой стороны подкрадывается отделенный. Ему уже не нужна ракета. И фонарик не нужен. Пулеметная строчка показала, где танки. Ударит в танк, отвлечет внимание танкистов, тогда швырнем и мы гранаты, обе. Ну где же ты, отделенный? Где?..»

7

Связь с Рябовым оборвалась. С Ваню тоже. Кирюшкин вызывал, вызывал то одного, то другого: трубка молчала. От Рябова, от Ваню сюда доносилась напряженная пальба пулеметов, автоматов, винтовок. Все там, ни на миг не ослабевая, бешено колотилось. Слишком много выстрелов, гораздо больше, чем может человек воспринять. «Никто не поверит, если рассказать об этом так, как есть...» – покачал Андрей головой. Тридцать минут длится атака немцев. А кажется – год, всю жизнь... Андрей ощутил усмешку на губах: столько азарта понадобилось немцам, столько риска и отваги столько, и все это, чтоб одолеть одну неполную роту, защищающую полосу в полторы тысячи метров...

Пронизывающий свет ракеты то и дело разрывал тугую темноту ночи, и на минуту-полторы ночь пре-

вращалась в ослепительный день, открывая прилипшие к небу холодные облака, и тогда перестук огня становился еще явственней, еще ошеломительней. Только к Володе Яковлеву еще шел живой провод: взводный доложил – на шоссе, за поворотом неладно...

Андрей послал Валерика к Рябову, Кирюшкина – к Ваню. Что – у них? На войне нет ничего хуже неизвестности. Вернулся Валерик: в первом взводе никого, ни Рябова, ни Писарева, и Антонова нет, один боец, убитый, склонился над ящиком из-под патронов, на котором стоял телефонный аппарат с оторванной трубкой, трубка с куском шнура лежала на полу, видно, срезало осколком. Валерик подумал было, что боец спал, толкнул в плечо, и тот свалился.

– Все, Валерик?

– Ага. Все.

Вернулся Кирюшкин: немцы прорвались к берегу, они уже на берегу, и взвод Ваню – несколько оставшихся бойцов – сдерживает их, не пускает в сторону переправы, сообщил совершенно перепуганный Кирюшкин. Он и говорил с придыханием, будто все еще находился возле Ваню и слышал, как хлопали выстрелы, видел, как вспыхивали ракеты, открывая немцам его, Кирюшкина.

Андрей полон смятения и беспокойства. Противник

прорвется, это ясно, и тут ничего не поделать. Только бы до срока, до двух тридцати задержать его, чтоб не захватил мост! Не верилось, что минуты эти, если выживет, станут когда-нибудь далекими, казалось, они будут всегда рядом – страшные, чудовищные, и никакого от них спасения!

Он почувствовал головокружение: вот-вот свалится. Перед глазами круги – красные, оранжевые, желтые, черные, все вокруг кружилось и его кружило, было такое чувство, что голова вертится, как колесо. И от озноба зуб на зуб не попадал. Проклятое головокружение, теперь оно всегда возникает в самое неподходящее время! Он стал растирать лоб, потом затылок – не проходило. И он уткнулся головой в холодную стену траншеи.

Он трудно вдохнул воздух. Еще раз, глубже.

Стрельба приблизилась к командному пункту роты. Пули с ноющим свистом рвали бруствер. Что-то обжигает чиркнуло в плечо. Андрей коротко и сдержанно застонал. Он схватился за плечо и ощутил, что кровь выбивалась наружу. И сразу забыл об этом. Весь он был захвачен боем, терзающим чувством ответственности за то, что обязана рота сделать в оставшиеся минуты, ничто другое сознание не воспринимало.

– Эх!! – застонал громче.

– Вы ранены, товарищ лейтенант? – встревоженно

произнесла Мария. Она тронула Андрея за руку.

Он не ответил. Все время находилась Мария возле него, но он не замечал ее присутствия, он ничего не замечал, кроме того, что было связано с боем.

Ее разговор с Андреем в блиндаже все поставил на свое место, и она старалась не напоминать о себе. В конце концов, вынужденное пребывание в роте дело временное, и она надеялась, что вскоре освободится от Андрея.

– Вы ранены, – сказала Мария тверже. – Сделаю перевязку, слышите? – В голосе уверенность в своем праве требовать сейчас подчинения. – Садитесь.

– Да отвяжись ты! – раздраженно выкрикнул Андрей. – И какого черта высунулась из блиндажа?

– Лейтенант, я выполняю ваше приказание – быть санитаркой, – как могла спокойно сказала Мария.

– Перевязывай...

Быстро наматывала Мария бинт: плечо, подмышка, плечо, плечо, подмышка, плечо. Ладонь ее стала влажной от крови, проступавшей сквозь бинт. Еще раз: плечо, подмышка... «Все-таки бинт. Все-таки остановит кровь».

– Уже? – бросил Андрей нетерпеливо.

– Уже.

Андрей и не слышал ее.

Бинт стягивал плечо, и это сердило Андрея. Хотел

рывком освободиться от бинта, уж было размахнулся рукой – в сторону, но тотчас забыл об этом желании.

«Ничего... ничего... Еще двадцать шесть минут осталось...» Он выдержит эти двадцать шесть минут, если и несколько пуль вгрызутся в его тело. Он выдержит. Конечно, выдержит. Ни на секунду меньше, он просто не вправе умереть на секунду раньше, чем взорвет мост, и сделает все, чтоб не умереть раньше этого. И не умрет раньше этого, и был в том уверен. И уверенность эта ободрила его, придала силы, чтоб не умереть раньше, чем сделает свое дело.

Почему-то вспомнилось, что еще в полдень, почти спокойный, шел он с Валериком вдоль линии обороны на командный пункт батальона, сидел с комбатом возле откоса, и тонкая сеть паутины тянулась от березы с шелковистым стволом. Он снова ощутил на спине приятную прохладу, и воду внизу, пахнувшую теплой синевой, видел. Андрей представил себе, что он там, а пальба, танки, немцы и остальное – наваждение какое-то. Стоило подумать о другом, и все это исчезло. Секунду прожил он в выдуманном мире. Береза с паутиной, комбат на пне у откоса, синяя вода внизу были, конечно... да, в полдень... сто лет назад... Теперь часто стремится он уйти в выдуманный мир. И каждый раз это удавалось самое большее на несколько минут.

Сбоку ударил вражеский пулемет. Недалеко. Пуле-

мет всегда заставляет видеть действительность такой, какая она есть. И мир настоящий, единственный сейчас, по-прежнему стоял перед ним и требовал его участия.

Слева, от моста, накатывался на него глухой рокот, все слышной, все слышной. Ясно, танки двинулись к переправе...

Никакого сомнения: танки двинулись к переправе. «Неужели захватят мост?.. – Тревожное волнение, всей сокрушающей силой охватившее Андрея, едва не сбило его с ног. – Неужели захватят?..» Несколько мгновений он не знал, на что решиться. Но что-то надо сделать, и немедленно.

– Товарищ лейтенант!..

Андрей выхватил из рук Кирюшкина телефонную трубку.

– Я! Володя, я! – Пауза, полсекунды. – Да, понимаю, танки. Да. – Боли в плече он уже не испытывал. Он слишком взволнован, слишком напряжены нервы, чтоб чувствовать боль. Он быстро взглянул на часы: два часа девять минут. «Еще двадцать одну минуту...» – Продержись, а? Не сможешь, нет?..

Приказание комбата – два тридцать. Как быть, как быть? Но что сейчас переправа, если ее блокировали танки? Совершенно ясно, мост уже потерял всякое значение и только для противника представляет боль-

шую, очень большую важность! А может, в этом «два тридцать» есть и другой смысл, ему, ротному, неизвестный? Растерянность перебрасывает человека от одной догадки к другой. Как быть, как быть? Теперь этого ему никто не скажет. Теперь решение принимать самому. Он по-настоящему понял, насколько тверже чувствовал себя с комбатом. Даже эта обстановка была бы с ним, с комбатом, менее опасной.

– Минут хоть десять... хоть пять удержи переправу, а? – жалобно просил он и понимал, что это невозможно. – Пять минут хоть, а?..

В несколько секунд должен он принять решение. Больше времени не оставалось. Трудно противостоять страху на войне, еще труднее, оказывается, противостоять нерешительности. И будто снова услышал он предостережение комбата: «Учти, танки и близко не должны подойти к переправе». А танки уже у моста. Дыхание – быстрое-быстрое – остановилось. Всё! Все! Рвать переправу! – пересилил он свои сомнения.

– Володька! Рви!!

По лбу, вниз, по шее, вниз, по груди, вниз, вниз, колкими струями стекал холодный пот. Андрей почувствовал: до дурноты заходило сердце. Он тяжело прислонился к стенке блиндажа и обессиленно опустился на корточки.

Глава десятая

1

Ракетница еще раз хлопнула, и в воздух взлетела красная ракета, третья. Сигнал к отходу. Андрей опустил ракетницу. Запрокинув голову, посмотрел в небо: над головой осыпались гроздьи холодных искр.

Андрей глубоко вздохнул: почувствовал облегчение, словно кончилось все трудное и страшное. Он знал, полминуты назад, когда эта, последняя, сигнальная ракета еще стояла в воздухе, те, кто остался в живых, кинулись с откоса к берегу. Кроме Капитонова, Абрамова Кости, Иванова. Ракеты уже не звали их. Они вот тут, недалеко, в покинутой всеми траншее, и пулеметным огнем прикрывают отход. Война есть война, – подумалось о них, кто-то гибнет раньше, кто-то позже. Эти погибнут через несколько минут... когда остатки роты добегут до воды... Андрей снова вздохнул, на этот раз коротко, тяжело.

Как бы в ответ на его сигнальные ракеты взвилась в воздух осветительная ракета противника.

– Бежим, товарищ лейтенант!

Андрей и забыл о Валерике.

– Бежим, товарищ лейтенант!.. – действительно проговорил Валерик, взгляд его так сосредоточен и прям, что глаза казались незрячими. Бежим?..

– К плоту!..

Голос Андрея хриплый, сорванный. Андрей, наверное, и сам его не услышал. И, набрав в легкие воздух, крикнул громче:

– К плоту!!

Вскинув над головой автомат, рванулся с откоса.

Ракета погасла. Тьма сровняла все, и склон, и берег, только ноги, едва удерживаясь на покато́м спуске, не признавали того, что сделала ночь: откос был откосом, берег – берегом внизу. Но как далеко до берега, метров пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, больше?.. Не успеть добежать... У Андрея замерло сердце от мысли, что его настигнут немцы. Немцы уже близко, он понимал это, и это было концом. И он еще мог, оказывается, думать, и он думал, нескладно, обрывками, как вырвавшийся поток воды по раскиданным камням. Он почувствовал, не хватает дыхания так быстро бежать... А жизнь, настоящая, это когда человека, как гигантской волной, окатывает всего сразу – беды, надежды, желание жить. Вот эти оставшиеся до конца мгновенья и есть жизнь?.. Наверное, так. Так!.. – Совсем нет воздуха в груди, он задыхался. – Так!! Но

с этим не могло смириться все, что сейчас билось в нем, мучилось, надеялось!.. Одно дело – знать, что ты можешь погибнуть, другое дело – погибнуть... Не раз в таких обстоятельствах это приходило в голову. Он не может погибнуть. Не погибнет!.. Надо только крепко верить в то, что не погибнет. Надежда возникала из пустоты, из мрачной пустоты, больше неоткуда было ей возникнуть. Не ракеты же, не автоматы, не свистящие вокруг красные, синие, зеленые огоньки пуль несли обещание! Но что делать с этой надеждой? Надо же что-то делать, чтоб надежда сбылась! А что может он сделать? Ничего. И ничего надежда не стоит.

Сзади, там, выше, за откосом, гремели выстрелы, они были пока не страшны. Бьют вслепую... – понял Андрей. – Да, да, что может он сделать? вернулась мысль. – К берегу, к берегу!.. И вести роту дальше, он знает куда.

Вниз. Вниз. Вниз. Вниз. До чего крут откос! Сапоги тупо врывались в отяжелевший к ночи песок, и это замедляло бег. Андрей рывками выбирал увязавшие в песке ноги и, то откидывая голову назад, то подаваясь грудью вперед, цеплялся за колючие кусты, чтоб не потерять равновесие и не свалиться, и изо всех сил рвался вперед, вниз, вниз, вниз, к уже близкой воде.

Все-таки не удержался, споткнулся, упал и покатился по склону. Он катился и никак не мог остановиться,

чтоб встать и бежать, бежать дальше. Песок набился в рот, за воротник, в рукава, в голенища. Каждый раз, когда поворачивало его на левый бок, утихшая было боль ударяла в плечо.

– А! – застонал Андрей.

– Лейтенант, лейтенант! Помогу вам! Вы ушибли рану?

А! Девушка здесь. В эти трудные минуты совсем выпало из головы, что теперь в роте есть девушка. Мария. Она бежала, тоже неловко срываясь там, где откос падал особенно отвесно, гладкий, без кустиков, без бугорков. Почти догнала Андрея. Но инерция несла его по крутому склону дальше, вниз.

Что-то возникло на пути. Ивняк? Ивняк. Правее, до самого берега, тянулись ивовые заросли. Когда шел в третий взвод, к Володе Яковлеву, он проходил мимо ивняка. Значит, плот гораздо левее. «Вон куда откатился...» – испугался Андрей.

Рука ухватилась за холодные кусты, и он вскочил на ноги. И только сейчас дошло до него, что наверху уже с минуту умолкли пулеметы Капитонова, Абрамова Кости, Иванова и слышней стучали автоматы противника. Пули секли кусты, кочки на откосе. Ясно, пулеметчики сделали, что смогли, перед тем как умереть. Немцы вырвались к косогору...

За спиной слышал Андрей сбивающееся дыхание

Валерика, тот настигал его. Валерик бежал сзади, уверенный, что ограждает ротного от пуль, от погоны, от всего опасного, что несется вслед. И девушка, Мария, близко. Раздавался ее быстрый, мелкий бег. Андрей огорченно вспомнил, как несправедливо резко обращался с ней. «Ничего, привыкнет. На войне», смягчал свою вину перед девушкой.

Впереди, сбоку, неся беспорядочный топот, с сухим шорохом сыпались вниз потоки песка.

Ракета снова ослепила глаза. Бойцы продолжали бежать. Бежали, пригибаясь, видно было, как неуклюже бегут они, как неуклюже пригибаются, и из-под ног поднималась в воздух непадавшая песчаная пыль. Поверху резко нарастал звук, разрывавший воздух, нарастал, нарастал, и впереди грохнуло, и там, у воды, сверкнул огонь, ослепляющий, оглушающий.

Андрей повернул голову – крик:

– Бульба-а-а! Петрусь! Поддерживай Ершова! Я не удержу! Что-то в руку садануло...

Ранен, значит. Ершов ранен... А кричал кто? – Андрей не узнал голоса. – Тоже ранен... Ляхов, – все-таки узнал.

– Кидай его мне на спину, – на ходу откликнулся Петрусь Бульба. – А сам кубарем... кубарем...

Кто-то наскочил на Андрея, чуть не сшиб его.

– Куда прешь? – сердитый оклик Валерика. Он про-

должал бежать.

– Я! Кирюшкин... Кирюшкин... – зачем-то назвал он себя.

– Места тебе мало? – не останавливался Валерик.

– Господи, стреляет же как... – невпопад ответил Кирюшкин и скачками помчался дальше.

Через минуту донесся тягучий вопль. И сразу оборвался. «Кирюшкин, не сомневался Андрей, – Кирюшкин...» Он и Валерик уже поравнялись с распластавшимся телом Кирюшкина.

– Кирюшкин! Кирюшкин! Поднимайся! – расталкивал его Андрей. – Река вон она уже. Вставай!

Кирюшкин не откликнулся.

Валерик нагнулся над ним, схватил его руку. И – выпустил.

– Всё...

Андрею не верилось, что все. Он лихорадочно шарил по безмолвно лежавшему Кирюшкину. Все, все! Это было ясно.

– Товарищ лейтенант, давайте! – торопил Валерик.

Перескакивая через бугорчатые песчаные наметы, цепляясь за невидимые кусты, Андрей бежал дальше, бежать стало легко: наверное, выскочил на какую-то тропинку, спускавшуюся с обрыва.

В небо всполошенно взвились осветительные ракеты противника и широко раскрыли реку – от правого

до левого берега. Андрей увидел черную воду перед собой.

2

Володя Яковлев кинулся вдоль берега, к ивовым зарослям, где к кольям были привязаны лодки. Все в нем неистово билось, словно рвалось наружу и не могло вырваться. Бухающий бег бойцов слышался впереди, позади. Вот-вот раздастся взрыв... Вот-вот раздастся взрыв... Ни о чем другом не думалось, ничего другого и не было на свете. Он натужился, перевел дыхание.

– Ложись! – прокричал в тяжелый мрак. – Ложись! – И бросился на землю.

Оглушительный взрыв взметнул пространство в воздух.

Володя Яковлев лежал, упиравсь лбом в приклад винтовки, ожидал второго, третьего взрыва. Взрывов не было. Может быть, взрывы следовали один за другим и слились в сплошной удар? Он подождал еще немного и приподнял голову: там, где только что угадывался мост, дым клубами валил вверх, и в небе, казалось, громоздились лиловые тучи; неистово металось пламя, и темнота в том месте приняла багровый цвет. Возле горевшего моста вода была красной, буд-

то тоже горела, и видны были быстрые завитки течения. Минуту назад спокойная, вода теперь громко набегала на песок, ударялась в болтавшиеся борта лодок.

Клубы дыма с оранжевыми искрами наползали на оба берега – этот и тот, казавшийся непреодолимо далеким, и где-то там пропадали, уходили в ночь. Дело сделано.

Было слышно, как обваливались куски горящего моста, и в полыхавшем свете, похожем на дальнюю зарю, все еще держался крутой откос берега и на нем выделялся резко-черный ивняк. Пахло мокрым прибрежным песком и жарким дымом.

Дело сделано. То, что минуту назад многое значило, значило все взрыв моста, – теперь отошло, самым главным теперь была переправа на тот берег, только это имело значение, все другое, даже взорванный мост, не занимало сознания.

Куда делись танки? Володя Яковлев пытался по каким-нибудь признакам установить это. Возможно, отступили, когда взрывался мост. Во всяком случае, недалеко. Где ж они? Нельзя терять времени.

Володя Яковлев машинально провел руками по лицу, обросшему, колючему. Он ощутил резкое жжение в ладонях. Вспомнил, что содрал кожу на руках, когда тащил по мосту стальной трос, плетеный и рваный. На

кровоточащие ссадины налип песок, и они источали боль. Он подул на ладони, не помогло. «А, плевать...» Он поспешно поднялся.

– Ребята, отвязывайте лодки и шпарьте! Без промедления! Держитесь выше по течению, подальше от моста. Ну!

«Ребята» – это Тишка-мокрые-штаны и еще трое, калужане.

– Никита, останешься со мной! Ждать политрука.

В блеклом воздухе мелькнули четыре тени и сгнули в ивняке. Володя Яковлев услышал удалявшееся поскрипывание уключин, быстрый плеск воды под веслами, это длилось недолго, и все стихло.

Теперь затаиться в ивняке и ждать. Ждать Семена, ждать бойцов, оборонявших на шоссе подступы к переправе. Он почувствовал, что силы иссякают, и вытянулся на земле рядом с Никитой. Во тьме только и виделись желтые сапоги Никиты, будто на его ноги улегся и не сходил отблеск огня, падавший оттуда, от моста.

Стрельба по обе стороны шоссе прекратилась. Значит, Семен уходит. Сюда. К берегу, к лодкам. И вдруг подумалось: а если некого ждать?.. Оглушенный этой догадкой, он перестал дышать. Он взволнованно сжал кулаки и снова – мучительное жжение в изодранных до крови ладонях. Хоть бы один выстрел.

Там, у переправы, не было ни секунды передышки для переживания, для ощущения боли, даже для страха: на оставшееся с ним отделение двигались танки – их нельзя подпустить к мосту! Ничего другого он не знал, ничего другого не было, не могло быть. Только это – танки шли на мост... Гранаты кончались, зажигательные бутылки тоже. Пять бойцов с ним, остальные лежали шагах в пятидесяти от моста, поперек шоссе, будто и мертвые преграждали они танкам путь. Вот как было там, у переправы. А сейчас он не представлял, что предпринять.

Все равно, он не уйдет отсюда: либо дождется Семена с бойцами, либо... Додумывать не стал. Уткнув локти в песок, он растянулся в ивовых зарослях. И уже не пять, – один боец был с ним, Никита. Володя Яковлев лежал у его плеча, – какое оно сильное и теплое!

Он почувствовал ломоту в руках, ногах, в спине; тело, совсем обессиленное, не в состоянии было сопротивляться подступавшему оцепенению; и даже грозившая опасность не будоражила нервы, не прибавляла сил, он не смог бы подняться, даже если б снаряды рвались возле. Его одолевало что-то похожее на дрему. «Ну да, ну да...» – объяснял себе. Оказывается, не спал двое суток, так складывалось, и еще одну ночь, третью, вот эту. Сон склонил ему голову и уво-

дил куда-то. Он поморгал веками, ставшими тяжелыми, и вернулся в ивняк, к Никите, коснулся его плеча. Но тотчас дрема опять подступила, он еще больше ощутил утомление, все стало тускнеть, отодвигаться от него, и думы о Семене тоже, ничего не мог он удержать, ничего будто и не было. Какие-то клетки мозга еще бодрствовали, и он сознавал, что нельзя поддаваться этому, но даже двинуть рукой, как только что, уже не был в состоянии, и сказал себе: две-три секунды, не больше, и открыть глаза... Он слабо шевельнулся, и то, о чем только что думал, оборвалось.

И тотчас улыбнулся Семену: они пьют пиво в ресторане на Казанском вокзале – как-никак, выходной день и он собирается на дачу, в Малаховку. «Постой, постой, но в Москве мы и не знали друг друга... Какое же пиво?.. Чудно как-то. Я жил у Земляного вала, а он где-то в Сокольниках, и работал он секретарем райкома комсомола, а я репортером городской газеты. Мы и не виделись ни разу...» – вмешалось то, что еще бодрствовало в нем. И все-таки они пьют пиво. Пьют пиво на Казанском вокзале. А потом подходит Нинка, студентка, третьекурсница, между прочим, самая красивая девушка в медицинском. Семен тоже говорит: красавица. И отставляет свою недопитую кружку с пивом, и во все глаза смотрит на нее. Нинка всегда смущается, и оттого, что смущается, смеется

громко, громче, чем ей хочется. Она и сейчас так смеется. А он, Володя, пьет пиво, пьет жадно, так жадно, как никогда еще не пил. Выпивает до дна, и еще бы пить... «Постой, постой, я же определил – две-три секунды, и открыть глаза...» – помнил он это все время.

Предчувствие опасности, не покидавшее его, враз заставило открыть глаза. Несколько мгновений не мог он решить, какой из миров реальный, тот, с Нинкой, с выходным днем, с кружкой пива на Казанском вокзале, который еще не ушел, или этот, открывшийся ему: мрак, ивняковые заросли, он и Никита на холодном прибрежном песке...

Голос Никиты был из этого мира.

– И долго так будем, сержант?.. – Это не вопрос, понимал Володя Яковлев, просто Никита поторапливал его.

Он хотел сказать: «Нет. Наверное, нет. Не долго». Губы даже шевельнулись для ответа, но слова застряли в начале пути: безмерная усталость не давала говорить.

Жажда одолевала – горло, язык, губы пересохли. Недопитая кружка Семена стояла перед глазами. Он осторожно выполз из кустов, добрался до воды. От воды несло холодом, она пахла осенью. Вода трогала гальку у берега. Широко раздвинув локти, наклонил он голову, и пил, пил...

Минутный сон, вода вернули ему силы, он почувствовал себя бодрее.

Он опять лег возле Никиты.

– Долго ли еще, спрашиваешь?..

– Ага... – Голос Никиты выдавал его нетерпенье.

– Как только пробьется сюда политрук с бойцами.

Беспокойство снова охватило Володю Яковлева. «А если не пробьется? Если не пробьется?..» А ракеты, ракеты были? Сигнальные? Красные? Вспомнил: были, были. И мост же рванул как! На всю округу слышно было и видно. Какой еще нужен Семену сигнал к отходу? Почему его нет?.. Танки могли, конечно, повернуть от взорвавшегося моста и зажать Семена с бойцами на шоссе. Где же, в самом деле, танки? Танкам, подумал, время действовать. Либо давить тех, кто еще оборонялся на шоссе, либо бить по реке. Но здесь давно уже тихо, минут восемь. Если б не Никита, он бы навек уснул, так тихо здесь. Он вслушивался: слух его схватывал шорохи, вызванные ветром, копошившимся в кустах, в песке, – ни рокота моторов, ни лязга гусениц. Как сквозь землю провалились танки. Но танки не проваливаются сквозь землю, где они?..

Володя Яковлев и Никита вздрогнули одновременно и подняли голову: за откосом, левее, должно быть, у шоссе, хряснула граната. «Свои действуют еще!..» – зашлось от радости сердце. Потом ударили танки. Ни-

какого сомнения, это ударили танки, сначала один, потом другой. И опять два удара. Гранаты. В стороне от того места, где горел мост, заметался еще один огонь, смешанный с рвущимся громом: определенно, разрывался танк. Застрочил автомат, движущийся красный пунктир стлался низко, недалеко, будто над самой головой. Володя Яковлев инстинктивно вжимался в землю, но глазами следил за светящейся трассой.

И снова все стихло.

– Не время, сержант? Самое время, – настойчиво напоминал Никита. Никого же...

Володя Яковлев как бы и не слышал Никиту. «Взрывы, – работа политрука, Семена. Не иначе. Надо ждать...» – не решался он уходить. Подождет еще несколько минут.

По откосу быстрый топот. Двое, трое, четверо? Володя Яковлев и Никита стремительно вскочили на ноги, вскинули винтовки. Володя Яковлев был почти уверен: свои! Точно. Трое...

Володя Яковлев и Никита рванулись к воде. Вслед им сквозь ивовые заросли ломились Семен, Дунаев, Шишарев.

Влево, влево... Там лодки. Влево...

В небе вспыхнула ракета. Оттуда, с откоса затрещал пулемет. Пули слышно шлепались в песок, совсем близко.

Ракета не успела погаснуть, свет ее подхватила уже другая ракета. Свет лежал на земле, и ночная земля получила чуть голубоватый цвет.

Стрельба стихла. Наверное, на минуту. Сейчас опять начнется. Сейчас начнется... начнется... Минута перерыва, а за минуту можно вырваться хоть куда.

Они уже у воды.

Семен, Дунаев, Шишарев прыгнули в лодку.

Загремела сорванная с кола цепь.

Володя Яковлев кинул цепь в лодку. Крикнул:

– Никита, топи лодки! Те, что остались!

– Есть, сержант.

Что-то скрипнуло, хлюпнула вода.

– Всё, сержант.

Обеими руками, всей силой уперся Никита в корму. Рывок, рывок... Он оттолкнул лодку от берега, не отрывая от нее рук, побежал вслед и плюхнулся у правой уключины, у ног Дунаева. Володя Яковлев и Шишарев ухватились за левое весло.

– Пошли! – нетерпеливо бросил Семен.

Весла легли на воду.

3

Автоматчики теснили Ваню.

От береговой кручи до воды метров пятьдесят. Пять

бойцов, Ваню шестой, вжались в песок, преграждая автоматчикам дорогу к переправе.

Ваню уловил шорох, напряженно прислушался и выстрелил. Щелкнул затвором, потянул на себя, послал патрон, и палец снова лег на спусковой крючок. Патроны кончались. Стрелял только по целям, смутным в темноте.

В стороне усилился беспорядочный треск автоматов. Ваню и те, пятеро, не откликнулись. «Пусть, сволочи, бьют, – успокаивал себя Ваню. – Не отвечать же на каждую очередь. Зачем обнаруживать, где мы залегли, да? Пусть бьют... Будем знать, где они, сволочи, и откуда ждать огня, и куда, в случае чего, самим стрелять».

Стрельба стихала, совсем стихла, даже не верилось.

Неподалеку пересыпался песок, кто-то подкрадывался. Твердо ухнула винтовка Ваню, и потому что это был одинокий выстрел, он казался особенно громким.

«Вот теперь самое отходить. Но как отойдешь, а приказ? Ничего, несколько минут мы еще выдержим, а там, может, и сигнал...» Несколько минут они выдержат. Что могут они еще сделать? Но это сделают. «Это мы сделаем – продержимся несколько минут. Нас шестеро...»

Опять немецкие автоматы. Совсем близко.

Пули врывались в песок сзади, у самых ног. «Конец, да?..» – угнетенно подумал Ваню. И неистово, как никогда раньше, вспыхнуло в нем желание уцелеть, быть, остаться в жизни, горевать, мучиться, голодать, если придется, испытывать неурядицы, которые, он уже хорошо знал, несет с собой жизнь, воевать...

«Лезут... лезут...» Он выстрелил. Кажется, впустую – дрожала рука, все дрожало, и Ваню понимал, почему впустую. «Трус, Ваню! Сволочь ты, Ваню!.. О чем думаешь?..»

Он сменил обойму, прижал щеку к неостывавшей, все еще теплой ложе винтовки. Удар. Толчок в плечо. Удар. Толчок в плечо. Толчок в плечо, толчок в плечо. Удар! С каждым выстрелом Ваню все больше и больше охватывала злость, и чем больше злился, тем крепче прижимал приклад. Удар!.. Толчок такой сильный, будто выстрелил себе в плечо.

Автоматы продолжали бить.

– Алеша!

Молчание.

– Петя! Петя!

Молчание.

Только двое – они лежали ближе к откосу – глухо отозвались:

– Я!

– Я!..

Уже не шестеро их было, только трое, – он, Ваню, и те, что ему откликнулись.

Ваню подумал о последнем патроне. Последний патрон? Нет, в себя он стрелять не станет. Все патроны во фрица. Тем более последний. Никакого послед- него... В руки немцам он не дастся... «Во ты нас получишь, фриц проклятый!.. Во!» – представил себе непристойный жест, который бы сделал, если б не лежал, а стоял и рука была свободной.

Грохот, словно за спиной провалилась земля. Он не ошибся?.. Грохот?.. Ваню ничего уже не слышал, даже крика своего. А он кричал, захлебываясь от восторга.

– Всё, да? Переправа, слушай, накрылась! Немец не пройдет! Всё! Вай, Володя, вай, кацо!..

И тут же увидел: три красные ракеты – одна за другой – рванули темноту.

4

Грохот слишком сильный и совсем близко, чтоб недвижно улежать на месте. Рябов повернулся, глаза – туда, где раздался взрыв. Это, знал он, мост свалился в реку. Над головой вспыхнула красная ракета, и вторая, и третья. Рябов вздрогнул, словно повисший в небе красный свет был громче взрыва. Рябов почувствовал, как сильно начало биться сердце. Слов-

но впервые увидел красные ракеты. Три красные ракеты... Он судорожно облизал губы.

Воздух стал темнеть и погас.

Рябов с трудом поднялся на колени.

– Пилипенко! – позвал, напрягаясь, и оттого сорвавшийся голос показался немного визгливым и неубедительным. – Пилипенко! Сигнал!.. Ракеты... Давай всех... кто тут... к берегу!..

– Понял, – спокойно откликнулась темнота. Рябов услышал быстрые шаги Пилипенко. И оттуда, куда тот отошел: – Хлопцы! Эй, слышите? Жмите к реке.

Пилипенко вернулся к Рябову.

– Сержант, где вы тут? – не сразу нашел его во мраке.

Рябов ощутил на плечах широкую и сильную ладонь Пилипенко.

– Не встаете чего? А, сержант?

– Понимаешь, ранило меня, – смущенным шепотом пробормотал Рябов.

Пилипенко пробовал поставить его на ноги. Правая нога Рябова вдавилась в песок, левая не поддавалась, колено подгибалось, причиняя Рябову боль.

– Э-э, – растерянно протянул Пилипенко. – Да вас вести придется... А ну, Антонов! Сянский! – принял он на себя команду, будто было это в порядке вещей.

Антонов и Сянский взяли Рябова под мышки.

Рябов застонал. Ноги стали тяжелыми, и каждый шаг был мучителен.

– Волоком, братцы, волоком, – просил Рябов. – Головой вперед, иначе ничего не выйдет.

Сянский сопел, с трусливой поспешностью беспорядочно семеня своими короткими ступнями, на шаг-полтора опережая Антонова, и потому тело Рябова, перекошенное, – одно плечо круто заносило, – становилось тяжелее.

– Сянский, не дергайся, – раздражался Антонов. – Слышь? Выроним...

Сзади веско топал Пилипенко. Рябов слышал, тот тянул за собой пулемет. Когда колеса врезались в глубокие и вязкие песчаные наносы, движение замедлялось, это тоже хватывало сознание Рябова.

Где-то настойчиво тарахтели немецкие автоматы. Но здесь пули не ложились. Пилипенко прислушался: откуда бьют? «Плохо немцы стреляют. Плохо. От усталости ли, от страха, черт их разберет. Но стреляют они сейчас плохо. Спасибо им... Сможем добраться до плота!..» – был Пилипенко уверен. А в случае чего – развернет свой «станкач» с заправленной лентой, наполовину, правда, пустой. «Ничего, как-нибудь отгрызнусь...»

– О-о-о!..

Вроде бы Антонов вскрикнул? И в темноте можно

было уловить: Антонов валко шагнул раз, другой. И упал.

– Ты чего? – насторожился Пилипенко.

– О-о-о... Пуля шибанула в пах... – простонал Антонов.

Немцы правильно стреляли. Им же надо вырваться к берегу. Они обязаны были правильно стрелять...

Сгоряча Антонов вскочил на ноги. Каждый шаг – боль, каждый шаг невозможная боль. Он снова свалился.

– Антонов, шо, поползешь? Немного же ж осталось... – просительным тоном, наверное впервые, произнес Пилипенко.

Антонов не ответил. Пилипенко слышал, тот, постанывая, уже полз. Медленно, переваливаясь с боку на бок, на полшага впереди ковылял Рябов, Сянский еле поддерживал его один.

Вот, кажется, и сосны, – угадывал Пилипенко в темноте. – Так и есть, шесть сосен, те самые. Не свалиться бы в окопы. Отсюда, напрямую если, метров полтора и – траншея, а там и спуск к воде.

– Стой! Кто? Стой! – надрывно раздалось почти под ногами Пилипенко. Стой!

– Ты? Полянцев? – удивленно прислушался Пилипенко. Он стоял у кромки окопа. – Ты? Чего ж торчишь тут? Немца ждешь? Сигнальных ракет не видел?..

– Не видел. Нет. – Голос потерянный, какой-то виноватый. – Взрывы слышал. А ракеты нет, не видел...
– Вылезай! – Пилипенко сердито шагнул вперед.
– Не вижу куда... Ничего не вижу, черт подери. Глаза засыпаны... ощупывал Полянцев пустоту вокруг себя.

Пилипенко вернулся, протянул свободную руку, Полянцев отыскал ее, ухватился.

Полянцев выбрался из окопа, слабо, неуверенно, словно сомневался, что под ним земля, тронулся на четвереньках, потом нерешительно поднялся и инстинктивно выбросил перед собой руки, будто ограждая себя от невидимого препятствия.

– Пошли, – торопил Пилипенко. Полянцев за ним: шаг неровный, робкий какой-то. Пилипенко показалось: тот будто примеривался перед тем, как сделать следующий шаг, но старался ступать быстро, чтоб не отстать.

«Темень... – Полянцев вскинул кверху голову: ни звезды в небе, сплошные тучи... – Вроде темнее стало, чем было». Он провел по глазам рукавом – что-то неловко, и резь, и мешает... Ничего не изменилось. Он не был уверен, открыты ли глаза.

– Куда в сторону берешь? – озадаченно окликнул его Пилипенко, услышав, что тот отклонился от него. – Глаза разуй!..

Полянцев повернул на голос. «Ничего не видно, – встревоженно подумал. – Даже темноты...» Не очень твердо, шаркая ногами, шел он у плеча Пилипенко. Он чувствовал его плечо, были они одного роста.

– Сянский! Ведешь Рябова? – кинул вперед Пилипенко.

– А-а, веду...

– Ползешь, Антонов?

– Сил больше нету терпеть, – почти плача отозвался Антонов. Ему и вправду было неважно: в паху невыносимо жгла рана. Жила только левая половина тела, там он испытывал боль, особенно возле груди. Правая сторона безмолвствовала, как камень. Он полз, передвигая локти, колени едва сгибались и неуклюже, как могли, помогали локтям – локти приняла на себя всю тяжесть тела. – Сил уже нету, Гаррик... Дальше иди сам...

– Кончай бодягу, – прикрикнул Пилипенко и подтолкнул его в спину. Кончай, говорю. Ползи!

– Нет, Гаррик, не поползу, – едва выговорил Антонов. – Бросай меня. Какая разница, где сдохнуть – тут или через сто метров...

– Я сказал: ползи!

– Не могу.

– Можешь...

– Не могу...

– Можешь! – Пилипенко размахнулся и ожесточенно ткнул кулак Антонову в скулу. – Теперь сможешь, тряся твоей матери...

Уцепившись за руку Пилипенко, Антонов все же смог встать на колени, потом кое-как поднялся и, припадая то на одну, то на другую ногу, с трудом выравнивая дыхание, потянулся ему вслед.

«Ай Гаррик, молодец Гаррик! – слышал все Рябов. – И подумать было нельзя, что ты у нас такой, Гаррик...»

Недалеко, левее, должно быть у Ваню, раздавался ожесточенный стук автоматов. «Немцы... – было ясно Пилипенко. – Ваню, значит, еще отбивается...» Пилипенко понимал, пока Ваню держится, надо успеть перемахнуть через траншею и спуститься к берегу. Как только сомнут Ваню, дорога немцам открыта и плотом уже не воспользоваться.

– Ребятки, господом богом прошу, быстрее давай-те, – приказывал он и умолял. – Иначе нету нам спасенства!..

Но где эта чертова траншея? Может, не туда двигались? Мысль эта ужаснула его. Сплошной мрак – не за что глазу уцепиться. Никакого ориентира!..

Он едва переступал, ноги расходились в стороны, одной рукой волочил за собой стонавшего Антонова, другой – тащил пулемет.

Он услышал шум впереди.

– Что там?

– В траншею угодил, – плаксиво откликнулся Сянский. – И сержант на мне... Плохо!..

– Амба! – как бы подтверждал Рябов, что плохо.

– Брось ты свое «амба»! – с досадой оборвал его Пилипенко. – Ничего не амба. Сейчас выберемся и – к воде!

Выкарабкались из траншеи.

Словно освещая им дорогу, вскинулась ракета, долгая и пугающая. Тающий свет ее растекался, растекался, охватывая все небо, до самого конца, всю землю, до самого конца. Пилипенко потерянно скрипнул зубами. «Сейчас стукнут в спину», – приготовился он к худшему. Он и Антонов кинулись на землю, Полянцев стоял, как бы озираясь. Слишком суетливо водил перед собой руками, и это было непохоже на уравновешенного Полянцева.

– Ложись, душа из тебя вон! – рывкнул Пилипенко. – Ракету не видишь?

И когда тот повернулся к нему лицом, в свете, уже начинавшем синеть, Пилипенко увидел: Полянцев слеп.

Неловко, будто хватаясь за воздух, Полянцев запоздало опустился на землю. Он, возможно, еще не понимал, что лишился света, что жить теперь будет

в мире, в котором все только черное, и всю жизнь не уйдет из памяти белое, зеленое, синее, красное.

Выстрелов не было.

– Поднимайсь!

Шли, бежали дальше. Впереди Сянский с Рябовым, чуть позади Пилипенко с Антоновым, с Полянцевым. Сколько двигаются уже, а откос не приближался. Рябов, услышал Пилипенко его вскрикнувший голос, кажется, споткнулся обо что-то.

– Ну чего там еще?! – вскипел Пилипенко.

Рябов припал на колени, и рана в бедре зло напомнила о себе. Снова вспыхнула ракета, он увидел: перед ним, скорчившись, с неестественно согнутой ногой, с которой свисала размотавшаяся обмотка, лежал Петреев, связист Петреев, с худыми узкими плечами, с невозможно бледным под зеленоватым светом, искаженным лицом. Ему, видно, было очень больно, когда осколок впился в лоб, так больно, что боль не проходила и сейчас: брови перекошены, рот судорожно раскрыт, два передних зуба врезались в нижнюю искривившуюся губу. Смерть настигла его, наверное, когда он нашел перебитый снарядным осколком провод и соединял концы. Рябову вспомнилось: «Хрен его носит где, этого Петреева!..» А он, бедный Петреев, маленький связист Петреев, может быть, в ту минуту упал здесь.

Сянский подхватил Рябова, тот поднялся, сделал шага два, оглянулся, и пока окончательно не иссяк свет ракеты, глядел в открытые глаза Петреева, и казалось – тот смотрел вслед, удивленно и укоризненно, что его оставляют здесь одного...

Запахло водой. Вперед, до откоса – метров пять. И наверное, метров пятьдесят до немцев – назад. Считанные метры. Считанные секунды. «Ну, пан или пропал», – пробормотал про себя Пилипенко.

– Антонов! Цепче держись за меня... Полянцев, друг, не теряйся. На меня иди. Спину мою чувствуй. Сянский, ты?.. – волновался Пилипенко. Он стал командиром вот этих трех. Взводный, раненый, не в счет, он уже не мог давать команду. Пилипенко стал командиром этих трех, потому что они инстинктивно поверили в него, в его решения, в его приказания – в волю его: они хотели остаться солдатами, но живыми. И он понимал это.

Теперь у него хватало дыхания только для того, чтобы самому передвигаться. Но его подгоняла беда, и он знал, что у Антонова, у Полянцева дыхание еще слабее, и тащил за собой Антонова, Полянцева и пулемет.

Выстрелы настигали их. Немцы окружали их, чтоб отсечь от берега.

– Хлопцы... как можете... все... и Антонов, и Полян-

цев... и Рябов... мотайте... Огнем прикрою...

«На минуты две сдержат бы... Дать возможность хлопцам оторваться. Метров пять же... А там откос, и вода». Пилипенко приник к пулемету. Р-р-раз!.. Очередь. Р-р-раз!.. Очередь. Р-р-раз!.. Очередь. И – на ноги. Немецкие автоматы продолжали стучать. «Хлопцы уже у откоса?..» Быстрее! Быстрее!.. Он бросился их догонять. Антонов полз, загребая ладонями песок, одно колено не сгибалось, другое он с трудом подтягивал. Мелким, заплетающимся шагом, с напряженно протянутыми перед собой руками, ступал Полянцев. Рябов спотыкался и скользил вниз, увлекая за собой Сянского: Сянский не удержал его, и Рябов со стоном покатился. Пилипенко услышал, что Рябов застонал, и догадался, что произошло. Он подбежал к Рябову.

– Быстро, быстро... – выдохнул решительно. Он наклонился над Рябовым, и тот, приподняв голову, обхватил шею Пилипенко.

Пилипенко грузно ступал, раскорячив ноги, правой рукой поддерживал Рябова, левой волок за собой пулемет. «Еще шаг, эх! Еще шаг, эх!» приближался Пилипенко к цели.

Бегом... бегом... бегом!.. Пусть стреляют... Бегом!.. Они бежали. Полянцев тоже. Антонов тоже. Слышно было, на воде колыхался плот.

Семен оглянулся, во тьме проступали ивняковые заросли, напоминая гору. Казалось, они нисколько не отошли назад. Семен повернул голову и снова стал смотреть перед собой: вода была совсем черной, еще черней ночи, и как ни силился, не мог разглядеть – ни ее начала, ни конца. Он нервничал, нельзя было определить, далеко ли до берега. Стена мрака стояла мертво, и только хлюпавшая под быстрыми веслами вода напоминала о движении. Стремительные огоньки трассирующих пуль вонзались в эту стену и пропадали.

Семен, сжавшись, сидел на корме. Левая рука – на диске автомата, пересекавшего грудь. Над самой головой проносился тонкий короткий свист. Ветер гнал прогорклый дым по реке, бил в нос, скреб в горле. Дым напоминал о рухнувшем мосте. Раздался глухой взрыв, почти в то же мгновенье второй, уже недалеко от носа лодки, впереди, как бы загораживая ей путь. Кверху вскинулась вода и тяжелым ливнем обдала Семена, всех. «Бьет минометами», – переживал Семен.

– Ребята, жмите! Жмите!.. – во весь дух крикнул он, хоть и знал, что гребцы что было силы налегали на

весла. – Жмите!..

Семен отчетливо слышал, точно видел, как, упираясь в слани ногами и трудно переводя дыхание, гребцы всем телом откидывались назад, наклонялись вперед, снова назад... Под сильными взмахами весел лодка подавалась дальше, дальше, но, казалось ему, так медленно, что хотелось прыгнуть в воду и плыть, плыть...

Через борт переплескивалась вода. Насквозь промокшие гимнастерка, брюки прилипли к спине, груди, рукам, ногам, но Семен не ощущал холода. Он поводил глазами, как бы искал чего-то, что уняло бы его тревогу. Над ним тянулся темный простор неба, испещренного звездами. Звезды лежали и на воде, сверкающие, холодные. Вода шла по звездам, не накрывая их.

Семен настороженно вслушивался: поблизости раздавались чужие всплески воды – странно, кто-то греб в сторону моста, в дым.

– Кто? – трубкой прислонив ладони ко рту, крикнул Семен. – Кто, отвечай!

Там, во мраке, выжидательно молчали.

– Куда... дурачье... гребете?.. – выпалил Никита. – Левой надо, если свои!

– Свои-и! – наконец вырвался из темноты густой осиплый голос. Поняли! Есть левой...

– Никитка-а-а! – послышался оттуда обрадованный возглас Тишки-мокрые-штаны.

Шум приближавшейся лодки нарастал.

– Ты, Кудренко-ов? – окликнул Семен. – Или Пото-омин?

– Каплюшкин! – помедлив, ответила соседняя лодка. – Кудрянкова Колю... – Слышный взмах весел заглушил голос. – И Потомина... – Взмах веслами. – Только что миной накрыло... – Взмах веслами. – Мы и шарахнулись от мин. – Торопливое хлюпанье сбегавшей с весел воды. – Да не туда... Гребок. Гребок. Сильный гребок.

Лодки шли рядом.

Вспорхнула ракета. Семен согнулся весь, бросил взгляд назад и ужаснулся: неужели они почти не отделились от берега? Откос по-прежнему стоял перед глазами – недалеко, словно не к левому берегу двигалась лодка, а держала к правому. Над кручей висел ракетный свет, и видно было, как Широкая тень откоса разбежалась по реке и неслась лодкам вдогонку. «И не поверил бы, что могут быть такие широкие реки».

Свет оборвался, и ночь опять легла на воду, гремящую, несущуюся, страшную. Немцы снова ударили. Все в лодке, затаив дыхание, молчали. Во мраке они не видели, как их расстреливают, и потому могло показаться, что автоматы, бившие справа, бившие сле-

ва, мины, с резким всплеском ударявшиеся в воду, – вхолостую, и это немного успокаивало.

– Ни-кит-ка-а! – снова донеслось из соседней лодки. – Ни-кит-ка!..

– Ладно тебе, Ти-ш-ш... – Голос Никиты как бы увяз в темноте, оборвался на полуслове. И в то же мгновение нос лодки круто повернул вправо.

– Что там? Черт бы вас побрал! – злился Володя Яковлев. – Не суши весло! Крепче налегай! – Он с Шишаревым рванули весло на себя. Лодка еще больше шарахнулась вбок.

Семен дотянулся до поперечины. У уключины, свесившись над бортом, чуть не вываливалось тело Дунаева. На спине Дунаева лежала недвижимая голова Никиты. Ноги Никиты вытянулись, беспомощные, твердые, прямые.

– Дунаев! Никита! – Семен растерянно тряс за плечи одного, другого. Они не откликнулись. – Никита! – уже тормозил его Семен. – Никита!.. Голова Никиты сползла со спины Дунаева, и он свалился на дно лодки. Дунаев!..

Но Дунаев и Никита не шевельнулись. Семен пересел к правому борту и обеими руками сжал весло. Со свистом пронеслась мина, и он сунул голову между колен. Гулко ударил разрыв, и тотчас в воздух, ставший жарким, врезался ужасающий шорох осколков.

– Володя! Володя! Взяли!

Семен налег на весло. Лодка дернулась, но теперь нос подался влево.

– Взяли! Что еще случилось?..

– Случилось, товарищ политрук! – испуганно прокричал Шишарев. Сержанта хлопнуло. Вот только...

«Что?..» – задышался Семен. Из сознания выпало: минуту назад перед самой лодкой разорвалась мина.

– Володя, – быстро проговорил Семен, – перебежись к корме. Сможешь?

Тот не ответил.

– Володя! Сможешь? Шишарев, весло!

Лодка тяжело двинулась.

Володя Яковлев пробовал взлезть на корму и не смог. Его охватила слабость. Должно быть, потерял много крови. Грудь разрывала боль, он кусал губы, грыз кулак – пытался осилить боль. Он лежал перед Шишаревым, лицом вниз. Вода на дне лодки студила лоб, щеки. С трудом втянул в себя глоток воды. Повернулся на бок, прижал рукой грудь – ничего не помогало. Его поразила мысль, похожая на отчаяние: такой, на войне, он бесполезен – ни держать винтовку, ни бросать гранату, ни взрывать мосты, если опять придется. Уже и дышать стало невозможно. И он понял: еще немного – и все. И все...

«Почему я?.. – вспыхнула терзающая обида, пере-

силив боль. – Именно... я? Почему? Ради них это... Ради тех, кто появится потом, после меня. Меня не будет, будут другие, может быть лучше, может быть хуже, но не я, не я...» Спазм сдавил горло. Он проглотил рвавшийся наружу стон.

Вода, пространство, которое не превозмочь, осколок, впившийся в грудь возле сердца, все требовало его смерти. Он должен был умереть. Часто, даже в самых трудных обстоятельствах, думал он, как вернется домой, к друзьям, в редакцию, и будет писать книгу о войне, о том, как оставаться человеком и на войне, и женится, наверное, на студентке Нине. Теперь он знал, возвращения не будет.

Надо что-то одолеть в себе, что-то такое сильное, глубокое, может быть неподвластное и воле, и тогда пропадет самое противное состояние, когда человек перестает быть человеком, когда в нем гаснут мужество, чувство долга, простое сознание необходимости, – и он уже ничего не будет бояться, смерти тоже. Мысль эта смягчила его, сделала уступчивей. «Пусть. Пусть я, – уже примирялся он с неизбежным. – Ничего не поделаешь... На войне вслепую же, не на выбор. Не я, значит, другой. Жизнь всем дорога... у всех она одна... И ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь... – Стало как-то легче, боль отодвинулась, недалеко, – потому что немного, а слышал ее. Его ничто

уже не обременяло: ни воспоминания, ни привязанности, ни желание жить. – Ничего не поделаешь... Ничего... На земле всегда есть человеку место – живому, мертвому тоже. То, что пришло в мир, никогда не уходит. В них... которые придут потом... войдет что-то и от меня... от моих бед и страданий... от моих коротких радостей... от моих желаний и надежд... от веры моей... – Он задышался. – Не делай я того, что делаю сейчас, им... тем... другим... и вообще, быть может, не быть...» Он чувствовал, все внутри медленно обрывалось, сознание меркло. Он обмяк весь. «А мост! Мост... – вдруг пришло в голову. – Мост... Мост – это я... Я!..» Он хотел улыбнуться и, может быть, улыбнулся, подумалось ему. В последнюю минуту, видно, необходимо утешение, большое утешение, чтоб легче принять конец. Он слышал свой слабевший голос: «Мост... мост... мост... мост... – И, как под тихий шум дождя, засыпал. – Мост... мост...»

– Шишарев, жми! Шишарев... – выдохнул Семен. Шишарев в лад движениям Семена тяжело налегал на весло. Ноги Семена упирались в чье-то тело, Дунаева или Никиты.

Лодка, шедшая рядом, пропала. Возможно, вырвалась вперед, Семен поймал: что-то захлюпало сбоку. Не лодка?

– Ты? Каплюшкин?

Никакого отклика.

– Ты? Отвечай?

Молчание.

Никого, значит. Показалось.

– Жми, Шишарев!

Опять захлюпало по правому борту. Не показалось, нет.

– Кто? Кто? – снова крикнул Семен. – Отвечай!

– Подбери-и-и... друг... – донесся рваный голос. – Подбери...

Семен узнал: отделенный. Поздняев!

– Подгребай! Не вижу тебя. Ты на чем?

– На балке... – простонал отделенный. – Пуля в руку... не удержусь...

Семен рывком взял в сторону – на голос. Минуты через три лодка ткнулась во что-то твердое.

– Табань, Шишарев.

Семен выпустил весло, протянул руку.

– Цепляйся, отделенный!

Ничего не получалось. Отделенный барахтался у борта. Семен подхватил его под мышки и втянул в лодку.

Отделенный хотел положить на корму раненую руку, но мешало скорченное тело Володи Яковлева.

– Чуток повернись, друг... – попросил отделенный. Володя Яковлев не ответил.

И раненая рука отделенного бессильно упала на мертвое плечо Володи Яковлева.

6

Трое, Ваню и оба бойца, скрытые темнотой, вскочили с земли и во весь дух понеслись к воде. Они оторвались от голосов автоматчиков, залегших метрах в двухстах от них.

Ваню понимал, несколько мгновений, и немцы сообразят, в чем дело – и автоматными очередями вдогонку. Надо воспользоваться этими мгновеньями. Может быть, повезет...

Ваню бежал, не оглядываясь, чтоб и секунды не потерять, секунда – это метра два, больше, если усилить бег. Но бежать быстрее он не мог, слишком напряжены мышцы, слишком стучало сердце. Тепло стало неприятно мокрым, словно он уже в воде. За спиной раздавалась автоматная дробь. «Ну все! Не успеть... Где-то тут баллоны. Где-то тут... – Он споткнулся о них, упал. Так и есть, тут».

– Цепляй баллоны! – крикнул невидимым бойцам. – Баллоны!

В секунду перекинул через грудь баллон, ступил в воду. Широко вдохнул воздух. Ноги увязали в донном песке. Ваню сделал два-три скачка, стало глубже. Са-

поги наполнились водой, отяжелели. Еще немного, и дно ушло из-под ног. Он почувствовал облегчение: река скроет, а начнут палить, нырнет, всплывет, снова нырнет... Вода, как-никак, спасение.

Он загребал саженками. Поблизости, слышал он, плыли те, двое.

«Там, на берегу, осталось несколько баллонов, – тревожился Ваню. – А если немцы вслед?.. – Он чуть было не захлебнулся, подумав об этом. – Нет. На баллонах немцы не рискнут», – успокоился он.

Течение тянуло его назад, к правому берегу, и он чувствовал это. Он ложился на бок, выбрасывал вперед руку, со всей силой врезал ее в глубь воды. Холодные и длинные языки волн, еще не успокоившихся после взрыва моста, накатывались на Ваню, поднимали под ним баллон.

Он услышал лёт пуль и увидел их светящийся след. «Накроют... накроют... Шпарит трассирующими...» Сзади изнуряюще долго стучали пулеметы. Потом, в стороне, там, где был мост, дважды хлопнули разрывы. «Мины... А то – бризантные, да?..» – сообщал Ваню.

Взвился ошеломляющий свет ракеты. Стрельба продолжалась.

Пуля шлепнулась у самой груди Ваню. Как раз в ту секунду, когда снова лег на бок и выбросил руку впе-

ред. Пуля пробила баллон. Баллон стал опускаться в воду. Ваню вынырнул из него и пошел вплавь. Он во-
брал в себя воздух, двинул головой вниз, и вода на-
крыла его, всего; всплыл; взмах взмах – взмах, и сно-
ва головой вглубь. В открытых глазах – мрак. Кончи-
лось дыхание, наверх! Черт возьми, свет ракеты сто-
ял широко и долго.

Ваню увидел, медленно, вместе с отяжелевшими
баллонами, уходили под воду оба бойца.

Черные бугорки уменьшались у него на глазах.

Река молчала.

Правая рука вперед... левая рука вперед... правая
рука вперед... Под ним текла холодная и черная вода.

Он, видно, вконец устал, вода показалась очень
плотной, сдавливала грудь, спину, живот. Правая рука
вперед, левая рука вперед...

Он захлебнулся, потянуло ко дну. «Кажется, попал
в воронку». Водоворот тянул вниз, тянул вниз. Про-
клятые сапоги, и не скинешь их... Ваню почувствовал,
силы покидают его.

«Ваню, не сдавайся. Не сдавайся, – безмолвно про-
сил он себя. – Дотяни до берега, Ваню... Нельзя же
так, слушай, Ваню. Ушел от немцев и глупо погибнуть.
Ваню, Ваню, не сдавайся! Поднажми...»

Проклятые сапоги! Проклятые сапоги!.. Надо было
скинуть их на берегу. Надо было скинуть... Не скинул.

Они не дают плыть. «Вот и принимай смерть, Вано...»

С усилием выбросил правую руку, она чуть задержалась и, тяжело подгребая воду, пошла назад. Тело чуть продвинулось вперед. Он выбросил левую руку. «Вано, Вано... – подбадривал он себя. – Вано...»

Чудесная это штука, надежда. Во всех случаях, даже в самых погибельных, как тень тянется надежда за человеком. В чем она сейчас, надежда эта, Вано? Во всем! В нем самом.

Правая рука вперед. Левая рука вперед...

7

Пилипенко сунул ноги в ложбинку меж бревен, чтоб удержаться на плоту. С силой толкнул шест с туго привязанной к нижнему концу саперной лопаткой.

– Сянский! Живее ворочай!

– Ох, духу уже не хватает, – чуть не плача отозвался Сянский. – Шест вот выпущу из рук... – тревожился он.

– Вы-ы-пущу!.. Я тебе кишки выпущу! До берега с гулькин нос. Ворочай давай!

Плот все время сбивался вбок. Как ни старался Пилипенко регулировать движение, Сянский не поспевал за его взмахами.

Осколки разрывавшихся рядом мин шлепались в воду, и брызги покрывали плот.

– Ни черта не видать, – бормотал Полянцев. – С глазами что-то неладно.

«А может, закрыты? Да нет, открыты... А в них ночь и страх, могут ли они видеть?..» – неуверенно успокаивал себя.

– Ни черта не видать! – сказал в голос.

– Не видать, – подтвердил Рябов. Он лежал на плоту, вытянутые руки цепко держались за колени Полянцева.

Разрыв!.. Разрыв!.. Накат воды двинулся на плот, и край плота под тяжестью накренился. Залило Рябову глаза, рот полон воды.

«В вилку, что ли, берет», – Рябов выжидательно сжал плечи. Носом уткнулся в мокрые бревна. Что-то рухнуло на Рябова и ударило в бедро, в самую рану. Сянский, понял он, вместе с шестом повалился на него.

Волна прошла, плот выровнялся. «Сейчас еще стукнет, – ждал Рябов напряженно. – Амба!» Его не покидало ощущение, что никогда уже не вернется в мир, в котором ничего не надо бояться.

«По времени и берегу уже быть», – мелькнула мысль. Вода впереди казалась ему черной пахотой, и дух от нее шел густой, кисловатый, как бывало в Малинках от пахоты. Кружилась голова. Лучше не смотреть на воду, решил он.

Он услышал:

– Ну, Сянский! Разом давай! Разом! Разом! Причаливаем!..

«Слава богу... – с чувством облегчения подумал Рябов. Он вглядывался перед собой: только тьма впереди, ночь стояла на месте. Слух выделил из ночи: волна перебирала гальку. – Верно, значит, причаливаем».

Пилипенко швырнул шест, и шест с глухим стуком шлепнулся на песок.

– Сержант! Сейчас подсоблю...

– Нет. Поведешь Полянцева. – Рябов уже встал на правое колено. Левое бедро ныло. – Я сам выберусь. Поведешь Полянцева, – повторил. – А ты, Сянский, поможешь Антонову. Выгружайсь!

Подхваченный откатывавшейся волной, плот качнулся, и Рябов, взмахнув руками, не устоял, упал в воду. Ногами уперся в дно. Ноги неподатливые, тяжелые. Рукой нащупал выпиравшее из воды корневище. С минуту не мог подтянуться, чтоб выползти на берег. Наконец вылез из воды.

8

Андрей рывком вскочил на плот. Нога застряла между связанными бревнами, и он упал головой впе-

ред на какую-то сумку, похоже противогазную. Ушиб раненое плечо – ударила режущая боль.

Андрей прижал к себе автомат, словно боялся выронить, посмотрел вокруг, ничего не увидел.

Плот отчалил от берега.

Слышно было, под саперными лопатками, привязанными к шестам, гремуче всплескивала вода.

– Раз! – Петрусь Бульба толкал шест назад.

– Раз! – откликнулся Валерик, делая то же.

– Раз!..

– Раз!..

Тяжело, напряженно Петрусь Бульба и Валерик погружали в воду шест, и когда они двигали локтями, поднимался и опускался ствол перекинутой через плечо винтовки.

Андрей разогнул ноги, уткнул в вещевой мешок. Возле растянулись раненые Ляхов и Ершов. Ершов тихо постанывал.

Под ними медленно шла утомленная вода, шла, как и вчера, и неделю назад, и до войны, и тысячу лет назад. Вода шлепалась о бревна, и холодные брызги падали Андрею на лицо. Плот пах свежим сосновым духом, и дух этот был крепче запаха наплывавшей воды.

Андрей приподнял голову, в слабеющем свете приглушающей ракеты видел: прямо и вкось двигались к

левому берегу плоты, лодки, темные пятна, должно быть, бревна, и на них бойцы... Сбоку неуклюже тянулся плот. Рябовский... – схватывал Андрей. – Оттуда больше некому. Точно, Рябовский... – Сзади плота торчали на воде какие-то кочки. – Баллоны, понял он. Вано?.. А со стороны обороны Володи Яковлева в полосах багрового дыма показались лодки. Одна... две... «Восемь было у Володи...» Андрей усиленно всматривался: «Точно, две...»

Ракета погасла, плоты, лодки, баллоны, бревна ушли во мрак, словно под воду.

– Раз!..

– Раз!..

Андрей почувствовал, планшет давил в бок, мешал. Перебросил планшет на спину. Все равно, лежать было неудобно, и, упираясь коленями, ладонями в мокрое, скользкое бревно, хотел встать. Не удержался и опять шлепнулся на плот.

– Раз!.. – Петрусь Бульба.

– Раз!.. – Валерик.

Впереди разорвались мины, и в том месте судорога схватила воду, она вскинулась вверх и тугим напором бросилась на плот. Вода хлестала в лицо, заливала глаза, затекала за воротник гимнастерки, перекатывалась через спину. Теперь ощутил Рябов жутковатый запах черной воды.

Еще удар мины, особенно гулкий, пронзительный какой-то.

Осколки падали густо и шумно, словно лил сильный дождь с градом.

Потом все смолкло.

Ляхов и Ершов крепко уцепились за кругляши, чтоб их не смыло. Было трудно лежать на раздвигавшихся и сдвигавшихся бревнах, и Ершов напрягся, сел, согнув перебитую пулей руку; Ляхов тоже кое-как уселся, подперев ладонью раненую голову. Сбоку примостилась Мария. Данила сидел вытянув ноги, Мария упиралась в них.

Данила застонал.

– В ноге что-то неладно. Пуля, черт, угодила. Должно, в мякоть. А хоть и в мякоть, а больно.

Мария отодвинулась от него, привстала на колени, держась за Сашино плечо.

У плота грохнул снаряд. Значит, танки подошли к береговому откосу. Мария закрыла глаза, чтоб отогнать страх. Когда ничего не видишь, оказывается, еще страшней, и она разомкнула веки. Мрак и теперь стоял перед нею.

Дробь пулемета рассыпалась по реке.

– Ложись! – Андрей весь подобрался.

Все уже лежали. Обхватив качавшееся бревно, Андрей тоже лежал, у самого края плота, и волосы спа-

дали с непокрытой головы. Грудью ощутил он дрожь реки. Петрусь Бульба и Валерик продолжали стоять на плоту и бешено гребли шестами.

Длинные пулеметные очереди настигли плот, и тотчас раздались вскрики Ляхова и Ершова, в которых слышалась последняя сила. Андрей почувствовал, Ляхов и Ершов сползали с плота. Он пытался кого-то из них удержать, и не удержал.

Снова ракета, слишком яркая, затяжная, черт возьми. Но и она погасла. Казалось, в небе спрятались молнии, и вот-вот новая вспышка хлынет на воду и раскроет плот. В ночь опять врезался холодивший душу свет. Андрей увидел: мины накрыли двигавшийся слева плот. Плота не стало, ушел в воду. Лодка, одна из двух, шедших со стороны горевшего моста, разлетелась вдребезги. «Мало кто спасется. – Андрей слышал гулкое биение сердца. – А может, и никто». Что делать? Что делать? Это, наверное, и есть высшая степень страдания, когда в минуту смертельной опасности не можешь помочь тем, кому обязан помочь.

Вокруг билась ночная дикая вода.

В голову ни с того ни с сего урывками набегали из давнего далека пустяки какие-то, затаенные в краешке памяти, – все та же речная коса с белым берегом и синей водой... запертая на ночь калитка на Адмиральской двадцать три, и он с Танюшей у этой за-

пертой калитки... И еще что-то, и еще что-то, и еще, случайное, возникало навязчиво, без связи. Чушь какая-то! – отбивался Андрей. – Забыть, забыть. Навсегда. Но ему так и не удавалось забыть то, что надо забыть. Как ни старался.

А ракеты светили, светили; похоже, зажглись навечно.

Там, на середине реки, течение было быстрое, крутились воронки, вода неслась гребешками.

Пулеметы продолжали стучать. Снова ударили минометы. Андрей опять подумал: «Никто не спасется». И ничем, ничем, никому не может он помочь. Через минуту, через секунду он тоже пойдет ко дну. Такой огонь! Такой огонь!

Пережить бы это, пережить бы, и тогда ничто уже не будет страшно, ничего худшего уже не будет, никогда, все пойдет хорошо, честное слово, внушал себе Андрей, словно от него самого зависело, останется ли жить. Потом, когда-нибудь, если он все-таки выживет и все это отойдет в прошлое и успокоится, ночь эта не будет казаться ему правдой, он усомнится, было ли это на самом деле. По-другому увидятся ему и губительная глубина под ним, и надежда, самая неясная на свете и в то же время самая сильная, без которой умер бы тут же, сразу. Почему-то подумалось: «Хорошо, что происходит это ночью. Днем было бы

труднее. Днем особенно хочется жить...» Добереться б до берега, добереться б до берега. Но – мины, пулеметы, ракеты. Столько возможностей умереть, и так мало шансов выжить. А может быть, кто-нибудь и доберется до берега...

Андрей смотрел на воду, он не представлял себе, что под светом она такая черная, пугающая. В ушах все еще стоял тяжелый гром рухнувших ферм и перекрытий моста, перед глазами – роты, двигавшиеся к новому рубежу обороны, он дал им возможность оторваться от противника. Сознание выполненного долга вытеснило все остальное.

Он подумал о Марии. Стало ее жаль. Как ей, девочке? В такой попала переплет...

– Мария... – негромко позвал.

На плоту шевельнулась темнота:

– Вам помочь, лейтенант? Рана?

Андрей забыл, что бинт охватывал плечо.

– Страшно?

Марии было страшно, но, стараясь придать голосу бодрость, сказала:

– Не очень. Нет.

– Держись крепче, не выпади, смотри.

– Не выпадет, – отозвался Данила. – А мы с Сашком зачем?..

Саша положил руку на плечо Марии, и рука ощути-

ла, как по телу девушки пробегает дрожь. Он набросил на нее плащ-палатку, чтоб дрожь унялась.

Мария доверчиво уткнулась лбом в его плечо и замерла. Она чувствовала рядом длинное, вытянувшееся тело Саши и как спокойно дышал он, словно выскользнул из этого ада и страшиться ему было нечего.

– Сашенька... – бормотала Мария, прижимаясь к нему, будто рвалась туда, где он, по другую сторону опасности. – Сашенька...

– Не бойся, Марийка. Марийка... Ну не бойся! – как бы слышал Саша тревожный стук ее сердца.

Для молчаливого Саши, знала она, это было много, и благодарно коснулась губами пахнувшего потом и порохом мокрого рукава его гимнастерки.

– А самолетов не будет, Сашенька, миленький?

– Самолетов?.. Не будет. Самолетов не будет.

– Не будет? – Странно, мысль о самолетах беспокоила Марию больше, чем огонь, рвавшийся вокруг.

У нее было такое ощущение, будто все еще находится в гибнущем городке и лежит рядом с убитой девочкой с розовым бантиком на окровавленной головке, рядом с бездыханным милиционером, которому мешала кобура на боку, рядом с Леной, Ленкой, Леночкой; это опять предстало с ясной живостью, и она увидела улицы в пламени, горящие машины, и того чернявого красноармейца, перематывавшего обмот-

ку на ногу другого, раненого красноармейца, и ставшие ненужными вещи, разбросанные на тротуарах.

Сбоку лопнула мина. Плот накрылся, Мария захлебнулась водой и снова почувствовала себя на реке.

Андрею подумалось: обойти эту ночь, переправу эту через реку, ужас этот он не сможет никогда. Если останется жить. Но разве можно остаться в живых? Он весь сжался: опять тупой и сильный удар, и вода опять вскинулась и залила плот.

И – ракета! В ее неестественном свете Андрей увидел только что покинутый бойцами берег.

Он повернул голову. Тот, другой, левый берег не приближался, словно плот, не двигаясь, колыхался на воде.

– Да гребите же! – понукал он Петруся Бульбу и Валерика.

– Раз! – всей силой напрягался Петрусь Бульба, толкая шест.

– Раз! – отталкивал шест Валерик.

Ракеты погасли.

И все перестало существовать, только мрак и бурлившая под шестами вода.

Андрей прерывисто дышал. Сердце уже ничего не могло в себя принять, даже надежду, даже радость, если бы была возможна радость.

Черная река. Черный воздух. Черный воздух прошивали длинные трассы огненных пуль. Андрей обернулся назад: горел город и небо над ним горело, зловеще багровое. Красная ночь еще страшнее черной ночи, с содроганием подумал Андрей. «Нельзя, нельзя, чтоб они победили. Совсем нельзя. Нельзя. Их победа – это еще одна война. А может, и не одна... Видят же люди, больше чем когда бы то ни было, что такое война! Не может же все это уйти в ничто, исчезнуть, ничему не послужить!..»

Над плотом, над головой, висела холодная звезда, та самая, что стояла над ротным командным пунктом, другая звезда сверкала левее, как раз на дороге к высоте сто восемьдесят три, помнил Андрей. Достичь бы берега! Только достичь берега, большего и не нужно.

– Раз!..

– Раз!..

– Раз...

Петрусь Бульба, Валерик гребли натужно, но плот, казалось, двигался медленно, почти стоял на месте.

Андрей поднялся на колени, потом встал на одну ногу, на другую. Плот покачивало.

– Валерик, вместе давай! – Андрей ухватил шест повыше рук Валерика. Давай!..

Все равно, вода была сильнее, она не поддава-

лась, будто сдерживала плот.

В первое мгновение Андрей не мог сообразить, что произошло. Потом понял, плот тупо уткнулся в невидимый берег.

Справа, слева хлупала вода – причаливали плоты, лодки, подплывали те, кто переправлялся на бревнах, на досках...

Андрей шагнул вперед. Не верилось, что не лежит на плоту, что под ногами земля, мокрая, бугристая, беспокойная, а земля. «Ну, теперь точно, ничего худшего, чем то, что было, не будет, все пойдет хорошо, честное слово», – твердо говорил себе Андрей.

Слышно было, к берегу прибилась лодка, потом другая, потом шурхнул у прибрежного песка плот. И еще слышно было, кто-то грузно выходил из воды. Кто-то упал, поднялся, ступил на песок. Бойцы переводили дыхание, ежились, с них стекала вода, колючая и холодная.

Мысли Андрея были уже о дороге к высоте сто восемьдесят три, о комбате. Все, что несколько минут назад одолевало его, почти одолело, сгнуло, словно и не было вовсе.

Но сердце все еще колотилось, не могло уняться. Андрей прижал руку к груди – не помогло: в груди стучало, стучало.

– Слушай мою команду! – услышал он себя. – Быст-

рее выбираться! Быстрее! Прямо и в лес! – Голос его снова обрел твердость. – Бе-гом!..

К нему вернулись воля и решимость продолжать жизнь, какой бы трудной она ни была.

Глава одиннадцатая

1

Немцы уже вышли к правому берегу. Андрей понял это по долгим пулеметным строчкам, летевшим с откоса. «Немцы у самой воды». Пули ссекали ветки с невысоких прибрежных сосен, возле которых рота выходила из реки. Ветки падали на голову, валились под ноги. Андрей зацепился за слетевший сук и чуть было не упал.

– Раненых в середину. Не задерживаться! – требовательно торопил он. За мной марш!

Он слышал: бойцы ступали справа, слева, сзади. Грузный, спотыкающийся, трудный топот.

Ракеты ударили в небо. Уйти б от света!.. Сникнуть, пропасть, раствориться. Меж сосен виднелся берег, который рота только что покинула, и широкая полоса взлохмаченной воды виднелась. Оттуда, с берега, все еще вели огонь. По ним. Откос и река не спускали с них глаз. «Никак не оторваться, – волновался Андрей. – Никак от опасности не отойти!» Быстрее... Подальше... Подальше от берега! Подальше в ночь...

– Взять правее!

Андрей резко рубанул рукой в воздухе, как бы отделял себя от стрелявшего берега, от всего, что было там. Перед глазами, высветленный ракетами, выступил навстречу лес, черный, как уголь.

Шли торопливо, почти бежали. И где силы брались так быстро двигаться. Андрей отчетливо слышал топот ног и старался сообразить, сколько их, бойцов, и не смог. Десять? Двадцать? Больше?.. Меньше?.. В падавшем с правого берега молочном свете ракет сквозила среди тесных сосен путаница прогалков, и в прогалках перемешались тени людей и сосен, и нельзя было уловить, какую тень отбросил человек и какую сосна. В глазах все мелькало, прыгало, и низкие кудлатые сосны могли тоже казаться ступавшими бойцами. «Все-таки спаслись... Десять там, двадцать... или сколько, а спаслись... Раненые, правда. Рана, что ж, рана не смерть... – Он облизнул сухие губы. – Что с Рябовым? И с Полянцевым что? И с Антоновым? На привале разберемся».

Ракеты стихали, и постепенно берег, река отступали. На землю вернулся мрак ночи. Черна и пуста ночная земля, ничего на ней. Ни лиц, ни фигур. И себя не видел Андрей, он слился с темнотой, с ночью. Только ощущение тяжести в ногах напоминало ему, что он есть. Он есть, и надо терпеть и мрак этот, и ставшее

уже непосильным движение. Голова тупо клонилась вперед, и, как бы спохватываясь, он судорожно выпрямлялся. Сил не было ступить дальше.

Намокшая одежда тяжело висела на нем. В сапогах полно воды. Сбросить бы сапоги, вылить согревшуюся воду. С мокрых волос, прилипших ко лбу, на лицо спадали холодные капли. Две-три минуты побыть бы дома! Всего две-три минуты, и можно дальше жить. В мыслях сейчас он так близок к дому, что вот сделает шаг, другой, и рука возьмется за дверную скобу...

Андрей успокоился, опасности, кажется, уже не было.

Сегодня по-настоящему узнал он, что такое жизнь. Прекрасна жизнь!.. В эти месяцы, в минувшую ночь смог он убедиться в этом. Испытав столько, у него есть с чем сравнить прекрасную жизнь. Жизнь в самом деле прекрасна, если не обрывается, когда под огнем бежишь по откосу вниз, когда не жмешься под огнем к плоту, весь в страхе, который взяло на себя сердце, и выдержало. И что бы ни произошло, что бы ни случилось, как бы, казалось, ни складывалась безвыходно обстановка, надо воевать, – понимал Андрей, иначе ее растопчут, эту жизнь. Солдат, потерявший веру в победу, уже не солдат. На войне боль, страдание не надламывают человека окончательно, наоборот, вынуждают собрать оставшиеся си-

лы и действовать. И действовать! Андрей готов был действовать.

Он знал, что нужно делать дальше. Нужно добраться до высоты сто восемьдесят три, это километров двадцать – тридцать, а то и пятьдесят, смотря по тому, как придется идти, дорогой, или в обход, лесом, или вброд через речки, или еще черт знает как...

В темноте столько дорог, но как найти одну, нужную? Надо торопиться, надо торопиться. Солдат знает, ноги – самый совершенный механизм человека. И он доберется, куда держит путь. Светало б... Тогда и карта и ориентиры в помощь. «По времени уже утро, – подумал Андрей, – а света еще нет». И тут же испугался мысли о рассвете. В эту минуту он больше всего боялся рассвета. «Отойти бы подальше...»

Та-та-та-та... – снова оттуда, с берега. – Та-та-та... – с берега, с берега. «А может, уже с реки? Может, немцы уже навели переправу и вот-вот настигнут нас? Неужели после того, как перетерпели столько, – накроет?» Несправедливо. Даже на войне.

– Куда держать? – безразличным, сонным голосом спросил кто-то, ступавший впереди.

– Держи правее, – сказал Андрей спине спросившего, – к лесу. Понял?

Но спина ничего не слышала, она спала, согнувшись под тяжестью склонившейся на грудь головы,

спала и двигалась.

В оранжевом тумане возникал ломаный силуэт переправы, будто подошла близко и, колыхаясь, остановилась, над ней клубился рыжий дым. Андрей почувствовал удушливый горький запах. На самом деле никакого оранжевого тумана не было, и дыма не было, и обломков моста он не видел, потому что все это находилось за спиной, а смотрел он перед собой, туда, куда двигался. Просто переправа не выходила из головы. Почудилось, что и сейчас слышал он взрывы, доносившиеся оттуда, где был мост. Не так, правда, чтоб сильные взрывы. А танка два-три грохнулись, точно, – кивнул утвердительно. К мысли этой, почти счастливой, примешивалась глухая тревога, она все время следовала за ним. – Семен... Володя Яковлев... Смогли выбраться?..

Возможно, и не выбрались, – мучительно подумал Андрей. Со всей определенностью он представил себе Семена, костлявого, с впалой грудью, лежащим на берегу, у переправы, с головой, разmozженной танком, представил Володю Яковлева, рядом с Семеном, тоже убитым, и поверил, что так это и есть. И о пулеметчиках, о Капитонове, Абрамове Косте, Иванове, прикрывавших отход роты, думал, о всех, навсегда оставшихся на том берегу, думал. В сердце вошла боль, долгая. «Солдат – самый честный человек на свете.

И самый святой. Каждую минуту готов он отдать то, чего никто другой не отдаст, – жизнь. Это не так мало, Семен, а?» Он по-прежнему чувствовал Семена возле себя. Но Семена не было. Совсем не было.

Показалось, что без Семена, без политрука Семена уже не сможет, особенно теперь, когда все так неясно и нужен товарищ, способный убраться сомненья, если они появятся.

Андрей трудно шагал. Наболевшее тело опало, только ноги пока не уступали сну. Еще километр, может быть полтора, и начнется день, и можно будет свалиться и уснуть.

Река осталась там, слева, ее уже почти не слышно.

2

Сквозь угасавшую темноту стал пробиваться еще невнятный свет. Ночь уходила в сторону правого берега, там по-прежнему все тонуло во мраке. А здесь, в восточной стороне, ранний свет медленно оживавшего неба ложился на землю, как бы вырывая ее из небытия. Свет все привел в движение: постепенно поднимались деревья, кусты, вырастала трава.

Вдалеке виднелся зеленый воздух леса. Андрей ощутил его запах – это был запах надежды: лес, слава богу, лес! Уже отчетливо слышался мерный шум

вершин.

Рота вступала в лес. Предутренний ветер влетел в гущину деревьев, затаился, опять вырвался на волю. Деревья тронулись. Шум от осин перешел к березам, потом к елям, потом – к дубам, много здесь дубов, старых, с густой тяжелой листвой. Острее стало пахнуть травой. Птицы, невидимые, заерзали где-то. Лес наполнялся утром.

Перед солнцем небо чуть-чуть голубоватое; сейчас небо было каким-то потушенным, пепельным. Оно сверкнуло, когда в прогале, в самом низу леса, прорезалась красная дуга солнца. Первая весточка жизни, пришедшая из-за горизонта, с той стороны, откуда появляется утро. Деревья, кусты, трава, только что еще казавшиеся зыбкими, почти невесомыми, обрели точные формы и плотность, будто свет наливал их живой тяжестью. На сапогах блестели синие капли росы, они становились розовыми, сверкнув, скатывались вниз и пропадали.

Потом солнце, уже в полный круг, плавно поднялось вверх. Земля ясна, ясна и становилась такой же ясной, как и небо, в котором виднелось накрытое облачком начинавшееся солнце. Будто ничего не случилось, утро такое яркое и зеленое: вокруг трава, трава, кupy деревьев.

Сознание, что минувшая ночь позади, вливало си-

лы. Самое главное сейчас – добраться до высоты сто восемьдесят три, – размышлял Андрей. – И все станет проще и легче: рядом будет комбат. Мысль эта подталкивала Андрея, торопила. К ночи, пусть к следующему утру, он достигнет цели. Он уже видел перед собой и высоту, и комбата, сухощавого, седого, с невыспавшимися глазами, вот такого, как вчера возле землянки над высоким берегом реки.

Рупором приставил ладони ко рту:

– Подтя-ги-вайсь! – Андрей удивился собственному голосу: нетвердый какой-то, словно не командир он роты, а еще студент педагогического института, и не приказывает, а просит. «От усталости это, от напряжения, ничего, ничего, выровняется все».

Валерик, ни на шаг от него не отступавший, заметил состояние Андрея и, как бы помогая ему, выпалил:

– Подтягива-а-айсь!..

Андрей вдруг понял, что присутствие Валерика радовало его, словно не мыслил себя без него. С минуту неотрывно смотрел на Валерика. На поникшем плече неловко висела винтовка на брезентовом ремне, за спиной топорщился тугий вещевого мешок, на боку набитая чем-то противогазная сумка. Андрей вспомнил: в этот мешок упирался он на плоту, на этой сумке примостилась его голова. Ноги Валерика чуть не до колен покрыты травой, и потому выглядел он совсем

маленьким. Лицо стянутое, зеленоватое, точно это отражение травы на нем. Лоб, щеки мокрые, в каплях, казалось, то еще не высохла речная вода.

Андрей поравнялся с понуро двигавшимся Петрусем Бульбой и представил себе его и Валерика снова на плоту: «Раз!.. Раз!..» И пулеметные очереди в них, и минометы в них, а они склоняли голову, только когда отталкивали шест: «Раз!.. Раз!..»

Потом увидел Марию с санитарной сумкой и вспомнил: плечо. «Ерунда». Он ощутил повязку, охватывавшую плечо. И странно, повязка, показалось, сделала неуклюжим все тело. А лишь несколько витков бинта, пропитавшегося кровью. Размотал, бросил. Мария шла рядом с Сашей, с прихрамывавшим Данилой. Измученные, тусклые у нее глаза, бледные щеки, синеватые губы. «А впереди сколько еще, – подумал. – Разве девчонке преодолеть беды войны?» Он снова подсадовал, что судьба подкинула лишнюю заботу, девчонку эту.

Из-за широкой ели возник Семен. Семен?.. Во рту – папироса, он пошарил в карманах, спичек не нашел, и папироса торчала в зубах незажженная. Андрей оторопело смотрел на него, он не мог освободиться от ощущения утраты, с которой было уже примирился, как примиряются со всем на войне. Он же ясно видел его с раздавленной головой у переправы. Он смотрел

на Семена и хотел добраться до того мгновенья, когда увидел его мертвым, и сбивчиво соображал, как это было, и начал сомневаться, было ли то мгновение. Действия, обстоятельства, бывшее и небывшее смешалось, переплелось, и не отделить правду от вымысла, слишком сильно напряжение, слишком обыденной стала смерть, и так быстро все происходит, и не успеть разобраться, что уже произошло и что еще не случилось. Семен жив... Андрей с минуту привыкал к этой мысли.

– Семен! Семен!..

На лице Семена выступала густая щетина, в нее набилась грязь, и оттого лицо казалось совсем исхудалым. Удивительно, как может так исхудать лицо и остаться живым!

– Я... – хрипло откликнулся Семен.

– А Володя? Володя?..

Семен опустил голову.

Оба молчали.

На войне убивают. Конечно. В лучшем случае, ранят. И все равно, быть не может, что Володя Яковлев убит. Часа два назад Андрей приказывал ему: «Володя, рви!» Показалось, что и сейчас еще оттуда, где был мост, доносился запах дыма и взрывчатки, напоминая, что дело сделано. Но Володи нет. И никогда не будет... Андрей понимает это, понимает и – не верит.

В такое долго не верится. Каждый раз, когда погибал кто-нибудь, с кем еще утром, днем, вечером Андрей виделся, он не мог взять в толк, что это навсегда, навсегда. И ждал, что тот появится в ближайшем лесу или на поляне за лесом или придет треугольник из госпиталя.

Андрей продолжал стоять, как бы ожидая, что из-за той же ели, откуда вышел Семен, выйдет и Володя Яковлев.

То тут, то там из кустов выступали бойцы. Вон показался Шишарев, он вел под руку Рябова, принаравливая свои шаги к его неровному шагу.

Андрей подошел к ним. Семен тоже.

– Обойдется, думаю, – предупредил Рябов их вопрос. – В бедро дважды садануло. Никакого нерва, думаю, в ноге не перебило. Обойдется, думаю.

«Слава богу, хоть жив», – вздохнул Андрей.

Он услышал голоса.

От деревьев отделились Сянский с мешковатым Тишкой-мокрые-штаны. Спотыкаясь и там, где были песок и трава, несли они на плащ-палатке Антонова.

И Ваню увидел Андрей. Ни каски, ни пилотки на голове, свалывшиеся в жгуты волосы какие-то пепельные, серые, возможно седые. Он поддерживал Полянцева. Ваню замедлил шаг, Полянецев тоже замедлил шаг. Потом Ваню пошел быстрее, и Полянецев

пошел быстрее, осторожно шаркая ногами, должно быть, всюду казались ему препятствия.

Пустыми впадинами, вместо глаз, смотрел Полянцев в пространство. В полуулыбке чуть разомкнуты губы: наверное, со всей ясностью представлял он себе зеленую красоту леса, синий покой неба, золото утра, сыплющееся на землю: нельзя же все это забыть за одну ночь!..

«Ему уже никто не сможет помочь, – подумал Андрей о Полянцеве. Доберется до госпиталя и выкарабкается наружу, туда, в жизнь. В жизнь. Но что она ему теперь? Война все время будет с ним».

– Садись, Полянцев, передохнем, да? – попросил Ваню и помог Полянцеву опуститься на траву, видел Андрей.

– Сядем, – откликнулся Полянцев. Он протянул руку, отыскивая руку Ваню, нашел, сжал ее. – Ты же не бросишь меня, Ваню?

– Ты дурак, Полянцев, – сердито сплюнул Ваню. – Ты плохой человек, Полянцев. Ты нечестно думаешь о товарищах, Полянцев. Ты не должен думать так, слушай, – укоризненно говорил он. Помолчал. – Ты хороший человек, Полянцев, ты пойдешь с нами дальше. Держись, да?

Полянцев приподнял голову.

– Утро сейчас или ночь, Ваню? На моих щеках, на

руках моих чувствую солнце.

– Утро, Полянецв, очень хорошее утро, Полянецв. Понимаешь, да? Мы уцелели, слушай, понимаешь, да?..

Полянецв глубоко втянул носом пахнувший терпкой хвоей воздух, задержал в себе и не спеша выпустил. Неторопливо повернул лицо вправо, влево, будто искал чего-то и не находил. Он вслушивался в птичий пересвист, в шорох бежавшей к нему под ветром травы. Но лицо было каменным, ничего не выражало.

– Попить бы, Вано...

Вано отцепил от ремня флягу, приставил ко рту Полянцева, тот обеими руками обхватил ее и долгими глотками пил. Потом оторвал флягу от губ.

– Будем живы, хрен помрем, да, Полянецв? – Вано хотелось как-то утешить его.

Полянецв молчал, как бы не слышал его.

– Знаешь, Вано... – Смутное движение тронуло лицо Полянцева, словно он старался что-то постичь и это не получалось. – Все давит на меня, сверху, снизу, с боков. Давит... – Он протянул перед собой ладонь, точно отодвигал от себя то, что давило, и видно было, у него дрожали пальцы. Вроде бы все вижу, но как в тумане. Где-то очень далеко. И никак не приближается. – Он вытянул шею и опять повернул лицо в одну сторону, в другую – надеялся, возможно, все-таки

увидеть что-нибудь.

– Ничего, Полянцев. Глаза твои, слушай, приведут в порядок. А нет, зачем доктора, да?

Полянцев развел руками: только на то и надежда. Руки сказали свое и опустились. Безмолвные и как бы лишние, они легли на колени. Пустые глазницы Полянцева устремлены на Ваню: будто смотрели друг другу в глаза.

Андрей уже не слушал Полянцева, Ваню. Он провел рукой по лбу, будто снимал что-то мешающее, неприятное.

Ель впереди заметно шевельнулась, и глаз его и губ коснулся хвойный осенний ветер. «Как Ваню сказал? Очень хорошее утро, мы уцелели». Андрей вздохнул, и сам не понял, то ли счастлив, что уцелел, то ли предвидел что-то такое, еще более невозможное, чем минувшая ночь. Так или иначе теперь появятся надежды, новые надежды, и как бы далеко они ни уходили, у них есть основание. Он ведь должен был, не мог не погибнуть, такая это была ночь, такая это была ночь, – она не щадила, она убивала. «Я не убит потому, что немцам не хватало еще одного патрона. И потому, что мне повезло... – Он чувствовал, что улыбался. Как бы спохватился, покачал головой: – Не всегда же у противника будет не хватать патрона, и не всегда же человеку везет. Особенно на войне». – Но продолжал

улыбаться. Он все-таки жив, сейчас вот, они тоже живы, те, кого миновали пули и мины. Силы вернулись к нему. И снова та же мысль: «Сколько ж нас спаслось? Ну мы с Валериком и Петрусем Бульбой, Мария с Данилой и Сашей, Семен вон с Рябовым, с Шишаревым. Девятеро. Тишка-мокрые-штаны, Сянский, Антонов. Двенадцать. Да Ваню с Полянцевым, четырнадцать...»

Кто-то ломился сквозь кустарник. Отделенный Поздняев и с ним Пилипенко. Пилипенко тащил пулемет. Он шел и ругался, никого не имея в виду, его матерщина ни к кому не относилась, но самому, видно было, становилось от этого легче.

– Войне скорее бы конец... туды ее мать! Выспаться чтобы... Хорошенько выспаться...

– И все? – почти безразлично откликнулся отделенный. – Трепач.

– Важно не то, что я говорю. Важно то, что я делаю. Только это и важно. Остальное – тьфу! – сплюнул с ожесточением. – И пошел ты к едрени-фени.

Отделенный не ответил. Он ступал твердо, словно знал, куда идет. Гимнастерка широко разорвана от плеча до подола, рукав нательной рубахи оторван, обнаженная волосатая рука в кровавых потеках, ладонь перевязана этим рукавом, превращенным в бинт. Только два пальца открыты, большой и указа-

тельный.

«Еще двое. Шестнадцать...» Все, что осталось от роты, – горестно подумал Андрей. – А было восемьдесят три, с теми, с пулеметным взводом, с лодочниками, которых прислал комбат. Да эти, Данила, Саша, Мария. Восемьдесят шесть.

«Шестнадцать... шестнадцать нас, – больно стучало в мозгу. – А все равно рота...»

– Рота! – скомандовал он. Он хотел утвердить себя в этой мысли. Рота!.. – повторил. Он не знал, что приказать, что потребовать, что сказать. Конечно, он мог сказать, что вышло хорошо – и немца вот задержали, и переправу вовремя ухнули, и вот уцелели, не все, а всё же, и вот идем куда следует. А не сказал. Ничего не сказал.

Пауза затянулась. Вдруг подумалось Андрею, будто какая-то могучая рука убрала все, что было на свете, и только их, шестнадцать, забыла в этом глухом лесу, потерявшем начало и конец.

– Перевязать раненых.

Полянцев, Антонов, Рябов очень тревожили его. Как быть с ними?

– Мария! Где ты? – Андрей не сразу увидел ее.

– Я, товарищ лейтенант, – отделилась она от Саши, от Данилы, прикрытых раскидистой елью.

– Ясно же сказал: перевязать раненых, – жестко

произнес Андрей. У Саши на голове, заметил он, чистый бинт, вместо вчерашнего серого, запыленного. «Успела...»

Мария уже шла к Полянцеву, с плеча неуклюже свисала санитарная сумка. Полянецв сидел, скрестив ноги, будто ждал ее.

Она постояла возле него, не представляя, что делать. Смотрела на его бескровное, холодное и потому казавшееся слишком спокойным, отрешенным от всего лицо. Глазные впадины полны тени, и в них невозможно долго смотреть. Это действительно ужасно, глаза без зрачков.

Мария раскрыла сумку. Запахло чем-то больничным, так сильно запахло, что заглушился хвойный и травяной дух. Она достала бинт, оторвала квадратик, свернула тампон и осторожно вытерла вокруг глазниц Полянцева присохшие капельки крови. Потом плотно обернула бинт вокруг его головы, прикрыв им глаза. Снова задумалась: что еще предпринимают в таких случаях? Лицо Полянцева стало расплываться: теперь Мария смотрела на него сквозь слезы, наполнявшие глаза, она переживала свою беспомощность.

Она повернулась, пошла к Антонову. И у этого – лицо восковое, такое, словно убитый лежал он под деревом. Без всякого выражения смотрел он на свои вытянутые ноги, на запыленные ботинки, на полинявшие

обмотки, ставшие из зеленых грязно-серыми. Пилипенко расправлял под ним плащ-палатку.

– Сестричка. – Мария смутилась, в первый раз называли ее «сестричкой». – Рана у него в этом, так сказать, месте, – Пилипенко сконфуженно взглянул на нее. – Ну... ты отворотись, я откачу штанину, прикрою то, чего тебе не надо. А тогда начнешь.

– Отойди, – решительно ткнула Пилипенко локтем. – Отойди. Не мешай!

Пилипенко послушно сделал шаг назад.

Мария подвернула почерневший от крови подол гимнастерки Антонова, расстегнула штаны. Показалось белое, как тесто, тело с большим рыжим пятном в паху – один цвет явно не подходил к другому и был лишним: зияла мясистая рана.

– Миленький, пошире ноги, пошире, вот так, я забинтую.

Мягкими, медленными движениями, чтоб не причинить боль, накладывала Мария повязку. И все-таки каждый раз, когда делала виток бинта, Антонов весь сжимался и судорожно втягивал в себя воздух.

– Потерпи, миленький, потерпи. – Мария кончила перевязку, застегнула Антонову штаны, поправила воротник на гимнастерке. – Скоро до врачей доберемся. И будет как надо...

Она сомневалась, правильно ли сделала перевяз-

ку, хорошо ли сделала. «Мама, помнится, делала так». Но то были пустяки, не раны войны.

– Послушай, сестричка. – Лоб Антонова покрылся холодным потом. Силы покидали его, он уже не мог шевелить не только ногой, но и руками и губами. – Послушай, – еле выговорил. Но на Марию не смотрел. Глаза выражали усталость, примиренность с тем, что произойдет через минуту, через час. Что произойдет, он знал, было видно, что знал. Взгляд его, полный безнадёжности, ни на ком и ни на чем, что было вблизи, не задерживался, он прошел мимо, куда-то очень далеко, и, казалось, видел то, чего никто другой видеть не мог. – Ты в Пензенскую в случае чего отпиши. Матери. Антоновой, Пелагее Васильевне. В колхозе она. Доярка. Пообещай, сестричка.

– Сам, миленький, и напишешь. Когда поправишься.

Она не знала и того, что говорят в таких случаях.

Она перевязала бедро Рябову, перевязала руку отделенному Поздняеву ладонь его, загноившаяся, стала большой и широкой, как лопата.

Подошла к Андрею.

– Плечо давайте.

– Ничего... ничего. Ерунда у меня.

– Товарищ лейтенант...

– Бинты надо беречь, – сухо отозвался Андрей. –

Нельзя тратить на всякую мелочь. Много у тебя?

– Нет.

– Так вот. Бинт только в серьезных случаях. Нам еще кое-что предстоит. Мы на войне. Ясно?

– Ясно, товарищ лейтенант, – чуть слышно произнесла Мария. Мелкими шагами вернулась к Саше и Даниле.

– Все! Антонова несут Пилипенко и Сянский. Бульба, поведешь пулемет. Ваню – с Полянцевым. Шишарев, поможешь сержанту Рябову. Мария – возле раненых.

Андрей услышал:

– Оставь меня тут... Не тащи дальше. Пусти, как брата прошу. Антонов лежал на плащ-палатке скорчившись, закусив губы, чтоб сдержать стон. С трудом протянул руки и обхватил в мольбе сапоги Пилипенко. Оставь, а?..

– Выживешь, говорю, трясця твоей матери! И сам знаешь, что выживешь. Попробуй не выжить, морду побую! – почти зло произнес Пилипенко. Он испытывал крайнюю усталость, ноги едва держали его крупное, точно афишная тумба, тело. – Сянский, подхватывай сзади. Взяли!..

– Пошли! – шагнул Андрей.

Сапоги топтали росу на траве, и трава ложилась под ними, синяя и мокрая.

Мария старалась держаться ближе к Пилипенко и Сянскому, несшим Антонова. «Умереть, оказывается, не просто, – в который раз подумалось ей. – Надо сначала перетерпеть всю боль, всю муку, а уже потом навсегда смежить глаза». Лицо Антонова становилось потухшим, серым, и это сближало его с землей, в которую вот-вот уйдет.

– Что, сестричка, нажевалась страху? – повернул к ней голову Пилипенко. И, не дождавшись ответа, да и какой, понимал он, мог быть ответ, прибавил, стараясь ободрить Марию: – Наешься досыта, и тогда на все наплевать.

– А страх жевать еще доведется, это уж точно, – скосил Сянский глаза на Андрея, рассчитывая, что командир успокоит, скажет, быть им еще в таких переделках или не быть. Но ротный молчал. Слов Сянского, наверное, и не слышал.

Шли медленно, отступаясь, словно ноги никогда не ходили и делали это впервые. А тело такое тяжелое, и сознание путаное, и кровь медленная, и дыхание слабое.

Над головой солнце, спокойное, тихое, и деревья подняли к нему свои еще не облетелые вершины, тоже тихие, спокойные, и трава совсем обыкновенная, рыжеватая, осенняя. Все так, словно и не было на свете минувшей погибельной ночи.

Андрей услышал за спиной голос Шишарева. Тот шел рядом с Семеном.

– За одни сутки потери какие, товарищ политрук. И Рыбальского Илюши нету, дальние земляки мы с ним. И сержанта Яковлева нету. И Никиты. И еще сколько! Вот и Антонова потеряем в землю. Земля накроет, словно и не было...

– Чего там – не было? – отозвался Семен. – Чего там – не было? произнес он громче. – Были и есть. Думаешь же вот о них, значит, есть они. О них и потом думать будут.

– Будут, товарищ политрук. Будут, как же так, чтоб насовсем...

Шишарев опустил голову:

– Заварил немец кашу...

– Ему и расхлебывать, – ответил Семен.

– Ему, – кивнул Шишарев. – А кому ж. До времени расхлебуем мы...

– Пойми, дружище, завоевать можно землю, можно захватить небо, но уничтожить идею – это еще никому не удавалось, даже богу.

– Идея? – неопределенно протянул Шишарев. – Непривычен к такому понятию, – идея...

– Как это – непривычен? Привычен. Это значит – дума твоя, дума, что заставляет делать дело, нужное тебе, твоим землякам, всем близким тебе людям. Есть

же у тебя такая верная дума, Шишарь?

– Может, и есть.

Видно, задумался Шишарев.

Молча прошли несколько шагов.

– Не сердчаете на меня, товарищ политрук?

– Серчаю? Это ж почему? – не понял Семен.

Шишарев поводил глазами, и было понятно, что ни слова больше не произнесет.

– Ну? – подталкивал его Семен.

– Я ничего... я так... просто... Спасибо, что в строй вернули... когда ноги сумасшедшие потащили... с перепугу. Стрелял я потом по фрицам, стрелял. И перепуг куда девался!.. А знаете, товарищ политрук, по лихому часу такому все поняли, что работу какую работать, на заводе, или в шахте там, или вот в колхозе, – я-то колхозный пекарь, – ну совсем нетрудно, хоть какая упоительная ни была б. Сравнить если с тем, что приходится теперь делать. А поди ж, делаем...

– И будем делать. Пока не закончим.

Шишарев громко вздохнул.

Семен тоже вздохнул, неслышно, в себя.

Андрей приостановился. В траве проступала вода. Болото, значит. Плохо. Плохо. Вдалеке завиднелись камыши. Болото. Подождал Семена.

– Плохо, Семен.

– Да.

– Отдых, товарищи, – сказал Андрей, и своего голоса, ослабевшего, не узнал. До чего устал он! – Пилипенко... Ваню... Саша... сторожевое... охранение...

«Надо сказать... надо сказать... чтоб...» Но сказать ничего не успел: сон свалил его там, где он стоял.

Он спал, спал крепко, но мысль, что надо еще что-то сказать, не уходила, и через полминуты размежила ему веки. Но он снова ничего не сказал, все вокруг было мутно, неопределенно, и он опять заснул, и никакая мысль больше его не терзала. Его просто не было, он пропал, сник, по крайней мере для самого себя.

3

Андрей чуть не задохнулся, рот был полон болотной воды, как ночью песку, когда катился по откосу. Он и проснулся оттого, что стал захлебываться. Проглотил воду, поморщился, ощутив ее солоноватый вкус. Открытые его глаза ничего не видели, словно веки все еще были сомкнуты.

Он вспомнил, что и шагу сделать был не в состоянии и рухнул в лесное болото. Оказывается, у человека есть предел возможностям, это точно, что бы там ни говорили. Он сразу понял, что свалился в болото: лицо, когда упал, обдало жижей, руки, ноги увязли в душном месиве. Но подняться уже не смог. С минуту

еще сознавал, что погружается в тревожное забытие, потом все выключилось. Больше ничего не помнил.

Он не представлял себе, сколько проспал, но чувствовал, что отдохнул, словно спал целую ночь. Он порывисто втянул в себя воздух. Воздух отдавал горечью ила и хвои.

Андрей приподнялся на локте. Из мутной болотной воды высунулись зелено-желтые мшистые кочки. Со всем низко клубился туман, и казалось, на земле, перед самыми глазами, лежало небо в тучах. А вверху всамделишное небо было прохладным и чистым. Когда в небе ни облачка, оно кажется вялым, сонным, как степь без единого деревца. Солнце разгоралось и разгоралось, сначала на вершинах разбросанных сосен, потом на стволах, потом на траве. Потом оно уже захватило середину неба и пошло, пошло... Лес наполнялся светом, теплом, жизнью. Где-то тренькнула птица; неподалеку прошмыгнул и скрылся зверек. Ухватившись лапками за тонкий стебелек, полз муравей; по сапогу двигался крошечный комочек пятнистого огня – беспечная божья коровка; над ухом прожужжала оса или дикая пчела. Все живет. Все живет, будто ничего плохого и не происходит... Тишина. Плотная, устоявшаяся тишина, в которой ни движения ветра, ни полета птиц – тишина навек. Казалось, разорвись здесь бомба, взрыв был бы не слышен. Вот так спо-

койно дышать, бездумно смотреть в гладкий простор неба, и пропадет война, и взорванный ночью мост, и черная холодная река, и расстрелянные лодки, уходящие под воду, все это исчезнет из сознания и даже из действительности. Захотелось уйти далеко назад, назад, во времена Пульхерии Ивановны. Вспомнилось, когда проходили в школе «Старосветских помещиков», он удивлялся, что могла быть подобная жизнь, и ужасался – ее спокойствию, медлительности, тишине. А сейчас весь он тянулся к такому спокойствию, к такой медлительности, к такой тишине. «Пульхерия Ивановна, милая старушка, кликни меня, позови, покажи, как прийти к тебе, если это еще возможно». Этот забытый людьми клочок нескладной земли не знает и, наверное, никогда не узнает, что такое война. Тут нечего делать танкам, увязнут пушки, застрянет пехота, которой стрелять здесь не в кого, смотрел перед собой Андрей. Мир, почти неподвижный, раскинулся над ним, и в мире этом нет времени – словно все остановилось в тот самый час, когда была сотворена земля.

Андрей встал. По телу потекла набравшаяся под гимнастерку болотная вода. От гимнастерки исходил гнилостный дух, смешанный с запахом взрывчатки и дыма. Андрей пошевелил пальцами ног, в сапогах переливалась тепловатая жижа.

Он увидел, из камышей, выбеленных туманом, появился Семен, с двумя котелками с водой приближался он к Андрею.

– А! – только и произнес Андрей, не то вспомнил о чем-то, глядя на Семена, не то обрадовался ему.

Семен двигался по болоту, почти скрывавшему голенища сапог.

У Семена жаркие, воспаленные глаза, он казался совсем худым, каким-то хрупким. Политсоставские звезды, нашитые на рукава гимнастерки, потускнели от воды, от грязи и из красных сделались бурыми.

– Ты что, и не вздремнул? – с виноватым видом смотрел Андрей на Семена.

– Понимаешь, – с неловкой поспешностью проговорил тот, – понимаешь, ты и сам-то спал недолго, – пробовал улыбнуться Семен.

– А, знаешь, выспался...

– И добро. Командир должен быть отдохнувшим, – уже открыто улыбался Семен. – А мы с Валериком сменили Пилипенко, Ваню и Сашу, держали охрану. В общем, жизнь идет!

Чахлый, побледневший, с синими кругами под глазами, Семен был весь в движении, будто не прошел вместе со всеми трудный и долгий путь.

– Послушай, лейтенант...

Это «лейтенант» сразу вывело Андрея из состо-

нения неопределенности. Он почувствовал себя бодрее, и все в нем требовало немедленно что-то делать, что-то предпринимать.

– Да, Семен?

– Подымай народ и давай переходить вон туда, – кивнул в сторону, откуда шел. – Там поляна. За камышами. Метров четыреста отсюда. Обсушимся и двинем дальше.

– Нам и двигаться в том направлении, – согласился Андрей. – А где Валерик?

– Я, товарищ лейтенант.

Валерик выбирался из камышей. Он тоже нес котелок и держал за ремешок каску, полную, опрокинутую вниз дном, и ступал осторожно, чтоб не выплеснуть воду. На тонкой и длинной мальчишечьей шее круглая мальчишечья голова под пилоткой. Щеки бледные, бескровные, и на них четко проступили веснушки. «Еле живой, малец», – сочувственно подумал Андрей.

– Так давай, политрук. Иди с Валериком, устраивайте стоянку, а я растрясу ребят.

Семен и Валерик ушли в камыши. Андрей слышал, в такт их движению булькала под ногами густая вода. Он глазами обводил болото. Он видел бойцов, прикорнувших где попало. Выбившимся из сил солдатам в конце концов все равно где свалиться, лишь бы

поспать, хоть немного. С запрокинутыми на моховые кочки головами, с которых наполовину сползли каски, с согнутыми в коленях ногами, ушедшими в зеленую воду, лежали бойцы, беспомощные, как мертвые.

Андрей пробирался от кочки к кочке. Вон Петрусь Бульба. Виднелись только голова и плечи его, все остальное покрыто тинистой жижей. Угодил же... Он уснул раньше, чем успел почувствовать под собой болото. Его охватило безразличие к тому, что с ним станет еще. Он лежал совершенно неподвижно, размякший, и посвистывал носом, и можно было подумать, это болото подает признаки жизни. И Андрею опять было трудно представить Петруся Бульбу с шестом на плоту, энергично гребущим.

– Петрусь!

– Я!.. Я... – очнулся он от сна. Обеими руками ухватился за ствол пулемета. Но увидел Андрея, успокоился.

Под сапогами Андрея чавкала, оседая, рыхлая земля. Он подошел к Сянскому. Словно кто-то опрокинул его, тот лежал ничком, плечи дергались, и казалось, что и во сне не может он укрыться от страха.

– Подымайсь... – Андрей опустил руку Сянскому на спину.

Локтем оттолкнул Сянский руку Андрея: он все еще спал, в мокрой, обжавшей грудь и спину гимнастерке,

в прилепившихся к ногам штанах. Наконец разомкнул веки, и на Андрея взглянули недоуменные, сливовые глаза. Жесты показывали, что он испуган.

– Подымайсь... слышь?..

К моховой кочке примостилась голова отделенного Поздняева. Отделенный спал тяжелым и нездоровым сном. Ему ничего не снилось, это было видно по пустому вытянутому лицу, оно ничего не выражало. На груди, выступавшей из мутно-зеленой воды, лежала рука, собранная в кулак, и между большим и указательным пальцами чернела запекшаяся кровь. Он вмиг пробудился, должно быть, заслышал возле себя шаги.

Проснулся и Тишка-мокрые-штаны. Он стоял перед Андреем, не понимая, что последует дальше, в глазах смятение.

– Никитка... – неуверенно позвал, и поперхнулся, ничего больше не произнес. Взгляд его как бы искал Никиту, не находил, и тупо остановился на Саше и Даниле, лежавших в нескольких шагах.

Данила опал на спине, ноги – вразброс, спал с широко раскрытыми глазами, как бы удивлялся: что ж это делается на белом свете? Плохое делается, мысленно ответил ему Андрей.

– Вставай, – тронул плечо Данилы. – Вставай...

Перебарывая сон, Данила оторвал голову от земли

и твердо поднялся.

– И ты, Саша, вставай, – склонился Андрей над Сашей.

Саша лежал, вытянув руки по швам, будто в строю. Он быстро вскочил на ноги.

– Есть вставать. – И вскинул на плечо винтовку.

Подогнув ноги, втянув живот, из которого будто все выпотрошили, свернулся Шишарев. Что-то преследовало его во сне, и он переживал это: он заерзал, застонал, губы дернулись, и лицо искривилось.

– Что?.. А?.. Будем занимать оборону?.. – Даже глаз не открыл, он продолжал спать.

Что-то невнятное пробормотал в глубоком сне Рябов, спавший рядом. Лицо его безучастное, далекое от войны, от опасности, от всего, что окружало его сейчас, лицо, на котором и боль не могла б отразиться.

«Вот разбужу его, – подумал Андрей, – и рухнет мир, в котором он находится, и он вернется сюда, в болото, и все начнется снова, боль от раны прежде всего. Пусть еще несколько минут поспит». Постоял немного, потом коснулся Рябова, и тот открыл мутные от утомления глаза. Он немного приподнялся, но тело стало таким тяжелым, что снова повалился на кочки.

– Шишарев!

Вместе помогли Рябову встать.

Андрей увидел Ваню. Тот, похоже, и бежал и кричал даже во сне. Он и в самом деле закричал:

– Стреляй же, слушай, стреляй, сволочь! Убей же!..
И проснулся.

– А? Слушай, что случилось? – дернулся он и широко провел ладонями по щекам, будто умывался. – Хватит спать, – самому себе сказал. Он сплюнул мокрую склизкую ниточку тины, прилипшую к нижней губе, шагнул к невысокой болотной сосне, к которой привалился Полянцев.

– Полянцев, как?..

– Ваню... – Теперь Полянцев только по голосам узнавал товарищей. Ваню!..

«Этот пойдет, – понимал Андрей. – Конечно, пойдет. С Антоновым вот как быть? Антонов тяжело ранен. Ладно, до высоты дотянем, а там – в медсанбат, в госпиталь».

Над Антоновым, лежавшим под березой, склонилась Мария. Андрей тоже склонился над ним. Антонов вытянулся на плащ-палатке. Лицо залито синеватой желтизной, будто накрыто собственной тенью, даже свет солнца ничего не мог изменить. Смерть убрала всякое выражение на нем. Только рот раскрыт, во всю, должно быть на последнем крике, которого никто не слышал. От похолодевшего тела Антонова исходил душный и терпкий запах пота, словно он еще жил. Ру-

ки высунулись из сжавшихся от воды рукавов и казались длиннее, чем были на самом деле. Крапинки грязи обсыпали их, как конопатины, ботинки, обмотки были еще мокрые, будто ноги только что остановились и вот-вот двинутся дальше. Но Антонов уже никуда не пойдет. Он никуда не пойдет. «Мы пойдём, – мысленно произнес Андрей, – мы пойдём, и как знать, может быть, тоже до какой-нибудь березы...»

– Конец, Мария, – сказал, но продолжал смотреть на Антонова. По небритым щекам перебежали блики света и тени, падавшей от колебавшейся листвы березы, и это делало лицо живым. «По-настоящему заминается лицо человека – мертвое, – подумалось Андрею. – В нем навсегда запечатлено последнее движение, последнее желание, последний порыв, и страх последний, и надежда последняя. Навсегда. Лицо живого человека такое переменчивое, такое разное, это сто лиц – каждый раз другое». Трава, на которой Антонов лежал, пахла утренним солнцем и росой. Роса еще держалась, на каске колыхались розовые и синие капли, капли сверкали на гимнастерке Антонова.

Жизнь трудна, всегда трудна, и она требует героизма. Но отдать жизнь, для этого нужно большее, чем героизм, что-то такое, чего и представить себе нельзя. Ради будущего, которого уже не встретит, отдал свою

жизнь простой человек из какой-то пензенской деревеньки.

У кромки болота поднялся холмик, и каждый оставил на нем кусок елового лапника. Мария положила на могилу березовую ветку.

Он не выжил, Антонов, не мог выжить, – невольно пришла Андрею мысль. – И Пилипенко не придется побить ему за это морду – пули угодили в цель. Те, кому он особенно близок, и не догадываются, что лежит он в эту минуту в болоте с разъяренным ртом, который никогда уже ничего не произнесет. Может быть, где-то там, в деревушке Пензенской области, мать Антонова, надеющаяся, как все матери, сейчас вот подмывает корове вымя и садится на скамеечку – доить... Андрей представил себе полную добродушную женщину с такими же, как у Антонова, большими серыми глазами, с натруженными руками; на голове ситцевый платок, узелком повязанный под подбородком, и кончики в обе стороны; и перед нею подойник. Ей сообщат: пал смертью храбрых. Андрей ничего не мог вспомнить такого, что бы выделило Антонова. Обыкновенный. Но он погиб. И Андрей опять подумал, что от войны никуда не уйти, значит, не уйти от смерти. Но кто-то же вернется к жизни, не могут же все умереть. Победа нужна мертвым и живым, живым особенно. И все равно, они останутся на войне. У таких вот могил,

как эта. Война не знает забвения, это слишком сильная штука, война.

Через камыши шли к полянке, как сквозь сетку, видневшуюся вдалеке.

В небе и на земле все еще было утро.

Глава двенадцатая

1

Андрей пробирался между болотными кочками. «Мы сделали все, что смогли, – размышлял он. – Возможно, следовало сделать больше. Возможно, возможно... Но нас вымотали страх, отвага, бессонные ночи и дни. Мы отдали все наши силы, многие из нас и кровь, и жизнь. И жизнь. Большого у них не было. – Снова подумал он о матери – ни ночью, ни утром сегодня и не вспомнил, что у него есть мать: сознание начисто выключило все, не касавшееся войны. – Тебе, мама, нужен не мой героизм, тебе нужен я... Как и матери Антонова... Я жив. Сейчас вот, я еще жив...»

– Стоп! – Андрей увяз в болоте выше колен. – Взять левее! Левее!

Раздвигая руками камыши, отделенный Поздняев и Тишка-мокрые-штаны подались влево, видел Андрей. И верно, там было мельче. Ваню, поддерживая Полянцеву, повернул туда же, за ними следом – Шишарев и Сянский с Рябовым. Рябов ковылял, припадая на левую ногу. У Сянского на голове, как булыжник, все

еще была каска. Каска бросала тень на лицо, и лица не было видно. На полшага впереди Марии, боком ступал Саша, открывая ей путь в камышах, она тянулась за ним. Андрей вдруг рассердился: оказывается, люди не разучились влюбляться! Он видел, с какой осторожностью, как заботливо Саша вел Марию, видел, как завороченно смотрел на нее. И не выдержал, прикрикнул раздраженно:

– Поворачивайтесь живее! Не по бульвару гуляете!..

«И с чего это я? – спохватился. – Идут, как и можно идти по болоту. И правильно делает парень – помогает девушке. И чего окрысился?» Он понимал, что возбужден сейчас и потому несправедлив. Но сдержаться уже не мог, сказывались усталость, состояние подавленности, неясность обстановки и еще злее додал:

– Живее! Поняли?

Мария заторопилась, наскочила на кочку, чуть не упала. Саша успел подхватить ее и, убыстрив шаг, тащил за собой.

Данила, прихрамывая, плелся сзади. Замыкающими шли Петрусь Бульба и Пилипенко.

Подошли к медлительному ручью, принявшему в себя темно-зеленый цвет болотной травы. Ручей – шириной в два шага – разделял болото и поляну. По-

ляна была на том берегу.

До Андрея донесся горьковатый запах костра.

Все двигались на костер.

– Давай, лейтенант, – услышал Андрей голос Семёна.

Семен стоял под оголенными березами, не добравшимися до ручья. В мокрые комья свалились рыжие листья.

Андрей вдохнул сырой и пряный запах начинавшейся осени.

Перешли ручей.

Впереди, вдоль поляны, темная, как бы застрявшая здесь от сумерек, полоса кустарниковых зарослей, а за ними опускалось прохладное небо.

Все уселись у костра. Полянцева и Рябова посадили в середину. Протолкнулся туда и Сянский – теплей и удобней.

– Каску сними, – сказал ему Андрей. – Дай голове отдохнуть.

– Забыл, – смутился Сянский, он стал развязывать ремешки под подбородком.

– Боится простудиться, – дернулись в ухмылке рыжие усы Данилы.

– Каска каской, – раздувая ноздри, пробормотал Сянский. – А после дел таких воспаление легких, как пить дать.

– Воспаление легких, говоришь? Хм... – пальцами поскреб Данила лоб, будто иначе не сообразит, что к чему. – Не представляю. Ну не представляю. Еще не видел солдата, который бы заболел... Раненых, убитых, сколько хошь, а больных, нет, не видел. А?

Валерик приволок охапку сучьев, кинул в костер. Между наваленными сучьями юркнули космы слабого пламени и скрылись в набрякшем над костром дыму. Слышно было, как ветер рылся среди шипевшего хвороста. Потом пламя снова вспыхнуло и, уже не сдаваясь, рвалось вверх. Дым заставил Андрея откинуть голову назад, он провел рукой по заслезившимся глазам. Он улегся у костра на мокрой от росы траве. Земля еще не успела нагреться, он дрожал от холода.

На толстой перекладине, переброшенной на рогатые жерди, висели котелки и каски. В них кипела вода. Данила хозяйственно достал из вещевого мешка несколько пакетов концентрата пшенной каши.

– Последние, – с сожалением покачал головой. – Поедим, и харч поминай как звали...

Он сорвал обертку с пакетов и бросил желтые квадраты концентратов в кипяток. И все с удовольствием вдохнули в себя ароматный, сладкий запах. До чего вкусно пахнет пшенная каша! Раньше такое и в голову не пришло б... Ложки оказались не у всех. А каша готова. Золотая каша. Божественная каша... Валерик

протянул свою ложку Андрею:

– Товарищ лейтенант...

Андрей взглянул на Марию.

– Ешь. – И пальцем показал Валерику: дай ей.

Мария покачала головой: нет.

– Ешь!

Саша умоляюще смотрел на Марию: бери, бери, ешь...

Мария стала есть. Валерик зло взглянул на нее: у-у, не могла отказаться...

Данила тронул плечо Семена:

– Товарищ политрук... возьмите... ложку...

– Кормите Полянцева.

– Я покормлю. А вы, слушайте, ешьте, товарищ политрук, да? – сказал Ваню. – У меня есть.

– Ваню, тряся твоей матери, – усмехнулся Пилипенко, – как она у тебя не утопла, ложка?

– Рыбы, слушай, не догадались вытащить из-за голенища.

Ваню начал кормить Полянцева.

– Так, товарищ политрук, вот вам ложка, – напомнил Данила.

– Рябову. Раненых кормить в первую очередь.

Ложка перешла в руку Рябова.

– Товарищи командиры, – посмотрел Петрусь Бульба на Андрея, на Семена. – И у меня ж ложка сбе-

реглась. Возьмите. Хоч вы, хоч вы...

– Рядовой Бульба, приступить к еде! – шутливым приказным тоном произнес Семен.

Мария, перестав есть, молча уставилась на Андрея: кому дать ложку?

– Отделенный, ешь, – сказал Андрей.

– Тебе что, помочь? – взглянул Пилипенко на отделенного, сидевшего рядом.

– Ничего. Я левой.

– На те пальцы, которые ломаные, плевать, и без них обойдешься, обнадеживая, сказал Пилипенко. – Плевать. На войне самый главный палец спусковой. Его и береги. – Он смотрел, как неловко опускал отделенный ложку в котелок, проглотил слюну, отвернулся: вкусный запах изнурял его и лишал терпения.

Отделенный облизнул ложку, передал ее Пилипенко. Пилипенко черпал из каски варево, выскреб пригорелые остатки. Видно было, как жадно работали его сильные челюсти.

– Валерик, подкинь в костер, – напомнил Андрей. – Тухнет. Мы с политруком хотим тоже, чтоб погорячей...

Валерик бросил в упавший огонь хворост. В шипевшем хворосте рылся ветер.

– Робу бы подсушить, – посмотрел Пилипенко на Андрея. – Набрякла, прямо компресс...

Пилипенко сбросил сапоги, стащил с себя гимнастерку, брюки, выжал воду. И все – на кусты.

– И не обсушишься, – пробурчал. Он вернулся к костру, сел.

– Обсушишься, – отозвался Данила. Он тоже скинул один сапог, пошевелил костлявой ногой в мозолях. Другой сапог не поддавался, как бы прирос к ноге. Нога распухла. – Проклятый, «засел», – раздражался он. – И рана-то тьфу! А поди ж, разнесло. Не буду скидывать. Потом не натяну, рассуждал сам с собой. – Будь оно неладно!

Так и сидел он с одним, неснятым, сапогом.

– Пиль, голуба, скажи, когда у тебя такое вышло, с сапогом, ты чего делал? – с надеждой поднял Данила глаза.

– А забыл уже, что делал. Но помню, что-то делал. Не бунтуй, рыжий, отлипнет сапог от ноги, – успокаивал Пилипенко.

– Бунтуй, не бунтуй, один ляд, – смирился Данила. Он вытряхнул из кармана табачную пыль, клеил сигарку, прикурил от костра. – Табачок ну куда, – выпустил дым. – Легкий, безвкусный. От него только понос происходит, как от касторки. Дорваться б до махры... – мечтательно произнес.

– А пока бычка оставь, – напомнил Пилипенко.

– Бычка? – Данила поспешно сделал затяжку, по-

смотрел, сколько осталось, еще затянулся, старательно, долго, и, не глядя на Пилипенко, сунул ему в руку окурок: – На.

– И не покуришь но-человечески, – пожаловался Пилипенки.

– На войне, голуба, все не по-человечески, – раздумчиво сказал Данила. – И сама война человеческое ли дело?..

– Хфилософ... – фыркнул Пилипенко. Он протянул к огню свои босые ноги с крупными искривленными ногтями. Красные блики пламени падали на его широкую волосатую грудь, и казалось, на ней зашевелилась вытатуированная синяя головка девушки на фоне сердца, пронзенного стрелой.

«Крепкий, здоровый. Очень крепкий, – восхищенно, будто впервые, смотрел Андрей на крутые, мускулистые плечи, тугие мышцы Пилипенко. – И даже после такой ночи, минувшей ночи, у него остались силы еще для многих ночей, может быть более трудных и опасных».

– Хфилософ... – повторил Пилипенко, придавив в траве крошечный мякиш окурка. – А сам делаешь «нечеловеческое дело» – стреляешь.

– Стреляю. – По лицу Данилы двигалась невысказанная мысль, видно было, она остановилась. – Я, голуба, немало прожил и хорошо знаю, что почем. Стре-

ляю. Должен стрелять. А думаю: минется война, поладим же с фрицами, с немцами то есть? Зла русский человек не помнит.

– Это смотря какое зло, – сердито кашлянул Пилипенко. – А из меня, рыжий, и после войны зло не уйдет. За такое...

«И сколько ненависти вызвал в нашем народе Гитлер, – жестко подумал Андрей. Он прислушивался к разговору. – Ненависть, она от боли, откуда еще взяться ненависти? Только от боли».

– Послушай, – не успокаивался Пилипенко. – Какие первые слова скажешь, когда придешь с войны? – прищурил он глаза.

– Как говоришь? После войны?

– Не на свадьбе же мы с тобой. Ясно, после войны.

– С войны, голуба, ишо прийтить надо...

– Ну придешь если? Первые слова какие скажешь, говорю?

– Никакой войны больше! Все же видят, что это такое...

– Слова твои, рыжий, дельные, – чмокнул Пилипенко губами. – Сбудется это, если уничтожим всех, до последнего, гитлеренышей. Так говорю, нет, товарищ лейтенант? – Он взглянул на Андрея, понимая, что мысль будет одобрена.

– Этим мы и заняты сейчас.

Андрей повернул голову туда, где сидел Рябов. Тот держал ладонь на раненом бедре и молча следил за игрой огня. Заметив взгляд Андрея, тоже повернулся к нему.

– Как, старик?

Андрей спохватился, что говорит языком комбата.

– Ничего, товарищ лейтенант. – Рябов даже снял руку с бедра, как бы подтверждая это. – Жжет бедро, понятное дело. – Помолчал. – А еще смогу фашистам напомнить о себе. В строю, товарищ лейтенант, не думайте...

– Конечно, – дернул Андрей плечом: в том и сомнения быть не может. Кроме мертвых, все в строю.

Он посмотрел на Марию, гревшую руки у костра.

– Жива?

Мария слабо улыбнулась.

– Сушись, сушись, сестричка, – Пилипенко похлопал ее по плечу. В любых обстоятельствах оставался он самим собой. – Не стесняйся, сестричка. Всю мануфактуру с себя скидывай...

Мария смущенно вспыхнула: в самом деле, вся мокрая какая! Она поднялась, пошла в сторону, в кусты.

Несмело побрел за ней Саша.

– Сашенька, миленький. Я не боюсь. Вернись. Посушись и ты. А я тут выжму все на себе. Иди.

Мария скрылась в кустах. Сняла одежду, сбросила берет, мотнула головой, будто стряхивала с нее тяжесть. Разметавшиеся волосы упали на плечи и пошли вниз. Перекинула их наперед, но дрожавшие от холода пальцы ничего не могли сделать с мокрыми волосами. Кое-как отжала их, заплела.

Саша вернулся к костру. Он разделся. Разделись Петрусь Бульба, Шишарев, Ваню. Ваню сидел в высоко закатанных исподниках, подобрал колени к подбородку, стараясь согреться. Взъерошенные волосы, торчавшие в разные стороны, небритое лицо, на котором густо чернела щетина, и видно было, какая жесткая она и колючая. Андрей почувствовал, как холодно ему внасквозь промокшей, отяжелевшей от воды гимнастерке. Стащил ее. И Семен тоже снял с себя все: изодранную на спине гимнастерку, расплзшиеся в швах брюки, прохудившиеся сапоги, и удивленно подумал – ни с того ни с сего, что рваньё носится куда дольше, чем новые вещи...

На кустах раскиданы нательные рубахи, портянки, обмотки в бурой болотной жиже; сапоги, ботинки поставлены подошвами к огню, от них растекался неприятно пахнувший пар.

– Рогатину поищу пойду, – поднялся Данила. – Подпору сделаю взводному, Рябову, костыль.

Он вытащил финку из-за ремня и пошел к ручью,

отделявшему поляну от болота.

– И не подумал бы, что такие болота есть на свете, и вообще места такие, ей-богу, – пожалв плечами, произнес Сянский.

– Знаешь, Сянский, складывается впечатление, точно ты только что сполз с дерева и еще прячешь хвост.

– Виноват, товарищ политрук.

– Вон и сестричка к нам, – завидел Пилипенко Марию, выбравшуюся из кустарника. Он скрестил руки, точно хотел прикрыться.

Вано уже согрелся, почувствовал себя бодрее.

– Слушай, сестричка. Никогда не была в Бакуриани? Никогда? Ай-ай!.. даже не верилось ему. – Рай видела? Ну вот такой и Бакуриани, не отлычишь...

Мария кивнула: согласна, не отличит...

«Слава богу, настроение у ребят не подавленное, – был доволен Андрей. – Еще бы, выручились из гибели...»

– Я, слушай, отлить, – шепнул Вано Полянцеву. – На минутку.

Данила вернулся с плотной рогатиной и подгонял под рост Рябова.

– Обопрешься, взводный.

«Определенно, ребята отошли после вчерашней ночи, – еще раз подумал Андрей. – Они все выдержат,

определенно».

– Валерик! – позвал.

Валерик кинулся к Андрею.

– Вот что, Валерик. Обойди всех и уточни оружие. Что у кого есть. И боеприпасы.

– Ага, товарищ лейтенант.

– Семен, – бросил Андрей через костер. Он откинул спадавший клочок слипшихся волос.

– Да, Андрей? – Голос утомленный, дремотный. – Да? – Семен чуть отодвинул от огня ноги: должно быть, начало припекать.

«Нисколько не спал, – подумал Андрей о Семене. – И какие у него костлявые ноги...» Он расстелил на земле карту, мятую, с затеками по краям.

– Поразмыслим давай. И тронемся. Нельзя задерживаться. Черт знает, что делается вокруг. Нора.

В самом деле пора. Давно пора.

Семен подсел к Андрею. Тени их фигур недвижно лежали у затихавшего костра.

– Вот наша дорога, – показал Андрей на карте, – видишь? – потер он лоб. Складки на лбу, как и были, остались: ровная сверху, изломанная в середине и такая же внизу.

Ни словом не обмолвились они о вчерашней ночи, словно ничего не случилось. Надо было думать о том, что впереди. Впереди были высота сто восемь-

десять три, дорога к ней. Только говорится так – дорога, в действительности это что-то совсем неясное, путаное, хоть на карте и проложена почти прямая линия. Болото линия не пересекала, а они оказались в этом, будь оно проклято, болоте.

– Видишь, до высоты нашей можем идти, обогнув болото, лесом. Да обход какой! Километров восемь, а то и больше. Видишь? Или вот этим проселком... – продолжал Андрей. Проселок пролегал метрах в трехстах от поляны, за кустарником.

Поляна впереди была пустынной, болото, сзади, было пустынным, проселок тоже был пустынный.

– И выследить могут. Если открытым проселком, – заметил Семен.

– И выследить могут. – Андрей вскинул глаза и увидел, что у Семена дергалось веко, будто не переставая моргал. – А свернуть обратно в болото, – мелкое ли дальше? Там и стукнуть нас легче, если выследят.

– И то верно. – Семен, как и Андрей, не представлял себе, как с меньшим риском пройти к высоте сто восемьдесят три.

– Пойдем так, – твердо произнес Андрей. Он провел пальцем по тонкой линии проселка.

– Дорога, – подтвердил Семен. – Если ее не перекроют.

Андрей обхватил ладонью подбородок.

– Противник потерял нас из виду. Пока.

– Я имею в виду другое – вражеские части, которые ранее прорвались на южном и северном флангах.

Андрею пришли на память слова Данилы: за спиной немец уже везде. Он убрал ладонь с подбородка, и лицо приняло прежнее решительное выражение.

– Выбор только между неизвестным нам болотом, вон тем лесом и проселком, – сказал он. – Я выбрал проселок.

– Ну, – Семен кивнул, и это означало, что он понял и согласен.

Показался Валерик.

– Два автомата, товарищ лейтенант, ваш и товарища политрука, два диска, три винтовки и девять патронов. И пулемет, пустой, ни одной ленты. Семь гранат. И нож. Один. Финка. У Данилы. Все, товарищ лейтенант.

Андрей усмехнулся, посмотрел на Семена.

– Ладно. Наматывайте портянки, обмотки, – сказал, – двинемся.

Бойцы наматывали портянки, с трудом натягивали на себя еще не просохшую одежду.

Данила последним сунул ногу в еще сырой сапог, нога не лезла, пальцем нащупал в голенище брезентовое ушко.

– Ух... – запыхтел. – Эх, – прихлопнул сапогом. –

Они не успели оставить поляну.

Посланные вперед, на проселок, Ваню и Саша возвратились растерянные, смятенные.

– Слушай... двигаются... немецкие моциклисты... – сбивчиво сообщал Ваню.

– Ты спокойней, тогда я лучше пойму тебя. – В глазах Андрея выражение напряженного внимания. – Мотоциклисты. Понял. Сколько?

– Не подсчитывал, товарищ лейтенант. Услышали, что моциклисты, и сразу сюда – предупредить.

– Далеко?

– Километра полтора... Да? – посмотрел на Сашу, ожидая подтверждения.

– Побольше двух, – откликнулся Саша. Зажатой в руке пилоткой вытер он пот на лбу и, мня, с влажными пятнами, натянул на голову. Как обычно, опустил глаза вниз, в землю. – По звуку если, побольше двух.

– Через несколько минут, слушай, будут здесь, – жестикулируя показывал Ваню степень опасности.

«Засекли нас. – Первое, что пришло Андрею в голову. – Засекли».

– Семен, засекли нас, – сказал.

– Возможно, – сказал Семен. «И дернуло меня на эту проклятую поляну. Дураку же ясно, что отовсюду она просматривается». – А может, не засекали, может, разведка? – скосил на Андрея глаза.

Андрей пожал плечами: что может сказать он, если совсем неизвестна обстановка? И какая разница – разведка это или что другое? На секунду всплыл в памяти последний разговор с комбатом. Он, Андрей, сказал, что на пути к высоте, возможно, раз семь встретится с противником. Вот она, первая встреча из семи, вздохнул он. И усмехнулся: «Семь там раз или сколько, а уйдешь, – сказал комбат. – Должен уйти...»

– Ничего, Семен, не поделаешь. Скрытно сняться уже не успеть. Принимаем бой.

– С двумя дисками и девятью патронами?..

– С двумя дисками и девятью патронами, – тем же твердым тоном сказал Андрей.

– Авось пронесет?

– Хорошо бы...

– В кусты сыпанем?

– В кусты. Куда же еще? – Андрей торопливо кликнул: – Валерик, Петрусь Бульба, Саша, разделить патроны, по три каждому. Ваню, Пилипенко, Шишарев, гранаты!

– И я – гранаты? – припадая на ногу, сунулся в вещевой мешок Данила.

– А сможешь? – Андрей бросил на него нетерпеливый взгляд. – Ноги как?

– Драпать не смогу, – повертел Данила головой. – Все ж пришибло малость. А гранаты бросать – чего ж!.. Две у меня еще...

Андрей оглядел всех.

– Остальные в болото, в камыши. Там мелко. И залечь! – Как всегда в таких обстоятельствах, он был рассудителен, тверд, решителен. – Ясно? Сянский, уводи пулемет. Туда. Замаскируй. Ясно? И помоги сестре, Марии. Ясно?

Поляна враз опустела.

На проселке, за поворотом, за клубилась пыль; слышался стрекот мотоциклов; мелкий непрерывный гул буравил воздух.

Мотоциклы двигались медленно, поравнялись с поляной. «Семеро. Вон и восьмой. И девятый», – видел из кустарника Андрей. В шлемах, в плащах тусклого, дождевого цвета, с автоматами через грудь, мотоциклисты выглядели внушительно. Передний мотоциклист обогнул кустарник и оборвал треск, остановился. Повернул голову, что-то крикнул катившим сзади. Те сбавили скорость, заглушили моторы: немцы сошли с мотоциклов. Желтая пыль из-под колес с полминуты еще висела в воздухе, потом опала на дорогу.

Трое взяли автоматы наперевес, шестеро отошли

ближе к кустарнику, сели оправляться. Потом высокий, узкоплечий немец с маленькой птичьей головой, подтягивая штаны, стал насвистывать веселую мелодию. Сквозь сучья кустарника фигура немца казалась Андрею заштрихованной.

Высокий немец, продолжая насвистывать, обернулся лицом к поляне. Что-то привлекло его внимание.

– Вилли, сюда. Кто-то здесь готовил завтрак, – ткнул он пальцем на поляну. Продрался сквозь кусты и зашагал к костру. Шевельнул носком сапога золу. – Теплая еще... – Вскинул автомат и бегло озирался вокруг. – Вилли!

Андрей ловил каждое слово, каждое движение немца. «И надо же!.. Оставили свежий след. Теперь искать будут, – переживал Андрей. – Девять автоматов против двух...»

– Вилли!

Тот, кого звал высокий немец, Вилли, шел к нему, шел широким шагом уверенного в себе человека.

«Гауптшарфюрер, – разглядел Андрей знаки на петлице, – эсэсовский обер-фельдфебель».

– Ну? Опять пугать нас? – с усмешкой процедил Вилли.

– Ты посмотри, Вилли. Посмотри, – показал высокий на сизый круг еще не остывшего костра.

Вилли тоже порылся сапогом в золе.

– И что? Костер. Могли и беженцы развести. Не будем задерживаться. У нас задача. Поехали!

Высокий немец послушно пошел вслед за оберфельдфебелем.

«Может, и впрямь, пронесет», – с волнением и надеждой подумал Андрей.

Настойчивый этот высокий немец с птичьей головой, подозрительный, он вновь остановился, вглядываясь в кустарник. «Нет, не пронесет», – локтем тронул Андрей локоть Семена. Тот, как и Андрей, держал палец на спуске автомата. Немец повел носом, как бы нюхая воздух, и, должно быть, на всякий случай пустил из автомата очередь по кустарнику.

Пули пронеслись над головами Андрея и Семена, вжавшихся в землю, над Ваню, Пилипенко, Шишаревым, Данилой, над лежавшими за ними Валериком, Петрусем Бульбой и Сашей.

– Везде мерещатся тебе русские, – почти укоризненно сказал оберфельдфебель. Он уже выходил на проселок. – Поехали!

Андрей видел, нога оберфельдфебеля нажала на педаль мотоцикла, потом услышал рокот мотора, и на дорогу вырвался дымный хвост.

Мотоциклы рванулись с места.

Высокий немец с птичьей головой ехал в последней

паре, подпрыгивая в седле на неровностях проселка, и Андрей видел, тот все время оборачивался.

– Ну, Андрей, – сказал Семен, – побыстрее сматываемся. И не проселком, а лесом.

– Да.

Треск мотоциклов затих.

Андрей вышел из кустарника. Тревога улеглась, ее как бы и не было, только усталость. Все вышли из кустарника. Вышли на поляну и те, что притаились в болоте.

– А сестра? – Андрей обвел глазами стоявших, словно мог не заметить ее среди других. Марии действительно не было. – Как же девчонку не углядели? – Он почувствовал, что лоб покрылся острыми капельками пота. Сянский! Где она?

– И не знаю, – откровенно смотрел Сянский на Андрея. Как бы и сам смущен тем, что Марии нет.

– Я же приказывал! – в голосе Андрея звучали угрожающие нотки.

– Товарищ лейтенант, – забормотал Сянский, – когда шарахнула очередь, я – за пулемет, оттащил подальше. А сестра... Не углядел...

– Врешь! – оборвал его отделенный, но смотрел он на Андрея. – Ты пулемет бросил и пустился наутек. Чепуховой автоматной строчки испугался. Я пулемет подобрал. – Пулемет стоял позади отделенного.

– Тебе, охламону, морду побить! – Пилипенко показал Сянскому кулак. Разрешите, товарищ лейтенант?

– Что? Морду бить?

– Искать.

– Да. Обшарь болото. Далеко не забрела. Не успела. Ждем на опушке, показал Андрей на лес, – полкилометра вглубь. Саша, и ты с ним.

Саша стоял удрученный, его трясло, он водил глазами по сторонам, надеялся: вот-вот Мария появится. И когда Андрей приказал ему вместе с Пилипенко отправиться на поиск, не сразу сообразил это.

– Ты что, не слышал? – повысил Андрей голос. – С Пилипенко! Сестру искать. Выполняй.

– Есть выполнять, – как заведенный вскинул Саша голову, поставил винтовку в положение «у ноги». Но глаза все еще искали: должна же Мария быть где-то здесь.

Пилипенко и Саша направились к ручью, к болоту. Решительным взглядом окинул Андрей оставшихся.

– За мной марш.

Прошли немного, оглянулся: увидел, неровная цепочка бойцов растянулась, один от другого шагах в двадцати, больше.

– Подтянуться! – Подождал, пока все сошлись.

Было пустынно и тихо. Болото оставалось правее.

Ноги грузли во влажном песке.

Из глаз Андрея не уходили мотоциклисты. Они останавливались у поляны, в шлемах, в плащах, с автоматами, ворошили потухший костер, и тот, длинный немец с птичьей головой, настороженный, пускал автоматную очередь по кустарнику, и это все время последовательно повторялось перед ним, и в голове настойчиво вертелось: «Плохо дело. Совсем плохо». В общем, все прояснится, только б добраться до высоты сто восемьдесят три.

Андрей поймал себя на том, что, перебивая главную мысль, мысль о складывавшейся обстановке, о новом рубеже обороны у высоты сто восемьдесят три, его воспаленное сознание бредила тревога о Марии. «А девчонка? Что с девчонкой? Могла со страху податься бог весть куда. Найди, попробуй...» Он представил себе, как бредет Мария по болоту, болото все глубже, глубже, по грудь, по шею... Он даже передернул плечами.

Да что это о ней, о девчонке, в самом деле! – рассердился. – Думать больше не о чем? Не такое уж глубокое и большое болото это. Нечего придумывать. Найдется девчонка – ладно. Не найдется, куда-нибудь да выбредет, где-нибудь да пристроится. Ей не воевать.

Вдруг заметил он четко врезанный в землю след

танковых траков. След пересекал путь в лес и уходил в сторону.

– Семен, гляди.

«Немец уже везде», – опять вспомнились слова Данилы.

Начинался лес.

– Держаться ближе к деревьям, – передал Андрей по цепочке. Незаметней будет. Мало ли кто шастает по лесу.

– Мало ли кто шастает... – повторил Валерик слова ротного и покровительственно посмотрел на двигавшихся.

– И сам о том помни, – внушал Валерику Андрей.

Он услышал за спиной смягченный расстоянием свист. Обернулся. Вдалеке виднелись фигуры Пилипенко и Саши. Между ними Мария. Он вздохнул с облегчением. Нашлась! Он обрадовался, что отыскали девушку, могла пропасть. Могла, конечно. Могла. Обыкновенное дело на войне. Спихватился: что-то много места занимает в его мыслях эта девчонка. «Ты это брось. В самом деле, брось, – приказал себе, но получалось как-то не очень твердо. Он понимал это, и снова: – Кончай, кончай с этим, пока оно еще не началось. По-настоящему не началось. К черту!» Но и резкость, которую хотел придать своим рассуждениям, ничего не меняла. «Сашкина невеста. Хоро-

шая невеста. И парень хороший. Очень хороший парень. Ей-богу, хороший. А ты брось. Брось!». Конечно, он обрадовался, что девчонка нашлась. И объяснение этому простое: раз она с ним, в его роте, он и несет ответственность за нее. «Ладно. Нашлась».

– Нашлась, товарищ лейтенант. – Пилипенко, Саши и Мария подходили к нему. – И перепугалась же! – бросил Пилипенко на ходу.

Никто его не слушал, все смотрели на Марию, довольные, будто то, что ее отыскали, было самым важным в происходящем с ними. А губы Саши растянулись в улыбке и, казалось, никогда уже не примут другого положения.

Все смотрели на Марию. А Мария оборачивалась назад, как бы убеждаясь, что далеко отошла от болота, что она тут, и когда оборачивалась, страх мгновенно возвращался в ее глаза. Она собиралась заплакать. Андрей видел, что собиралась заплакать, и ласково-укорительно сказал:

– Перепугалась. Еще бы. А ты нас перепугала... В другой раз поосторожней с нашими нервами...

Мария густо покраснела, улыбнулась, виновато и счастливо: Андрей беспокоился о ней? И вдруг поняла, она рада, что заблудилась в болоте, хоть и пережила сейчас столько. Было страшно, очень страшно, еще страшнее, чем на плоту, ночью, – там были Да-

нила, Саша... Она опять улыбнулась. И в первый раз подумала о лейтенанте просто, близко: «Андрей»...

3

Шли весь день.

Привал. И шли дальше, шли душным сосновым лесом, и было не так холодно. Шли всю ночь.

Светало, когда выбрались из леса. Осмотрелись. Перед ними стлался луг, и на противоположном конце его темнел перелесок с красными под встававшим солнцем вершинами. За перелеском, километров шесть за ним, определил Андрей по карте, высота сто восемьдесят три. Оттуда, от перелеска, тянул ветер, слабый и пахнувший горелым.

Андрей и Семен одновременно заметили следы гусениц, уходящие туда, где пролегал проселок. Андрея пронзила догадка: след тех же танков, которые видел он на вчерашней поляне.

– Ясно? – посмотрел на Семена.

– Кажется.

Вано и Саша снова ушли в разведку. Андрей проводил их долгим взглядом. Он следил за ними, пока они пересекали луг и потом скрылись в перелеске, с правой стороны. Он направил бинокль на перелесок: сомкнуто и ровно стояли молодые елки, даже зубцы вер-

хушек соблюдали линию. Он не отнимал бинокля от глаз, пристально, словно ощупывал, смотрел на перелесок. Но перелесок казался замершим – не вздрагивали верхушки елок, ветки не шевелились. «Подожду. Что высмотрят ребята». Андрей надеялся, что впереди все в порядке и можно будет трогаться дальше, что путь к высоте свободен.

Время длилось, разведчики не возвращались. «Сорок минут», – со скрытым нетерпением взглянул Андрей на часы. Сорок минут прошло, как Ваню и Саша исчезли в перелеске. Семен тоже нервничал, он молча смотрел в одну точку.

– Тянут, тянут, – сказал.

Наконец Ваню и Саша вышли из перелеска, уже с левой стороны. Они двигались тревожно-торопливо, видел в бинокль Андрей, и от недоброго предчувствия у него заныли виски. «Определенно невеселая весть».

Ваню и Саша уже близко, и можно было разглядеть их угрюмые лица.

– Опять что-то неладно, – потерянно произнес Андрей. – Опять...

Семен молчал.

– Да? – нетерпеливо шагнул Андрей навстречу Ваню и Саше.

– Нехорошо... слушай... товарищ лейтенант... –

Вано скорбно подобрал губы. – Совсем, слушай, нехорошо... – Он перевел взгляд на Сашу.

Саша кивнул: нехорошо. Он тяжело дышал.

Они доложили, что перелесок неглубокий и на его северной, противоположной опушке и дальше за ней, на поле, – разгром.

– Разгром, товарищ лейтенант. Слушай, разгром...

Андрей прикрыл глаза. Все в нем напряглось.

Рота вышла на северную опушку перелеска.

Андрей увидел обгорелую землю. Земля окрест была разодрана воронками, глубокими, мелкими, – когти войны. У воронок – распластанные, скрюченные, сплюснутые мертвые красноармейцы. Гимнастерки, брюки, словно ржавчиной, покрыты пятнами высохшей на солнце крови. В морщинах на лбу пыль, губы обметаны пылью, сапоги, ботинки с обмотками – в пыли, словно красноармейцы плавали в пыли, как в воде. У них уже ни голоса, ни желаний, ни возраста. Прах...

Андрей стоял, придавленный тем, что увидел.

Поодаль – трупы немцев с черными автоматами, с рыжими ранцами за плечами. И в третий раз увидел Андрей на пути к высоте сто восемьдесят три впечатанные в землю узоры траков. А там, где они кончались, торчал накренившийся немецкий танк, на нем не было башни, и оттого выглядел он беспомощ-

ным, будто какая-то мирная машина на поле. Но пахло здесь не хлебом, а пороховой гарью, жженой землей.

Андрей понял, что произошло с батальоном, с полком на этом, на левом берегу. Теперь он уже не сомневался, немцы всюду; спереди – сзади справа – слева.

Вон и сосняк и высота сто восемьдесят три. Андрей подходил к ней нетвердым шагом, словно не был уверен, что идет. А может быть, может быть, он уже не найдет комбата? Но кто-нибудь да остался, не все же погибают в бою. Кто-нибудь да скажет, что именно стряслось, растолкует обстановку, и станет ясно, как действовать дальше.

Нет, никто ничего не скажет. Окопы были пусты.

Взгляд Андрея обошел то, что было перед ним. В полыни лежал боец и растопыренными пальцами прикрывал разодранный живот. Заслоненная негустыми сосенками, разворочена, будто перепахана плугом, артиллерийская площадка. Со ствола орудия простреленной головой вниз свисал щуплый артиллерист, и в свалившуюся каску натекла кровь. Кровь была уже черной, в ней плавали хвоинки и лапками вверх торчал затонувший жук. Виднелись трупы лошадей с вздувшимися животами, с разверстыми лиловыми глазами, в которых остекленел ужас. Красноармеец с белесыми бровями, белесыми ресницами, и

лицо белесое оттого, что было покрыто пылью, прижался к расколотой повозке, сквозь дыру в пробитом осколком ботинке просунулись пальцы, на другой ноге распустилась обмотка, и ее линяло-зеленый конец ушел в траву, такую же блекло-зеленую, и сравнялся с ней, будто трава и солдатские обмотки следуют в природе вместе; вожжи, намотанные на руку, как бы еще сдерживали лошадей. Андрей прошел мимо. Далее сидел мертвый боец, у него был настороженный вид, будто перед смертью к чему-то прислушивался. Гимнастерка, обмотки, красная звездочка на пилотке еще покрыты росой.

Возле палаток с красным крестом на полотнищах лежали на носилках и на земле бойцы его роты, убитые, он узнал их – те, шестнадцать, раненые, которых до взрыва моста переправили на левый берег, сюда. Похоронить на войне гораздо сложнее, чем убить, Андрей это уже знал.

Он увидел комиссара батальона. Комиссар лежал навзничь: пробитый осколком лоб, раздробленное плечо, смятая нога. Зеленое лицо, зеленые руки, зеленые гимнастерка и брюки, и тень от фигуры комиссара тоже зеленая, только немного мутноватая, и Андрей было не понял, то ли трава придала всему свой цвет, то ли сама трава стала от этого зеленой. И высохшая кровь на траве была зеленой. Раньше, ко-

гда-то, давно, зеленое было для него цветом радости. А может, и нет такого цвета – зеленого? Может, это просто черный цвет, который почему-то кажется иным, другим?.. Он смотрел на комиссара: ничего не добавлено, ничего не убавлено, просто все смешалось, и то, что до этого следовало в отлично найденном порядке и выражало совершенство природы, превратилось в ничто.

Земля эта, посеревшая, притихшая, пахла кладбищем, так и казалось, что она подготовлена для могил и вот-вот застучат лопаты, поднимутся пирамидки со звездой. Сколько видел он на пути отступления таких кладбищ, удивительно похожих, словно кто-то передвигал их с места на место!

Он принимал боль за землю, ту, что позади, и ту, что впереди, еще борющуюся.

Он старался не выдать перед бойцами своего смятения, даже Семен не должен заметить его замешательства.

Словно понял это, Семен глухо сказал:

– Пойду, Андрей. С хлопцами. Подберем то, что нам нужно.

– Да, да, – скороговоркой откликнулся Андрей. – Оружие, боеприпасы смотри. И сестра пусть с тобой. Посмотрит санитарные сумки. Иди, Семен.

Валерик остался с Андреем. Полянцев тоже. Они

сидели, примяв некошеную траву, а вокруг них трава колыхалась высокая, густая и уже жесткая.

То тут, то там громоздились грузовики с разбитыми кузовами, с выбитыми ветровыми стеклами, с сорванными дверцами, с поднятыми капотами, которые не успели опустить, и пулеметы валялись с изогнутыми стволами, ленты с одним-двумя патронами и цинки, видимо, брошенные второпях, и автоматы, диски, пустые, полные, винтовки с примкнутыми штыками, винтовки с расщепленными ложами и прикладами, стреляные гильзы с темными пороховыми ободками, и снарядные ящики и ящики из-под галет, каски, пробитые пулями и осколками, и окровавленные бинты, подпаленные шинели, шанцевый инструмент, котелки, баклаги, вещевые мешки, планшеты, резиновые трубки противогозов, словно короткие змеи, тянувшиеся в траве. «Лом боя», – пронеслось в голове Андрея.

Похоже, все здесь мертво. Птица не вскинет крылья, и солнце как бы и не вошло в небо, и ветер остановился, воздух остановился, и нечем стало дышать. И Андрей не дышал, минуту, две – казалось, никогда уже не сможет дышать.

У землянки под сосной Андрей замедлил шаг. На голову, за воротник сыпались рыжие хвоинки. Одна хвоинка упала на глаз и кольнула веко. Андрей смахнул

хвоинку с глаза.

Он увидел комбата и испуганно отшатнулся. Комбат, долговязый, сухощавый, лежал, подогнув под себя ногу, словно пули – обе в грудь настигли его в ту минуту, когда собирался подняться с земли. Лицо ничего не выражало и потому, не напомилавшее комбата, показалось чужим. Жилка на виске – совсем спокойная, как шрамик, и выглядела теперь длиннее и не такой синей. Живыми были только часы на запястье: они шли, они еще шли и свидетельствовали, что убит комбат не так давно.

Мир, день и его свет уже не те, какими были минуту назад. Хотя и минуту назад было плохо, очень плохо.

Нет, не тогда, когда прикрывал он отход части, когда взрывал перед танками мост, не на реке под минометным и пулеметным огнем ждала его гибель. Самая большая опасность поджидала его тут, на левом берегу. Он усмехнулся, вспомнив: «Ничего худшего уже не будет... никогда... честное слово...» Вот оно, худшее...

Андрей смотрел, долго, долго смотрел на комбата, зная, что это он, комбат, он, он, и в то же время нетвердое сомнение немного успокаивало. Комбата Андрей представить себе убитым не мог. И потому был перед ним комбат настоящий, единственно возможный – живой. И не здесь, в сосняке, а там, на высоком бе-

регу, где они прощались. Волосы цвета потемневшего серебра, водянистые с красными прожилками глаза, круто проступавшие складки на лбу, на щеках, в уголках рта, худая шея, которую свободно обводил белый целлулоидный подворотничок. Комбат садился на пень, жестом показывал Андрею: садись. И Андрей в самом деле присел, на траву, как и там, он прижмурил глаза, чтоб видеть лучше, дальше, многое... Они и вправду видели больше, чем когда были раскрыты. Он расстегнул воротник гимнастерки, и невольно вспомнилось, как это сделал комбат у землянки на круче.

«Мост, товарищ майор, взорвал, – мысленно заговорил Андрей. Он противился тому, что видел, не принимал в себя случившееся. Он никак не мог поверить, что перед ним уже не комбат. Он испытывал потребность хоть несколько минут думать о нем, как о живом. – Мост взорвал, приказание выполнил». И комбат ответил ему. «Ничего, старик, все это построим». – «Вы считаете, товарищ майор, что мертвые умеют строить? – Андрей в забытьи серьезно продолжал разговор. – Их лишили крови, сердца, мускулов и всего остального, вот как Володю Яковлева, но оставили обязанность выстроить то, что они вынуждены были разрушить, когда были живыми?..» – «Ни хрена, еще попляшем, а?..» – пришли на ум слова комбата,

которые уже слышал. «Попляшем, товарищ майор. – Вспомнил: у землянки на круче ничего этого он комбату не сказал. – Попляшем. Может быть. Наверное. Конечно. Конечно. Это сделают те, кому подготовим дорогу в Берлин. Попляшут же... попляшут!..»

Андрей говорил и не слышал себя. Потом сообразил, что говорит не о том, о чем нужно говорить.

Валерик встревоженно смотрел на Андрея, но ничем не выдавал своего присутствия. Он понимал: ротному тяжело.

На примятой траве возле пня белели мундштуки выкуренных папирос. «Как у той землянки на правом берегу». Андрей догадался, что здесь, на пне, сидел комбат, быть может, в последний раз. Он представил, как держался комбат, что делал, что приказывал, как погиб. Он мысленно рисовал картину боя, картина получалась, и себя видел он в этом бою, он тоже стрелял, бросал под танк гранаты...

Кто-то сел возле, почувствовал Андрей. Но еще не было сил поднять голову, посмотреть кто. «Ладно. Пусть сидит». А Мария поджала под себя ноги и не спускала с него глаз. Он ее не видел, или не хотел видеть. Мария смотрела на его лицо: показалось, что за минувший день Андрей стал старше лет на двадцать. Коснуться его руки, положить свою руку ему на плечо, просто сказать что-нибудь – и горе немного убавится?

Она не знала, как ему помочь.

И все-таки Мария не выдержала.

– Андрей, – позвала, точно был он где-то далеко, а не рядом. Андрей, – позвала снова.

Андрей вздрогнул, как спросонок, и поднял голову:

– Да?

Прозвучало это отчужденно, словно действительно был он не здесь.

– Да, – повторил.

– Что – да? – не поняла Мария.

– Не обращай внимания.

Мария заплакала. Что могла она? Ничего она не могла. И почувствовала изнеможение от сознания, что ничем не может Андрею помочь.

Валерик рассердился и в полный голос сказал:

– Валяй отсюдава сопли пускать!

Мария не слышала Валерика, уткнула лицо в ладони, она плакала.

Андрей смотрел на комбата.

Комбат лежал без движения, без жестов, и это безжалостно разделяло их. Он примирялся с мыслью, что комбата уже никогда не увидит. Комбат не распрямит ноги, и не поднимется, и не отдаст ему, Андрею, приказания, не скажет – «старик», вообще ничего не скажет.

В сосредоточенном молчании всматривался Ан-

дрей, всматривался в лицо комбата. Нет, нет, неправда, что оно ничего не выражало. Неверно, что посилившие, бескровные лица мертвых пусты. Но если и верно, лицо комбата, и мертвого, выдавало в нем человека сильного, убежденного в правоте своего дела, за которое он пал этой ночью или немного позже, утром.

Вчера, когда комбат еще был где-то на другом берегу, у высоты сто восемьдесят три, все в глазах Андрея выглядело проще. А сейчас кончились его представления, что делать, куда вести роту, куда держать путь. Связь с регулярной армией оборвалась – ни командира, ни донесений, ни приказаний. Приказание командира всегда вселяет уверенность: все будет так, как задумано начальством. Андрея охватило сильное волнение. «Одни... одни... оторваны от всех... Одни на всем белом свете, большом и пустынном белом свете...»

Он поднял глаза: увидел Валерика, Марию.

– Идите. – Прозвучало это твердо, требовательно.

Поднялся Валерик, встала Мария, нехотя пошли.

Марию остановил Саша.

– Не отбивайся от меня. Марийка...

– Куда ж мне отбиться, Сашенька? Мы все тут...

Саша шел рядом, шаг неровный, глаза опущены.

Андрей смотрел вслед им, словно ждал, чтоб ско-

рее скрылись из виду.

Он услышал, за плечами дышал Семен. Медленно повернул голову. Лицо его показалось Андрею длинным, может быть, потому длинным, что от напряжения было вытянутым. На лице этом настойчивое требование – надо что-то делать! Это вырвало Андрея из состояния разбитости, к нему возвращалось чувство ответственности перед суровым делом, к которому при- ставила его война.

– Вот как сложилось... – сказал. И Семену ясно ведь было, как сложилось, и, подумав об этом, Андрей сжал губы. Он смотрел прямо, по ровной линии, куда-то вперед, он видел вчерашний правый берег и себя там, и еще видел живых Володю Яковлева и других тоже, может быть, видел он и то, что было еще даль- ше, совсем далеко – лучшую школу в городе, Совет- скую улицу, бывшую Соборную, и Ленина, как бы сде- лавшего шаг и спускавшегося с памятника на площа- ди. А может, видел он только Семена и выражение его вытянутого от напряжения лица. Он повторил: – Вот как сложилось... Что делать? – Чувство ответственно- сти вернулось, но уверенности еще не ощутил.

– Что делать? Что делать? – с некоторым раздра- жением переспросил Семен. – Пробиваться к линии фронта.

– А где она, линия фронта?

Семен помолчал.

– Карту бы...

– Теперь карта ничего не значит, – махнул Андрей рукой. – В том смысле не значит, что двигаться по ней то же, что и без карты. Красную, синюю линию не проведешь. Где противник?

– Должна же где-то быть линия фронта, – не сомневался Семен. Куда-то же отступили наши части. Не могли же они рвануть за такой короткий срок на сто километров!

– А хоть бы и в пятнадцати – двадцати километрах отсюда держат наши оборону. В том ли, Семен, дело? В каком направлении идти – вот неясность.

Семен молчал: думал, соображал. Ничего не приходило в голову. Наконец сказал:

– Андрей, пойдём, как шли. Лесами. – Семен достал папиросу, сунул в зубы. – Кури, – дал Андрею пачку. – Сплошной линии фронта, как на западной стороне, судя по всему, у немцев здесь нет. Так? – вопросительный жест. Просто отдельные части противника, прорвавшиеся в разных местах, расчленяют наши отходящие войска и устраивают «котлы», большие и малые. В такой «котел», видно, попал батальон, не смог отбиться. В одном из «котлов» оказались и мы.

– Это, Семен, ясно. И задача ясна: вырваться из «котла». И – попасть в другой?

– Вполне возможно. И опять вырваться...

«И опять вырваться... И опять вырваться, – застучало в голове. Андрей даже прикоснулся рукой ко лбу. – И опять вырваться... Конечно, вырваться. Как сказал ему комбат? „Семь там раз или сколько встретишься с противником, а уйдешь...“ – Он усмехнулся. – Но уходить куда? Где наши?..»

– Но где наши? Вот в чем дело, – сказал. – Иначе из «котла» в «котел»...

– В таком положении самое верное заполучить карту... противника с нанесенной на нее обстановкой, – улыбнулся Семен. – Остается попросить ненадолго займы... – И, сразу изменив тон, спокойно, не навязчиво сказал: – Считаю так: идти по-прежнему лесами. В лес немец не сворачивает, это мы знаем. По стрельбе, если где бой, уловим направление, куда путь держать. Твое мнение?

– Выбора нет. Только это. – Андрей хмуро сдвинул брови. – Как с ранеными быть? Ну, отделенный – у того дело, считай, пустяковое, и без руки солдат – солдат. С Данилой и вовсе ничего. По нашим обстоятельствам, конечно. Полянцев вот, Рябов. Попадем в ловушку – как с ними?..

– Прикроем в случае чего. Теперь есть чем прикрыть. Вооружены. Пулемет, два – наши с тобой – автомата, пять трофейных: у Вано, отделенного Позд-

няева, Петруся Бульбы, Данилы и у Шишарева. Три винтовки. И у Сянского, слава богу, есть уже винтовка. Восемь цинков с патронами, патронами набили и вещевые мешки. Магазины для фрицевских автоматов прихватили. Еще – семнадцать гранат. В общем, запаслись. Унести бы все это. Так вот, давай принимай решение.

Андрей, оказывается, все еще смотрел на комбата. Он заметил, поверх кармана гимнастерки пополз червяк. Червяк занимал слишком мало места, чтоб пуля, осколок снаряда могли в него угодить. Везет на войне червякам, жучкам, букашкам!.. Он поднялся. По привычке заложил пальцы за ремень, расправил складки на гимнастерке. Да, надо принимать решение. Он примет решение. Мужество проявляется не только в поступках, но и когда веришь, что не все потеряно, хоть и видно, что потеряно и даже чудо не спасет. Не потеряно. Не потеряно.

– Ваню, – кликнул Андрей. – Сержант! Построить роту.

Ваню недоуменно: роту?.. И бросился выполнять приказание. Словно происходило все в обыкновенных условиях, напрягая голос, скомандовал:

– Стройся!

Короткая шеренга выстроилась. Исхудалые, утомленные, небритые лица, выцветшие, в болотных под-

теках гимнастерки, брюки. Пилипенко правофланговый – старался выправить грудь. Перед ним, чуть правее, пулемет. Следующий – Саша, винтовка «к ноге», голова твердо повернута, как требовала команда. За ним – отделенный, Шишарев, Данила... Андрей остановил взгляд на Даниле: как у исправного солдата все у него было на месте – автомат, шанцевая лопатка, котелок, баклага, за спиной вещевого мешок, из-за голенища высывалась ложка, Полянцев с Рябовым отступили на шаг в конце шеренги. Рябов опирался на рогатину под мышкой, ладно обструганную Данилой. Там же, последней в шеренге, встала Мария с санитарной сумкой.

– Равняйся! Смирно! – Ваню вскинул к пилотке руку. – Товарищ лейтенант...

В обтрепанной, продранной у плеча осколком гимнастерке, в стоптанных сапогах стоял Андрей, подтянутый, строгий. Ничего ребята. И Ваню не плох, и Пилипенко чем плох. И Данила с Сашей подходящие. И остальные. Андрей мысленно оценил каждого. Хорошо, что Семен с ним, повезло, что Семен с ним, определенно повезло. Все они были уже не только бойцами, которые по его приказанию ринутся на огонь противника, – это были самые близкие друзья его, ближе, родней и быть никто не может. Как никогда раньше, постиг он силу солдатского товарищества. Оказыва-

ется, без этого товарищества, как без дыхания, невозможно. И есть ли на свете одиночество! Настроение стало улучшаться, он убедил себя, что рота пробьется к линии фронта, определенно пробьется. На такую роту можно положиться, она, ей-богу, стоит иной полнокомплектной роты, подбадривал он себя. Многое в создавшемся положении зависит от него самого: не перестать быть командиром. Дисциплина сохраняется. Обязательно. Обязательно. Раз рота... Порядок – во что бы то ни стало.

– Первая рота! Нас пятнадцать. Но мы не перестали быть ротой. Мы уже не входим ни в батальон, ни в полк. Мы в окружении. Но по-прежнему являемся подразделением Красной Армии. У нас задача – идти на соединение с частью. Задача самая трудная из всех, которые рота до сих пор выполняла: идти придется по местам, ставшим тылом противника. Вопросы есть?

Молчание. Голос подал Пилипенко.

– А где наш передний край, товарищ лейтенант?

– Где наш передний край? – рассеянно переспросил Андрей. – А черт его знает, по правде говоря... – сбился он со взятого тона. – Где наткнемся на немцев или они на нас, там и передний край. Ясно?

– Ясно, товарищ лейтенант!

Андрей почувствовал, что обрел уверенность. Он не лишился уверенности, это самое важное сейчас,

это очень, очень важно. И ладно, что дело вроде проиграно, и ясно, что проиграно, а уверенность, если она еще есть, двигает тобой, и глядишь, черт возьми, не все проиграно. Что ни говори, а уверенность – главное, особенно в таких вот обстоятельствах. «Спасибо, ребята, это от вас моя уверенность. И я распоряжусь ею как следует».

– За мной марш!

Глава тринадцатая

1

Облака расползлись по небу, и небо перестало быть голубым. Оно стало белым, кудлатым. Облака сделали небо подвижным, быстрым и шли на юго-восток. Андрей тоже повернул на юго-восток, как бы вслед им. В конце концов, все равно, в какую сторону двигаться – обстановки он не знал и в любом направлении мог наткнуться на противника.

Рота шла лесом. Молодым березняком. Во всем виделась Андрею прячущаяся враждебность. Ветер ударил по вершинам деревьев, внизу побежала пригнувшаяся трава – он вслушался: не подкрадывался ли кто? Крикнула птица – насторожился: поблизости кто-то чужой?

– Эге, смотрите, товарищ лейтенант. – Данила не сводил глаз с молодой березы. – Смотрите.

– Чего смотреть?

– На березку смотрите. Вершинка сломана. Видите? Теперь потопали дальше.

Данила шел рядом с Андреем.

– Вторая береза. Третья. Четвертая, – считал он встречавшиеся им березы. – Пятая вот. Шестая. Седьмая. Дальше. Дальше. Восьмая. Девятая! Видите, и у этой шея свернута? На каждой девятой березе вершинка вниз.

– И что?

– А то, товарищ лейтенант. Разведка какая-то проходила здесь до нас. Дорогу примечала.

– Вроде бы так...

«Значит, идем чьим-то путем? – согласился Андрей. – Может, мы куда и выйдем».

В просвете опушки завиднелась дорога. Рота вышла на дорогу.

Истоптанная множеством сапог, искореженная траками, колесами дорога след войны, оставленный вчера, позавчера, может быть сегодня, показывал, куда шли наступавшие, отступавшие. Дорога, одинаковая вся, с одинаковыми тополями в запыленной листве по правую сторону, с открытым неубранным полем по левую сторону, тоже одинаковым, и можно было подумать, что и не двигалась она вовсе, и сколько ни ступай по ней, никуда не дойти.

Андрей шел и оглядывался. Цепочка бойцов растянулась.

– Прибавить шаг!

Крутой излом вводил дорогу от начинавшейся ло-

щины. Андрей с бойцами спустился в лощину, так спокойней будет.

Кончилась лощина. Андрей нервничал: вокруг одни луговины, поляны, и не скрыться, если что. Вон показался на поляне невысокий кустарник, почти овальной формы, с потемневшей листвой, издалека напоминавший сбившихся в кучу овец.

Вдруг все, как по команде, подняли вверх голову: в небе знакомо рокотал самолет. Мария судорожно рванулась с места.

– Не туда! – криком остановил ее Андрей. – В кустарник! – Это относилось ко всем.

И все бросились в кусты.

Из кустарника следил Андрей, куда направлялся самолет. В первый раз был он рад, увидев над собой вражеский самолет: «рама» – разведчик, Семен тоже не спускал с самолета глаз. Самолет забирал влево, один раз немного снизился, лег на крыло, и поплыл дальше – влево, влево. И пропал, словно утонул в облаках.

– Спасибо проклятой «раме», – дорогу нам показала. – Семен выбирался из кустов.

– Вот именно. Куда «рама», туда и нам держать путь. Влево, только влево. Туда отправилась на разведку. Есть, значит, что разведывать там...

Влево – это прямо на север. «Ну, конечно, в той сто-

роне наши войска. Как об этом сразу не подумал!» Надо спешить. Нельзя терять время. Могут снова отойти.

– За мной!

Шаг, второй... Пятый, шестой, седьмой... Восьмой, девятый... Много шагов. Андрей обрел цель, а вместе с нею и надежду. С каждым шагом походка становилась тверже, решительней, будто шел туда, где ждала его победа, во всяком случае, военный успех.

Шишарев отстал метров на сто, Сянский с Тишкой-мокрые-штаны, и Рябов, и Данила едва плелись позади.

Андрей остановился. Рядом остановились Валерик, ступавший с ним шаг в шаг, Ваню с Полянцевым, Саша, Пилипенко. Пилипенко выпустил из рук пулемет – отдохнут руки малость.

– А ну, подтягивайсь! Не отставать! Подтягивайсь!

Андрей был спокоен, и голос его выражал это спокойствие.

Подходил Шишарев.

– Дух весь выпустил, тряся твоей матери? – процедил Пилипенко.

– Сбиты ноги когда и ноют кости, дорога даже в рай не радует.

– Зачем, к черту, рай? Хоть куда-нибудь добраться – попить, пожрать, поспать. Вот тебе и рай будет.

Шишарев покорно склонил голову: «Простые слова сказал человек, а красиво как да правильно».

– Да, Гаррик...

Подходили остальные.

И снова в путь. На север, на север.

2

Впереди, далеко, обозначилась полоса леса.

Но начинался лес гораздо ближе. На поляне, как стражи, стерегущие дорогу в лес, появились две березы, старые, высокие и толстые, с поникшими поредевшими вершинами, словно им давно надоело стоять вот так, в одиночестве. С нижних длинных ветвей на верхние, на самые макушки, перелетели три вороны, шумно хлопнув крыльями, недовольно и грозно картавя. Шагах в тридцати от тех двух берез, навстречу вышла еще одна береза, потом – несколько берез попеременно с осинами. Потом пошли ели, становилось теснее. Лес, лес.

Тускнеющий свет иссякающего дня остался позади, там, на поляне, а здесь, в лесу, уже владычествовала ночь. Андрей забеспокоился.

– Подтягивайсь! Подтягивайсь! Держи на мой голос!

Подтягивались. Подходили к широкой сосне, у которой Андрей стоял. По походке, по голосам узнавал

тех, кто подходил. Пилипенко? Он. Мерный перестук катившегося пулемета подсказал, что он. И сердитый голос Пилипенко: должно быть, наткнулся на кого-то.

– Смотришь, как баран в воду, тряся твоей матери!

И Сянский приближался – он откликнулся, защищаясь:

– Темнота чертова. Не видно, куда ногу ставить.

Андрей все время вслушивался: то ли показалось, то ли в самом деле улавливал отдаленный гул бивших орудий. В ту сторону, где слышалась артиллерия, и направилась «рама».

– Орудийная стрельба, точно, – подтвердил Семен. – Где-то там линия фронта.

– Где-то там, – задумчиво согласился Андрей. – Задача установить где, и как добраться туда. Ваню! Саша!

В темноте два голоса одновременно:

– Да?

– Есть!

– Давайте, ну влево, что ли, поразведайте. Время – час; если понадобится – немного больше.

Ваню и Саша вмиг исчезли.

– Пилипенко.

– Я!

– Передай пулемет Петрусью Бульбе. Бульба! Взять пулемет.

– Понял.

– Ты, Пилипенко, подайся вправо. Те пошли влево, тебе вправо. Ясно? С Сянским.

– Самое с ним в разведку, – беззлобно хмыкнул Пилипенко.

– Конечно, нет, – поддакнул Сянский, обрадованный, что Пилипенко не считает его подходящим для разведки. – Конечно...

– Исполнять!

Андрей почувствовал, в нем закипала ярость. На войне все, что есть в человеке, становится особенно заметным, ничто не в состоянии он утаить. Особенно проступает дрянь, если он подлец. «Сянский дрянь, определенно». А почему, собственно? – спохватился. – Почему?.. Он просто борется за свою жизнь, ничего другого у него нет, как у всех на войне. «Все равно, дрянь».

Андрей напряженно ожидал: что выведает разведчики?..

Пилипенко с Сянским возвратились скоро, через три четверти часа. В лесу, неподалеку, обнаружили хутор.

– В крайней хате огонек, прикрытый рядниной на окне, – сообщил Пилипенко.

– А-а, огонек, – подтвердил Сянский.

– Прислушались: голосов никаких, – додал Пили-

пенко. – Баба только чего-то торочит...

Подумав, Андрей сказал:

– Семен, жди Ваню и Сашу. Может, и те вернутся с чем-нибудь. Я с Пилипенко пойду. Надо ориентироваться, если удастся. В случае опасности дам красный сигнал.

Ели, сдвинувшись, сплелись ветвями и стояли сплошной стеной, Андрей и Пилипенко продирались сквозь сбившийся лапник. Потом стена немного разомкнулась, и они увидели слабую искорку света. Пошли на искорку. Возле хаты убавили шаг. Вслушались. Тихо, так тихо, даже страшно стало.

Андрей не решался сразу входить в хату. «Обойдем хутор. Немцам, ясное дело, делать здесь нечего. Но, может быть, надумали переночевать, тоже рассчитывая на глухомань. Обойдем вокруг хат. Если немцы, чем-нибудь да выдадут себя...»

В хатах ни звука – в них продолжалась тишина леса. Вернулись к хате с искоркой в окне. Еще постояли. Андрей постучался. Никакого отзвука. Только огонек погас. Подождали. Андрей опять постучался. Он насторожился: за спиной, сбоку, шорох.

– Пилипенко, – шепотом позвал.

Пилипенко бесшумно отделился от Андрея.

– Лошадь хрумкает, – сказал, вернувшись. – В сарае.

Андрей настойчиво стучался в окно, в дверь. Ответа не было. «Не пуста же хата, свет-то горел...» Сильным ударом ноги растворил дверь.

Густо запахло хлебом и молоком.

– Есть кто? – бросил в теплую темноту комнаты, держа автомат наперевес.

– Есть, а как же! – хриплый голос, старавшийся звучать спокойно, безбоязненно.

– Что ж не открываете? Запор на двери плевый, дунь и – ладно.

– Запор плевый, – согласился хриплый голос. – Он и нужен плевый. Шо трапиться, дверь готова и – на волю. – Чиркнул спичкой. – Почекайте, лампу засветю.

Тощий дымный свет керосиновой лампы не одолел всего мрака, наполнившего комнату. Андрей увидел кряжистого мужчину лет сорока, с вислыми черными усами, с кустистыми и сросшимися над переносицей бровями, и потому казавшегося сердитым. Может быть, человек этот и был сердитым, но перед ним – вооруженный командир и здоровенный боец. На Андрея смотрели маленькие табачного цвета глаза, как два круглых нулика, и в них темная пустота. Усатый человек стоял прямо, в такой противоестественной позе, будто сквозь него продет железный шест и тело перестало быть гибким, податливым. Секунды две лицо усача, словно камень, ничего не выражало. И

вдруг ожило, как бы зажженное изнутри, вспыхнуло, все в нем задвигалось искривленные, глубокие морщины на лбу, губы, подбородок; щеки меняли цвет, то багровели, то бледнели: лицо изображало какое-то несобранное движение всех его черт.

– Почтеньице! – Из рта его кисло пахло борщом.

Андрею не понравился этот усач. Он оглядел комнату. Все расставлено на свои места, все в таком безупречном порядке, что показалась комната нереальной, Андрей уже привык к другому. Тени вещей едва умещались на полу, на стене.

Он посмотрел на усача в упор. Тот отводил глаза – не мог выдержать его взгляда, и в этом сказывалось чувство какой-то вины.

– Слушай, друг, что это ты, а? – насупился Андрей. – В глаза смотреть не хочешь? Не сглажу, не ведьма.

– Да что вы, – раскинул руки усач. – Радый я вам, свои же! – И радостное выражение заняло все его лицо.

– А свой ли ты нам, докажешь, – сел Андрей на табурет.

– Докажу, докажу, а як же!

Пилипенко вынул из кармана фонарик, вышел в сени: осмотреться не мешает.

– Товарищ лейтенант, – позвал он Андрея.

В сенях, в углу, была навалена куча красноармей-

ских сапог. Ого! Ого!

– Это что у тебя – склад, магазин? – понял все Андрей. Он едва сдерживал себя.

– Та шо вы, товарищ командир! – проговорил усач, запинаясь. Лицо сразу изменилось, стало холодным, застывшим, будто жизнь покинула его. Тут, километров с двадцать, у Холодного яра, поле перед яром большое, так бой был, ой и бой был, так там стилько побили нашего брату, стилько побили! Страх божий... Я и запряг коняку, поихав та подибрав чоботы. Дарма б загнули, – растопырил усач пальцы, убеждая в разумности своего поступка. Андрей увидел, что пальцы у того короткие, волосатые. Усач добродушно склонил голову набок: – Може вам треба, берить, будь ласка.

– Сволочь ты! – Пилипенко забылся и схватил усача за ворот рубашки, приблизил его к своему лицу и широко впился в него глазами. Тот, не выдержав пристального взгляда, закрыл глаза, и Пилипенко смотрел, как дергались опущенные веки усача.

– Ой, шо ж вы робете, братику! – взмолился крикливый голос. Андрей увидел у печи расплывшуюся женщину, потрясенно обхватившую руками голову. Поза эта должна была вызвать жалость, и покорность изображала эта поза, и беспомощность. – Шо ж вы робете?.. – Цветастая кофта широко раздвинулась на груди, а Андрей увидел золотой крестик. «Очевидный ор-

дер в рай», хмуро усмехнулся.

– Отставить! – приказал Андрей. И Пилипенко оттолкнул от себя усача.

Женщина опустила руки. Еще не совсем успокоившись, взялась за черень ухвата и завозилась у печи.

– Посидить трохи, нагодую.

– Кормить нас не будете. Не тот дом, – оборвал ее Андрей. – Воды разве...

Женщина с готовностью зачерпнула в кружку воды, подала Андрею, в несколько долгих глотков опорожнил он кружку. Потом женщина поднесла полную кружку Пилипенко.

– Послушай, «свой», – обратился Андрей к усачу, – ты можешь сказать, где находится противник? Наш, – ткнул себя в грудь.

– Где-где, – поднял усач плечи, поднял глаза. – А бес его знает где! Может, он тут, возле нас, а может, за сто километров подался. В окружении мы с вами, товарищ командир, як вас по имя-батькови, а в окружении разберешься хйба? Во всяком разе, думать треба, шо под кажным он деревом. Ось як! И смотреть вам в оба, – пробовал наставлять. И столько заботливости в голосе. И сочувственная улыбка под усами. Улыбка короткая, ее как бы и не было.

– Мне не забота твоя нужна, – обрезал Андрей. – Сапоги собирал на поле боя, так? Когда? И где он, Хо-

лодный яр?

– Когда? – переспросил усач, как бы припоминая. – Сапоги когда, га? А позавчера. А бой был вон где, – показал пальцем через голову Андрея. – А только там немцев уже нету. Мы, местные, знаем. Немцы в обход пошли. В обчем, лесом вам идти. До шоссейки. Шоссейка километров с пять от нашего хутора, лесом. Попадется вам домик дорожного мастера. Га? Домик, домик. Кирпичный. Мимо того домика и опять лесом, лесом. А кончится лес, почнется Холодный яр. Га? Ну поле, большое поле, как раз там и был тот бой. Ну сапоги где. По всему полю тому яр, ну балка, овраг ну, тоже величезный. Вам через яр, а там – через поле – и в лес по другой бок поля. Лучше держаться трошки наскосяк, ну на сторону, где солнце пойдет, как раз и выйдете на сторожку лесника. И опять держитесь на солнце, ну на восход, и мост вам случится, через речку. Речка глубокая. Не смотрите, что лесная. Переходите мост и по бережку, попадется вам водянка. Га? Ну мельница на воде. От нее, от водянки, поворачивайте на березняк. А там и соображайте, куда вам дале. Дале вроде и света конец, – усмехнулся. – Хуторянин наш видтиля вчера вернулся, красноармейцы, говорил, туда прямували. Ось и весь маршрут. Лучше всякой карты намалював, – довольно растопырил пальцы. Га?..

Помедлил с минуту, раздумчиво добавил:

– Майте на увази, по шоссейке туда-сюда на мотоциклах немцы шныряют, с такими большими на грудках железными бляхами. Шо це воно за таке?..

«Ага, – заметил Андрей про себя, – нагрудный знак, похожий на повернутый вниз металлический воротник: и полевая жандармерия появилась».

– Слушайте, як вас по имя-батькови, може, и возьмете по паре чобит? Сгодяться. Га? – Усач, весь в доброжелательной улыбке, привстал, готовый пойти в сени за сапогами.

– Не надо. – Андрей поднялся. Словно только сейчас заметил на усаче сухой пиджак, сухие брюки, и в ногах, подумал, конечно, сухо. Позавидовал даже, даже плечом повел, пошевелил пальцами в сапогах. – Так вот, «свой». Если следом за нами пошлешь, мы отобьемся. Нас много. А тебя, придем, и прикончим. Понял? – пристально смотрел он на усача. – Сейчас бы следовало прикончить. Да подождем, проверим, какой ты нам «свой».

– Шо це вы, товарищ командир! – Усач испуганно и огорченно развел руками. – Осподь с вами. Идти доносить на вас? То вам я дорогу рассказал. А другим – навищо?

– Закрывайся. И до утра никуда ни шагу.

– Никуда. Ни шагу, – закивал усач.

Андрей и Пилипенко вышли.

– Ай, смердюга, – зычно сплюнул Пилипенко. – Вон какое зелье росло на нашем поле!

Андрей не откликнулся.

3

Вано и Саша подтвердили: недалеко шоссе и у шоссе домик. Усач не обманул, со страху, наверное. Домик в четыре окна по фасаду, смогли рассмотреть Вано и Саша. Окна раскрыты, из них доносился храп. Вано и Саша слышали: храп. Человек пять-шесть спит. Немцы. Немцы, точно. Один выходил на крыльцо, помочился. Сонный, буркнул он что-то, по-немецки. Должно быть, часовому.

Значит, немцы, – размышлял Андрей. – Пусть их там не пять-шесть, а дважды столько – один на одном. Ночевка подразделения? Или какой-нибудь штаб?

Андрей ступал медленно, мысль о домике не оставляла его.

Шли молча, не видя друг друга. У ног возились еловые ветви, каждый слышал, что рядом есть кто-то свой, и это подбадривало.

– Семен.

– Да, Андрей?

Андрей молчал, додумывал, прикидывал.

– Домик дорожного мастера небольшой, раз четыре окна, так? Немного, считай, немцев прикроет.

– Понял тебя, Андрей.

Оба умолкли. Теперь оба додумывали то, что занимало их.

– Часового если б без шума убрать... – развивал Семен мысль Андрея.

– Постараться надо, – сказал Андрей как о чем-то уже решенном.

Решения еще не было. Напасть на домик – потерять время, а надо торопиться туда, где стреляли и, следовательно, шел бой и, значит, проходила линия фронта. Но там уже стихло.

– Постараться надо, – повторил Андрей тверже.

– И в порошок истолочь фрицев. Вот тебе и шанс получить карту, проговорил Семен. – Ту самую, которую спишь и видишь: карту противника с нанесенной на нее обстановкой. – По тону Андрей догадался, что тот улыбался.

Именно это имел в виду Андрей: вдруг в случае удачи нападения узнают расположение немцев и советских подразделений, а может быть, и частей, хотя бы в этом квадрате. Большого и не надо.

Остановились в полукилометре от шоссе.

– Пойду, разведую, так? – сказал Семен. – Дело такое, что перепроверка не лишня.

Семен с Ваном вышли к самому шоссе, залегли в кювет и всматривались, вслушивались – ни машины, ни пешего. Домик дорожного мастера смутно проступал из темноты.

У домика вспыхнул огонек, очень четкий в ночи. Семен проследил взглядом за огоньком. Наверное, часовой закурил. Так и есть: огонек то угасал, то снова вспыхивал. Потом часовой стал что-то насвистывать, должно быть, старался таким образом подавить страх.

– У немчика мандраж, да? – шепнул Ван Семену.

«Кто он, этот фриц? – подумалось Семену. – В самом деле, Фриц? Или Ганс? Или Отто? И откуда ждет он письма, из Баварии, из Саксонии? Письма он уже не дождется. На войне такое неизбежно: кто-то кого-то должен прикончить...»

– А тебя, Ван, не схватит мандраж, если подкрадешься поближе к домику? – сказал ему Семен на ухо.

– Меня, да?

– Тебя.

– Нет, товарищ политрук. Не схватит.

– Установи, высоко ли до окон. Разведай, по ту сторону домика что лес, поляна, лог?.. И все, что сможешь.

Ван выскользнул из кювета, пополз через шоссе. Шоссе по-прежнему оставалось пустынным. Семен

поднял голову: что-то хлопнуло у домика, хлопнуло так, что вся ночь задрожала. И тотчас вспыхнуло пятно карманного фонарика. Дверью, значит, кто-то хлопнул. Карманный фонарик, должно быть, спускался с крыльца. «Как там Ваню?» тревожился Семен.

Семен не заметил, как Ваню возвратился и вполз в кювет.

Он услышал его прерывистое дыхание.

– Ну? – нетерпеливо обернулся к Ваню.

– Порядок, да? – перевел Ваню дух. – И Сянский, этот, пустяковый, сможет бросить гранату в окно... Часовой – какой из себя? Черт его знает какой, да? – Он все еще трудно дышал. – Может, толстый, может, худой, в темноте, слушай, не определить. Но повыше Пиля будет. Сматываться, слушай, не прямо от домика, – лысое место, да? Взять наискосок метров двести, и в самый лес. Я из травы высмотрел, лазить, слушай, было плохо – шелестело, вай!.. У стены, справа от крыльца, мотоцикл. Когда фриц фонариком повел, я и увидел. – Он смолк. – Немчики писать часто ходят. Раза четыре, пока торчал я там, выходили. Всё, да?

Всё так всё. Правда, неизвестно, сколько в домике немцев, как они вооружены и штаб ли это, случайная ли ночевка солдат?..

Они снова вдалились в лес.

Домик дорожного мастера оставался правее. «Что там разместилось? ломал себе голову Андрей. – Странно, в охране один часовой. Еще не напуганы немцы, потому? Или ребята чего-то не высмотрели?» – размышлял он о сообщении Семена и Ваню.

Лес становился плотнее и плотнее и вскоре так сгустился, что разделил всех. Какая-то птица вспорхнула с макушки дерева, кинулась вниз и, над головой Андрея, выправилась и ушла. «Птица не вверх взмыла, – вниз, значит, рядом плешина», – догадался он.

И верно, вышли на лесной луг, большой или малый, не видно. Но деревья отодвинулись. Здесь можно дожидаться Семена с группой, уходившей к домику дорожного мастера.

– Ну, Андрей?

– Давай, Семен. Через час-полтора начнет светать.

Семен с Сашей, Ваню и Пилипенко продирались сквозь чащу.

Возле домика дорожного мастера залегли в кустарниковой заросли. Как раз перед окнами и крыльцом, метрах в тридцати, если ночь не обманывала. Выждать, осмотреться, прислушаться. Собраться с ду-

хом. Семен был спокоен. Может быть, глубокая тишина действовала успокаивающе. Может быть, мысль, что все выйдет, как задумано, вселяла уверенность?

Напряженно выбирал он минуту для броска. Пора, пожалуй. Скоро рассвет, успеть бы затемно вернуться на луг, где расположилась рота. Пора. Нет, стоп! У крыльца скользнул луч фонарика и пробуравил белый кружок в темноте. Кто-то с тупым топотом спулся по ступеням. Фонарик погас. «Мочиться часто ходят», – помнил Семен слова Ваню. Через несколько минут на крыльце раздался тот же топот: немец возвращался. И опять все стихло.

«Теперь самое время», – решил Семен.

– Двинулись, – шепнул, и четверо, пригибаясь, тронулись.

Прямо из темноты враз рухнул Пилипенко на спину часового, когда тот, повернув от угла домика, шагнул в сторону крыльца, и оба повалились на землю. Вскрикнуть часовой не успел: Ваню рывком приподнял его голову, сорвал с нее пилотку и впихнул ему в рот. Придавленный тяжелым телом Пилипенко, часовой нутужился и все-таки повернулся лицом вверх. Он дергался и изо всех сил пробовал выбраться из-под Пилипенко, упираясь кулаками ему в грудь, отталкивал от себя. Пилипенко едва справлялся с ним.

– Ваню! Сдох бы ты! Автомат у фрица отбери!

Вано выдернул из рук часового автомат.

Часовой мелко замотал головой, скомканная пи-лотка вывалилась у него изо рта. И часовой вскрик-нул. Пилипенко снова цепко лежал на нем, но дотя-нуться руками до его шеи не мог. «А и длинный нем-чик! Верно говорил Вано».

– Вано! Сдох бы! Души!..

И Вано стиснул шею немца. Он стискивал ее, стис-кивал, даже пальцам стало больно. Наконец разжал руки – ни стопа, ни хрипа больше, тело немца совсем обмякло. Вано ткнул его, тот успокоенно лежал, не шелохнулся даже.

– Каюк! – сказал Вано. Он шумно дышал.

– А все равно, дави! А если прикидывается? Дави!

Вано ощупывал немца.

– Каюк, Пиль, да? Каюк, слушай.

Почти одновременно раздались два оглушитель-ных удара: разорвались гранаты. Пилипенко и Вано сжались, не решаясь подняться. Домик, охваченный огнем, как бы сорвался с места и, красный, рассыпа-ясь, надвигался на них. Ночь потеряла на мгновенье свой черный цвет. С крыльца кто-то кому-то кричал растерянно:

– Шнеллер!.. Ляуф!..

Оттуда, с крыльца, и снизу доносился перепуган-ный – долгий-короткий, долгий-короткий – автомат-

ный треск.

– Ляуф! Ляуф!..

– Орут, слушай... Не всех гранаты побили, да?

– Не всех. Ладно, помолчи.

– Нехорошо!

– Нехорошо. Помолчи. – Пилипенко уже тревожился: стрельба, крики, стоны, все смешалось, и неясно было куда кинуться. – Ты ж говорил: пять-шесть фрицев. Слышишь, куча их?

– Мы ж с Сашей по храпу определяли, да? В домик же не заходили, не считали, да? – огрызнулся Ваню. Он тоже нервничал: что-то же надо делать, не лежать же возле мертвого часового. – Пиль...

– Помолчи.

– Зачем – помолчи? Держи, слушай, фрицевский автомат. У меня же свой, да? И давай, нашим на подмогу!

Но куда – на подмогу? Не разобрать, где стреляли Семен с Сашей, куда бежали немцы, которых не уложили гранаты.

А Семен, швырнув в окно гранату, бухнулся в траву. Разрыв! Тотчас услышал и второй разрыв. «Сашина граната...» Два огня, рванувшиеся вверх и в стороны, слились вместе. С крыльца, освещенного пламенем, сбегали немцы, бестолково кричали, вопили и скрывались в темноте. У стен домика, потом подальше от

него, потом, наверное, где-то у шоссе стреляли они из автоматов, из пистолетов. Из окон несло тяжелым, еще не разошедшимся духом пороховой гари.

Привстав на колени, Семен нажал на спуск автомата, и слишком громкий стук стегнул по ушам, по сердцу. Семен выпустил все патроны. Непослушными руками менял он диск. Получалось медленно, и он сердился на себя. Он снова ударил из автомата.

В домике немцы еще укрывались: Семен опять услышал топот на крыльце. «Сколько ж их, немцев, в конце концов?» – удивлялся Семен. И еще подумал о том, что никакой карты, конечно, не получить. «Какая к черту карта! В домик не проникнуть». Когда вместе с Андреем обдумывали они нападение на домик дорожного мастера, Семен представлял себе, как, в случае удачи, вбегает он в домик и при свете карманного фонарика обшаривает стол, все, что возможно. Немцы делали все, чтоб Семену нельзя было войти в домик. И Семен нажимал на спуск автомата, нажимал, нажимал и раздраженно думал: «И чего им там! Всем бы, кроме мертвых, выбежать, а кое-кто, дураки, прячется в комнатах... И чего?..» Он продолжал нажимать на спуск. Ну да, выбежать бы немцам под огонь автомата. Потому, что ему, Семену, так надо, и потому, что так должно было быть по замыслу его и Андрея. Немцы поступали им назло, – усмехнулся Семен, – и

ничего не поделатъ...

Вано и Пилипенко услышали:

– Бросай и вторую гранату! – Голос политрука. – Бросай на крыльцо! Это – Саше.

У крыльца снова грохнула граната. И пламя, державшееся в темноте, высветило падавших немцев, бежавших немцев. И Сашу увидели Вано и Пилипенко, увидели Семена в нескольких шагах от него. И рванулись с места.

– Товарищ политрук!

– Отрезайте отход на шоссе!.. Отрезайте отход!.. Поняли?

Поняли. Вано и Пилипенко не откликнулись, понеслись: они успели, когда разорвалась граната, заметить и кусок шоссе справа от себя и согнутые фигуры, несшиеся туда. Теперь было ясно, куда строчить! Немцы отчаянно отстреливались.

– Драпают, бач, – проворчал Пилипенко, – а дают жизни!

Но на шоссе уже стихало. Отрывисто стучал немецкий автомат, один. На три-четыре очереди немца Пилипенко отвечал из кювета осторожной короткой очередью: черт его знает, сколько было у часового патронов в магазине! Вано вставил в автомат третий, последний магазин, старался бить тоже короткими очередями.

Оттуда, от домика, пламя, слишком красное, высоко прочертило небо. Ракета! Сигнал отхода!

– Пиль! – почти весело крикнул Ваню. – Сматываться, да?

В темноте они не видели друг друга, их разделяли метров пятнадцать-двадцать. Ваню сделал несколько шагов, и нога споткнулась обо что-то, чуть не упал.

– Кацо, Пиль. На фрица наскочил, слушай?

– Ладно, – неопределенно откликнулся Пилипенко.

– Слушай, Пиль! А фриц живой!

– Ну, где он, твой хриц? – приблизился Пилипенко.

Ваню, схватив немца за ворот, хотел приподнять его. Тот упирался, не вставал с колен.

– Ну, хриц... – Пилипенко обшарил карманы немца.

– Фриц... Фриц... Я ейст Фриц... – Покорный, жалобливый голос.

– На кой хрен знать мне, кто ты.

– Нихтс понималь... Нихтс понималь... – испуганно бормотал немец.

– Поймешь. У нас поймешь.

– Нихтс понималь... – настойчиво твердил немец.

– «Курки», «яйки» все-таки понимаешь? Остальное пистолет договаривал?.. – Скорее произнесенные им самим слова, чем сам немец, вызвали у Пилипенко озлобление. – Сволочь!

– Я... ейст... гауптман...

– Бери, Ваню, за шкуру, – наклонился Пилипенко.

– Зачем, слушай? Трахну его сейчас, да?

– Бери, и все тут. Раз «гауптман», шишка, значит.

«Язык», значит. Бери!

Выбрались из кювета.

Немец неистово дергался, вырывался из рук Ваню, что-то кричал, иступленно, потерянно.

– Пустиль... пустиль мих... Пустиль!..

– Потерпи. Потерпи, – успокаивал немца Пилипенко.

– А-ай! – вскрикнул Ваню: немец изловчился и впился зубами в его руку.

– Чего? – насторожился Пилипенко.

Ваню не ответил. Наотмашь ударил немца в скулу. Тот взвыл.

– Стрелять уже не можешь, так кусаться, да? – Еще размахнулся, еще удар.

– Смотри, не до смерти, – равнодушно произнес Пилипенко. – Может, немцам несем его... – Он стоял в нерешительности: так ли идут? Ни Семена, ни Сашу не слышно. «Забредем немцам в лапы: берите вот своего гауптмана, выручили, донесли...» – Подождем, чи шо? Рассветет малость, разберемся, куда идти. По темну не сообразить. Да и волокты дерьмо это полегше будет.

Ваню молчаливо согласился.

Немец стоял перед Андреем и Семеном по стойке «смирно», как принято в германской армии: ладони прижаты к телу так, что локти вывернуты наружу и узкая грудь его выпятилась вперед. Щуплый, с тупым сплюснутым носом, отчего тощее лицо немца казалось плоским, в измятом кителе с орлом, сжимающим в когтях свастику, над правым карманом, помертвевый, смотрел он вниз и, наверное, ничего не видел, кроме старого трухлявого пня и травы, ее мутил ветер.

– Кто вы? Какой части? И где расположена часть? – негромко, но требовательно спросил Андрей.

Немец вскинул голову, он продолжал стоять навытяжку, приставив ногу к ноге.

Андрей заметил, у того водянистые, навывкате глаза, светлые, бесцветные брови, белесые ресницы, рыхлые черты лица – ничто не запоминалось. Только кадык, выдававшийся острым горбиком, ходил вверх-вниз и ненадолго привлекал к себе внимание.

Немец молчал.

– Я жду. Вы поняли мой вопрос? Говорю, кажется, по-немецки?

Немец кивнул. Но продолжал молчать. Зубы стуча-

ли часто и подробно. Лицо его дергалось.

Семен не спускал с немца испытующего недружелюбного взгляда, и тот чувствовал на себе этот взгляд.

– Скажи ему, Андрей, что говорить придется, – злобился Семен. Нашел, гитлеровец, когда штучки выдрючивать.

– Отвечайте на вопросы! – резко произнес Андрей и сделал нетерпеливый жест. – Молчание вас не выручит. Не стройте из себя героя, герр. Героизм свойство людей благородных, так что бросьте... Будете говорить?

У немца задвигались скулы, видно, обдумывал, как быть.

После некоторого колебания, решившись, выговорил наконец:

– Да. Буду говорить.

– Повторяю: кто вы?

– Фриц... Фридрих... – Немец старался, чтоб вышло спокойно, но спокойно не получилось, слишком перепуган был. – Фридрих фон Швабинген. Гауптман. – И умолк. И снова опустил глаза.

– Дальше? Отвечайте, гауптман.

– Я офицер связи моторизованной дивизии «Рейх». Дивизия входит в состав Второй танковой группы Гудериана. Штаб – северо-восточней Пирятина.

Семен смотрел на Андрея, тот переводил, что говорил немец.

– Дальше? – Андрей – к немцу. – Куда вы направлялись?

Немец ответил.

– В штаб четвертой танковой дивизии этой же группы, – повторял за ним Андрей. Семен напряженно слушал. – А почему вы оказались в домике у шоссе? – спросил Андрей. – И что там размещалось? Теперь там, конечно, пусто, в домике этом?

Немец сказал. Андрей скосил глаза на Семена:

– Застрял, говорит, на ночь. Его это мотоцикл стоял у стены. А в домике дорожного мастера был штаб полевой жандармерии. Успели, выходит, и жандармерию подтянуть. Усач верно сказал, что жандармерия уже здесь. Снова обернулся к немцу: – Где продвигаются части немецкой армии?

– Везде.

– Точнее?

– Вы уже знаете: я всего офицер связи одной лишь дивизии, – говорил немец быстро и отрывисто. – Моя осведомленность ограничена. Но могу сказать вам то, что в дивизии известно всем: мы уже захватили Бахмач, Прилуки, Пирятин, Лубны. – Он рад был, что может ответить на интересующие советского офицера вопросы. – Как видите, вы окружены. На Киев с восто-

ка идет наша танковая группа и Первая танковая группа, которые уже соединились в районе Лохвицы. Посмотрите на карту, и вам станет ясно положение вещей. А еще добавьте Шестую полевую армию генерала Рейхенау, она движется со стороны Чернигова.

– А немцам известно, кто противостоит им здесь? – поинтересовался Андрей.

Немец пожал плечами: разумеется.

– Пятая, Двадцать первая, Двадцать шестая и ваша Тридцать седьмая армии, если не ошибаюсь, вы входите в эту армию. Но армий этих уже нет, они раздроблены на группы, на отряды и пробуют таким образом пробиться на восток. – Немец остановился на минуту, помолчал, потом, как бы не решаясь договорить, нехотя, добавил: – Скажу вам искренно и честно, – это бессмыслица...

Андрей смотрел теперь только на Семена. Семен не отводил глаз: все было ясно. Они в глубоком окружении. Дорог впереди много, и ни по одной из них нельзя идти – все пути отрезаны.

Андрея охватили гнев, и злость, и обида: что же, в самом деле, происходит? И убежденность, что положение будет исправлено, тоже стучалась в сердце – там, за линией фронта, где б она ни была, бьется сила народа, которая не раз сказывалась в истории России. Собственно, это и должен был он препода-

вать детям, если б стал учителем... Он сжал губы. Да, все пути отрезаны. Но рота пойдет дальше, говорил взгляд Андрея, говорили глаза Семена, она пойдет дальше, и все-таки выберется к своим.

Немец настороженно следил за выражением лица, за движениями Андрея, Семена, стараясь угадать, что решат эти русские офицеры. Он, кажется, сказал лишнее. Он хотел расположить их доверительностью, сочувствием, наконец, а вышло, получается, плохо для него, очень плохо. Тот, второй офицер, даже сердито махнул рукой...

Семен махнул рукой и пошел к бойцам, улегшимся на траве.

Немец напряженно ждал: чем все кончится? Плохо кончится.

Но вот Андрей повернул к нему лицо, похоже, спокойное, не злое.

– Послушайте, гауптман.

И голос спокойный, почувствовал немец. Надежда, что все, может быть, обойдется, вызвала у него подбострастную улыбку. Он весь подался навстречу Андрею.

Андрей как бы забыл о немце, забыл, что вот сейчас обратился к нему. Усталость сковала лицо Андрея, и только какая-то мысль делала сухие и блеклые глаза его живыми. Он думал, не может же все это

быть концом такому вечному, как Родина, Россия, Советский Союз... Вечное – вечно. И его переполняло желание говорить об этом. Не для немца говорить, – для себя, облегчить душу. Пусть бойцы, очень утомленные, отдохнут еще немного: здесь, в глубине леса, можно недолго побыть в безопасности.

Луг, на котором ночью остановилась рота, оказался довольно большим. Бывают такие разрывы в лесу. Ночью этого не увидеть. Да ничего, Ваню, Пилипенко, Петрусь Бульба, Саша и Шишарев в сторожевом охранении. «Ничего не случится, через полчаса тронемся».

Небо освободилось от вчерашних облаков, и видно было, как начинало оно теплеть над лугом и через каждые минут пять все дальше и дальше ясноло, и вот уже растянулось до высокой зубчатой полосы дальнего леса. Лес вершинами покрыл добрую треть неба, и край неба западал за черный верх чащи. Бледный свет ложился на луг, на бойцов, привалившихся к комлям отбежавших друг от друга берез. Поредевшая листва рождала первую тень на земле. И невысокий немец и короткая береза, у которой он стоял, отбрасывали назад тень, такую длинную, что она протянулась почти до сосен, начинавших лес по ту сторону луга.

– Садитесь, – кивнул Андрей немцу и уселся на тра-

ву. Он выдернул травинку и сунул в губы.

Немец все еще стоял.

Потом с неловкой торопливостью сел.

– Послушайте, гауптман, вы давно служите Гитлеру в его смертоносном деле? – Андрей приложил ладони к вискам. – Это уже не вопрос, можете не отвечать.

– Я был во Франции, – сказал немец, уклоняясь от ответа. Он старался быть осторожным. – Там, знаете, такие же, как у вас, облака на небе, и бабочки такие же порхают по лугам, и такая же трава...

– Такая же трава?.. – прервал его Андрей насмешливо. – В чужих государствах, оказывается, вы интересуетесь главным образом бабочками и травой?..

– Я не договорил, простите, – испугался немец и поспешно поднял руку ладонью вверх, пальцы дрожали. – Все там такое же, как у вас, хочу я сказать. Но такого ожесточенного сопротивления мы там не встретили.

– Возможно. Но Гитлер непременно и там получит сокрушительные удары. Со временем. Подавить народ нельзя. Никакой. Что нужно вам от нас? От французов, от других? Кости наши, но мертвые, выпотрошенные черепа, в которых погас мозг. Нужна земля наша, нужны города и деревни наши, но без нас...

– Да, да, – поторопился согласиться немец. – Это ужасно, это ужасно! – даже вздохнул.

Андрей не обратил внимания на подобострастный возглас.

– И мы пока отдаем нашу землю. Только потому отдаем, что не успели сделать столько же танков, столько же военных самолетов, сколько сделали вы. Мы делали другие вещи. Не может же обыкновенное железо, которому придали задуманную форму смерти, торжествовать вечно! Нет, гауптман.

Немец моргнул набрякшими веками, будто в глаза дунул ветер. Андрею показалось, что уже видел это лицо с рыхлыми чертами – как бы равнодушное, лицо это скрывало в себе безжалостную жестокость. Лицо гитлеровца. Нет, он не был похож на немца, который возникал в воображении Андрея еще на школьной скамье и когда был студентом, собственно, совсем недавно. Он любил Гёте, Шиллера, Гейне, Рильке. По ним и судил о немцах. Гитлеровец несколько не напоминал ему тех немцев, он как бы исключал их, зачеркивал.

– Послушайте, гауптман. Гений вашего народа создал нечто большее, чем эти совершенные формы убивающего железа. Почему же то, другое, отступило? Или народ ваш стал ниже самого себя?

– Война ведь, – беспомощно, чтобы что-нибудь сказать, проронил немец.

– Война. Вам не приходило в голову, что война – это

состояние мира перед тем, как он должен проснуться и увидеть то, чего нельзя?

– О герр, чувствуется русский интеллигент.

– Вы не ошиблись. Я учитель. То есть должен был стать учителем, а вот вынужден быть командиром роты.

– А я юрист. Из Ганновера.

– Юрист? – почему-то удивился Андрей. – Вам лучше, чем другому, значит, понятно, что должна быть пролита кровь виновного во всем этом. Ради самой справедливости. Вы заставили меня взять в руки оружие. Что ж, буду беспощаден. Мы враги потому, что у вас не человеческие идеи, а звериные инстинкты, вы не бой ведете, а убиваете, как разбойники. Как разбойники, сведенные в полки и дивизии. А в этом разница все-таки есть, а? Вы оставляете на нашей земле следы ваших сапог, ваших рук, отлично приспособленных к уничтожению живого, и по этим следам мы вернемся и воздадим вам должное. Справедливо, господин юрист?..

Андрей встал, сунул пальцы за ремень, разогнал складки гимнастерки. Немец тотчас проворно вскочил на ноги и выжидающе посмотрел на Андрея.

Андрей молчал, глаза устремлены в сторону, откуда надвигалось солнце и куда вот-вот он направится.

Он заметил, немец заволновался. Видно было, со-

бирался сказать что-то важное, но еще не решился. Он переминался с ноги на ногу, морщил лоб, облизывал губы.

– Да? – вывел его из затруднения Андрей. Взгляд его медленно скользил по мятущейся фигуре немца. – Вы не все сказали?

– Господин офицер, – произнес немец, едва сдерживая дрожь. Он что-то невнятно пробормотал, потом речь его стала членораздельной. – Господин офицер, – осмелился он, наконец, – вам не выбраться отсюда, вы окружены. Куда б вы ни пошли, натолкнетесь на части германской армии. Вы хороший человек, я это понял. И товарищи ваши тоже. Окажу вам услугу. Я не только гауптман. Я – нацист.

– Вы нацист?

Немец подумал, что Андрей ухватил мысль, которую он собирался выразить, мысль спасительную для этого русского офицера.

– Да, да, – закивал он. – Я член партии Гитлера. У меня почетный знак «Орденблут». Это кое-что значит. И можете быть уверены, что к вам подобающе отнесутся, если приведу в расположение наших войск. – Он даже воодушевился от сознания, что может помочь, и представлял себе, как ведет он этих потерявшихся, отчаявшихся в бесполезной попытке вырваться из окружения красноармейцев. Бог знает, возмож-

на и награда...

– Вы, гауптман, уже оказали мне услугу – разъяснили обстановку. В моем положении, сами понимаете, это очень важно.

– А я благодарен вам за хорошее отношение ко мне, офицеру германской армии. – Немец трепетно прижал руку к груди, в глазах мелькнуло столько радости и надежды – в жизни его, наверное, не было такой счастливой минуты: он спасен!

– Но принять вашей благодарности не могу, – покачал Андрей головой. Для нее не будет основания. Вы офицер и юрист и поймете все в соответствии с тем, как сложились обстоятельства. Вы сами сказали: война. И я безоговорочно подчиняюсь законам войны, которую не мы начали. Ничего не могу изменить в них. В плен вас мне взять некуда, вы же знаете, я окружен вашими войсками. Я не вправе рисковать судьбой моего подразделения и отпустить вас: ваши войска, жандармерия слишком близко.

Лицо немца покрылось обморочной желтизной. Плечи потерянно опустились и сразу стали короткими, слабыми, словно нес он сюда на себе всю Германию, выдохся и обронил перед Андреем.

По его водянистым глазам, в которых бился животный страх, бесстыдный и совершенно лишний для солдата, оказавшегося в таком положении, пробовал

Андрей представить себе, что было бы с ним, попади он этому немцу в руки. В глазах этих видел Андрей другое: презрительную усмешку, превосходство над «унтерменшем», убежденность в естественности насильственной смерти всего ненемецкого. «Он признает только такое состояние, когда находится наверху, на ком-то. Другие возможности исключены. Мразь!» Андрей был даже рад, что увидел это, пусть в воображении, но увидел, и его охватило равнодушие к тому, что сейчас произойдет с белобрысым нацистом из Ганновера.

– Через несколько минут вас расстреляют. – Немец тупо не уклонялся от его взгляда, просто он ничего уже не осознавал. Он, казалось, не дышал. Андрей почувствовал в себе злую брезгливость. – Вы истый нацист, так? Не я обрек вас на смерть. Ваши идеи, ваши действия, Гитлер вас убили. Я коммунист. Возможно, и мне скоро придется погибнуть. Недалеко отсюда. Что ж. Я встречу гибель, как подобает коммунисту и солдату, защищавшему свою Родину. На лугах которой, как и у вас в Германии, летают бабочки, растет трава... Мне сказать вам больше нечего, господин нацист.

Жалкий стоял немец на подгибавшихся ногах. Ничего не смог он произнести. Кадык судорожно ходил вверх-вниз, вверх-вниз, нижняя, выпяченная губа от-

висла и обнажила горячий блеск золотых зубов. Голова безвольно склонилась на грудь, и он уже не видел, что небо наполнилось синим светом и возле вспыхнула береза с розовым от зари стволом.

Глава четырнадцатая

1

Самолет – опять «рама» – проплыл над их головами, сверкнул на солнце и растворился в воздухе. Все в том же направлении. На северо-восток. Никакого сомнения: в той стороне находились советские войска. Андрей шел правильно.

Но все на пути враждебно, всего надо опасаться – шишки, упавшей с сосны, шороха листьев, случайного огонька вдали... Роте – ему, Андрею, и Семену, десяти утомленным, выбившимся из сил бойцам, раненному Рябову, слепому Полянцеву и девушке – противостояли танковая армия Гудериана, и еще танковая армия, и полевая армия генерала Рейхенау... «То, чего немцы не смогли сделать с нами у переправы, они сделают здесь, у нас в тылу. Если это еще можно назвать тылом...» Андрей шел и смотрел себе под ноги, это было то же, что смотреть перед собой и видеть слившиеся деревья. В гущине елей и сосен был полумрак, а наверху, в просветах, между вершинами, горел день.

Отгороженная от других советских частей и подразделений, рота ни от кого уже не ждала приказаний, не ждала помощи. Андрей мог рассчитывать теперь только на себя.

«Нас будут считать пропавшими без вести, – подумал Андрей. И, словно его слышали там, далеко, мысленно произнес: – Но мы не пропали, вы просто не знаете, что мы здесь, среди хмурых, диких лесов и гнилостных болот, которые тоже часть нашей прекрасной Родины, на Родине все ведь прекрасно; мы здесь, зажатые со всех сторон противником, но все равно, мы на своей Родине, с автоматами мы, с винтовками, с гранатами, с касками и котелками, с небольшим уже запасом продовольствия, с памятью о вас, о наших улицах и домах; мы здесь, мы здесь, Москва, мама, старый поэт Касьян Федулов, ученики лучшей в городе школы, так и не начавшие в ней учебный год; мы здесь, товарищи, находящиеся по ту сторону фронта, и не считайте нас „пропавшими без вести“! Мы затерялись в пространстве, и ни письма вам написать, ни позвонить по телефону. Мы в окружении, на войне такое бывает. Но мы выберемся и опять будем взрывать мосты, если понадобится, и наводить переправы, и ставить минные поля и разбирать минные поля, и ходить в атаки, отправляться в медсанбаты и возвращаться оттуда. Нет, не считайте нас про-

павшими без вести, мы вовсе не пропали. Вы просто не слышали наших выстрелов у домика дорожно-го мастера, не услышите и других выстрелов наших... Мы продолжаем сражаться».

Рота шла на северо-восток. Куда направилась «рама». Шла лесом, лесом, так, как объяснял дорогу тот неприятный усач. «Здорово напугался усач, так напугался, что и дорогу нам не перепутал». Тяжелая тишина стояла в мире. Только шум ветра, который начинался вот в этих деревьях, рядом, и в них же кончался, да где-то неподалеку в ствол настойчиво тукал дятел.

– Андрей...

Андрей повернул лицо к Марии, она поправляла санитарную сумку на плече.

– Товарищ лейтенант, – неуступчиво поправил он ее. – Товарищ командир. Ясно?

– Я не боец твой. Ясно? – Мария сама удивилась своей неожиданной решимости. Но как и тогда, в блиндаже, продолжала смотреть на Андрея, неестественно спокойная. – Не приписана к роте. Ясно? Так что не лейтенант и не командир. Ясно? – говорила она негромко, с каким-то простодушным упорством уже, и слова ее таили что-то недосказанное.

Андрей промолчал, поддавшись внезапной догадке: что-то происходит в ее отношении к нему, в его то-

же. Да нет, объяснял он себе, жаль эту девчонку, попавшую в беду, и все тут. Он пытался сохранить прежний тон.

– Держи себя, сестра, как положено. Запомни, армия в Любых обстоятельствах армия, – старался произнести строго. Но глаза выражали другое, и он чувствовал это.

Люди механически, с тупым напряжением передвигали ноги. Шаг Марии тоже нетвердый, мелкий, качающийся. Андрей заметил, каждый шаг стоил ей усилия, и она держалась, чтоб не выдавать этого.

– Вот ведь приходится как... – повернул он к ней голову. – Да еще пули, да снаряды, да бомбы. Вот ведь как!..

– Ну и что?

– А ничего. На безопасном расстоянии от войны она может казаться не такой. Когда пуля выпущена в твою грудь в километре с чем-нибудь от тебя, можно не особенно беспокоиться, это неприятно, и только. А за тысячу километров от фронта война выглядит и вовсе терпимой. Нет?

– Зачем ты мне об этом? – Мария даже приостановилась, в глазах слезы обиды. – Разве не я бежала с тобой по откосу вниз, когда в нас стреляли пулеметы? Не я лежала возле тебя на плоту?.. Зачем ты это, Андрей?

Он уже сердился на себя: в самом деле, зачем? Пробовал смягчить сказанное:

– Влипла ты с нами, видишь? Шла бы с беженцами на восток, может быть, и в Москве, дома давно была б... А с нами... Видишь же...

– Вижу.

Положение не казалось ей таким страшным, словно не раз бывало с ней такое и стало уже привычным. Просто была убеждена, что все кончится благополучно. Она не сомневалась, что все кончится хорошо, ведь какое было на коротком пути от берега реки под Киевом до этого леса!.. И ничего, обошлось.

– Андрей... Скоро доберемся до своих?

– Скоро? Не знаю. Этого я совсем не знаю.

– Ну да-а... – протянула Мария.

– Не задавай мне таких вопросов, Мария... сестра... Не мешай мне.

– Я мешаю тебе? – обидчиво замедлила Мария шаг.

– Все время мешаешь, – выпалил Валерик. Он шел, чуть отступив от Андрея, и злился. Он не выносил Марии, и каждый раз, когда она подходила к Андрею, в нем вспыхивало желание оттолкнуть ее, обругать, прогнать. Но сдерживался. «Чего ей надо от нас?.. – досадовал он. – Вот и сейчас: чего пристала к командиру?» – Валяй отсюда, – прошипел ей в лицо.

Мария, ошарашенная, приостановилась, через ми-

нуты три шла уже рядом с Сашей, с Данилой, с Ваню.

Андрей чувствовал, что-то проникло в него, и справиться с этим и не мог и не собирался. «Ладно, – договорил он себе. – Ничего особенного в том, что жалеешь девчонку. Девчонка хорошая. – С усмешкой вспомнил, как отчитывала его в блиндаже, в ночь перед уходом на правый берег. – Брось. Не в жалости к ней дело. Тут другое. И не надо выдумывать. Не надо выдумывать. – И опять усмехнулся: – И Валерику ясно, что тут другое, и ревнует потому мальчонка. Не хочет, чтоб мыслями его командира, которого всем сердцем опекает, завладела она. А Танюша с Адмиральской как? пробовал он отбиваться от того, что подошло и не уходило. – А Танюша? С Адмиральской двадцать три? Зеленая калитка и все такое? – Он легко вздохнул. – То юношеское, может быть, даже детское». Он шел и думал об этом, и был доволен, что думал об этом, и вытеснялось все другое сокращалась и чем-то спокойным наполнялась дорога.

Андрей с Валериком дошли до поваленной старой сосны, выпятившей вверх сухие толстые паучьи сушня. Сапоги погружались в траву, как в зеленую воду. Под ногой что-то звякнуло, покатилося. Андрей увидел: пустая консервная банка. У сосны валялись еще банки, окурки: следы чьего-то пребывания. «Перед нами проходило подразделение. Небольшое. Ес-

ли судить по количеству банок, окурков. Идем, значит, правильно», – убеждал себя Андрей.

Сквозь редевшие деревья стали проступать ровные просветы, напоминая, что близка опушка. Убывал лес, вместе с ним убывала темнота, не вечерняя, а все же темнота, в которой можно таиться от врага, если он недалеко. Кончался защитительный мрак леса. Появилась и еле приметная просека, узкая, как тропа, она давно стерлась, сошлась с травой. Трава уже сглаживала просеку с лесом.

«Должно быть, подходим к Холодному яру, если не сбились, догадывался Андрей, – к тому самому полю, где усач стаскивал с убитых сапоги».

– Опять выбираемся на голое место, – сказал Семену. – Не напоролись бы на кого.

– Не тайга, Андрей, – наморщил Семен лоб. – Может, задержаться до сумерек? Решай.

Андрей ответил не сразу.

– До сумерек долговато. Сам говоришь, разрывов будет много, и на каждый разрыв полдня задержки, так и до зимы не доберемся, куда надо. Рискнем.

Подошли к опушке.

Солнце с силой ударило в глаза: здесь свет и земля сошлись, и все казалось прозрачным, как стекло. Простор поля, пересеченного в километре от опушки широким и длинным оврагом, был наполнен светом,

на который трудно было смотреть.

– Пилипенко, Саша! – позвал Андрей. – Давайте вперед. Посмотрите, что в том Холодном яру.

Все следили, как уменьшались фигуры двигавшихся по полю Пилипенко и Саши. Вот остановились они и исчезли, наверное, спустились в овраг.

Минут через двадцать уже направлялись обратно, к опушке.

– Трофею, товарищ лейтенант, приволокли. – Широкая улыбка делала почти счастливым лицо Пилипенко. Он бросил у ног Андрея немецкую шинель с майорскими погонами, сапоги, фуражку. – Полная форма. Даже крест Железный прихватил. Самого офицера брать не стали, оставили в яру – весь уже провонял. А у Сашка целый ефрейтор в руках. Кидай, Сашко. Видать, денщик офицера. Так что...

– Что? – разъяренно крикнул Андрей. – Какого черта ерунду мне торочишь! Не за барахлом посылал тебя! Лавры усача прельстили?

– Так, товарищ лейтенант, кроме барахла там и нет ничего... недоумевал Пилипенко, почему рассердился командир. – Верно говорил усач, много побитых и наших, и этих. В яру и возле яра. Кругом тихо, товарищ лейтенант.

Андрей брезгливо отшвырнул ногой шинели, сапоги, фуражку, пилотку, все, что Пилипенко и Саша при-

несли. Он все еще сердился.

– А знаешь, Андрей, – раздумчиво произнес Семен, – трофей – не трофей... как знать, вещи эти и службу сослужить могут. Распихаем по «сидорам». Выкинуть всегда успеем.

– Рассовывай, если хочешь, это дерьмо. В руки брать противно.

Долго шли полем, держа направление к лесу на горизонте. Давно осталась позади опушка, и Холодный яр оставили давно. Лес слишком медленно приближался. Люди тяжело переставляли ноющие ноги. Но Андрей, охваченный беспокойством, торопил, торопил бойцов.

«Рама» еще раз показалась над нами. Неспроста это. Неспроста. Но, странно, сюда не доносился даже отдаленный гул орудий, терялся Андрей в догадках.

– Лес, наконец. Лес!

Сначала деревья вразброд – пять-семь сосен, ель, несколько елей, сосны и ели; Андрей озирался: не потерялись бы люди; с каждым шагом становилось темней, будто их, бредущих в глубь леса, торопливо настигал вечер; потом деревья сгрудились, непроходимо сбились вместе, и уже ночь перед глазами. А по времени быть еще дню.

Потом и в самом деле день иссяк. Темнота лесная вошла в темноту ночи.

Андрей услышал раздавшийся у плеча голос Данилы. Данила говорил кому-то:

– Вон и малиновка зазвенчила. Считай, на третий час ночи пошло. Она из ранних, пичужка; малиновка. Слышь, завела?

Поблизости коротко рассыпался серебряный птичий посвист, и тотчас же посвист этот раздался рядом, на другом дереве. «А верно, который час? Погруженный в нелегкие свои размышления, Андрей не смотрел на часы. Собственно, какое это имело значение? Только одно заботило его: одолеть пространство и выйти к своим. – И все же, который час?» Зеленые стрелки на циферблате показывали: два тридцать.

Впереди деревья расступились, и между ними показалось темное строение или что-то другое, неподвижное, похожее на строение.

– Стоп! – приказал Андрей.

– Сто-о-оп... – негромко понеслось назад. – Сто-о-оп...

– Пилипенко! Посмотри, что там...

Что еще подстерегает роту? И здесь, в лесу, может всякое произойти.

Пилипенко вернулся.

– Лесная сторожка, товарищ лейтенант. Пустая, – произнес в голос. И тише: – Как раз для привала.

Если уж Пилипенко намекнул на привал, значит,

люди вконец выбились из сил.

– Все ко мне! – приказал Андрей. – Привал. Тебе, Пилипенко, и Саше придется побыть в охране. Потом вас сменят.

– Ясно, – сказал Пилипенко.

– Есть! – голос Саши.

2

Андрей проснулся оттого, что и во сне услышал сухой и пряный запах сена, на котором лежал. А может быть, открыл глаза потому, что втянул в ноздри былинку и она щекотнула в носу. Может, оттого пробудился, что почувствовал рядом Марию, будто знал: и она не спит. Она не спала, она осторожно ворочалась, и сено шуршало под нею, как живое.

В приоткрытой двери сторожки зыбился слабый и холодный месячный свет, и Андрей угадывал в нем разметавшихся во сне бойцов. Слева от него, высвободив из-под пилотки волосы, тонко посвистывал носом Валерик. Подобрал колени, жадно и громко спал Ваню. Уткнув голову в согнутый локоть, уснул Семен, худое, спокойное тело его дышало ровно и тихо. В углу темнела фигура прислонившегося к стене Полянцева, как обычно, он спал и не спал – ни храпа, ни дыхания. Во сне стонал Рябов, и стон был жалобный,

какой-то детский. У самой двери примостился Данила, как бы преграждая собой вход в сторожку.

Андрей приподнялся, коротким движением подтянул брюки.

– Ты куда? – мягким заботливым голосом спросила Мария. И Андрей почувствовал ее руку.

– Не усну больше, – сказал он. – Проверю пойду охранение. Сменять ребят надо. А ты поспи.

– И я с тобой.

– Нет. Спи.

– Приказ?

– Просьба. Ты ж к роте не приписана, так?..

– А просьбу можно и не выполнять.

Она встала, обеими руками провела по юбке, стряхнула сено, машинально поправила косу, натянула берет на голову.

Андрей подождал Марию. Пошли рядом. Темнота поглощала звук шагов.

– Прохладно, – зябко повела Мария плечом.

– Как и положено в эту пору. Луна еще молодая, – поднял Андрей глаза вверх.

Саша стоял у сосны, шагах б тридцати – сорока от сторожки, он сначала услышал Андрея и Марию, потом увидел смутные их фигуры и растерянно двинулся навстречу.

– Саша.

– Я!

– Отправляйся отдыхать.

– Товарищ лейтенант, разрешите остаться, – попросил Саша, и в голосе слышалось взволнованное ожидание: вдруг откажет?..

– Отдыхать!

– Сашенька, миленький, – тронула его Мария за локоть, – вздремни пойдя, Сашенька...

Саша потоптался, ничего не сказал и медленно, сутулясь, будто в чем-то виноват и чувствовал это, пошел в сторожку.

– Пилипенко! – Андрей повернул голову в другую сторону.

Пилипенко вышел из-за широкого порога ели.

– Пилипенко-о... – тягуче подтвердил он, что здесь.

– Автомат – сестре, а сам – спать. Времени в обрез.

Скоро двинемся.

– Автомат трофейный, товарищ лейтенант. Покажу сестре, как да что.

– Сам покажу. Ступай.

Андрей и Мария шли осторожно, останавливаясь и прислушиваясь. Шагов пятьдесят вперед, шагов пятьдесят обратно. Обходили сторожку со всех сторон.

Мария подтягивала сползавший с плеча автомат. Автомат показался ей тяжелым. Она споткнулась обо что-то. Еще раз споткнулась.

– Тверже, тверже ступай, – сказал Андрей. – В наших обстоятельствах ноги должны быть ногами.

В темноте Мария не видела лица Андрея, но почувствовала, что он улыбался.

– Совсем, знаешь, спать не хочется, – с ноткой удивления проронила она.

– А мне всегда хочется, – подчеркнуто сказал Андрей. – Кажется, единственно, что не может надоест, это – спать.

– Слишком утомляешься, – сочувственно, со вздохом произнесла Мария. Но ты редко выглядишь очень, очень усталым. Правда...

– У меня нет права на это. Одно дело отвечать за самого себя, другое дело – рота.

– Андрей. Жизнь несправедлива. Вот смотрю на тебя и думаю: нельзя же на такого молодого возложить столько. Ты старше меня на четыре года всего, а я не смогла б того, что ты...

– Четыре года все-таки что-то значат. Но и ты смогла б. Совсем недавно я тоже не предполагал, чего могу. Могу вот жить под пулями, видеть смерть товарищей могу, и сам умереть смогу... И – ничего. – Голос Андрея звучал уже хрипло, что-то в нем изменилось, и Мария молчала. Андрей тоже молчал. Потом, как бы вспомнив, что не досказал: – Видишь ли, теперь во мне умение многих. Я вобрал в себя и готовность ко

всему и мужество тех, кого с нами уже нет. Они были хорошие, крепкие люди. Даже те из них, кого я распекал. Их опыт стал моим опытом. Как мои беды и моя твердость послужат другим. Ни в чем не надо обманываться, понимаешь? Тогда чувствуешь себя сильнее. Ну вот, опять споткнулась. Что это ты, Мария?

– Я не споткнулась. Подумалось что-то, и сбилась с ноги.

– Что ж тебе подумалось?

– Я ухвачусь за твою руку, Андрей. Когда темно, боюсь быть одна, жалобно сказала Мария.

– Цепляйся. Что ж тебе подумалось?

– Ты сказал: не надо обманываться. Мне и подумалось: в нашем положении обязательно рассчитывать на что-нибудь спасительное, надеешься на что-нибудь. Надежда, понимаешь, нужна, пусть даже маленькая, как непогасший уголек. Вот на плоту, знаешь, я очень, очень надеялась. Сама не знаю на что. На судьбу. На тебя. И видишь же, помогло... А иначе не выдержать, ведь так, Андрей?

– Надежда – да. Если она не иллюзия.

– Ой, Андрей... Я совсем девчонка, мне и не разобратся, где надежда, а где иллюзия. Мне лишь бы на чем-то успокоиться.

– И правда, девчонка.

– Но мне не это подумалось. Мне другое подума-

лось.

– Да?

Андрей услышал шорох. Шагнул вперед, прикрыв спиной Марию.

– Кто?

– Да я, товарищ лейтенант, – сонный хрип Валерика. – Перепугали вы меня. Холодно стало, проснулся. Смотрю, вас нет. Что это вы, товарищ лейтенант? Не спите несколько.

– Давай, Валерик, втроем и будем в охране.

Валерик слышно шмыгнул носом и двинулся позади Андрея и Марии.

– Да? – повторил Андрей.

Мария не отвечала.

– Да? – еще раз произнес Андрей.

– Не сердись. Не то подумалось мне, о чем сказала, другое подумалось. У меня, Андрейка, не надежда и не иллюзия. У меня – ты. И ты – вот он, коснулась пальцами его лица.

Андрей почувствовал, ее прохладные пальцы дрожали. Хотелось, чтоб она не отнимала их. И она, показалось, долго не отнимала.

Он удивлялся: три дня назад, точнее, той ночью перед переправой, всего этого не было и быть не могло в его суровом и жестоком мире. И вдруг – вот оно! Даже остановился, подумав это. Он слышал голос Ма-

рии, шаги ее, что-то в нем возникало, уже возникло, что-то такое сильное, радостно-неодолимое.

Мария окликнула его?

– Андрей... – услышал он.

– Да?

Мария молчала. Теперь, поняла она, что не одна со своими мыслями, желаньями, со своей несложной девичьей свободой. Что-то кончилось и начиналось другое, в чем разобраться еще не могла, хоть неясно, по-таенно от себя самой ждала этого и знала, что это наступит, когда-нибудь придет и все изменит в ее судьбе. «Это пришло?» – обрадованно испугалась она. Она поправила берет на голове, слишком большой. И подумала о девушке, которая носила его раньше, об убитой медсестре Тоне.

– Андрей...

– Да? Говори же...

Мария продолжала молчать.

Может быть, девушка просто верила: несмотря ни на что, он выведет ее из окружения, она вернется домой, – подумалось Андрею. – И благодарно будет вспоминать своего спасителя, лейтенанта, пока не выйдет замуж. Вспомнит, как тяжело было ей в этом сентябре. И эту ночь у сторожки вспомнит. И как в болоте потерялась. И переправу. Переправу обязательно. И все остальное, конечно.

– Выберемся если, – сказал он, – тогда будет чего-нибудь стоять и твоя надежда, и иллюзия твоя. И я тоже.

Оказывается, к присутствию женщины нужно привыкнуть. Если, конечно, это не просто так... А Мария – не «просто так», – понял он окончательно. И это плохо. Очень плохо. Он должен быть весь в войне. Тут сердцу делать нечего.

– Андрей, я не обманываюсь в тебе? Ведь не обманываюсь? – Она не ждала ответа, подумала, что ответить нелегко, и не нужно отвечать.

Андрей вслушивался в ее голос, в ее слова, которые ничего общего не имели ни со сторожкой, в которой спали бойцы, ни с тем, что еще предстояло этой ночью. Он должен быть весь в войне, подумалось снова. Но девушка тоже война, она делит с ротой все тяготы. И хорошо, что она с ним. Очень хорошо. Сердце дрогнуло от этой мысли: что-то теплое входило в его тяжелую жизнь. Это было началом чего-то нужного, – говорил он себе, – и даст силы преодолеть еще более трудное, чем то, что было до сих пор. Она уйдет, Мария, она уйдет, конечно. Но все равно, он уже не будет один...

Он остановился, будто всматривался во что-то. Холодная ночь. Опасная ночь. Полная неопределенности ночь. Прекрасная ночь.

– Валерик, подымай всех...

3

Лесом, лесом шли, как объяснял усач дорогу. «Дорогу? – усмехнулся Андрей. – Дорогу куда?..» Почему он решил, что идет именно туда, где соединится с частью Красной Армии? «Рама» подсказала? Но ни одного выстрела не слышал он, пока рота шла в этом направлении. Он покачал головой. – Правда, то тут, то там натыкались они на следы боев. Как знать, может, тоже придется ввязаться в бой и какое-нибудь другое подразделение остановится возле них, убитых, среди оружия, касок, котелков...

Все еще было темно.

Андрей услышал сердитый бас Пилипенко.

– Не жрамши сколько, – напоминал он кому-то. Тот, к кому обращался, молчал. – В брюхе пусто, как в фляжке, из которой выдули самогон... И не наврал рыжий Данило: харч поминай как звали. Каши бы!..

– Какой? – насмешливо подал другой голос. «Петрусь Бульба, – узнал его Андрей. – С Бульбой, значит, говорит».

– Какой? Какой хотишь! Пшенной, или гречневой, или рисовой, овсяной. Перловой. Кукурузной. Манной. Все равно, Хоч из опилок!..

Андрей тоже почувствовал необоримое желание есть. «И правда, хоть из опилок, но каши бы...» И забыл, подумалось, как пахнет хлеб. А у хлеба запах, а вот какой – забыл. И он стал думать о белых булках, ржаных кирпичиках, и представлял их себе, вкусные, божественные.

«Где ж речка, и мост, и водянка, о которых говорил усач, – тревожился Андрей. – Повернули же от сторожки точно на восток. Не наврал усач? До сторожки все было так...»

Попали в такую гущину, что продвигаться стало невозможно.

– Держаться кучно! – то и дело напоминал Андрей невидимым бойцам. Не отставать! Затеряется кто, пропал...

А ночь, как замороженная, не клонила к рассвету. Должна же когда-нибудь кончиться тьма, как кончается лес, как кончается поле и начинается что-то другое!

– Семен, ты где?

– Тут, – отозвался Семен. Он был в нескольких шагах от Андрея.

– Помаленьку, а надо пробираться, а? Нельзя застревать.

– Перекличку бы!

– Да, – согласился Андрей.

Никто не отстал. Саша и Мария откликнулись вме-

сте. «Вот и хорошо, подумал Андрей. – Парень последит, чтоб не отбилась».

Они шли сквозь голубоватую темноту, Саша и Мария, почти касаясь плечами.

– Ты совсем отвернулась от меня, – упавшим голосом сказал Саша.

– Что ты, Сашенька, миленький...

– Отвернулась, Марийка. И чувствую, и вижу это.

– Плохо, Сашенька, чувствуешь, плохо видишь.

Саша шел не останавливаясь, нигде не сворачивая, не пригибаясь там, где разросшиеся ветви перебрались с одного ствола на ветви другого ствола, он шел прямо, будто отстранил от себя деревья и дорога свободно открывалась перед ним.

– Сашенька, смотри, глаза выцарапаешь. – Мария взяла его за руку. Поосторожней, смотри...

Несколько минут оба молчали. Мария все еще не отпускала руку Саши.

Саша, сбавляя шаг, обернулся к Марии, собрался что-то сказать.

– Скажи, Марийка, у тебя есть что с командиром? – произнес он надломленным голосом, даже перестал дышать. – Я так это... просто...

– И не так и не просто, Сашенька. – Он почувствовал, рука Марии дрогнула, пальцы разжались и выпустили его руку. – Ты хорошо относишься ко мне, отто-

го и спрашиваешь, а не так и не просто...

– Оттого, Марийка... – покорно согласился Саша. – А не ответила.

Саша ждал, что она скажет. Она молчала.

– Есть, – сказала одними губами, но Саша отчетливо слышал ее слова. И не знаю, с чего взялось это. И ты ведь не знаешь, с чего берется такое?..

Саша молчал.

Словно что-то тяжелое внезапно обрушилось на обоих.

Мария уловила, теперь шел Саша ссутулившись, каким-то задыхающимся шагом, как недавно в сторожку шел. Сердце сжалось у нее, даже слезы, чувствовала, выступили на глазах.

– Сашенька... – ласково провела рукой по его плечу. Плечо не отозвалось на ласку, по-прежнему ссутуленное, опущенное, оно, должно быть, и не чувствовало ее руки. – Сашенька...

Она поняла, что и без него, без нескладно длинного, белобрысого, с золотыми пылинками веснушек на лице, не может, он вошел в ее сознание своим душевным спокойствием, безропотным мужеством своим, своим пониманием долга, когда готов все, если нужно, отдать, все, даже жизнь.

– Сашенька, миленький... Я и тебя люблю. По-другому, а люблю. Сашенька...

– По-другому? – прозвучало глуховато. – Как это – по-другому?..

Он не мог видеть, что Мария отвела глаза и взгляд ее был взволнованный, неопределенный.

– Как это – по-другому?.. – негромко настаивал он.

– Сама не знаю... – потерянно сказала Мария. – Я все понимаю, все понимаю, и ничего не могу поделать. Ты хороший, такой настоящий, добрый такой... Родной такой... И все-таки ничего не могу поделать! Сашенька, миленький, помоги мне... То, что происходит во мне, я не могу разделить, как дядь-Данила горбушку хлеба: вот это – тебе, а это – Андрею. Пойми, Сашенька... Я тебя тоже люблю. Ты всегда, всегда будешь с нами, со мной, с Андреем...

Теперь говорила она, не останавливаясь, словно боялась, что пауза собьет ее мысли. Но боялась она не этого, боялась, что заговорит Саша.

А когда наступила пауза, Саша продолжал молчать.

– Боже мой, Сашенька... – заговорила снова прерывающимся голосом. Сашенька...

Что еще сказать? Она горестно не представляла этого. Как и Саша только что, она не замечала своего движения по ночному лесу, не загоразивала глаз, не оберегала лицо от втыкавшихся в щеки сучьев.

– Сашенька, Сашенька, пойми, ты ближе мне, чем все друзья детства, чем все, с которыми дружила с

первого класса до десятого. Ты навсегда. И лес, где ты с Данилой нашел меня, переправа, болото и все другое навсегда. Сашенька, ты на всю жизнь. Несмотря ни на что!

– Несмотря ни на что? Как это?..

Она не узнавала Сашу, молчаливого Сашу. Действительно, потрясения меняют человека, делают его иным. Разве она не стала иной за эти дни? Разве ей сейчас не удивились бы папа, Полина Ильинична, дядя Федя Федор Иванович?

– Сашенька, не надо, не надо больше, – попросила она. – Не мучь ни себя, ни меня. Хорошо? Обещай, Сашенька!

Мария в первую минуту и не заметила, что рука Саша подхватила ее, поддерживая, чтоб не споткнулась, не упала, он сделал быстрый шаг. Подчиняясь ему, Мария тоже пошла быстрее. Саша ступал, ступал и с каждым разом шаг становился тверже, словно новое испытание, обрушившееся на него, придало ему силу, без которой терпение невозможно.

Ночь стала ослабевать, но свету еще не поддавалась.

– Ну, герои, – окликнул Андрей Марию и Сашу. – Что нос повесили? Живы пока. И живы будем, – поспешил добавить.

В лицо, почувствовал он, дунул влажный ветер, это

роса, – прикрыл он веки.

Потом проступил свет, тусклый, неровный, земля отделялась от неба, и воздух постепенно становился утренним.

Они выбрались из темноты.

Мария увидела: Саша осунулся, щеки побледнели, и веснушки на них побледнели, глаза опущены, словно ни на что смотреть не хотели.

– Сашенька, давай бинт поправлю. Сполз с головы. Сменить надо. Остановимся вот, перевяжу.

«Бинт, она говорит? Какой бинт?» Саша вспомнил: рана на голове. Ему казалось, что сказал что-то, но на самом деле молчал, не мог и слова произнести. Напряженно смотрел он ей в глаза, словно надеялся прочесть в них не то, что услышал, когда было темно. Не верилось, что было это полчаса, час назад. Давно это было, так давно, что все в голове перепуталось и ничего подобного она не говорила. Когда жизнь в опасности и каждую минуту подступает смерть и надо как-то обходить ее, мало ли что примерещится. Он смотрел Марии в глаза и искал подтверждение мелькнувшей надежде. Но увидел в ее глазах лишь полное изнеможение, залегшую печаль и по слезинке в каждом, оставшейся в них с ночи.

– Не задерживаться! Не отставать! – торопил Андрей. – Видно уже...

Слух уловил отдаленное движение воды. Рота подходила к речке. Невысокая у берега, вода стучала по раскиданным и выпиравшим наружу камням. Она откатывалась и возвращалась, и стучала и стучала по камням. Ветер, пробившийся сквозь заросли, падал на воду, и мелкие рябинки торопливо отходили к противоположному берегу, оставляя за собой сероватую гладь.

С моста был сорван настил. Развороченные доски и балки уже не существующей переправы бессмысленно торчали то тут, то там. Мост уже не соединял берега.

С реки тянуло прохладой и пахло илом, рыбой. Наклонившаяся над рекой ива раскинула свои тонкие ветви, и самые длинные из них касались воды, и вода текла под ними, и ветки чертили узкую дорожку на ее серебристой поверхности. Андрей растерянно смотрел на иву, на камни у берега, на мертвые балки там, где был мост. Где ж перейти ее, речку? Не через каждый же километр переправы? Он выругался от досады. Как бы поступил комбат? подумалось. В самом деле? А он сказал бы одно слово: двинулись. И пошли бы, и пошли бы... Еще как бы пошли! И не потому, что сказал это комбат. Потому что, значит, и нельзя иначе.

– Двинулись! – приказал Андрей. – Сначала Шишарев... и Тиша.

Валерик поспешил за ним.

– Куда? – остановил его Андрей. – Отыщу брод, тогда. А пока пойдут те, кому приказал. Назад!

– Не имею права. Без вас, товарищ лейтенант, – решительно дернул Валерик головой.

Но Андрей уже был в реке.

– Валерик, не менее десяти шагов сзади меня. Слышишь?

Валерику было трудно ответить: он захлебывался.

В реку вступили Шишарев и Тишка-мокрые-штаны.

Семен следил, как двигались Андрей и Валерик за ним, и Шишарев, и Тишка-мокрые-штаны, Андрей – высокий – был в воде уже по грудь, он остановился. Позади, метрах в пятнадцати, тоже по грудь, остановился и Валерик. Потом Андрей взял влево, все равно, глубоко, взял вправо, глубоко, глубоко. Он, должно быть, раздумывал, что делать.

– Лейтенант, – крикнул Семен. – Давай назад. Назад, и пробуй влево-вправо! Влево-вправо...

Андрей повернул обратно. Держа, как и Андрей, оружие над головой, шел, теперь впереди, Валерик. Поравнялись с Шишаревым и Тишкой-мокрые-штаны.

И Андрей снова подался влево, прошел немного. Опять по грудь. Отступил. И вправо. Еще глубже. Вернулся. Что же делать? Взял в сторону, двинулся прямо. Шаг. Шаг. Шаг. Шаг. Шаг... Вода только по пояс,

только по пояс. Выше не поднималась. Кажется, набрел. Кажется, набрел, – охватила его радость. – Кажется, набрел! Он почувствовал под ногами камни. И уверенно направился к противоположному берегу.

Медленно, медленно пробирался Андрей дальше. Вода по-прежнему до пояса. Вон и берег близко. Можно идти! А за ним уже шли и Валерик, и Шишарев, и Тишка-мокрые-штаны.

Теперь вошли в воду Пилипенко и Петрусь Бульба, они несли пулемет. Шли, как по линии, на Андрея, стоявшего у берега лицом к ним.

– Разрешите, товарищ политрук, сестре помочь перейти речку? обратился Саша к Семену.

– Да. Ты и Данила пойдете с сестрой.

Наконец все перешли на другой берег. Мокрая одежда плотно приладилась к телу, с нее стекала вода. По спине пробегала дрожь, мелко стучали зубы, волосы слиплись.

Постояли на берегу, перевели дыхание.

Мария наматывала на Сашин лоб свежий бинт. Валерик подошел, дождался, пока Мария кончит.

– Давай, друг, на минутку, – мотал Валерик головой, подзывая Сашу.

Отошли в сторону.

– Вот что, друг. – Валерик облизал губы. – Не пяль на нее глаза. На деваху. Понял? Не богородица. От-

вяжись от нее.

Саша изумленно раскинул руки.

– Она что – коновязь, чтоб привязываться-отвязываться?..

– А все равно отвязись. Видишь же, лейтенант в душу ей залег. Отвяжись, говорю тебе.

Саша опустил голову, не ответил.

Солнце!.. В самом деле, солнце... Краешек огненного шара выползал из-за гребня леса. Сосны, совсем недавно держали они звезды над собой, откликнулись на свет солнца – стволы вспыхнули, будто лучи проникли в них и остались там. И все вокруг, казалось, стало от этого светлей. Мария побежала к ближайшей сосне, обхватила красный ствол, прижалась к нему лицом – словно погреться захотела.

– Трогаем! – громкий голос Андрея.

– Трогаем, трогаем, – поторапливал и Семен.

Шли дальше, ноги месили холодный речной песок.

Прошли километра три, показалась мельница на воде. «Вот и самая водянка наконец, – приостановился Андрей. – Отсюда – на березняк». На березняк, значит, в топкое. Невеселое дело.

– Семен!!

Семен уже смотрел в ту сторону, куда взволнованно устремил взгляд Андрей. Оттуда донесся сдавленный расстоянием артиллерийский гул.

– Семен!!

– Так, – улыбнулся Семен, и посиневшее от холода лицо его просияло. Надыбали все-таки, где рубеж обороны. А может, наши наступают?

– Будем торопиться. Пробьемся к своим! Эх!

– Здорово!

Они обнялись.

Березняк уже не казался неприятным.

4

Лес снова подходил к шоссе.

Здесь шоссе было в движении, немецкие машины неслись в обе стороны, но больше туда, откуда слышались отголоски боя.

А за шоссе лежала открытая местность, ни дерева, ни куста. Нечего было и думать перейти шоссе днем и двигаться полем. И упускать время нельзя. «А если под натиском превосходящих сил противника, – вон их сколько прет к линии огня! – наши отойдут дальше? – тревожился Андрей. Опять искать и догонять? Этого рота уже не в состоянии...»

– Послушай, Андрей, – вполголоса сказал Семен. Они лежали на опушке, в зарослях. – Послушай. А если на грузовике?

– Как – на грузовике? – не понял Андрей.

– Остановим какой-нибудь. Который в нужную нам сторону. И сколько удастся проберемся на колесах. А?

– Как – остановим? – все еще не мог Андрей понять.

– Очень просто. Ну, не просто, конечно, – поправился Семен. – А вот так. Ты ж по языку за немца сойдешь... А форма офицерская и денщицкая у нас в вещмешках. Не выбросили. Даже Железный крест сберегли. Вот и остановим грузовик.

Андрей долго молчал. Слишком неожиданной была мысль Семена, и она медленно укладывалась в голове. Семен не торопил его. Молчание затягивалось.

– Так переодевайся, Андрей, а? И Рябов переоденется. Костыль он уже бросил. Ну, подхрамывает малость. А машину, думаю, поведет. Тракторист же... Так как, а?

Андрей продолжал молчать.

Потом медленно, словно нехотя, поднялся, медленно, поверх гимнастерки надел форму немецкого офицера. Не заметил, как, прихрамывая, остановился перед ним русоволосый, лобастый Рябов – немецкий ефрейтор в слишком длинных на нем брюках, неловко втиснутых в сапоги с подковками, с твердыми стоячими голенищами, такими широкими, хоть обе ноги в один суй.

Андрей вышел с Рябовым на шоссе.

Они стояли и прикидывали, когда и какую машину остановить.

Прокатили четыре открытых грузовика, в кузовах сидели солдаты в касках, сдвинутых на затылок. Сзади шли тягачи, они тянули орудия, на тягачах и на орудиях пятнистые, под опавшие осенние листья, разводы. Пролетели легковые машины, на ветровых стеклах, как рябинки, прилипла мокрая пыль.

– Не гнись, Рябов, стой по возможности ровней, – шепотом сказал Андрей. – Вон машина. – Оглянулся. – И пусто вокруг. Держись.

Грузовик, крытый брезентом, приближался.

Андрей спокойно поднял руку.

Грузовик резко застопорил, несколько метров протащился юзом и остановился. Из кабины вылез толстый ефрейтор в кителе с тусклыми алюминиевыми пуговицами, на голове аккуратная пилотка. У ефрейтора холодные стеклянные глаза. Глаза эти вскинулись, выражая готовность исполнить приказание.

– Что в кузове? – требовательно спросил Андрей.

Ефрейтора, должно быть, смутило произношение Андрея, потому что стеклянные глаза его ожили, в них мелькнула настороженность. Возможно, Андрею показалось это. Но он ощутил жжение в затылке, начал задыхаться.

– Значит, в кузове ничего?

– Так точно, герр майор!

Вот-вот покажутся машины. Каждая секунда дорога. Андрей почувствовал невероятную тяжесть пистолета в кармане. Не медлить, не медлить! приказал он себе. И рука стремительно выхватила из кармана пистолет.

Два выстрела. И еще один, в шофера. Показалось, шоссе дрогнуло, покачнулся грузовик, так громко получилось. Только во сне происходит все так быстро, знал он, в секунду, в долю секунды, и сейчас было как во сне, в секунду, в долю секунды.

– Амба! – потрянул Рябов головой. Степенно, как все, что делал, открыл вторую дверцу, и мертвый шофер вывалился из кабины.

Перескакивая через кювет, с опушки бежали бойцы, Андрей видел, как Семен и Данила подобрали убитых ефрейтора и шофера и бросили в кузов: как Ваню и Шишарев подвели к машине Полянцева, как Саша подсаживал Марию, как Пилипенко и Петрусь Бульба втаскивали через борт пулемет.

– Трогай! Трогай! – С резким стуком захлопнул Андрей дверцу и плюхнулся на сиденье. – Ходу!!

Рябов быстро выжал сцепление, нога дрожала, рывком включил скорость, дал газ, полный газ – машина ринулась, понеслась вперед. Машина мчалась, отдавая все свои силы, повинуюсь Рябову, до преде-

ла давившему на педаль акселератора. Мотор не стучал, прислушивался он, только грохот, когда грузовик подпрыгивал на выбоинах.

Андрей высунулся из кабины: что сзади? Сзади неслись мотоциклы. Много мотоциклов. Шоссе с разгону метнулось вниз, – спуск. Мотоциклы как отрезало. Небо качнулось – подъем – и снова выровнялось. Слева показалась пилообразная линия елового леса.

Шоссе вдаль пересекало железную дорогу, и Андрей увидел шлагбаум. Когда машина приблизилась к шлагбауму, солдаты с автоматами через плечо выходили из будки на переезде, готовясь опустить полосу перекладину: уже слышался гудок паровоза.

Но останавливаться нельзя. Могут заглянуть в кузов, под брезент. Останавливаться нельзя! Во что бы то ни стало перескочить через переезд, пока еще можно.

– Проскочишь? – задыхался Андрей от волнения.

– Попробую, – неопределенно откликнулся Рябов.

– Надо проскочить! Жми на всю катушку! Жми!..

Жми!..

Машина рвалась вперед на предельной скорости.

Андрей увидел в боковом стекле изумленные лица солдат у шлагбаума. Они растерянно размахивали руками, что-то предупреждающе кричали, побежали было наперерез.

Машина выскочила на переезд. Еще минуты две – и длинный состав отделил ее от солдат по ту сторону шлагбаума.

– Рябов! Жми!..

Андрей глянул назад: у переезда мелькнул последний вагон состава, и тотчас шлагбаум поддался вверх. Андрей услышал автоматный треск сзади. Никакого сомнения: вслед стреляли. Мотоциклисты катили во всю мочь. Теперь это была погоня.

– Жми!.. Жми!! Рябов!..

Рябов почувствовал боль в левом бедре. Боль усиливалась. «Эх, не вовремя», – оборвалось внутри. А нога нажимала, нажимала на акселератор, окостенели напрягшиеся на баранке руки, глаза впились в смотровое стекло.

Еловый лес подходил ближе и ближе к шоссе и уже двигался вровень с ним, метрах в пятидесяти.

Из кузова забарабанили кулаками в стенку кабины.

– Притормози! – тронул Андрей колено Рябова.

– Андрей! – кричал из кузова Семен. – Надо бросить машину! И в лес! Слышишь меня? Андрей?

«Надо бросать машину, – лихорадочно билось в голове Андрея. – Бой принять здесь не могу, открытое место. Только в лесу. Если мотоциклисты кинутся туда за нами. Но как выбираться под огнем? Как?..»

Семен все еще кричал из кузова:

– Решай! Слышишь меня? Андрей! Мы с Пилипенко дадим из пулемета по мотоциклам! А народ будет выбираться из кузова! Да?

– Да!

Стук длинной очереди, раздавшейся из кузова, заставил Андрея вздрогнуть.

Андрей судорожно распахнул дверцу кабины.

– Рябов! За мной!

Бойцы выскакивали из кузова.

Секунда. Две, три. Четыре...

– Рябов! За мной!

– Нет. – Обычная для Рябова пауза. – Я останусь.

И покачу дале. Отвлеку часть мотоциклистов. Меньше останется на вашу долю. А тем, что увяжутся за мной, амба! Никуда не денутся. У меня граната. Фенька... Фенька накрошит их, как положено. – Он говорил спокойно, почти бесстрастно. Локти его терпеливо лежали на баранке. Было видно, он ясно представлял себе, что произойдет после того, как нажмет на стартер, пронесется по шоссе километра два-три-четыре и его догонят мотоциклисты. Не теряй время, лейтенант. Минута дорога. Выбирайся...

Он убрал ногу с педали тормоза.

Перед мысленным взором Андрея мелькнул костер на полянке, и как бы услышал голос Рябова: «Бедро малость разорвано... а еще смогу фашистам напом-

нить о себе...» Он взглянул на Рябова, на шоссе – мотоциклисты были уже недалеко и открыли огонь.

Андрей увидел: все бежали к лесу. Бежала Мария. И Полянцев, держась за руку Ваню, за руку Шишарева, бежал. И Данила бежал, припадая набок. И Пилипенко, пригибаясь, бежал и тащил за собой пулемет. Бежали, чуть откинув назад голову, выбрасывая ноги вперед, словно что-то мешало держать тело прямо, словно вот-вот шлепнутся ничком на землю. Бежали, изогнувшись, будто подкрадывались к чему-то. Бежали, покачиваясь из стороны в сторону. Бежали, подпрыгивая, точно кто-то колотил по ногам. Бежали, протянув перед собой автоматы, винтовки, словно ловили их на лету. Бежали, придавленные вещевыми мешками на спине, едва удерживая цинки в напряженных руках.

Андрей повернул голову: машина неслась вперед, вслед ей рвались мотоциклы. На мгновение вспомнилось ему, что глаза Рябова перед тем, как он двинулся дальше, поглубели. Глаза у Рябова темные, это он знал, определенно темные, и вдруг поглубели. Может, оттого, что, Малинки возникли перед ним?..

Андрей подумал об этом, когда уже подбежал к лесу и услышал взрыв подорвавшейся машины и увидел дым на шоссе.

Глава пятнадцатая

1

И никакой это не лес, черт возьми! Неглубокая ро-ща. Со всех сторон, шагов сто, двести и – опушка. «Вот где накроют нас... В покое не оставят, – размышлял Андрей. – Нет, не отвяжутся...» Не все мотоциклы погнались за машиной, за Рябовым.

Сквозь опушку виднелось поле. И несколько селений, недалеко друг от друга. Что там, в этих селениях?

На этот раз в разведку идти Марии, кроме сапог, ничего на ней военного. А сапоги – что! Могла и по дороге подобрать – убитых много.

– Как, Мария? – спросил Андрей. Глаза его выражали одновременно тревогу и уверенность, что все обойдется. – Как, Мария?..

– А как? Пойду, и все.

– Оборвалась ты с нами подходяще, – попробовал Семен пошутить. Беженка, точно.

– Я и есть беженка.

Мария незаметно отделилась от роши и пошла по направлению к ближней деревне.

Страх она не испытывала, и это удивило ее. Только беспокойство не покидало ни на минуту: справится? «Не справлюсь, в чем-нибудь оплошаю, и все погибнут...» И чтоб придать себе бодрости, ни о чем другом не думала, лишь повторяла: «Справлюсь. Справлюсь. Справлюсь. Обязательно справлюсь. А почему б не справиться?» Она хотела глотнуть воздуха, но поперхнулась и зашлась кашлем. Остановилась, пока кашель уймется. И увидела невдалеке большак. Осмотрелась: большак вел в ту деревню, куда Мария направилась.

Никакой взволнованности, никакой встревоженности лицо ее не должно выражать. Обыкновенная усталость путницы, и все. И спешить зачем? Убавить шаг, торопливость ни к чему. Спокойней, спокойней... Вот так, еще спокойней. Сколько помнит себя, лет с четырех помнит себя, она любила смотреть в небо, и это унимало слезы, если плакала, сглаживало тревогу, если была озабочена, глаза всегда тянулись вверх.

Она посмотрела в небо, такого неба еще не видела в своей жизни, небо никогда еще не было таким светлым, голубым, чистым таким, высоким, будто поднялось выше возможного, и в самом деле совсем успокоилась. Она подходила к деревне.

У околицы, на взгорье, в саду, высилось двухэтажное кирпичное здание. Похоже на школу. Так и есть.

На фронте красной кирпичной крошкой выложено: школа. Подошла ближе. На дверях надпись и по-немецки: школа. Сунулась в калитку. Никого. Поднялась по широким каменным ступеням. Никого. Постучалась в дверь. Никакого отклика. Снова постучалась. Никого. «Пойду дальше, – подумала. – Загляну в ближайший дом, попробую что-нибудь вызнать».

Спускалась вниз. Третья ступень. Остались еще две. Услышала за спиной немолодой скрипучий голос:
– Вы ко мне?

Быстро обернулась. В дверях стоял высокий, худой мужчина: седая голова, очки, серый холщовый костюм.

– Знаете... – растерялась Мария. Снова поднялась.

– Нет, не знаю, – сдержанно сказал мужчина, поправил очки. Он внимательно рассматривал ее, ждал, что скажет дальше.

– Попить, – не нашлась Мария. – Пить очень хочется.

В уголке рта мужчины чуть обозначилась и не раскрылась усмешка. словно уличенная в чем-то, Мария опустила голову.

– Из-за кружки воды свернули с улицы? – Он явно насторожился. Пожалуйста, заходите. Вода покамест есть.

«С чего начать? Как сказать? Этому меня не научи-

ли ни Андрей, ни Семен. – Сердце билось часто-часто. – И сразу чепуху сморозила: попить... Человек понял же, что чепуха. Девчонка еще. Совсем девчонка!» – ненавидела себя.

Они шли по пустынному гулкому коридору.

Коридор показался длинным, очень длинным. На стенах, под запыленными стеклами, висели гербарии, красовались газеты: «Наша школа», «Наш класс», кулачовое полотнище, на котором белыми буквами: «В добрый путь жизни, дорогие выпускники!» Мария шла, едва переступая. Неужели всего три месяца назад сидела она за партой, заглядывала в учебник и готовилась в этот самый «добрый путь»? Слезы душили ее, она заплакала б, если б мужчина снова не заговорил:

– Моя комната. – Он остановился у полуоткрытой двери. – Заходите.

Она вошла, взволнованная, растерянная.

– Пейте, пожалуйста. – Мужчина подал ей чашку с водой. В углу, на табурете, блестел металлический бачок, такой же, какой видела в коридоре. Но в коридоре возле бачка была и жестяная кружка.

Мария выпила почти всю чашку. Она и в самом деле хотела пить.

– Спасибо.

– Роман Харитонович, – назвал себя мужчина.

Мария поспешно откликнулась:

– Мария...

С опаской смотрела она на мужчину в сером холщовом костюме. «Как приступить к делу? С чего начать? Что говорить?» Тот ждал. Ждал, не проявляя нетерпения.

– Роман... Харитонович. – «Скажу все как есть» – решила. – Я скажу вам все как есть...

Он невозмутимо наклонил голову.

– Помогите нам...

– Кому это – вам? Вы не одна?

Роман Харитонович испытующе смотрел на Марию.

– Нам плохо. Очень плохо, Роман Харитонович... – Мария закрыла лицо руками, разрыдалась. – Немцы загнали нас в рощу... Выловят, если не уйдем отсюда... Командир послал меня...

Роман Харитонович молчал. Он опустил голову. Возможно, думал показалось Марии.

– А вы, девушка... Мария... опрометчивы, позвольте вам заметить. Не знаете меня, не представляете, куда вас несчастье занесло, и сразу – все начистоту. Черта похвальная в другое время. – Он скосил глаза. – Вот закрою вас здесь и пойду сообщу полициям. Они у нас есть.

Мария отпрянула к стене: что наделала!

– Успокойтесь, ничего этого не случится, – разме-

ренно продолжал Роман Харитонович, поняв ее состояние. – Я счел нужным поучить вас осторожности. Во мне сказался учитель. Так вот, ничем, к сожалению, помочь вам не смогу. Разве лишь... Переходите из рощи сюда. Если сможете. Если удастся. А ночью выйдете в лес, – показал на лес, видневшийся в окне. – В роще опасно, да. Вы, вероятно, заметили, мимо рощи – дорога, она связывает шесть селений. В нашей школе и учатся, то есть, учились дети из этих селений. Переходите в школу. Вот все, что могу предложить вам.

– Хорошо. Спасибо. Хорошо, – порывисто лепетала Мария. – Пойду скажу командиру.

– Идите в рощу другим путем, менее рискованным. Они прошли в конец коридора.

– Сюда вот, пожалуйста. Черным ходом. Отсюда пойдете по тропинке и кустарником, видите? Кустарник не достигает рощи. Метров сто открытое место. Учтите это.

Мария кивнула: поняла. Глядя на него, уверенно-го, спокойного, она тоже стала уверенней, спокойней. Еще раз кивнула: поняла, спасибо.

По крутой тропинке, спотыкаясь, спускалась она со взгорья.

– Располагайтесь. Пожалуйста.

Роман Харитонович повернул от колонн у входа и двинулся по коридору, освещенному круглыми окнами в торцовых стенах. Вдоль правой стены нагромождены парты, одна на другую. Слева стояли муляжи зверей и птиц, со стеклянными дверцами шкафы с книгами, с коллекциями жуков и бабочек, с глобусами; один глобус, самый большой, повернут восточным полушарием на свет, – коричневые, зеленые, голубые пятна, кружочки, линии, густо засиженные мухами, и оттого казавшиеся совсем спокойными, как бы уснувшими. Спала Чехословакия, спала Польша, спала Франция, и Германия спала. Роман Харитонович шел впереди Андрея и Семена и раскрывал дверь за дверью.

– Учительская... Учебный кабинет физики. И еще учебный кабинет, химия. А вот, пожалуйста, гимнастический зал. Прекрасный, как видите, зал, – вздохнул Роман Харитонович. – Великолепный зал. Состязания, соревнования, игры. Любимейшее помещение школьников. – Опять вздохнул. Должно быть, тягостно было ему в пустом и тихом зале, где привык слышать шум, смех, ребячью возню. И пыль на полу, на подоконниках, паутина в углах словно усиливали эту

тишину. Вышли из зала. – Вот классная комната, самая большая, седьмой «Б». Загляните.

Андрей прикидывал: стены кирпичные, крепкие, в случае чего ни пули, ни мины не пробьют. Разве снаряды. Но до артиллерии не дойдет... Окна не близко друг к другу – прижаться к широким простенкам, и пусть бьют в оконные проемы. Он выглянул в окно: подступы открытые – не подобраться, чтоб швырнуть гранату, атаковать двери. Конечно, если внимательно, неослабно следить. Оказывается, школы построены так, что в них можно учиться, но можно и держать оборону, – усмехнулся. Сейчас показалось ему, что для этого даже лучше приспособлены, чем для занятий...

– А окна коридора, как видите, выходят на школьный огород. – Роману Харитоновичу было приятно показывать свою школу этим военным, нашедшим в ней временный приют. – И подсобные строения вон. Два черных хода. – Андрей заметил, в ручки одной и другой двери просунут железный лом. – Левый выход на тропинку, – продолжал Роман Харитонович, – ту, что со взгорья спускается в рощу. По ней вы и добрались сюда. Итак, весь первый этаж...

Роман Харитонович поднимался по лестнице на второй этаж. Андрей и Семен следовали за ним.

– Девять классных комнат. – Роман Харитонович водил Андрея и Семена из класса в класс. – Все окна-

ми, как видите, в сад. Яблоневый сад. Гордость школы... Посмотрите, – любовался Роман Харитонович, будто и сам, впервые увидел на яблонях румяные яблоки, впитавшие свет солнца и казавшиеся теплыми, даже горячими.

Неприятно выглядели покрытые пылью парты с откинутыми крышками, на которых ножичками вырезаны вензеля, с непроливайками, выпавшими из круглых гнезд, и неровными фиолетовыми полосами, залившими верх парты, одинокими казались большие черные доски, на них, написанные мелом, еще не стерты задачи, слова. «Мертвые классы». Андрей тоже вздохнул, неприметно, про себя.

Спустились вниз, снова в класс седьмой «Б». Под потолком шевелилась яркая полоса: свет закатывавшегося солнца.

– Роман Харитонович, – сказал Андрей, – давно сюда вошли немцы?

– Пять дней назад. – Роман Харитонович опустил голову. – В семь с половиной утра.

Помолчали.

– Как называется ваша деревня? – спросил Андрей.

– Белые ключи. – Роман Харитонович произнес это так, словно испытывал удовольствие, что деревня называется Белые ключи. – Здесь, рассказывают, у родника под березами поставил хату первый поселенец.

Вода от березовой тени была белой. Отсюда и Белые ключи.

– Милое название, – улыбнулся Андрей. – Ключи...

– Вполне, – поддакнул Семен. – Город так не назовешь. «Водопровод», что ли? Если по аналогии...

– У городов свои прекрасные имена. Москва. Киев... – Роман Харитонович снял очки, большими и средними пальцами протер стекла, снова надел.

– Еще вопрос, Роман Харитонович.

Роман Харитонович перевел взгляд на Андрея.

– Слушаю вас.

– Как пройти в лес? Понимаю, околицей деревни. Но что там будет у нас на пути? И далеко ли до леса?

– Километра три с половиной. Если напрямую. А препятствий, собственно, никаких. Мимо сельского базара, на родники, через овражистый луг и – в лес.

Помолчали.

– Вы что ж, Роман Харитонович, один? – поинтересовался Семен, чтоб не длить молчания.

Роман Харитонович откашлялся в кулак.

– Я директор этой школы. Жена с сыном, Викентием, тоже учителя, эвакуировались, я не успел: все так внезапно получилось. Как видите, застрял.

– И лейтенант, – кивнул Семен на Андрея, – учитель. Только кончил педагогический институт, и – пожалте – на войну.

Роман Харитонович слегка приподнял брови, посмотрел на Андрея, будто этого быть не могло. В командире с изнуренным, шершавым лицом, с утомленными красными глазами, в рваной, с пятнами пота, застывшей крови, подпалин, вьевшейся грязи гимнастерке, почему-то не представлял себе учителя.

– Вот я и в школе, – с усмешкой произнес Андрей. Все умолкли.

– Вы сказали нашей сестре, что в деревне завелись полицаи? – прервал молчание Андрей.

– Не завелись. Уже были. Во все время советской власти были. Но мы не знали об этом. А теперь объявились.

– Много их?

– Не скажу. Не знаю. Стараюсь не показываться в деревне. Картошка на огороде. И хлеба есть немного. И немного Сахара и чая. И керосин для лампы есть. Спичек маловато, но приспособил трут.

– Ну, полицаи. Крысы. А немцы?

– Немцев нет. Немцы вступили и двинулись дальше. Полицаи, говорили мне односельчане, есть. Хуже немцев. Позавчера приходил их главный. Работал когда-то в сельпо, известный у нас вор, да все сходило ему с рук. Приходил. Предлагал старостой быть. Человек я, так сказать, беспартийный и прочее такое. «Какой я староста? – отбивался. – Разве тем, что

стар... Молодой больше подойдет». А потом обо мне забыли. Нашли подостойней. Да и дел у них!.. Убивают. Своих. То есть наших. Вот и вся моя информация, развел руками Роман Харитонович.

– Ну, с полицаями справимся, если сунутся, – посмотрел Андрей на Семена.

– А кто бы ни сунулся, полицаи, немцы, придется справиться, – скривил Семен в усмешке губы. – Другого выхода у нас не будет, если сунутся.

Роман Харитонович наклонил голову.

– Вероятно, ни с кем вам не придется справляться. Как ни говорите, а школа. Табличка у входа и на немецком языке предупреждает, что школа. – Он пожал плечами: на школу не нападают. – Школа то же, что открытый город. Еще раз пожал плечами. Потом: – Вам подкрепиться надо. Пожалуйста, картошка. И хлеб. Чай. И не вздумайте отказываться, – поднял руку. – Не время реверансов. Сам воевал. В гражданскую. Понимаю.

– У нас же рота, Роман Харитонович, – благодарно улыбнулся Семен. Съедем мы ваш запас, и волей-неволей придется вам показываться в деревне.

– Придется...

– Что ж, кликну наших кашеваров, – выглянул Семен в коридор. Данила! Мария! Идите варить картошку. И чай вскипятите.

– Идем! – отозвалась Мария.

– Дело хорошее, – заблестели у Данилы глаза, он уже стоял рядом с Романом Харитоновичем. – Вот закурить кто б дал, – страдающе произнес.

– Извините, не курю, – покачал головой Роман Харитонович.

Семен достал из кармана две смятые папиросы, последние, протянул одну Даниле.

– Спасибочки! Махры бы... – простонал тот. И жадно сунул папиросу в зубы.

– Так пойдемте, товарищи. Разведу огонь. У меня большой казан. И большой чайник.

Роман Харитонович, Данила и Мария ушли.

– Подкрепиться, верно, дело хорошее, – сказал Андрей. – Но охранение – дело первейшее. Ваню! – крикнул. – Ваню! А Саша? Где Саша? А, вот вы. Покарауйте в саду, на огороде, возле подсобок. Во все глаза! Поняли? Пожевать когда, позовут вас. Действуйте.

Ваню и Саша направились к выходу.

День кончался. Но еще светлый, голубой и зеленый, не уходил он отсюда, из школы.

– А не отвяжутся от нас немцы. – Мысль эта тревожила, не покидала Андрея.

В глазах острое желание, чтоб отвязались, и шаткая надежда: может, и будет так.

– А, Семен? Как думаешь, Семен? Тем, что погна-

лись за Рябовым, за машиной, «амба». А вот мотоциклы, что от машины оторвались и – за нами! Он молчал, смотрел на Семена.

– Пропади они пропадом! Видел же, двинулись в обход рощи. А куда? В деревню? За подмогой?

– Если выследили нас, то... – удрученно повел Андрей головой.

– До темноты б дотянуть, – задумчиво произнес Семен. – И – в лес.

В окне над нагромождением крыш деревни виднелся тускневший в дальних сумерках лес.

– До темноты б... – подтвердил Андрей. – А пока подумаем о круговой обороне. Мало ли что. Сюда, в этот седьмой «Б», пулемет. Так? Пилипенко и... – подумал, – Тишку. Не подпускать к главному входу. Так? У самого входа – кого? Ваню и Петруся Бульбу. Дальше – торцовые окна в концах коридора и черные ходы возле. Туда Данилу и Шишарева. Саше – окна на огород. Так. Сянский – на подноску боеприпасов. Мы с Валериком тоже в седьмой «Б». Много окон. И пулеметчикам страховка. Так? Ну и Роману Харитоновичу найдется дело. У него, как и у нас, выхода другого не будет, – обороняться.

– Мне, следовательно, второй этаж? – поднял Семен глаза вверх, как бы окидывая взглядом место, где придется действовать. – Оттуда хорошо будет

видно, что в саду. Со мной кто ж? Остается – отделенный Поздняев? Человек он храбрый, сообразительный. Убедился я в этом деле у переправы. Значит, с отделенным?

– С ним.

Пилипенко вкатил в класс пулемет. Сноровисто пристроил его перед окном. Поставил цинковую коробку с патронами.

– Э! Мокрые-штаны! – Обернулся, поискал глазами Тишку-мокрые-штаны. Где еще цинки?

– Ташу. – Голос из коридора.

– Клади. Не чухайся, неси остальные.

Данила, подволакивая ногу, принес пышущий паром казан с вареной картошкой. Поставил на столик перед доской. И ломти хлеба на тарелке.

– Отнеси картошку и караульным, – сказал Андрей.

– А голуба уже понесла. Первым.

Ели кто стоя, кто сидя на партах.

Пришла Мария.

– И кипяток вот. Ну-ка, с парты, – локтем поддела Пилипенко. – Чайник поставлю.

Пилипенко послушно опустился на пол.

В дверях показался Роман Харитонович, держа на вытянутых руках глиняную миску, полную яблок.

– Угощайтесь. Урожай из школьного сада.

Он отошел в угол и молча наблюдал, с какой нена-

сытностью ели и пили изголодавшиеся, усталые люди.

Пилипенко усердно запихивал в рот последнюю картошку, с кожурой.

Всё!

– Располагайтесь, товарищи. – Роман Харитонович, кажется, собирался уходить. Но продолжал стоять, видно было, не хотелось уходить.

Потом, как-то виновато, вымолвил:

– Кроме двух подушек и одеяла, ничего не могу вам предложить.

– Обойдемся, Роман Харитонович, – благодарно улыбнулся Андрей. Фронтвики. Да и недолго нам. Стемнеет, и тронемся.

– Как угодно. – Роман Харитонович поправил заушники очков.

Он ушел.

Пилипенко, Тишка-мокрые-штаны и Валерик завалялись в углах – спать. Андрей улегся на парту, свесив ноги. Голову положил на закинутае назад и сцепленные руки. Было неудобно, и раненое плечо ныло. Он повернулся, парта скрипнула. Поднялся, сбросил сапоги – ногам отдых, и тоже лег на полу. Он смежил веки, но сон не приходил. Трудные мысли одолевали его. Что-то должно произойти. Где-то, в чем-то ошибся он, не так сделал, как надо. Но в чем ошибся, что

сделал не так, понять не мог. Он перебирал в памяти все, что было после перехода речки у мельницы, и ничто не вызывало сомнения. Тот грузовик, возможно. Возможно, тот грузовик на шоссе. Да, грузовик... Но и по-другому можно было влипнуть, – отводил он это предположение. «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь». И что теперь думать об этом! Думать надо, как выбраться отсюда.

Он открыл глаза. Окна выходили на западную сторону, солнце еще стояло над садом, и когда между солнцем и садом проплывало облачко, в комнате на несколько минут становилось темно. Рассеянным взглядом обвел Андрей стены. «Просторный класс. Хорошо было школьникам. Свет, воздух...» Напротив, на стене, увидел карту области. На ней и эта местность. Правда, вся местность заключена в одном сантиметре. Зато много сантиметров показывали – что дальше. А дальше, знал он, был лес, тот, что за окнами. Как выбраться в этот лес? Вот о чем думать. Вот о чем думать.

Андрей услышал шаркающие шаги.

– Извините, – подошел Роман Харитонович. – Все же принес подушки и одеяло.

– Спасибо, спасибо, Роман Харитонович. Спасибо.

Подушки и одеяло Роман Харитонович положил на парту.

– Извините.

Андрей и не заметил, как тот вышел. Он расстелил на полу одеяло, прислонил к стене подушку. Взял другую подушку. Пилипенко сунуть ее? Валерику? Тише? Нет, будить не стоит, пусть спят. Он снова лег.

В пустынном помещении слышно было, как там, в конце коридора, хлопнула дверь. Показалось, слишком гулко, хотя деликатный Роман Харитонович, наверное, тихо ее прикрыл. Потом застучало часто, знакомо. Автоматные очереди? – вскинул Андрей голову, напряженно прислушался. Точно, снаружи раздались автоматные очереди. Он увидел в окне: к главному входу, из сада, отстреливаясь, бежали Ваню и Саша.

– В ружье! – что было силы крикнул Андрей. Затормошил Пилипенко, толкнул Валерика, Тишку-мокрые-штапы.

В два прыжка выскочил в коридор.

3

Роман Харитонович уже запирает дверь главного входа. Руки тряслись, и он не мог вставить ключ в замочную скважину. Наконец ключ повернулся, замок щелкнул. А Ваню стоял у двери и возбужденно оглядывался, словно не верил, что он уже в помещении.

– Немцы... слушай... товарищ лейтенант!.. – с усилием переводил он дыхание. – Вовремя заметил и дал очередь. Залегли у деревьев.

– Много их, товарищ лейтенант. – Саша тоже трудно ловил раскрытым ртом воздух. – Снизу, из-под горы, лезут, – устремил он на Андрея недоуменные, спрашивающие глаза.

– Нас обкладывают, – сказал Андрей громко. Сказал, насколько удалось, спокойно. Ни одного постороннего жеста, ни одного торопливого движения.

На его лбу выступила испарина, он поднял руку, чтоб вытереть лоб, раздался выстрел, и он забыл о своем намерении.

В замешательстве смотрели на него бойцы, надеясь, что и на этот раз командир роты найдет выход из положения.

По лестнице сбегал Семен. Его мертвенно-бледное, напряженное лицо с остро выдавшимися скулами казалось неподвижным, словно он уже видел, чем все это кончится.

– Я нужен тебе здесь?

– Вернись наверх! Тоже держи, с отделенным, главный вход! Постой. Возьми Полянцева. Пристрой там где-нибудь в затишке.

Поддерживая Полянцева, Семен поднимался по лестнице.

Быстрым взглядом окидывал Андрей все вокруг.

– Сянский! И Мария... Наваливайте парты у дверей, – показал на парты, стоявшие в коридоре. – По-больше, повыше. Скорее!

– Я с ними. Парты... – направился Роман Харитонович к партам.

Петрусь Бульба с автоматом наперевес уже затаился у главного входа, как и определил Андрей, когда осматривал школу.

– Ваню! Вместе с Петрусем отбивай попытки завладеть входом! Наблюдение вести в окна! Ты – в правое, Петрусь – в левое! Самое опасное для нас место. Поняли?

В конце коридора у круглого торцового окна увидел Андрей Данилу. Повернул голову в другой конец: и Шишарев на месте. Правильно. Как и надо.

– Саша! Вот эти окна смотри! В продольной стене. Гранаты!

– Есть! – «Да, да. Гранаты. Вот эти окна. Очень толково. Ай, лейтенант. Ничего у немцев не получится», – с облегчением подумал Саша, и не сомневался, что именно это – гранаты, которые должен будет швырнуть в окна, и выручат.

Все заняли свои позиции. Ждали. Чего ждали? Этого никто не мог сказать. Выстрелов, конечно.

– Товарищ лейтенант!

Андрей взглядом искал, кто его окликнул. Не находил. Показалось? Или кто-то не выдержал ожидания?

– Гитлеровцы не должны пройти! – выкрикнул Андрей: – Выстоим! Поднятая ладонь с растопыренными пальцами: спокойно! Он сжал кулаки, от них исходила сила и беспощадность тоже. В тоне, в движениях Андрея властность, даже жестокость.

Немцы ударили из автоматов. На этот раз со стороны подсобных строений на заднем дворе. В окна. Осколки стекол рассыпались по полу. Потом снова ударили из сада.

– Давай! Давай! Давай! Давай! – Ваню это. Себя подстегивал? Петруся Бульбу? – Давай! Давай!

Автоматы Ваню и Петруся Бульбы гулко стучали.

– Ну и стреляешь! Криво! Как вол ссыт... – Голос Данилы оттуда, от торца. Потом: – Сашко! Ну, видишь, вон там, смотри. Один. Крадет. Достанешь винтовкой?

– Не достану. Прикрылся.

– А ты еще попробуй.

– Попробовать можно, но не достану. Прикрылся.

– Тогда и не пробуй, раз не достанешь.

– Попробую все ж...

– Ну, пробуй. Только достань.

Два винтовочных выстрела.

– Эх! – возглас Данилы.

Достал Саша или не достал? – не понял Андрей.

Автоматы снаружи били по фасаду с правой стороны. Андрей кинулся в класс, седьмой «Б». Сердце колотилось. Сильно. Сильно. Он почувствовал, что утрачивает спокойствие. До чего холоден пол, ощутили ноги, и вспомнил, что не успел натянуть сапоги. Сапоги стояли у парты. Острый свист пуль заставил его пригнуться. Пули ударились над ним, в стену. На голову потекли тонкие струйки известки. Известковая пыль попала в глаза, и он протирал их кулаком. «Ладно! Не до сапог...»

Над самым окном повисло облако, и воздух в классе посинел. Лицо Пилипенко, припавшего к пулемету, стало тоже темным. Он посмотрел на Андрея: пора? Пора! Пора! – говорил его горячечный взгляд.

Но автоматы в саду смолкли. Враз. Из-за яблонь раздался голос:

– Граждане! Граждане! Внимание! – Странно было услышать оттуда, откуда стреляли немцы, русский голос, это казалось невозможным. Но это был отчетливый русский голос. – Не проливайте своей крови! – убеждал он. – И нашей... Мы – соотечественники. Вы в кольце. Соппротивление бессмысленно. Германцы великодушны. Выходите. Сдавайте оружие. И для вас война кончится. Отвечайте!..

«Главный здешний полицей, – подумалось Ан-

дрею, – тот, что приходил предлагать Роману Харитоновичу должность старосты».

– Сейчас ответим! Вот!.. – И длинная-длинная-длинная очередь, вырвавшаяся из-под рук Пилипенко, потрясла класс.

Капли пота, как оспинки, покрывали лицо Пилипенко. Рот перекошен. В глазах – бешеное озлобление, гнев, ненависть и еще что-то такое, сделавшее его готовым на все, не считаясь и с собственной жизнью. Еще очередь. Плечи Пилипенко тряслись очереди в лад. Он уже не смотрел на Андрея. Еще очередь! Стреляные гильзы с тупым звоном падали на пол. Ветер отодвинул облако от окна, и в проеме снова мелькнул солнечный свет. Гильзы золотисто откликнулись этому свету.

Андрей увидел: из укрытия выбрался короткий немец в каске, он прокричал что-то, наверное, поднимал солдат на приступ. Потом побежал к школе, к главному входу, в руке граната с длинной ручкой.

– Товарищ лейтенант, долбану его из винтовки! – двинул Валерик затвором, досылая патрон. Он почти высунулся в окно.

– Голову прячь! – приказал Андрей. «Война у него все еще не на самом деле. Романтика. Подвиги». Он выхватил из кобуры пистолет, прищурился, стал целиться в немца, твердо повел дуло. «Все. Взял его.

Промахнуться нельзя. Не промахнуться! Не...» Он выстрелил в ту самую секунду, когда немец развернул руку для броска гранаты. Тот упал. Кажется, упал. Огонь и дым разорвавшейся гранаты не дали этого увидеть.

Еще злее ударили из сада автоматы, во все окна, во все классы. Андрей приник лицом к простенку. Он вздрогнул: пули прошли у правого плеча левое окно, у левого плеча – правое окно. С потолка мелко посыпалась штукатурка, и с минуту в классе дымилась белая пыль.

Искоса глянул наружу: из-за сосен высунулись каски, потом он увидел пригнувшиеся спины – немцы перебежали от дерева к дереву... двое-трое... ближе к стене... трое-четверо...

– Пилипенко!!

Но Пилипенко, красный от ярости, уже нажимал на гашетку. Пулемет клокотал.

– Тиш-ка!.. Ленту! Ленту! – Из приемника спадала пустая лента.

Тишка-мокрые-штаны сидел на корточках, перезаряжал ленту. Пока он делал это, Пилипенко нетерпеливым движением ерошил волосы, они спадали на лоб, взмахом руки скидывал их наверх, снова сбивал почти на глаза.

– Тю!.. Чего возишься? Тебе шо, в детстве сахар не

давали? – рявкнул Пилипенко и повертел пальцем у виска.

– Давали, Пиль, давали, – совершенно серьезно кивнул Тишка-мокрые-штаны, считая, что именно это хотел тот услышать. Что Пилипенко угодно, подтвердил бы он сейчас. Что угодно сказал бы.

– Пусти, тряся твоей матери. Сам.

Пилипенко опять застрочил, длинно-длинно.

«Очумел, что ли?» – поморщился Андрей.

– По целям бей! По целям! – прокричал он. – Полленты же в одну очередь выпустил! Пустых лент куча вон... А нам держаться сколько!..

– Патронов не станет, руками душить буду. – Пулемет строчил. Пулемет строчил. Такое выражение лица у Пилипенко! С таким выражением можно города сокрушать, землю сотрясать можно...

В классе горячий запах долго стреляющего пулемета. Даже видно, как ствол горяч.

– Тиш-ка!.. Воду! Кипит... Вода там, в бачке. Быстрее задом ворочай! Тишка! Ну!

С минуту Тишка-мокрые-штаны соображал, как под пулями, свистевшими в классе, выбраться в коридор к бачку с водой. По запыленным щекам пот прокладывал извилистые завитки, и обычно белое лицо его было теперь тусклым, серым. На четвереньках, неуклюже перебирая руками и ногами, пополз он к двери.

И вот уже затопотал по коридору сапогами.

Андрей, укрываясь у простенка, выглядывал в окно, немцы пока не решались броситься к главному входу. Но по всему было видно, готовились к этому. И Андрей стискивал в руке гранату. На полу лежали четыре гранаты.

Теперь немцы вели огонь только справа. Слева все смолкло. Что бы это могло быть? Вот что! Вот что! Отвлекали вправо пулемет Пилипенко. Слева, от старых толстых тополей возле ограды, отделились три солдата, и четвертый, и с автоматами навскидку бежали к главному входу. Вот что! Андрей отвел назад руку, и вниз полетела граната. Тут же схватил другую гранату, выдернул кольцо и снова размахнулся. Гранаты разорвались у самых ступеней.

На ступенях растянулись два солдата, над ними колыхался дым, третий немец скатился вниз, тоже, видно, мертвый, четвертый, переваливаясь с боку на бок, отползал обратно, к старым толстым тополям у ограды, и вел за собой кривой темный след.

Андрей услышал, над плечом просвистела пуля, и тотчас сзади тяжело грохнуло. Он быстро обернулся. Тишка-мокрые-штаны упал у раскрытых дверей, навзничь. Руки выпустили котелок с водой, и вода выплеснулась на гимнастерку, на штаны, разливаясь, двигавшимся пятном обтекала распростертое тело. Лужа

ширилась, становилась красной.

– Тиша! – Андрей был уже возле него. – Тиша!..

Тот, должно быть, еще не сознавал всей меры, того, что произошло. Глухо, вполголоса проронил:

– Опять, Никитка, обмо-чился... – Может быть, даже усмехнулся, показалось Андрею. – И надо же... – Смежил веки. – Пропала вода... Короткий вздох. – А кожух горит... Не сердись, Пиль, а?..

Он лежал, запрокинув голову, каска отвалилась назад, открыв сбившиеся светлые волосы. Со лба стекала вишневая струйка, лилась на пол, смешиваясь с водой, тоже еще не остановившейся. На губах пузырилась розовая слюна. Он синел на глазах Андрея. Смерть сделала лицо его, всегда растерянное, ровным, спокойным, и лежал он покорно, совсем мирно, как человек, удобно улегшийся спать. И если б не кровь, могло показаться, что спит он, спит, утомленный таким трудным днем. День и в самом деле был очень трудным.

– Воду же ж! Воду! – злился Пилипенко. Он не слышал, что стукнуло за спиной. – Тащи же, Мокрые-штаны!.. – Капли пота падали со лба, с бровей, с ресниц на грудь, и гимнастерка в этом месте потемнела. Не выпуская ручки пулемета, Пилипенко оглянулся и понял, что случилось. Плечи его сильнее затряслись над затыльником пулемета.

Тишка-мокрые-штаны умер тихо и так быстро, что и не поверить.

Пуля шлепнулась в косяк двери, этого он уже не слышал. Вторая пуля впилась в голову Тишки-мокрые-штаны, и, мертвая, она дернулась. Его убили второй раз.

Пули вонзались в потолок, в стены и уже в пол. «Взобрались на деревья, – догадался Андрей. – С деревьев бьют! Ну да! Вон с тех высоких груш!»

– Пиль! По грушам колоти! По грушам!..

– И по грушам! Да их, немцев, как мошканы... – Пилипенко длинно, забористо выругался, но легче ему не стало. Он опять выругался, без всякого чувства.

Андрей добрался до простенка. Один за другим, один за другим в саду накапливались солдаты, их и в самом деле уже немало. Андрей услышал над собой, со второго этажа, резкие очереди автомата: стрелял Семен. Отсюда, снизу, бил Пилипенко. Все равно: один за другим... один за другим... их уже много, немцев...

– Кипит... тряся твоей матери... Воды! – самому себе говорил Пилипенко. Он скрежетал зубами, от злости, что ничего поделать не может.

– Валерик! – позвал Андрей. – Подбери, – показал на котелок возле Тишки-мокрые-штаны. – И воду. Живо!

Валерик схватил котелок и скрылся в коридоре. Минуты через три вернулся. Чуть было не упал у порога: пули просвистели у ног и, расщепив доски, ушли в пол.

– Гаси кожух! – бойко протянул он Пилипенко полный котелок.

Андрей взглянул на Валерика: в его глазах не было отражения страха.

Из сада бросили гранаты, две, сразу обе. Они не долетели до окна и разорвались в нескольких метрах от стены. В оконные проемы с выбитыми стеклами тянулся горячий дым. «Издали бросили, – понял Андрей. – Не подпускать близко. И не давать ходу к дверям. Пулемет, да автомат мой, да винтовка Валерика, да автоматы Семена и отделенного Поздняева наверху... Отсечем! – Он взглянул на пол. – Еще три гранаты».

Резко трещали автоматы, наведенные на окна.

– Вон! Вон! Смотрите! – Плечи Валерика подымались в такт его возгласам. – Вон у тополя! Длиннющий такой... Долбану сейчас... – Валерик щелкнул затвором винтовки и, увлеченный тем, что собирался сделать, отодвинулся от простенка. – Попаду в него. Точно, попаду!

– Прочь от окна! – гаркнул Андрей.

Валерик не успел нажать на спуск, густая дробь обсыпала оконный проем, отколовшаяся от рамы щеп

разлеталась по классу. Он выпустил из рук винтовку, и винтовка громко шлепнулась вниз, у стены.

Андрей не успел поддержать Валерика, тот рухнул на пол. На ноги Андрея брызнула яркая молодая кровь. «Куда угодило? – не мог Андрей сообразить. – Куда?..» Глаза Валерика открыты, в них по-прежнему ни страха, ни чувства опасности. Только лицо удлинилось, губы сжались, брови потемнели. Андрею показалось, что увидел на этом, уже не слабом лице и складки в уголках губ, и рубцы, врезавшиеся от крыльев носа к подбородку, – все, чего еще утром не мог себе представить. Он взял худенькую, с золотистым пушком руку Валерика, какая она стала тяжелая! Валерик плакал, слезы текли малиновые, потому что по лицу текла и кровь, крови было больше.

– Все равно долбану его, – тихо стонал Валерик. – Я его запомнил, гада. Длиннющий такой... нос крючком... – Потом – сокрушенно: – Жалко... винтовку. В магазине остались... еще... три патрона... – Он закрыл глаза, губы чуть шевельнулись: – А я из Малаховки, под Москвой... У нас там дом с садом... Мама... – Он, кажется, улыбнулся тихой, медленной улыбкой.

– Полежи смирно, Валерик, – попросил Андрей. – Сейчас перевяжут.

– Лейтенант, – раздался дрогнувший голос Пили-

пенко. – Что с ним? – Он напряженно смотрел перед собой. Плечи его двигались влево-вправо. Пулемет бил в тополя возле ограды, у тополей притаились солдаты.

Андрей видел, Куски отваливавшейся коры падали на землю. Но мысли его занимало не это. «Валерик!..» Рывком вылетел из класса.

4

– Мари-я-я! Мари-я-я!..

Крик Андрея тонул в частом треске стрельбы. Стреляли снаружи, стреляли из школы. Он ухватился за перила лестницы, кружилась голова: качался коридор, набок клонились окна впереди, и сам он будто вертелся вокруг себя. За накренившимися колоннами, у скосившихся правого и левого оконных проемов, валялись и не могли упасть Ваню и Петрусь Бульба со вскинутыми автоматами. Он подождал, пока все перед глазами встанет на место.

– Мари-я-я!

Поддерживая рукой санитарную сумку, висевшую на плече, Мария спешила на крик: девичья сила сквозила в быстрой ее фигуре. Не добежав до Андрея, подняла голову: испуганное, испуганное у нее лицо.

– С тобой что, Андрей? – смотрела на него: на ще-

ках размазана мокрая пыль, босые ноги в пятнах крови.

– Скорее. Скорее.

Она все поняла, вслед за Андреем кинулась в класс седьмой «Б».

– Валерик! – ударило в сердце, будто в груди ее уже была рана. Мария даже провела рукой по груди – возможно, увидит кровь на пальцах. – И Тиша, ой... – Она увидела их, одного, с мокрой гимнастеркой, с мокрыми штанами, у двери, другого возле окна, поперек одеяла на полу. – Валерик...

Она стояла на коленях, что-то перебирала в сумке, вынула бинт, и другой пакет, и третий. Пальцы непослушно разрывали нитку и отворачивали край бинта. Пуля пробила щеку Валерика. Пуля попала в руку. Мария головой заслонила глаза Валерика: пусть не видит своих ран. Он и не видел. Не видел кровь из щеки. А кровь выбивалась толчками, и струя увеличивалась, уже залила лицо, шею, ушла за воротник гимнастерки. Он смотрел перед собой и видел только того, длиннющего такого, с носом крючком...

– Долбану-у...

Он даже пробовал протянуть руку вперед, раненую руку, и сжал ее в кулак. Он еще боролся...

Мария торопливо бинтовала лицо, марля впитывала кровь, становилась красной. Мария наматывала,

наматывала бинт, стягивая все туже, а кровь проступала и проступала. Ничего не помогало, и Мария растерянно смотрела на Андрея.

Валерик обводил Марию, Андрея тихим, страдающим взглядом, словно понимал, это последнее, что он видит. И этого взгляда, полного мольбы о помощи, они не могли выдержать и опустили глаза.

Мария схватила наконец бинт узлом, он пришелся на затылок. Раскрыла еще пакет: бинтовать руку. Уже дернула нитку, скреплявшую пакет, и остановилась: глаза Валерика, как стекло, чистое, промытое стекло, и не просили ничего, не пугали – не смотрели. Она прикоснулась щекой к его губам – дыхания не было. Валерик мертв.

«Нет, нет, и смерть не сделала лицо Валерика взрослым, – не отводил от него взгляда Андрей. – Со всем мальчик... – Но перед ним лежал солдат, только что отдавший жизнь за всех. – Он звал мать... Чем могла она помочь ему? Ничем. Ничем. А матери так любят детей своих. Матери не зовут на помощь. Это их зовут. Как вот Валерик... Как, наверно, и я... уже не мальчик. – Она снова возле, мать, мама, бледная, улыбающаяся, но видел он только руки ее, готовые что-то делать, что-то делать – поставить перед ним тарелку, поправить загнувшийся уголок воротника, налить для него воды в ванну, расстелить постель. –

Мать всегда единственная и последняя. Матери знают, как трудно родить. А убивать легко и быстро. Это знаем мы...»

– Иди, Мария. – Андрей стоял над Валериком не сгибаясь, прямой, будто пули не могли его тронуть. Он не смотрел на Марию. Он смотрел в окно. Немцы перестали стрелять. Пилипенко тоже. – Иди.

Мария не шелохнулась, она сидела на полу, уткнув лицо в сумку: не было сил подняться.

Очередь в окно. Очередь в окно! Очередь...

Стреляли? Она поняла это, когда опасность уже миновала.

– Я что сказал! – Андрей хотел выкрикнуть это, но получилось тихо, как-то просительно.

Мария не ответила. Голова по-прежнему лежала на сумке.

Потом увидела, что у Пилипенко с плеча спускался медленный кровавый завиток, и гимнастерка, на которой пестрели белесые пятна высохшего пота и пыли, постепенно покрывалась одним мокрым цветом.

– Пиль, – сдавленно произнесла Мария. – Разве не чувствуешь, ты же ранен.

– Как это ранен? – не представлял он себе. – Отойди, – сердито качнул головой. Он не спускал глаз с сада. – Отойди. Не мешай.

Может быть, вспомнились ей слова, сказанные ему,

когда в болоте перевязывала Антонова?.. Она тоже делала тогда свое дело и требовала отойти, не мешать ей. Он весь там, в саду, откуда надвигается гибель. Но он же ранен, Пиль...

– Пиль... – просила она.

– Перевязать, – приказал Андрей.

Пилипенко, не отрывая глаз от окна, хоть немцы и прекратили стрельбу, наклонил плечо к Марии. Она выпростала его руку из рукава гимнастерки и стала бинтовать.

Минут десять, больше, было тихо. Обманутые наступившей тишиной, два воробья вспорхнули на окно. Мария видела, как, вытянув клюв набок, спокойно перебирали они перышки на крыльях. Потом трахнул автомат. Воробьи выпрямили свои плоские головки, удивленно прислушиваясь, и разом метнулись в небо, как бы спрятались в нем.

Строчка оборвалась.

Андрей опять увидел свои сапоги у парты, один сапог свалился, голенище в пулевых дырках. Натянул сапоги, почувствовал себя лучше.

– Идем.

Мария тяжело поднялась.

Вышли в коридор.

Немцы опять открыли стрельбу, со двора, с огорода: ясно, пробивались к черному ходу.

– Марийка! – окликнул Марию Семен. Она быстро оглянулась. Семен стоял у лестницы, тяжелыми глазами смотрел на нее, но казалось, ничего не видел. – Марийка...

– Я, товарищ политрук. – Липкими от крови пальцами откинула Мария выбившиеся из-под берета волосы.

– Отделенный ранен. Поздняев. Наверху. – Семен склонил голову. – И Ваню ранен. Еле стоит. А стоит. Стреляет. Помоги, Марийка, – снова смотрел он на нее. Постучал ладонью по карману гимнастерки, так делал он, когда хотел достать папиросы. Карман был пуст.

– Марийка, живее! – поторапливал ее Андрей. – Дела теперь у тебя будет много. Живее! – Он повернулся, пошел к колоннам у главного входа.

Семен тоже кинулся, наверх, на второй этаж.

Мария терялась: куда бежать? «К отделенному? Или сперва к Ваню?..» Она бросилась туда, где стоял Ваню, она видела, как, припадая на одну ногу, яростно водил он автоматом у правого окна.

– Ваню, подожди, – попросила, – я наложу бинт. Легче будет, Ваню...

– Как – подожди?.. Как – подожди?.. – Он даже не повернул голову в ее сторону. – Уйди, уйди!.. Уйди, зацепит!..

Она успела отклониться от разбитого окна, и пули со свистом ударились в колонну. Все же перевязала ногу Ваню. И взбежала на второй этаж – помочь отделенному.

Устало держась за перила лестницы, спускалась вниз. Она услышала задыхавшийся голос. Роман Харитонович? Он спешил ей навстречу. Сутулый, казалось, что он неестественно согнулся. Пули нет-нет, а просвистит в коридоре. И Андрей со вскинутым автоматом подбежал к лестничной площадке.

– Что, Роман Харитонович? – взволнованно выкрикнул Андрей. – Что?..

– Сестра... Товарищ лейтенант... Только что, вот сейчас, пуля. Там он. У окна лежит.

И спотыкающимся шагом Роман Харитонович отправился обратно.

«Шишарев, – понял Андрей. – Шишарева сбили. Может, не очень? Может, еще сумеет? Нельзя, чтоб торцовое окно без оружия...»

– Пошли, Мария, пошли!

Шишарев конвульсивно поджимал колени, заставлял себя приподняться на локтях, он стонал, то громко, то подвывая, словно сил не хватало на крик.

– Убили, – увидел он Андрея. Он увидел и Марию: – Меня убили, повторил. Он собирался еще что-то сказать, губы кривились, дергались и ни звука не могли

произнести. Потом попробовал объяснить то, что хотел сказать, жестом, но и это не получалось.

Каска с головы свалилась, как ни силился, не удалось ее достать, и он руками обхватил голову, защищая ее от пуль. Но сюда уже не стреляли, немцы перенесли огонь в середину коридора.

Мария увидела, куда Шишарев был ранен.

– Сейчас... миленький... сейчас... – Она опустилась на пол. Андрей помог положить голову Шишарева ей на колени. – Сейчас, миленький... Пальцы ее двигались мягко и быстро.

Шишарев скрежетал зубами. Судорога схватывала горло, сводила челюсти. Он умирал, это было ясно. Он задыхался. Опять застонал. Стонал долго, мучительно. Ему самому было бы лучше, если б умер скорей. Но он жил, стонал, скрежетал зубами. Он никак не мог умереть.

Он жил еще несколько минут. Потом умер. Он умер раньше, чем Мария успела перевязать его голову. Только что дышал он, говорил, боялся, значит, надеялся. И вот, он ничего не боится, совершенно не боится, он спокойно подставил голову под пули и руки с головы убрал. От Шишарева, колхозного пекаря Шишарева, показалось Андрею, еще пахло мукой.

– Роман Харитонович, возьмите автомат Шишарева. Придется вам вместо него. Здесь, у окна.

– Нет.

Андрей изумленно вскинул на него глаза.

– Это оружие мне не знакомо, – потупленно смотрел Роман Харитонович в пол. – В мою войну его не было. Мне трехлинейку.

Андрей не видел выражения лица Романа Харитоновича, лицо его было в полумраке.

Солнце оставило школу, и в разбитые окна вползли рыхлые вечерние тени и легли на пол. На задней стене под потолком тускнел последний свет, три другие стены уже посинели, стали холодными.

День кончился.

5

Немцы, похоже, прекратили осаду. Ни одного выстрела. Стало так тихо, что слышны были чьи-то шаги в самом конце коридора. Сделали немцы передышку? Подтягивают силы? Или ушли? Все может быть. И то, и другое, и третье. Нет, третьего не может быть. «Немцы полагают, что мы представляем нечто важное для них, – усмехнулся Андрей. Он потер переносицу. – Иначе к чему б запал этот. Дурачье! – сплюнул зло. – Убить роту не значит убить советский народ. Дурачье...» Слишком многое, невозможное, понадобится для этого. Надо взять тысячу городов, тысячу

тысяч деревень, еще больше домов, и вот эту школу... Но школу германская армия возьмет, лишь когда убьют учителя Андрея, одетого в форму защитного цвета с лейтенантскими кубиками в петлицах, и директора этой школы Романа Харитоновича, и политрука Семена, всех, остатки роты.

Андрей беспокоился, не воспользовались бы немцы темнотой и не прорвались к входам. Днем, при свете, другое дело, им не давали выйти из сада, не выпускали из подсобных строений на дворе. А вечером, ночью, как увидеть?..

– На этот раз, Семен, ночь против нас. Она в помощь немцам.

– Придется напоминать, что бодрствуем, – сказал Семен. – Очередышко то тут, то там, и гранатку в сад и туда, на огородную сторону. Другой стратегии не придумаем. Не будем унывать.

Андрей молчал.

– Продержимся до полной темноты и попробуем рвануть отсюда, произнес Семен. – Может быть, прорвемся.

– Единственный выход. Единственная возможность. Потому что утром с нами будет покончено.

«Утром кончатся патроны, кончатся гранаты, умрут раненые, которые сейчас еще как-то в состоянии стрелять, и всё», – размышлял Андрей.

– До темноты продержимся. – В этом он не сомневался. – Давай наверх. А я тут...

Андрей вошел в класс, седьмой «Б».

– Пиль.

– Я. – Тон Пилипенко огорченный. – Лент уже в обрез. Верно, товарищ лейтенант, трохи погорячился. По моей горячности, мне, должно, не воевать, а по Дерibasовской с девками шаландаться.

– Ладно. Одно другому не мешает.

– А плечо дергает, трясця его матери, – почти равнодушно сказал Пилипенко. – Как перевязала, так и пошло. Перевязывать бы не надо.

– Пиль. Время от времени пускай очередь. Для острастки.

Андрей снова вышел в коридор. Темнота, прочная, густая, заполняла все, и он медленно пробирался сквозь нее. Он услышал голос Петруся Бульбы:

– Патроны кончились. Сянский! Мотай за патронами.

– А у кого взять?

– А все равно. У кого возьмешь, у того и взять.

Сянский уже в конце коридора, возле Данилы.

– Патроны? – по привычке проворчал Данила. – Кому? Бульбе? А! вспомнил, что у Петруся Бульбы автомат, тот, что Пилипенко и Ваню отобрали у гауптмана возле домика дорожного мастера. – На! Бери. Рассып-

ные. Сам магазин набьешь. Мне б, голуба, за патроны подымить принес. Махры... Данила чуть высунул кончик языка и, жмурясь, мысленно склеивал свернутую сигарку. – Одну б затяжку... А то, хоч пуля, хоч бомба, а усну.

И верно, сколько люди уже без сна. – Андрей не двигался с места. Короткая передышка минувшей ночью в лесной сторожке, и только. Он и сам чувствовал, что тело наполовину убито, оно не в состоянии выполнить то, что приказывает сознание, оно требует воды, требует хлеба, требует сна, особенно сна.

Глаза Андрея смежились, на несколько секунд все выключилось, школа тоже, он рухнул в пустоту. Он открыл глаза, и понял, что спал несколько секунд. Его разбудила жажда. Ему давно хотелось пить. Очень хотелось пить. Все в нем высохло. Он знал, жажда терзала всех. Оба бачка – в коридоре и в комнате Романа Харитоновича – пусты. И фляги пусты. Он вспомнил, пуля пробила флягу на боку Петруся Бульбы, и Петрусь жадно приложил ее к губам, пальцами прижал дырки, чтоб и капля не стекла на пол. Андрей опять прикрыл глаза, вместе с Петрусем высасывал сейчас из пробитой пулей фляги каплю за каплей. Он ощутил прохладный, живительный вкус воды и втягивал, втягивал ее в себя, она не утоляла жажды – пить бы, пить, без передышки, без конца. Очень хотелось пить.

Он чуть не застонал.

Он стал думать о том, как будет выбираться отсюда. Ясности не было. Сильное желание, чтоб это произошло, вызывало надежды, и он видел себя уже за пределами школы. В голове был лес, тот, что за школой, большой, спасительный лес, и родники, прежде всего родники, родники, полные булькающей воды, и огороды у околиц селения, где можно выбрать картошку, свеклу, морковь, петрушку, что угодно, лишь бы грызть...

Легкий стон Ваню вывел Андрея из состояния какой-то отрешенности от реального. Он стоял у колонны, позади Петруся Бульбы и Ваню.

– Ваню, дружище, – нашел Андрей в темноте его плечо. – Держись, а?

– Хочешь – не хочешь, слушай, а держись. – Голос Ваню рваный, осекающийся.

– Ваню, дружище... – Что еще сказать? Андрей не знал, что сказать. Что можно в его положении сказать? – Ваню, мне очень тяжело, – вырвалось. И странно, сказав это, он почувствовал небольшое облегчение, будто именно эти слова и мешали ему, и угнетали, и лишали сил, и он освободился от них. – Не все потеряно, Ваню. Обведем немцев, выберемся отсюда.

– Лейтенант! Андрей! – Андрей повернулся на зов.

Семен искал его.

– Я!

Андрей услышал, Семен подошел.

– Ни черта не видно, – негромко сердился Семен. – Послушай, Андрей, немцы притихли, наверное, укрылись где-нибудь, дрыхнут.

– Дрыхнут? Возможно. Так работа какая же была у них! Измотались. Сил-то надо набраться на утро.

– Нам не о них заботиться, – о себе.

– Забочусь, Семен: стреляю. Пока есть чем стрелять. А когда не будет, тогда...

– Тогда будет поздно. Надо что-то предпринимать. Если б знал Андрей, что предпринять!

И, словно отвечая на мысль Андрея, Семен сказал:

– В нашем положении – вечер утра мудреней. Пока немцы дрыхнут или что, будем выбирать. Давай так: я выхожу первым. Вместе с кем? С Данилой, скажем. Ждете минут десять. Если обойдется спокойно, осторожно выбираетесь. И – к лесу. Ничего другого не вижу. Надо рискнуть. Может, и получится.

Андрей молчал, думал.

– Уж дозор немцы непременно оставили, – произнес наконец. Наткнешься на него, и – переполох. Опять начнется пальба.

– Дозор! Ну да. Дозор оставили. Не взвод, не отделение же. А у Данилы кинжал. Одного если, уберем

запросто. А если двое, свалим и второго.

– Гладко, – вздохнул Андрей.

– Какое там – гладко!

– А если отвлечь немцев огнем с другой, противоположной стороны школы?

– Давай втихую.

– Попробуем. Роман Харитонович!

Неторопливые, шаркающие шаги.

– Слушаю вас.

– Будем уходить, – сказал Андрей.

– Надеюсь, и я с вами?

– Да.

– Слушаю вас.

– Посоветуйте, через какой ход? Правый? Левый?

И куда подаваться, когда выйдем за порог.

В тишине слышалось дыхание Романа Харитоновича.

– Левая дверь, – сказал он наконец. – Несколько шагов, и по тропинке вниз, под взгорье. Потом не прямо, как вы шли сюда из рощи, а влево. Сельский базар, я говорил вам, останется в стороне, сразу выйдем в овражистую долину. А там и лес.

Все молчали.

– Быстро и тихо разбирать парты у левого входа, – приказал Андрей. Собраться здесь. Оружие, боеприпасы с собой. Бульба, поможешь Ваню. Саша, быстро

за Полянцевым! Никакой возни. Полная тишина. Все ясно?

У двери разбирали парты. Потом вытащили из ручки лом.

Выход свободен.

– Я пошел, – твердый голос Семена. – Через десять минут, когда станет вам ясно, что мы прошли, трогайтесь. Данила?

– Тут.

Никто не услышал, как открылась дверь, как выбрались Семен и Данила. Все учащенно дышали, и каждый слышал дыхание другого.

Андрей почувствовал боль в висках – перед глазами поплыли круги. Он считал секунды, раз, два, три, четыре, пять, шесть... Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре... Тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три... Еще и минуты не прошло. Пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть... Сердце билось в тот же счет: пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять. Минута. Наконец, минута. Он взглянул на часы: минута. Начинаясь вторая минута. Раз, два, три, четыре... Как медленно все, как долго!.. Девять, десять, одиннадцать... Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать...

Слава богу, тихо. Неужели прошли? Прошли. По-

ка прошли. А не пройдут если?.. Переход от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде требует напряжения. Требует нервов. Он снова посмотрел на часы: еще две минуты, немного больше. Идут... Идут, идут... Пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь... Оказывается, он продолжал считать секунды, уже не замечая этого. Шесть минут! Шесть минут. Прошли, прошли... Не хватало терпения прожить эти четыре оставшиеся минуты. Андрей был на краю жизни, на краю дыхания, на краю спасения.

– Приготовиться! – шепнул. Он знал, все ждали этого его слова. Он не отнимал часов от глаз: семь, во семь минут. Прошли! Теперь уж точно прошли! – Приготовиться!

Граната грохнула ужасающе отчетливо, ужасающе неожиданно. В мгновенном свете видно было, как пошатнулись тополя возле ограды, и ограда, и подсобные строения перед самыми оконными проемами, и колонны в коридоре, у главного входа. Сердце, почувствовал Андрей, остановилось, оно уже не отсчитывало секунды. Все у него опустилось внутри.

В темноте из-за тополей сверкнули огоньки выстрелов. С разных сторон затрещали автоматы.

– Пилипенко! Пулемет! Все на свои боевые места! За дверью, из глубины ночного мрака слышался шорох и глухой, надсадный голос:

– Я... я... Данила...

Данила вполз в коридор, еле поднялся на колени, сказал:

– Накрылись...

– Семен? – Ни нотки надежды в сдавленном голосе Андрея.

– Подорвал себя. Гранатой. – Данила все еще стоял на коленях, не хватало сил встать на внезапно отяжелевшие ноги. Он трудно дышал. Дозорного я приколос. – Вобрал воздух. – Кинжал и остался в ем. – Выпустил воздух. – Крик, сволочь, поднял. – Опять перевел дыхание. – А тут фрицы!.. – Он задыхался. – Я было на помощь политруку, – остановился, умолк. – А политрук: «Назад! Предупреди!» И ахнул гранату там, где стоял. Он свалился. И гитлеровцев повалилось сколько! Вспых такой был, все я видел. Я отползать...

– Парты! Парты! – И Андрей кинулся вместе с другими нагромождать парты у двери. Данила поднялся, шатаясь, тоже подталкивал парты к входу.

На дворе – крики, кто-то что-то приказывал. Застучали немецкие автоматы. В оконные переплеты ринулись трассирующие пули.

Ад начинался сызнова.

Глава шестнадцатая

1

Потом немцы притихли. Раза два выкрикнули:
– Рус! Дуррак... Бросай. Выходи!..

Все стихло.

Было слишком тихо – ни говора, ни шагов, ни ветра в коридоре с расщепленными рамами. Недобрая тишина, все в ней настораживало. У проемов окон в продольных стенах и в торцовых, возле главного входа, как и у черных ходов, навалены парты, только щели оставлены, вести чтоб огонь. Люди на месте. Сон не вывалил бы у них оружие из рук...

Андрей находился на той грани усталости, за которой возможна только смерть. Даже автомат на плече – тяжесть, граната на ремне – тяжесть. И голова тяжелая, ее не удержать на плечах, она и склонялась на грудь. Но спать уже не хотелось. Пить тоже.

«Ну, будем обороняться, пока хоть один из нас останется в живых. Но отсюда же не уйти, гибель». И припомнилось Андрею, как был он уверен, если переживет переправу на другой берег, ничего уже не будет

страшно, ничего худшего не будет... До чего слаб человек! И в голову не приходило, что возможна и школа, вот эта... Что может быть еще хуже? Надеяться было не на что, в этом он не сомневался. И все-таки, все-таки... Не бывает же вовсе безвыходных положений. Странно, даже смерть в лицо не может перечеркнуть надежду. «В наших силах жить, умереть не в наших силах: человек не в состоянии покорно принимать смерть!» И Андрей понимал, от него ждали, от него требовали – найти выход. Армия дала ему права, которыми наделен только бог: вести, приказывать, посылать на смерть, если сочтет, что так нужно. И он обязан, что бы ни было, вывести роту. В самом деле, почему непременно умирать, когда не надо умирать. Умирать, собственно, никогда не надо, к смерти нельзя привыкнуть, сколько бы раз ни видел ее в глаза. Смерть – это такое, что и не выразить. Когда человек ищет надежду там, где ее нет и быть не может, он вступает в разлад с логикой, обманывает себя. И знает, что обманывает, и хочет этого. Потому что боится, как только все встанет на свое место, он увидит истинное положение вещей. И тогда он погиб.

«А если выхода нет? Нет выхода? – мысленно говорил он всем. – Понять это – значит легче примириться с концом. Раз нет... Надо смотреть правде в глаза».

Что есть правда? В этой обстановке все может вы-

глядеть неправдой. Разве это возможно – почти двое суток без сна? Разве это возможно столько без воды? Разве возможно – горстке бойцов выдерживать такой огонь? Оказывается, возможно. Возможно, возможно...

Андрей опять подумал, разбитая рота противостоит Гудериану, Рейхену, Гитлеру. Когда-нибудь узнают об этом, нельзя же такое не узнать, не сомневался Андрей.

Тихо, тихо. Ни звука нигде. Многих уже нет. Кто еще остался? Ваню остался. Петрусь остался, Пиль, Пиль остался, отделенный остался, остался Саша, Данила остался, Роман Харитонович остался, и Сянский... Он не стал думать, кто не остался, это заберет последние силы.

Он нашел Марию. На нижней ступеньке лестницы. – Андрей, – потянулась к нему. – Я боялась тебе мешать. Я знала, когда сможешь, придешь ко мне. Ты пришел... – услышал он ее мягкий всхлип. Она высвободилась от страха, от горя, от всего, что тревожило, мучило ее. – Посиди немного, хорошо?

Андрей сел рядом. Мария положила голову ему на колени.

Молчали. Было тихо, темно было.

Оба теперь боялись света, боялись утра. Утро будет страшное, знали они.

– Доживем до завтра, – сказал Андрей.

– До завтра? – подняла Мария голову с его колен. –

Завтра – это уже сегодня, Андрей.

– Да. Четыре часа, – посмотрел Андрей на часы с лунными стрелками. Ночь прошла. И не заметил.

«Четыре. Жаль, уже четыре. До рассвета, следовательно, осталось немного. Час. Ну с половиной. Еще б часа три темноты». Этим, как-никак, могла б вознаградить его судьба. За все. Не вознаградил.

Голова Марии опять лежала у него на коленях.

– Знаешь, Андрей, я теперь все время чувствую сердце, – говорила она. – Оно стучит, оно стучит.

Андрей ничего не сказал. Он коснулся ее волос, пахнувших пылью.

– Я слишком слабая для этой войны, – вполголоса говорила Мария. Если я не выдержу, ты поможешь мне, Андрей? И тогда я выдержу, непременно выдержу!

– В этом помогать тебе не надо. – Андрей провел пальцами по ее щеке. Щека была мокрой. – Гордый все выдержит. Ты молодец, ты гордая.

– Знаешь, Андрей, мне не умереть страшно. Мне страшно, что ты уйдешь раньше, пусть на минуту, чем умру я. Вот эта минута и есть самое страшное.

Она прожила восемнадцать, и вот эту ночь, подумал Андрей. Он прожил двадцать два, и вот эту ночь.

Они проживут еще несколько часов, утренних. Уходить из жизни ночью, когда и мира нет вокруг, уже совсем несправедливо. Осталось несколько часов. И они проживут их вместе.

– Ты уже не девочка, Мария. – Андрей вытер пальцами слезы на ее щеке. – Ты прожила очень большую жизнь, целую ночь, вот эту.

– Я не сразу улавливаю то, что ты говоришь, Андрей. Это придет потом, позже.

Андрей почувствовал режущий комок в горле: она еще рассчитывает на «потом», на «позже»!..

Он притянул ее к груди. От резкого движения в плечо что-то ударило, будто пуля снова вошла. Он прижал к себе Марию, всю, всю, и тень ее, прикрытую темнотой, и имя ее, и дыхание, и мысли, всю! И то, что могло у них сбыться, но уже не сбудется, тоже. В нем пробудилась сила, которую уже и не подозревал в себе. Откуда ей быть в его истерзанном теле, в его сердце, в нем, казалось, ничего уже не было. Кроме ненависти, которой можно и камни испепелить, ненависти к тем, кто с оружием ступил на его землю и привел его сюда, в осажденную школу.

Мария притиснулась к нему, будто обрела, наконец, успокоение. Нет, нет, жизнь ее не ушла, как вода в песок, она получила все, чего можно желать и чего, случается, не получить, прожив и сто лет. «Спасибо те-

бе, судьба! Большого мне и не надо...» Столько думала она раньше о любви, понимала и не понимала – что это. Этого и понять нельзя, пока не тронет оно сердца. Чувство, ее охватившее, захлестнуло все, и – ни времени, ни пространства. Ничего не было, только Андрей и она. Немцы за стенами уже не так страшны, ей-богу! Она задышалась, слишком много вобрала в себя воздуха, воздух переполнял ее, заставил закрыть глаза, она задышалась.

– Андрей... – шепнули губы в самое ухо Андрея, словно боялась, что там, за стенами, могли ее услышать.

– Марийка... Марийка...

Андрей напряг все силы свои, горячие, в самом деле, последние. Почудилось ему: он и она оставили школу, и шли по лесу, и встречали утро. Если это и не так, все равно, сегодня они еще увидят, как светает, и он сжимал ее, сжимал, словно боялся выпустить и потерять...

И она тоже боялась, что потеряет его, если не обхватит шею, если выпустит из рук живое, быстро и жарко дышавшее тело. И пресеклось дыхание, какая-то тяжесть сдавила ее, она все сжигала у нее внутри. Никогда раньше не знала она этого, не предполагала такого.

Его охватила радость, самая большая радость, ко-

тору он когда-либо испытал, и радость эта выпала ему в последние часы его жизни.

Она все еще задыхалась, все еще длилось счастье, которое в последние часы подарила ей жизнь.

2

Так и есть. Началось.

Андрей услышал: тупо ухнуло. Он узнал это уханье: миномет. «Подтянули миномет. Плохо. Совсем плохо». Осколки мины врезались в потолок, в стены, густо посыпалась штукатурка, горячая пыль висела над головой и не оседала минуты три: миномет ухнул еще раз.

Известковая пыль улеглась, и на полу, как петли, выделялись следы ног. Потом следы, много следов, смешались и уже были незаметны. Еще удар, показалось, слишком сильный, Андрей упал навзничь. Вместе с осколками по коридору разлетались красные крошки кирпича, красная пыль, словно кровь раненых стен. На полу громоздились вывалившиеся, раздробленные кирпичи.

«Где Мария? Где?..» – протирает Андрей запорошенные пылью глаза. Он увидел ее у лестницы, успокоился. У лестницы было пока безопасней, чем в коридоре, чем в классах.

Андрей поспешно направился к главному входу: Ваню, Петрусь Бульба на месте. Оттуда – к левому торцовому окну. Данила тоже на месте. Саша с автоматом поглядывал в окна продольной стены коридора. «Ну да. Винтовку отдал Роману Харитоновичу и взял автомат, который был у Шишарева». Роман Харитонович держал винтовку свободно, как, наверно, держал указку, стоя у географической карты, он преподавал же географию.

Страха, заметил Андрей, никто не испытывал. Выхода другого не было, только отвага. Никто уже не способен испытывать страх. Никто не проявлял нетерпенья, казалось, что и не представляли себе, что такое нетерпенье, они привыкли к ночному холоду, к жажде, к неутоленному желанию спать, есть. У них уже не было надежды уйти отсюда, ничего не было, кроме необходимости и обязанности стрелять. Стрелять в немцев, убивавших их. И они стреляли. Они стреляли. Они делали дело и сознавали, что надо его делать, потому что не сделать нельзя.

«А Сянский? – Сянского нигде не было. – Сянский?» – искал глазами Андрей.

– Сянский! Черт тебя дери!

– Я...

Сянский появился из комнаты Романа Харитоновича. Остановился перед Андреем. Ноги тряслись, руки

тряслись, губы дрожали.

– Что с тобой?

– Ничего...

Сянский совершенно растерян. Он прикусил губу, обхватил руками голову. А ноги тряслись, ноги тряслись.

– Наступи одной ногой на другую, и кончится эта мерзкая тряска, разъярился Андрей. – Слышишь?

– А-а. Слышу.

– Винтовка где?

– Там... – наклоном головы показал Сянский на комнату Романа Харитоновича.

– Немедленно вернись. И возьми ее!

– Вернусь... вернусь... А-а, возьму... возьму...

«А Полянцев? Полянцев?.. – Андрей вспомнил: – Опять наверху».

Немцы перестали стрелять. Пауза. Андрей опять подумал о Марии. Теперь, после минувшей ночи, мысли его, чувства были окончательно связаны с нею, с ее судьбой. Она здесь, Мария, рядом с ним, этого уже достаточно, чтоб нервы как-то справлялись с тем, чего в нормальной обстановке выдержать нельзя. Пауза продолжалась. Андрей понимал, что-то еще, более губительное, замышляют немцы.

В раскрытую дверь седьмого «Б» он увидел спину Пилипенко.

– Пиль. – И как тогда, когда подошел к раненому, едва державшемуся на ногах Ваню, не знал, что сказать, только сжимал автомат. Пилипенко обернулся, в глазах, будто затянутых туманом, спокойных, может быть безразличных, нет ожидания, что скажет лейтенант, словно все ему было ясно наперед, до самого конца, и что бы тот ни сказал, ничего не изменится. Широкие руки, красные, как бы только что с морозной работы, держали ручки пулемета. Запыленная известкой рана на плече выглядела грязным пятном.

За окнами, между яблонями, перемещались тени солдат, самих солдат не было видно. Не стрелять же по теням. И Пилипенко не стрелял. Там, под стеной, краешком глаза заметил Андрей, лежала винтовка Валерика, брезентовый ремень змеисто свернулся в восьмерку. «Три патрона остались в магазине», – вспомнилось.

Опять ухнул миномет. Потом, увидел Андрей в раме разбитого окна, немцы перебежками понеслись к главному входу. Андрей схватил гранату, одну из трех, лежавших у простенка, рука дрожала и не могла вставить запал в гнездо. Вставил! Выдернул предохранительную чеку. Взрыв! У самых ступеней.

– Пиль! Веди огонь! – выкрикнул Андрей. И выскочил в коридор. На ходу зачем-то еще раз крикнул: – Пиль!..

Но Пилипенко не услышал, он стрелял в немцев, все еще рвавшихся к главному ходу.

Андрей подбежал к колоннам.

Беда: упал Петрусь Бульба!

– Петрусь!!

Только стон в ответ.

Андрей уже стоял на месте Петруся Бульбы и водил автомат справа-налево, слева-направо, еще раз справа-налево: веер, веер... Диск пуст! А немцы лезут...

– Ваню! Ваню! – волновался Андрей. – Смотри! Смотри!..

Но Ваню бил, он бил по переползавшим между деревьями немцам. Трое, пятеро? Больше... Еще вон трое, еще... Ваню бил, бил!

Теперь умолк и его автомат. Ваню видел: немцы поднимаются!..

Андрей успел снять пустой диск и вставить заряженный. Не поднимутся немцы!..

Мария подобралась к Петрусью Бульбе. Он дернул головой, еще раз.

– Не шевелись! Не шевелись!

Он, наверное, и не слышал ее. Теперь он вытянул ноги, потом подогнул их, снова вытянул. Боль скрутила его, заставила сцепить зубы, что-то еще сделала.

– Не шевелись...

В голом окне, сквозь проступавший рассвет, уже виднелся синевший сад, и синевшие толстые тополя возле ограды, и небо посиневшее, скорее фиолетовое, и все это было безучастно к тому, что здесь происходило, словно сад, тополя, небо не причастны к жизни. Жизнь – только они, вконец изнуренные, полумертвые люди.

Напрягаясь, через силу, волокла Мария Петруся Бульбу к лестнице, тело его, тяжелое, потеряло упругость. Втащила на ступени. И когда выпустила из рук, поняла: делать ей нечего. Все в нем было убито – осколок мины пробил лоб, у левого виска, и со лба спускалась красная струйка; известковая пыль садилась на рану, и кровь стала бурой, потом черной. Только открытые глаза, в которых остановилось выражение боли, только глаза на мертвом лице были как бы живые.

Мария взобралась на середину лестницы.

На верхней площадке, упираясь ногами в ступеньку, сидел отделенный Поздняев. Теперь не только гимнастерка разодрана, и брюки разодраны, и виднелось грязное белье. Четверть часа назад он был ранен второй раз, пуля попала в бок. Он раскачивался из стороны в сторону, умеряя боль. В том месте, на ступеньке, где он сидел, налилась лужица крови, и он передвинулся, но вскоре и там появилось красное мокрое

пятно. И он больше никуда не передвигался, сидел, тупо наклонив голову.

Мария слышала его тихий, глухой стон. Стон этот ничего не просил, даже воды.

– Ничего, миленький, – голосом матери, которая ничем не может помочь, произнесла Мария, глядя на отделенного. – Пуля вошла не глубоко. Было б чем, и я б вынула.

Отсюда, сверху, видно, что делается внизу. У правого окна, чуть отставив раненую ногу, отклонившись к простенку, в нескольких шагах от Андрея, по-прежнему стоял Ваню. Он не сводил глаз с сада за окном. Немцев на виду не было, но они рядом. Все дело в том, кто кого выследит и кто первый ударит. Ваню должен ударить первым. И он ударил.

– Вон сколько, да? Вон за теми яблонями прячутся! Вон они, да?.. запальчиво, самому себе выкрикивал Ваню, словно желал удостовериться, что не ошибся. – Давай! Давай!

Очередь! Короткая. У ног Ваню пустые расстрелянные магазины, один магазин с патронами торчал из кармана.

Ваню выдернул из автомата опустевший магазин, извлек из кармана тот, полный. Магазин дрожал в руках Ваню, и он не мог попасть в паз. Наконец, всё на месте. Всё! Он готов стрелять.

Мария отвернула от Ваню глаза, снова взглянула на отделенного. Отделенный Поздняев сидел теперь неподвижно, по-прежнему опустив голову. Мария заметила, повязка на боку у него сместилась, и уже было поднялась на две ступеньки, чтоб поправить ее, но в эту минуту услышала стук под собой, внизу, и увидела: Ваню, выронив автомат, схватился за живот и, подгибая ноги, повалился. Бегом спустилась она с лестницы.

Ваню трудно посмотрел перед собой: сестра, Мария?..

– Я сам.

Он пробовал встать на колени, упал. Он не чувствовал, откуда исходила боль.

– Я сам, – повторил хрипло. И смежил веки.

Ваню глубоко вдохнул в себя воздух, это тоже причинило боль. С усилием открыл глаза, ничего не увидел, и оттого, показалось, боль еще крепче ударила. Боль была во всем, ничто ей уже не сопротивлялось, и он устало примирился с этим.

Он пополз. Он загребал локтями, ноги неуклюже волочились. Он испытывал опустошающую усталость.

Ваню обернулся: кто там, у окон, вместо него, вместо Петруся? Лейтенант? Один лейтенант? Пиля бы еще... С пулеметом. Пиль молодец. Пиль – это дело. Мысль путано вертелась вокруг этого, сознание ниче-

го другого не постигало. Он очень устал, пока прополз метра три-четыре. Он заметил след крови за собой. Но не было желания посмотреть, откуда у него кровь.

– Ваню, миленький... Дай я тебя подтяну на лестницу. Легче перевязывать там. Ты понял?

Ваню почувствовал, что совсем ослабел, потерял всю силу, и понимал, еще час назад, полчаса, четверть часа, пять минут, мог с раненой ногой добраться и до леса, о котором вчера столько разговору было, а сейчас не может повернуться с боку на бок.

– Подтягивай, – согласился он.

Мария ухватила Ваню за руки. Полная гимнастерка крови, – испугалась она. Она приподняла его, и кровь из-под гимнастерки хлынула ей на сапоги. Вот уже и лестница. Втащила его на ступеньку, еще на одну, еще на две. Голова Ваню тупо ударялась о каждую ступеньку, и каждый раз Мария вскрикивала: «Ой!» Словно это она испытывала боль от ударов. Хватит! Выше не надо.

Ваню выплюнул сгусток крови и темным языком облизал губы. «И в грудь попало, – догадалась Мария. – Ранен в грудь».

Она увидела, у Ваню перебиты обе ноги. Ваню и сам увидел это. Ноги были недвижны, они были мертвы. Но весь он не мертв, понимал он, слабые проблески сознания еще связывали его с жизнью, отодвигали от

него то, что мешало жить, весь он не был мертв – голова была жива, потому что воспринимала боль и облегчение.

Мария осторожно сняла с него сапоги, подвернула штанины.

Вано не сводил с нее глаз, и – ни стона. «Боже, – схватывали ее глаза. – Столько ранений! Три, четыре, пять, шесть осколков в ногах. Семь, восемь... Сплошная рана. Девять, десять, одиннадцать... Эти в грудь». Достаточно, чтоб умереть. Мария не знала, что делать. Бинты? Ничего это не даст.

Вано заметил растерянность Марии. «Ладно, – мысленно успокаивал Марию, успокаивал себя. – Конечно, ранение не пустяковое. А все ж обойдется...» Он вздремнет минуту. Он вздремнет минуту, и легче станет. У Петруся, у того – да, – увидел недвижного Петруся Бульбу, навзничь лежавшего повыше, ступеньки на три. Жаль Петруся. Хороший человек. А может, и он отойдет. Всякое же бывает, – устало и примиренно пронеслось в голове. Он видел, по ступенькам вниз текли из-под него змейки крови, его кровь, и это расслабило его. «Ничего, слушай, кровь опять наберется. Кончилось бы все это...»

Мария страдала: «Вано, Вано, миленький... Что же мне делать с тобой?..»

Ничего уже не нужно было делать. Лицо его темне-

ло, будто уже не лицо было, а тень лица. Ваню умер. Мария поняла это, когда подсовывала под его голову пилотку, чтоб не так жестко было голове. Рот Ваню ожесточенно искривлен, скулы напряжены – даже смерть не принесла ему успокоения.

Мария так и не могла постичь этого простого способа исчезновения. Сейчас вот Ваню кричал: «Давай! Давай!..», а теперь и рта не раскроет, чтоб попросить удобней положить его. Он лежал, приземистый, с крутой горбинкой на носу, с двумя хвостиками-усиками, лихими, смешными такими, и невозможно подумать, что его нет. Вот он, вот!..

Кровь Ваню, кровь Петруся Бульбы стекала на ступеньки, на пол, струйки соединялись, ширились, ширились и стали одной большой струей общей их крови, она не чернела, она была густо-красной на свету.

3

С лестницы видно было солнце, оно висело на вершине самого высокого тополя у ограды. Утро было светлое, утро было темное, утро убивало людей, утро внушало надежду.

Нет, надежды не было.

Неужели утро с солнцем на голове может быть таким жестоким? Может. Оказывается, может, ужасну-

лась Мария.

За стенами был мир: небо, которое раньше принадлежало ей, было ее собственностью, солнце, деревья, трава, воздух, все всегда было ее собственностью, сейчас у нее ничего не было, кроме ее жизни, которая мало что значила. Все, что сейчас ее окружало, отвергало этот мир. Он не сулил спасения. Мир во всей своей силе и красоте катился к черту на рога!

И еще видна была там, за окном, кошка, белая, будто схваченная светом утра, кошка подходила к каменным ступеням школы, вдруг отпрянула и скрылась в саду. Мария завидовала кошке, ее свободе.

Опять, опять. Автоматы, оттуда. Миномет, удар, граната, вторая. В неопавшем дыму, как в тумане, ничего не разглядеть. Автоматы, миномет, граната, вторая. И снова, и снова. С ума можно сойти! «Умереть один раз, наверное, легче, чем умирать каждый раз, оживать и ждать смерти», сжималось у Марии сердце. Такое никогда не сможет стать воспоминанием вечная боль, вечная боль.

Граната разорвалась на лестнице. Бах-х-х! Только и услышала.

Отделенный, Поздняев, сшибленный гранатой, скатился головой вниз, накрыл Петруся Бульбу, Ваню, свалившихся на мгновение раньше, и Марию тоже. Отделенный лежал, подвернув ногу, на красной от

крови нижней площадке лестницы: половина лица – темная, в тени, а другая половина в свету, – на свету лучше виделась кровь, покрывшая все лицо отделенного.

Мария выбралась из-под убитых. Хотела ухватиться за перила лестницы.

Перила горели. Три верхних ступеньки раздроблены, и первый этаж разъединен со вторым.

А Полянцев там, на втором, в каком-то классе! Как добраться туда вместо трех ступенек провал, перила в огне! Ни о чем не думая, Мария устремилась вверх. Лестница длинная-длинная-длинная, даже дыхание занялось, такая длинная. Вот и последняя уцелевшая ступенька. Вытянула Руку, уцепилась за торчавшую наверху балясину и стала подтягиваться. Только б не выпустить балясину. Не выпустила. Еще усилие, и грудью повалится на площадку, потом локтями, потом ладонями и – вползет наверх.

Вползла.

– Полянцев! Полянцев!

– Здесь. Здесь.

Мария услышала, откуда шел голос, и влетела в класс. Полянцев лежал вдоль простенка, вскинул голову.

– Здесь. – Как будто она могла не увидеть его.

– Вниз!.. Вниз!..

Полянцев неповоротливо поднялся, протянул, словно искал опору, обе руки, прямые, как палки. Он покорно двинулся за нею.

– Постой. – Мария остановилась. Как спуститься? Три ступеньки. Три ступеньки. Спуститься как?.. Об этом не думала, когда переползала сюда, на второй этаж. Огонь с перил перебросится на ступеньки, вся лестница будет гореть. Тогда – все. – Постой, Полянцев.

– Горит, – потянул он носом воздух.

– Постой, Полянцев. – Мария бросилась обратно в класс. Вытащила парту, подтолкнула к площадке, наклонила, и парта краем уперлась в уцелевшую ниже ступеньку. – Полянцев, слушай меня внимательно. Нет трех верхних ступенек, граната расшибла их. Ты понял? Я спустила парту. Парта накрыла пространство между площадкой, где мы стоим, и ступенькой. Я сползу по парте. Потом крикну, спускайся ты, я подхватю тебя. Ты меня понял? Попробуем давай. Ты меня понял?

– Понял.

– Ну вот. Берись руками. Взял. И стой. Все время держись за парту. Пока крикну. Тогда наклоняйся и сползай. Я подхватю. Ты понял? Ну вот, держись руками за край парты. Я крикну. Ты все понял? Ну вот, я сползаю, слышишь?

Она легла на парту, поползла, коснулась ногами ступеньки, встала.

– Давай, Полянцев. Не бойся. Подхвачу. Я сильная. Давай.

Полянцев медленно опустился на парту, головой вперед, и, выбросив руки перед собой, неловко, как мешок, начал сползать. Мария, стоя спиной к спуску, поймала его руки, сделала шаг на нижнюю ступеньку, и второй шаг.

– Обхвати меня. И спускай ноги. Вот. Вот так. Держу тебя. Держу. Крепче обхватывай.

Под тяжестью тела Полянцева Мария, не сохранив равновесия, чуть не покатила с ним по лестнице.

– Ох... – тяжело перевела дыхание. Они стояли лицом к лицу, Мария ступенькой ниже, Полянцев – выше, руки его на ее плечах. – Передохнём...

Ее одолевал сон. Глаза смыкались, поднять веки невозможно. Она спала. Она спала и все видела, все слышала. Ничто не отходило от нее прочь. Все было на месте, возле, рядом.

Из последних сил свела Полянцева вниз.

– Мария!

Голос Андрея. Ранен? Все в ней замерло.

– Мария! Цела?

Отлегло от сердца. Ничего с Андреем, просто он беспокоился о ней.

– Сюда не подходи, – предупредил он ее порыв. – Там и будь. Тебя не было на лестнице.

– Не было.

– Лестница еще есть?

– Не вся. Граната пришибла отделенного. Поздняева.

– Ранен? – не понял Андрей. – Еще раз ранен?

– Нет. Убит.

Мария стояла у лестничной площадки. Глаза ел дым.

Перила сгорели. Все ступеньки обуглились, вот-вот вспыхнут.

Мария услышала, в конце коридора, у торцового окна, где был Данила, громко шарахнуло. Что-то с Данилой случилось.

Данила матюкнулся; надо же, как гвоздями прибило тело во многих местах одновременно. Какой-то толчок откинул его от окна, но он жив, это он понял, лишь ощутил под руками пол. Автомат он выронил, и чего-то не хватало рукам, пусто в них стало, так пусто, что все время чувствовал свои руки, словно только они и были у него. И подался к автомату. Рука не дотянулась до него. Чуть осунулся с места, но поднять автомат не хватило сил. Он провел по нему ладонью, автомат еще теплый, или то было тепло ладони.

– Дядь-Данила, что с вами? – Мария присела на

корточки возле него.

– А не знаю, голуба...

Данила жил еще минуты полторы, он успел, натужившись, подняться на колени, потом встать и, волоча левую ногу, сделать полшага к окну, навстречу врагу. И тяжело и гулко, будто все кости в теле обломились, рухнул на пол, накрыв собой автомат.

Глаза Данилы, показалось Марии, стали большими, таких глаз у него не было, они блестели под светом солнца, стоявшего уже посередине оконного проема. В добрых глазах Данилы отразилось проклятье, сжатые в кулак судорожные пальцы тоже выражали проклятье. Волосы рассыпались на голове, рыжие; они, и глаза, и судорожные пальцы, сжатые в кулак, продолжали жить. «И у него глаза открыты», – схватывало изнеможенное сознание Марии. И убитые не закрывали они глаз, словно для того, чтоб продолжать жизнь. Данила лежал мертвый. Как живой.

«Столько убитых!.. Не школа уже, – братская могила, – холодея, подумала Мария, и ей показалось, что услышала то, о чем подумала. Кладбище... Что же будет?.. Что?..» Все зло жизни, вся несправедливость ее были здесь, в школе, в классах, в коридоре, возле оконных проемов, у торцов, у правого, у левого, в которые ожесточенно били немцы.

Мария едва двигалась, словно каждый шаг достав-

лял ей боль.

Подошла к Андрею.

– Данила... Конец...

– И Данила? – Андрей словно не поверил, что тот мог быть убит. Он и посмотрел на нее озадаченно. Убит? На пальцах, на ладонях Марии, заметил, и на лбу тоже, присохшую кровь. Кровь Валерика, кровь Петруся Бульбы, кровь Ваню, и отделенного, и вот Данилы... Вокруг ее рта, у глаз лиловые тени. И у него, подумал, наверно, такие же, он не видит их. – Найди Сянского.

Где искать Сянского? Метнулась по коридору, вдоль стены, уставленной партами. Она увидела Сянского. Он лежал под партой. На виске дырочка и капелька крови на ней. Пилотка едва покрывала его круглую голову, щеки маслянисто блестели, рот раскрыт, словно и сейчас в страхе кричал. Мария брезгливо поморщилась.

– Сянский убит.

Андрей не оглянулся.

– Мария... возьми автомат... Данилы. Больше уже некому. Становись на его место. Сможешь, Марийка? Сможешь?

– Смогу, смогу. – И двинулась к проему левого торцового окна, где лежал Данила, где лежал автомат.

– И гранату его возьми! – услышал вдогонку. – У

него была граната. И не забудь, если придется, предохранительную чеку отвести!

– Отведу! – Она не была убеждена, что Андрей услышал ее.

Мария опустилась на колени, вытащила из-под спины Данилы автомат. Тогда, ночью, у лесной сторожки, когда несла с Андреем охрану, он научил ее обращаться с этим трофейным оружием, которое передал ей там Пилипенко.

В круглом оконном проеме над головой просвистела пуля. Мария склонилась ниже. Потом чуть выпрямилась, увидела: стреляли из-за четырех яблонь, стоявших сбоку от окна, и нажала на спуск автомата. Она не слышала собственных выстрелов, но когда магазин опустел, тотчас поняла это. Она забыла, что видела у ног Данилы два запасных магазина, забыла, и отбросила автомат в угол.

Осторожно, словно боялась причинить ему боль, повернула Данилу набок, отцепила от ремня гранату. Она знала, как бросать гранату, Саша учил ее этому, Данила учил. Бросать гранату еще не приходилось, но она знала, как это делать. Просто не надо бояться, надо решиться, и не бояться, главное не бояться, и отвести предохранительную чеку, и откинуть руку, и швырнуть, и самой быстро лечь, и не бояться. Она не будет бояться. «Все будет как надо, Андрей. Андрей,

только б ничего с тобой не случилось. Я не перенесу этого... Андрей!.. И чеку вот отвела... Бро-саю!!»

4

Но день еще длился. Подступавшие сумерки уже разбавили день синевой, приглушили небо, тополя у ограды, постройки на дворе, сад. Сад выглядел сплошным лиловым облаком, стлавшимся по земле, и сквозь это облако пробивались передние яблони, и видно было, как тяжело ветвям держать крутые большие яблоки.

Немцы то усиливали огонь, то ослабляли. А то и вовсе умолкали. Сейчас как раз притихли. Сколько их, сколько осаждают школу? Должно быть, не много. Нельзя же много на одну школу. «Но их больше, гораздо больше, чем нас. Они, конечно, поспали, пьют воду...» Андрей провел сухим языком по сухим, потрескавшимся губам. Если б не слившиеся тени яблонь и, как бы натекашие на эти тени, узкие, подвижные тени, чуть темнее этих теней, об укрывшихся в саду солдатах и не догадаться.

А который час? Ни разу не взглянул Андрей на часы. Да и зачем? Время потеряло смысл и значение. И все-таки: который час? Он посмотрел на циферблат. Четыре. Четыре семнадцать. Секунды две-три сооб-

ражал, как же это? По-прежнему четыре, словно никуда еще не ушла вчерашняя ночь. Семнадцать минут добавилось. Он продолжал смотреть на циферблат, смотрел, смотрел, может быть, глаза так устали, что путают все? И вспомнил: не завел часы, забыл завести. Пусть. Пусть остается – четыре семнадцать.

Ага. Ага. Немцы стукнули. Немцы стукнули. В торцовый проем. Правый. У Романа Харитоновича. Пробуют. Пробуют. Ищут, где послабее. Везде слабо. Немцы не знают этого. Везде слабо.

Прижимаясь к стене, пробирался Андрей к Роману Харитоновичу. «Что это он?» Роман Харитонович стоял перед проемом, заваленным партами, правой рукой упираясь в крышку нижней парты. Винтовка лежала у ног Романа Харитоновича.

– Роман Харитонович!..

Тот медленно, видно, через силу, оглянулся. Левой рукой зажимал он рану у горла, но кровь все равно рвалась наружу, хлестала на пол и покрыла место, на котором только что лежала темная тень его фигуры. Теперь тень была красной. Очки криво сидели на носу, одно стеклышко выпало из оправы, в другом расплозились трещины и видны были добрые морщинки, собравшиеся у глаз. А когда, оглянувшись, он чуть поднял голову, очки еще больше свернулись набок, но он не стал поправлять дужку, как это делал прежде,

словно решил, что смотреть больше незачем и не на что.

– Роман Харитонович!..

Роман Харитонович не ответил, он отваливался то вправо, то влево. Ни Андрей, ни сам Роман Харитонович не догадывались, что он уже убит. Он улыбнулся улыбкой усталого человека, прикрыл глаза, и все еще улыбался. Андрей смотрел на его враз пожелтевшее лицо, на посеревшие губы, улыбка, такая странная, не сходила с них.

Андрей бросился к Марии, к левому торцу. Он побудет там, пока Мария, как сумеет, поможет Роману Харитоновичу.

Мария достала из сумки последний бинт, немного загрязненный с конца. Перевязывала горло Роману Харитоновичу. Бинт туго ложился на рану. Мария видела, каждое ее движение причиняло ему боль. Но он дал себя перевязать, и пока она перевязывала, смотрел куда-то поверх ее головы. Дыхание было ровным, слаженным, он будто засыпал. Лицо сохраняло ужащающее спокойствие, такого спокойного лица она еще не видела.

Мария кончила перевязку, расправила складку, понуро опустила голову, больше ей нечем было Роману Харитоновичу помочь. На лбу его – капли, капли, они колыхались, скатывались на нос, на щеки. Она вытер-

ла пот. А через минуту опять капли. Снова провела ладонью по лбу Романа Харитоновича, по носу, по щекам. Больше капли не проступали, ни через минуту, ни через две, ни через три. Она поняла: Роман Харитонович кончился.

Мария вернулась к левому торцу. Саша дал ей магазин, и она подняла свой автомат.

Да. Там пусть и остается, – прикидывал Андрей свои возможности. Саша стережет окна в продольной стене. Сам он будет у правого торца, заменит Романа Харитоновича. Пиль... Пиля надо к проемам у главного входа. У главного входа быть теперь пулемету. Ну вот. Немцы отошли от правого торца и снова принялись за главный вход. Ну давай, Пилипенко.

Пилипенко давал. Пилипенко давал. От пулемета исходил жар. Перед глазами то медленно, то торопливо двигалась пулеметная лента. Стоп!

– Ленту, трясця ее матери, перекосило, – самому себе жаловался Пилипенко. Он укрылся за щиток, выровнял ленту. – И-и-хх... – застонал. Руку обожгло выше локтя, и рукав в том месте стал покрываться мокрым расплывавшимся пятном. Он почувствовал резь и взглянул на пятно: буро-серое какое-то – не ранен, значит. Ему не пришло в голову, что это все-таки кровь, кровь, смешанная с известковой пылью. Он тут же забыл о пятне. Резь пригlohла, боль уже не

подступала, словно вместе с пулей коснулась тела и ушла. – И-и-xxx!.. – Еще большая резь ударила в руку. Рука онемела. Еще бы. Столько времени нажимала на гашетку. Онемееет, еще бы!.. Трудно стало держать ручки затыльника. А из сада бьют... И темнеет, плохо видно, куда стрелять. А впустую нельзя. Впустую никак нельзя. Лент осталось чепуха...

Держать ручки затыльника уже определенно трудно, нет, не получалось. Но пустил очередь, короткую.

Потом боль врезалась в ноги, и Пилипенко отшатнулся от пулемета.

– Сестричка, помоги, – услышал он свой голос, слабый такой, что не узнал его. Но это простонал он, и хорошо понимал, что он.

Мария не услышала зова Пилипенко.

Что-то бухнуло. Со свистом. Сознание Пилипенко схватило: граната. Граната шлепнулась в пол, недалеко от него. Он съежился, инстинктивно прикрыл голову красными от крови руками. Еще осталось полсекунды, чтоб успеть подумать: скорее бы взрывалась... Граната взорвалась, и когда схлынули гром и огонь, тоже через полсекунды, Пилипенко ни о чем уже не думал: осколки раздробили ему колени, попали в живот, но лица не тронули.

Разрыв гранаты Андрей услышал. Он содрогнулся от толчка внутри себя. Даже голова снова закру-

жила, несколько секунд все вокруг вращалось, ровно столько, чтоб закрыть и открыть глаза. Он ощутил слабость в ногах, и первые шаги его были неловкими, нетвердыми.

– Пиль! Пиль! – В каком-то забытье тряс Андрей погруневшее тело Пилипенко. – Пиль...

Потрясенный, тупо, бессмысленно смотрел он на Пилипенко. Тот, и верно, лежал, но живой – веселый, насмешливый, храбрый... В то, что видели глаза, не верилось. Не могло вериться. Он в самом деле был веселый, насмешливый, храбрый, и его не может не быть. И гибель его не воспринималась как нечто окончательное. Просто нужно время, чтоб убедиться, что его действительно нет. Но времени уже не будет. Никогда.

Гимнастерка быстро и густо пропитывалась кровью, стала багровой, словно это она убита, а не Пилипенко. Расстегнувшаяся гимнастерка открывала сильную волосатую грудь, и синяя голова девушки на ней, на фоне сердца, пронзенного стрелой, становилась красной.

Андрей бил из автомата и не заметил, как от стены у лестницы отделился Полянецов, как, протянув перед собой руки, неслышным скользящим шагом, не отрывая ноги от пола, медленно двигался на его голос, как нашарил ручки пулемета.

– Полянцев, – очнулся Андрей от потрясения, – Полянцев, – повторил.

Полянцев молчал. Неуклюже перебирал он по полу коленями, будто выбирал возле пулемета удобное положение.

– Полянцев, – почти выкрикнул Андрей, и в возгласе этом были и неуверенность, и благодарность, и смутная надежда. – Сможешь, Полянцев? Смоги! Смоги! – настоятельно, горячо просил он. – Смоги, Полянцев! Смоги!!

Полянцев молчал. Он поводил головой, как бы прислушивался: где цель? Похоже, нашел. Помедлил с минуту. Напрягся весь и надавил на гашетку.

Андрей увидел Сашу.

– Саша! Саша! Окна вот эти остаются на тебя. И левый черный ход. И за Марией поглядывай. Перебегай по необходимости! Понял?

– Понял!

– А я у правого торца. И у правого черного. Там и там. Нас всего четверо. Четверо! С Полянцевым.

По-прежнему: четыре семнадцать.

Они умрут в четыре семнадцать. Петрусь Бульба, Ваню, отделенный, и Данила, и Роман Харитонович, Пилипенко, они погибли в четыре семнадцать. «Марийка, и ты уйдешь из жизни в четыре семнадцать. Удивительно, правда? Но это так. И ничего не могу

сделать, чтоб тебя спасти. Я тоже, на минутку раньше тебя, на минуту позже, все равно: в четыре семнадцать...»

Почему умолк пулемет? Только сейчас дошло до сознания Андрея, что недавно стрелявший пулемет замолчал. Полянцеву не справиться, ясно же!.. «Значит, не четверо нас. Трое...» Что делать? Он бросился к главному входу, к пулемету, к Полянцеву.

Руки Полянцева цепко держали ручки пулемета, голова круто откинута назад, в черных впадинах глаз известка, сбитая с потолка, со стен, на лице тоже известковая пыль, и оттого выглядело оно серым, пепельным, как неживое. И Андрей не мог решить, жив Полянецв или мертв? В смутном свете, падавшем из западных оконных проемов, увидел дымившуюся на лбу Полянцева ранку.

Андрей услышал шорох у каменных ступеней. Резким движением оторвал от пулемета руки Полянцева, повернул ствол. Дернул шейю и быстро приложил к ней ладонь: шею пронзила боль. А в проем били автоматы, били оттуда, из-за яблонь.

Андрей почувствовал, стекало за воротник что-то теплое и мокрое и криво лилось по груди, и рубашка неприятно прилипала к телу. Он провел рукой по шее, отдававшей жаром, ему показалось, что стало легче, хоть до этого и не испытывал боли. А слабость, охва-

тившая его, она от утомления, откуда ж еще!..

В это мгновение за спиной Андрея раздался треск автомата. И над Андреем, над его головой склонилась долговязая фигура Саши. Это Саша стрелял. Почему он здесь?

– Вы ранены, товарищ лейтенант! В шею. В вас еще целились... прокричал Саша над самым ухом Андрея. – Вы... не... видели...

Саша полоснул снова.

Снаружи ответила длинная строчка и, как бы продолжая ее, короткая строчка. Саша упал за спиной Андрея.

– Мари-я!..

Мария уже знала, что это значит, когда Андрей так зовет ее.

– Мари-я!..

Андрей не выпускал ручки пулемета, немцы слишком близко подошли к главному входу.

Кровь медленно стекала с шеи на грудь, на спину. Андрей чувствовал, что слабеет. Он повертел головой, немного помогло. Но кровь потекла быстрее.

– Саше... Саше помоги... – почти простонал.

– И Саше... – тоже простонала Мария. – И ты же, Андрей, ранен. И ты!..

Тень колонны лежала на Андрее, и оттого казался он синим, даже лиловым, и лицо, и волосы были ли-

ЛОВЫМИ.

– Сказал, помоги Саше. Слышала? Мне не мешай! Андрей стучал короткими очередями.

Саша лежал навзничь. Старая повязка, пыльная, потемневшая, сползла со лба, и на лбу виднелись присохшие черные корочки струпьев. Мария опустилась на колени, хотела закричать, все в ней уже кричало, но крик не получился. Она подхватила Сашу под мышки, потянула за колонны. Поджав колени, пятками отталкивался он, помогая тащить его длинное тело.

У лестницы Мария остановилась, перевела дыхание, пододвинула Сашу к парте. Он сделал усилие, приподнялся и свалился на парту, длинные ноги его согнулись, касаясь пола.

Здесь, в углу, на западной стороне, еще держался уходивший свет. И закатный свет этот падал на волосы Саши, на кровь, заливавшую волосы.

– Сашенька... миленький... Сейчас перевязку сделаю.

На гимнастерке Саши, пониже груди проступило малиновое пятно, оно быстро растекалось. Бинтов больше не было. Последний бинт Мария истратила на перевязку Романа Харитоновича. Чем перевязать? Как быть?.. Быстро расстегнула блузку, сняла с себя, торопливо стащила сорочку и стала разрывать на по-

лосы. Полосы получались широкие, неровные.

– Сашенька... – Подняла его голову, обвязала. Потом задрала гимнастерку, нательную рубаху, обнажила покрывшуюся кровью грудь. Осторожно отвела в сторону одну его руку, туго охватила полосой грудь, схватила вторую полосу и то же сделала с другой рукой и обернула бок, подвела лоскут под спину, снова под руку... Повязка, как и гимнастерка, становилась тоже малиновой, и Мария взяла третий лоскут, четвертый и накладывала их поверх уже намотанной повязки.

– Сашенька... миленький... потерпи... – Голос ее дрожал.

Саша смотрел на нее, смотрел, как перевязывала его, молчал.

Она тоже смотрела – в Сашины глаза, в них не отражалось солнце, последними лучами бившее в проемы окон. А, помнила, при солнце глаза Сашины – радостные, сильные, прекрасные!..

– Сашенька... Слово хоть! Что с тобой?..

Она хорошо знала, что с ним.

Саша неслышно вздохнул, по губам можно было догадаться, что вздохнул.

– Потерпи... Сашенька...

Но Саша не стонал, терпел. Он стиснул зубы, чтоб не стонать, это длилось мгновение – челюсти разо-

мкнулись: слишком, оказывается, много сил нужно, чтоб стискивать зубы. А силы оставляли его. Клейкий пот, чувствовал он, покрыл все тело, пот слишком клейкий, и он еще успел подумать, что это пот и кровь вместе. Но это совсем не трогало, единственное, чего хотелось – удобнее улечься и уснуть. И кажется, он засыпал. И еще успел он посмотреть на Марию. Глаза его, спокойные, будто говорили: он сделал все, что мог, большее ему не под силу. Губы слегка разомкнулись, словно в улыбке, тихой, мягкой, прощающей.

Мария взяла его руку: какие холодные пальцы! Только что держала эту руку, теплую, почти горячую.

Она не отпускала его руки. Он был рядом, совсем близко. Но он тих, неподвижен, и это означало, что между ними пролегло расстояние, которое земными представлениями не измерить, расстояние более далекое, чем между нею и звездой, которой и не видно даже. Так далеко ушел он в одну эту минуту.

– Сашенька!! – криком упрашивала она и трясла и трясла его плечи. Мария хотела вобрать в себя всю его боль, его муку. Он как бы выпал из мира, в котором ему можно было помочь.

Саше было девятнадцать, и больше Саше нисколько уже не будет. Теперь он на тысячу тысяч лет убит. Саше было всего девятнадцать. И родиться зачем на такой короткий срок! – жалобно пронеслось в голо-

ве Марии.

Где-то просвистели пули, где-то разорвалась граната, где-то на пол падали куски кирпича и сыпалась штукатурка, где-то хлопнула парта. Может быть, казалось ей, ничего этого не слышала. Только это и было весь день, и память каждую минуту пробуждала все это. Мария сомкнула веки. Ее здесь не было. Она склонилась над светлой водой озера и стирала бинт, снятый с Сашиного лба, потом расстилала бинт на выступавшем из воды валуне, потом сидела с Сашей у берега. Потом шли травянистыми зарослями болота, она впереди в непомерно больших сапогах, в которых разъезжались ноги, сзади, натруженной походкой, Саша, босой. Потом переходила реку, и Саша, от нее не отступая, помогал ей двигаться но глубокому дну. Потом мост... И Андрей... Дальше никуда не шла. Нет, блуждающая мысль бросила ее еще на плот. Ничего особенного: плот, вода, огонь с правого берега. Ничего особенного. Плот, вода... И рядом с нею Андрей и Саша. Закрытыми глазами видела она Сашу. Хороший, молчаливый, добрый, солнечный какой-то... Ей показалось, что снова лежит он на плоту, еще более спокойный, чем всегда, даже беспомощный, и равнодушный к ней.

Она вздрогнула, открыла глаза. Вот он, Саша, действительно спокойный, беспомощный, равнодушный

ко всему.

– Сашенька! – Мария захлебнулась в вопле. – Я уже тоже не хочу жить...

5

Андрей и Мария напряженно дожидались темноты. Но и вечер не принес облегчения: немцы продолжали стрелять. Наверное, они и представить себе не могли, что в школе остались уже двое, хоть огонь оттуда и ослабел.

У них, у немцев, свои расчеты, когда ворваться в школу. Как бы то ни было, надо создать видимость, что есть кому вести огонь. И Андрей перебежал от окна к окну и строчил из автомата. Он уже не чувствовал ни жжения в шее, ни усталости. Он и тела своего не ощущал, словно соткан был из воздуха.

– Марийка! Не своди глаз с подсобок на дворе! В случае чего, огонь по подсобкам! Магазины у колонны! Несколько. Бери...

Он слышал ее короткие очереди.

– Не высовывайся только! Не высовывайся, Марийка! Не высовывайся!

– Да. Да, – успокаивала его Мария. – Не высовываюсь. Нет...

Андрей привалился потной головой к простенку. С

шеи сползла затвердевшая от присохшей крови повязка. Он почувствовал ноющую боль. Потом боль ослабла.

– Марийка! – И ничего больше. Просто он подбадривал ее. – Марийка...

– Да. Да, – понимала она, что Андрей подбадривал ее. – Да.

В окна, выходящие на подсобки, чиркнуло несколько раз, и Мария всем телом откинулась к стене.

– Да. Да.

Ни одного выстрела не мог сделать ее автомат – магазин пуст, последний. У колонны тоже ничего нет. Вспомнила, у правого торца лежали полные магазины, два магазина Данилы, он не успел расстрелять все. Поползла туда.

В темноте нашарила магазин. Второго магазина не нашла.

Наступала ночь.

Немцы больше не стреляли. Пауза, наверное, как и вчера, до первого света. Утром все будет кончено, понимал Андрей. Немцы ворвутся в школу. Они увидят в седьмом классе «Б» Тишку и Валерика, наткнутся у лестницы на Ваню, Петруся Бульбу, на отделенного Поздняева, где-то набредут и на Сянского, они увидят изуродованное тело Пиля, его гневное лицо, и Сашу

увидят, и его, Андрея, с Марией увидят, они будут еще теплыми, они еще не станут совсем трупами: немцы захватят школу ни на минуту раньше, чем в ней перестанут стрелять.

Здесь, в школе, в каких-то Белых ключах кончится его жизнь. Андрей подумал об этом почти равнодушно, просто он уже свикся с мыслью, что отсюда не уйти. «Жизнь в конце концов можно и отдать, свою жизнь. Если проникся сознанием, за что ее отдаешь и что нельзя не отдать. Это много, очень много для меня, и так мало для войны». Дойти до вершины истины значит подняться над всем и все увидеть в настоящем свете, и тогда многое, чего и быть не должно, убавится, и сожаления иные уйдут. Умирают же и так: пришло время смерти и – умирают.

Андрей и Мария сидели у пулемета, они знали: осталось чуть больше половины ленты, и еще одна, последняя. Надежды ни на что не было. И быть не могло. Снова попробовать выбраться? Ничего не выйдет. Но может быть... может быть... может быть... одному из двух повезет?.. Может быть, может быть... если отвлечь немцев... внезапным огнем по саду... и тем временем... одному попытаться... через черный ход, через огород?.. Вероятность удачи самая малая. Но может быть, может быть... Вдруг... повезет?.. Вдруг повезет?.. Если незаметно... вниз... под взго-

рье... Риск. И все-таки... все-таки... попытка...

– Марийка.

– Да, Андрей? – Рука Марии легла на руку Андрея, и он почувствовал ее мягкую тяжесть и тепло.

Он молчал с минуту.

– Марийка...

Теперь она молчала, ждала.

– Выбирайся отсюда, – произнес наконец Андрей. – Шанс выбраться небольшой. Конечно. Но все же... А тут, Марийка, гибель неизбежна. Оба выйти мы не сможем. Одному надо отвлекать. Да и отвлекать по-настоящему нечем, ты знаешь. Одна лента, и половина ленты в пулемете... Да две гранаты... Но это кое-что. За ночь ты успеешь уйти достаточно далеко.

– Но я не собираюсь уходить.

– Нет, тебе надо выбраться отсюда, – тихо, но настоятельно сказал Андрей.

– Нет. Мне это не надо. Мне надо быть с тобой.

– Я тоже постараюсь выбраться. Вместе же нельзя, Марийка. Нельзя. Пойми, хорошая. Я потом.

– И я потом.

– Нельзя же потом – вместе. Так не получится.

– Одной тоже не получится.

Андрей вздохнул.

– Получится. Ну вот, запомни, – продолжал он, – самое опасное – эта сотня метров возле школы. Вот где

риск. А дальше ничего особенного. Может, прибудешь к какой-нибудь части, к подразделению какому-нибудь, как вот к нам. Или перейдешь линию фронта. Поняла?

– Андрей, Андрей... Я все поняла. Я поняла, что останусь с тобой.

– Конечно, со мной. Мы всегда будем с тобой... со мной. Ну так вот, не бойся темноты, – упрашивал он, словно она уже согласилась уйти, – и леса не бойся.

– Я не боюсь темноты. И леса не боюсь. И оставь! Не вынуждай меня делать то, чего я не должна делать, чего делать нельзя.

– Ну да. Нельзя делать того, чего нельзя. Конечно. Что ты! А хочешь делать. Тебе нельзя оставаться. Вот чего нельзя. Так вот, не бойся темноты, не бойся леса. Ничего не бойся.

– Я тебе сказала: не боюсь. А вот этого я тебе не сказала: если я и решусь пойти, ноги не пойдут. И не надо больше.

– Ха! Ноги. Потому и голова придумана, чтоб ногам дать порядок. Вот мы и пошутили. А теперь за дело. Все, значит. Отодвигаем парты. Давай...

– Андрей, нам и так тяжело. Зачем ты все это? – Она тоже настаивала. – Постой, – провела ладонью по его шее. – Повязка распустилась. Перевяжу.

– Ладно, ладно, перевязывай.

– А, ничего не видно. Постой.

Она осторожно разматывала то, что было бинтом. Потом оцупью обернула шею повязкой, ставшей жесткой от присохшей на ней крови.

– Мария, ты уйдешь отсюда. Это моя просьба. И приказ тоже.

Она слушала его, пугаясь и не понимая, как может он требовать от нее этого.

– Я не могу тебя оставить, Андрей. Пойми и ты. – Голос ее дрожал, она вся дрожала. – Свыше моих сил оставить тебя, пойми же.

– Не меня тебе жаль. – Андрей старался произнести это как можно злей. – Просто боишься без меня, вот и все. – Ему хотелось пробудить в ней чувство незаслуженной обиды, даже гнева...

– Андрей... – Слезы душили ее. Она прильнула щекой к его руке. Андрей... – беспомощно повторила. – Не нужно... Я все понимаю. И ты думаешь, что могу тебя оставить? Я умру с тобой.

– Послушай, Марийка, нет. Ты только пойми, хорошо? Ты не вправе умереть тогда, когда тебе хочется.

– Разве мне хочется умереть, Андрей? – Она вспомнила, как, подавленная смертью Саши, действительно больше не хотела жить. – Разве можно хотеть умереть? Я не хочу! Но если нет выхода, что же делать, Андрей?

– Нет, выход есть. Надо только попробовать. Понимаешь? Надо попробовать. Мы оба будем жить, вот увидишь. Но для этого тебе надо первой выбраться.

– Андрей, не уговаривай. Я не уйду.

– Ну пойми, одному мне потом легче будет выско-
чить отсюда. Ты ж рассудительная, Марийка. Я знал,
что ты поймешь. Вот и хорошо. Мы сейчас приготовим
дверь. Я дам очередь из одного проема, из другого, из
третьего, из торцов. На короткие очереди, на совсем
короткие, у меня хватит патронов. Вот и отвлеку нем-
цев. Значит, так?

– Андрей, либо мы оба спасемся, либо оба оста-
немся здесь. И не надо больше...

– Оба спасемся, оба... Во всяком случае, попробу-
ем, чтоб оба. Но для этого ты должна выйти первой.
И встретимся. Может, за линией фронта. Может, и в
Москве. Важно вырваться... И добраться до леса. А
там... Ну давай, ладно? Сейчас, наверное, середина
ночи. Не будем терять времени, ладно? Немцы уго-
монились. Я переполошу их, огнем привлеку внима-
ние к фасадной стороне, и в эти несколько минут, по-
ка они разберутся, что к чему, ты должна проскочить
через черный ход. Только б выбраться за школу. Это
просто, если сумеешь. Надо только суметь. Ты суме-
ешь. И без страха чтоб. Очень важно не испугаться.
По себе знаю. Так ладно, да? Вот и хорошо. Тихонеч-

ко отодвинем парты...

Он встал. Она тоже поднялась.

Она уже почти не слушала его, будто говорил кто-то другой, со стороны. Руки ее лежали на его плечах, она прижалась к нему, словно в этом и было спасение. Она чувствовала дыхание Андрея, порывистое, горячее. Уйти, оставить его здесь, на гибель, – она задохнулась, подумав об этом.

Подчеркнуто твердо сказала:

– Нет. – И качнула головой: – Нет!

Оба молчали.

Как принудить ее уйти, пока ночь? Как заставить сжать в себе все и направиться к двери в полной уверенности, что так надо? И вдруг появились слова, неожиданные для него самого, потому что подсказать их могло лишь сознание окончательной невозможности сломить упорство Марии.

– В конце концов, – Андрей гладил Марию по голове, только голова ее была покорна, она лежала у него на груди и слушалась его рук, – в конце концов, собой можешь распоряжаться как хочешь. Твое дело. Но ты распоряжаешься и мной. И мне на гибель. Пойми, пойми, пойми, одному выбраться отсюда легче, чем двоим. Одному легче, чем двоим. Пойми, пойми... Будь же рассудительной. Все! Ты уходишь...

– Андрей! – Руки Марии бессильно соскользнули с

его плеч, колени подогнулись, и она рухнула на пол.

6

Осталось только... Самое трудное, самое невозможное осталось. Осталось переступить порог.

Парты отодвинуты от двери. Сняты запоры.

Андрей молча обнял Марию. Она не шелохнулась. Даже не дышала. Стояла прямая, холодная, безжизненная, и Андрей испугался: в таком состоянии нельзя выходить.

– Возьми себя в руки. Марийка. И все будет как надо. Верь. Первые минуты всегда страшно. А потом привыкнешь, и все будет хорошо. Увидишь...

Она продолжала молчать.

Он еще что-то сказал. Она отчетливо слышала его голос, но не поняла, что он сказал. Она закрыла руками лицо, будто мог Андрей видеть ее глаза, полные слез. Годы, которые прожила она, ничего, оказывается, не оставили в ее памяти, только эта и та, минувшая, ночь, все в них запомнилось, каждая секунда. И вот эта особенно.

– Ну, Марийка...

Она откинула голову назад, как бы для того, чтоб лучше рассмотреть Андрея. Но что можно увидеть в темной тесноте ночи.

– Марийка... – Голос Андрея глухой, стиснутый.

Она взяла его руку, медленно провела ею по своим щекам, глазам, губам. Еще раз... «Вот так бы умереть. Вместе. И не уходить отсюда». И сказала:

– Вот так бы умереть. Вместе. И не уходить отсюда.

Крепко прижалась к Андрею, словно это должно было успокоить ее, внушить ей мужество. Она ощутила на щеках упавшие на них колючие капли, и поняла: Андрей плакал. Мало осталось ей быть здесь, и слезы эти не успеют просохнуть. Андрей рывком чуть отодвинулся от ее лица, наверное, подумал: когда в руках автомат, не плачут.

– Марийка... Ну вот... Так сложилось в нашей с тобой жизни... И ничего не поделать. – Андрей говорил задыхаясь.

Он подумал: умирают дважды, один раз вот так, как это скоро произойдет с ним, другой раз – в памяти остающихся.

Все. Конец. Все. Все. Совсем все. Помедлил секунду и впился в ее губы.

– Иди... – Он услышал, голос ему не подчинялся. – Как только открою огонь, подожди минуты три и – давай...

– Андрей... Андрей... – Что-то важное, очень важное должна была сказать, и это выпало из памяти. – Андрей... – Что же должна была сказать? Вот

что! Вспомнила: – Еще один магазин, Данилы, там, у торцового проема. Найди. Магазин... Полный... Андрей...

– Спасибо. Посветлеет, подберу. Полный магазин – большое дело. Спасибо, Марийка. Открываю огонь, так? Три минуты выжидаешь и уходишь, так?..

Быстрым шагом пошел к пулемету.

Минуты три, пока его огонь соберет немцев на фасадной стороне, она еще будет тут, рядом, а потом... «Потом уйдет навсегда. Исчезнет так же просто, как и возникла предо мной. Как прожить эти три минуты?» Этого, наверное, никто не знает... И его вдруг охватило желание повернуться, крикнуть: «Оставайся!»

Он приник к пулемету, с силой нажал на гашетку. Короткая очередь ударила в ночь. Еще. Не волноваться. Не волноваться. Менять позицию. Покатил пулемет в седьмой класс «Б». Выстрел. Выстрел. Левый проем. Очередь... Левый торец. Очередь... Очередь... Учительская. Очередь... Правый проем. Правый торец. Очередь... Не волноваться. Вот так. Очередь...

Мария долго смотрела в темноту, смотрела в сторону, где стрелял Андрей. Правый проем. Правый торец... Уже минута прошла, не меньше. Еще две минуты, подольше б, подольше б тянулись эти две оставшиеся минуты... После, там, за дверью, пустота, ни радости, ни жизни, ничего. Ей показалось, что услы-

шала:

– Иди...

Она сделала шаг, подождала секунду, еще полшага.

– Прощай...

Она медленно обернулась, словно для того, чтоб увидеть мертвых, лежавших в коридоре, в классах.

Совсем тихо произнесла:

– Прощайте все...

И неслышно выскользнула за дверь.

Глава семнадцатая

1

Рота еще сопротивлялась. Школа стреляла: Андрей стрелял.

Мария прижалась к стене, не хватало сил оторваться от нее. Не дыша, оглядывалась. Андрей был там, в школе и в ней самой тоже был. Она испугалась: если сделает еще хоть один шаг, Андрей отойдет от нее, его уже не будет с нею, он останется только в школе.

Где-то раздавались встревоженные крики немцев, топали сапоги, и все по ту сторону школьного здания, у главного входа, там, где стрелял Андрей. Ночь стучала гулко, отрывисто.

Потом вспыхнул ужасающий белый свет ракеты, и ночь поднялась над землей. И снова опустилась. Мария успела заметить пологий песчаный спуск со взгорья. Мария слепо отделилась от стены, оказалась у косогора и, натыкаясь на кусты, повернула влево. Подавленная, смятенная, брела она по косогору вниз, словно было ей безразлично, схватят ее немцы или не схватят. Брела в каком-то недоумении, что Андрея

нет с нею. Выстрелов уже не слышно. Может быть, он выбрался из школы и вот-вот окажется тут? Он ведь помнит, как объяснял дорогу в лес Роман Харитонович: несколько шагов, и вниз, под взгорье, не прямо, как шли в школу из рощи, а влево... Она подождет его здесь. Минуты через три-четыре он будет рядом.

Вслушалась. В школе уже не стреляли. Там уже не стреляли. Она подождет его. И верила, и верила, что Андрей выскочил из школы и через три-четыре минуты, пусть через пять будет возле нее. Она ждала.

Показалось, шаги. Он!.. Вся подалась навстречу. Но он не приближался. Еще и минуты не прошло, не мог он так быстро добраться сюда. Ветер налетел и встряхивал кусты. Это мешало прислушиваться.

Она переступала с ноги на ногу, ждала. Его все не было. Но ведь еще и минуты не прошло! Надо быть терпеливей.

Неужели еще и минуты не прошло? Что-то получалось не так. В сердце проникало сомнение и будто тяжестью наливалось тело, и она уцепилась за куст, чтоб не свалиться. И все равно, она будет ждать.

Пусто перед глазами. Пусто. Если не считать того, что творило ее воображение и останавливало перед нею. Она со всей определенностью видела школьный коридор, колонны перед главным входом и Андрея у пулемета. Надо вернуться. Туда. В школу. Она не в

силах уйти. Она вернется. И сделала уже полшага – обратно, на взгорье. Немцы схватят ее, если не успеет вернуться. И – полный шаг. Полный шаг. Полный шаг. И остановилась. «Одному легче выбраться...»

Она медленно закрыла глаза. Она знала, если закрыть глаза, Андрей все еще будет с нею. И не заметила, что шла уже в сторону от школы – ноги ступали, правая, потом левая, еще раз правая, снова левая. Она куда-то шла. Куда-то спустилась. «Овражистая долина, та, о которой говорил Роман Харнтонович?»

Она споткнулась обо что-то, упала. И не спешила подняться, слишком ослабели ноги. Вся ослабела. Слух уловил, впереди, недалеко, булькала вода. Опираясь на ладони, потом на колени, встала. Добралась до родника, припала к нему и пила, пила, пила воду, воду, вкусную, сладкую, высшее наслаждение, саму жизнь. «Андрей!..» Ничего ей сейчас так не хотелось, как принести ему воды.

Она насторожилась, поверху, над овражистой долиной, будто над головой, послышались шаги. Нет, не Андрей. Андрей шел бы долиной, как и она, как объяснял дорогу Роман Харитонович. Шаги удалялись. Она поднялась. Вспомнила советы Данилы: чтоб идти неслышно, ступать надо сначала на пятку, потом на ступню. Но скоро утомилась и пошла, как обычно

ходила.

Начинало светать. Ее настигал свет утра. А до леса еще далеко. Никогда раньше и подумать не могла, что день опасен, что свет его опасен. И – побежала.

Лес снова накрыл ее темнотой. Но темнота эта была лишена ночной силы. Мария отдышалась. Она подумала, все в природе просыпается, словно ничто страшное не происходит, словно и нет войны и никто безвременно не умирает. Она слышала, птицы кинулись пить росу с поздней травы, кричали что-то свое, запах леса, настоящий за ночь, кружил голову, – все вокруг напоминало о жизни, как, наверное, тысячу и миллион лет назад. Не было только одного – радости жизни, и оттого все выглядело, как декорация. Что солнце, если она так одинока!..

Может, у нее помутилось в голове? Она стояла, придавленная горем, лесом, сомненьями. Куда дальше? Этого она не знала. Этого она совсем не знала. Ощущение растерянности и одиночества подавило в ней все.

Она упала на траву, уткнув лицо в скрещенные руки. Она плакала навзрыд.

2

Все-таки она подождет на опушке леса. Здесь

встретит она Андрея. Он непременно придет, она и думать по-другому не могла. Здесь, в лесу, где только деревья и птицы, мир казался пустынным и, кроме Андрея, никого не было.

Подогнув ноги, села на траву. Голова была тяжелой и клонилась книзу. И Мария видела на переливавшейся траве холодную предутреннюю тень свою и желтую гусеницу, двигавшуюся по ее тени. Гусеница спокойно ползла медленным путем, потом пропала.

Мария почувствовала, голод подступил уже с такой силой, что голова кружилась, в глазах все мелькало и распадалось. Она выдернула пучок травы, сунула в рот, долго жевала.

Она подняла голову. Ветер играл в небе облаками, выстраивал их в неровные ряды, потом разгонял, опять выстраивал, и, послушные его порывам, они отбегали и вновь друг с другом соединялись. Небо было в движении, и трава вокруг то темнела, то становилась светлой, то снова принимала густой бутылочный цвет.

Холодная блузка, холодная юбка плотно прилегли к телу Марии и не могли удержать скудное тепло, которое исходило от него.

«Подожду еще немного и пойду», – решила Мария. Андрея не было.

Она пошла.

Она шла трудно, словно с каждым шагом оставляла здесь свое сердце, свои надежды, и ничего, кроме боли, с нею уже не было.

Она видела перед собой тропинку, похожую на все лесные тропинки, по бокам колыхалась чуть пригретая трава. Мария не представляла, куда шла.

Березы, как солнце, источали свет, только – белый-белый. «И березы есть на земле». В эти два дня она о многом забыла. Все уже было не ее, далекое, чужое. Ее были лишь Андрей и горе. Она вышла на опушку. На опушке березы не такие, как в глубине леса, защищенные от ветра, тут они шумливы и растрепаны. Мелкий, с переборами, шум мешал вслушаться: что там, за опушкой?

Мария выглянула в прогал между деревьями. Через топкий луг виднелись домики, несколько домиков. Она представила себе мягкую сайку, всю булочную у Покровских ворот, и во рту скопилась слюна. В дом бы, в любой дом... может быть, накормят... Но в доме могли быть и немцы, и полицаи. На ум пришло: «Не проливайте своей крови! И нашей... Мы – соотечественники...» Соотечественники, поняла она в свои небольшие годы, это гораздо большее, чем то, что люди вместе живут в одной стране, в одном городе, в одном доме...

Опасения не оставляли ее. Она не решалась под-

ходить к домам. Но не заметила, что уже шла по лу-
гу, потемневшему, словно покрылся сплошной тенью.
Небо впереди, на самом краю, левее домов, было
густо-красным, и земля там, вдалеке, была розовой,
небо и земля, казалось, догорали.

Мария пересекла луг.

Она остановилась у крайнего дома со скособочен-
ной калиткой, несмело, сквозь перекладинки невы-
сокого забора, просунула руку, нащупала вертушок,
повернула. А переступить за калитку не решалась.
Сердце учащенно билось, в висках стучало, подкаши-
вались ноги. Глаза искали что-нибудь такое, что успо-
коило б ее, и не находили. Двор за изгородью пуст.
Ни собаки. Ни поросенка, ни курицы. Из раскрытой
клуни торчала солома, смятая, неживая, словно и не
хлебная вовсе. От клуни натопанная дорожка вела
до двери хаты, от которой в обе стороны отходила
подбеленная завалинка. К стене приставлены грабли
с зубьями, забитыми пучками сена.

Мария услышала, брякнула скоба, дверь раствори-
лась, и на пороге возникла женщина в сером платке,
в серой кофте и темной юбке. Посмотрела на Марию
без удивления.

– Заходи, дивчина, – сказала почти равнодушно. –
Шо стала?

Мария продолжала стоять, словно и не к ней об-

ращалась женщина, словно и не было женщины, она привыкала к тому, что перед ней человек, первый, которого встретила на свободе – после школы.

– Заходь, раз пришла, – доносилось будто издалека.

Мария неуверенно шагнула и остановилась перед женщиной. Что сказать? Она не знала. Вид ее сказал женщине все, и та посторонилась, пропуская ее в сени.

– Заходь... Заходь...

Женщина закрыла за собой дверь, опередила Марию и вошла в комнату.

– Сидай, – сказала, не оглядываясь. – Борща насыплю. – Женщина сняла платок, взялась за рогач, вытащила из печи чугунок.

Смачный дух заполнил комнату, и Мария судорожно втянула в себя одуряющий запах борща, облизнула губы, быстро задышала.

Женщина поставила чугунок на стол, подала ложку.

– Ешь, прямо из горшка ешь. Без мяса нехай, а борщ. Ешь, ешь.

Мария уже ела. Она низко склонила голову над чугуном и ложку за ложкой зачерпывала вкусную, пахучую, красноватую жидкость с багровыми огоньками свеклы, с желто-зелеными ломтиками капусты. Ела торопливо, обжигая губы, словно думала, что никогда

ей не насытиться.

Она почувствовала усталость, словно пища не подкрепила ее, а забрала остаток сил. Тело стало тяжелым, неповоротливым, сон, как одурение, сваливал Марию, и она едва удерживала голову. Женщина стояла перед нею глаза жалостливые, руки скрещены на груди.

– Наголодувалась як. Аж очи захололи. Таке молодесеньке... сочувственно покачивала головой. – И скільки зараз блукає отаких...

Мария слабо улыбнулась, сама не зная чему. Она рассмотрела женщину. Густые, собранные в пучок, сидящие волосы. Лет сорок пять, под пятьдесят. Глаза тоже неуступчиво напоминали о ее возрасте: тонкие жилки, как сетка, лежали под ними.

– Скидай чоботы. Все скидай. – Женщина расстелила кровать, бросила в изголовье взбитые, словно сугробы белого снега, подушки, кивнула Марии: Лягай.

Все враз провалилось куда-то, и школа, и немцы, и лес, только облик Андрея, глухой какой-то голос его еще с минуту заполняли ее, в глазах поплыл туман, и она растворилась в нем.

Она, должно быть, вскрикнула, испугалась чего-то и раскрыла глаза. Приснилось дурное. Трудная жизнь одолевала ее, сны были не лучше. Сны повторяли действительность, путанные, они, как назло, выбирали

самое худшее из того, что происходило, и когда она просыпалась, вся была в слезах и дрожала в ужасе. У нее и сейчас потерянно сжималось сердце.

– Чого, дивчина, злякалась? – голос с печи. – Спи, спи. Ничего не трапилось. Спи.

Мария перевела дыхание. Еще ночь, надо спать. Что еще покажет ей сон? И вдруг не захотелось, чтоб Андрея. Только что видела она его, он лежал у пулемета, и из сада ударили автоматы, и пули разбивали стекла окон, громко врезались в стены, оттого, вспомнила, и проснулась. А если сои покажет то, что произойдет дальше?.. Мысли слабели, терялись, она снова уходила в сон.

Проснулась в полдень.

Женщина хлопотала у печи. Услышала, Мария повернулась под одеялом.

– На тебе, дивчина, и сорочки нема. Ой же ж, бид-несеньке!..

Мария вспомнила, что совсем голая, что изорвала сорочку на бинты.

Женщина не ждала ответа, будто все поняла.

– И обидрана вся. Одягнешся ось. От дочки залишилось.

Мария увидела на табурете возле кровати выглаженную сорочку и ситцевое платье в мелких розовых и голубых цветочках. А на полу лежала ее блузка с

разорванными рукавами, вся в черных, серых, бурых пятнах, и юбка, располосованная с боков, сзади, и тоже в бурых пятнах и с засохшими корочками крови.

– Почекай, – остановила Марию. Та собиралась одеваться. – Зараз налью ночвы. Помыешься. Коростой вся взялась.

Мария помылась в горячей воде, надела платье. Платье было широковато в поясе. Подошла к зеркалу на простенке и не узнала себя: худое с выдавшимися скулами лицо. Зеркало, помутневшее от времени, может быть, оттого такая. Первый раз после ухода из города увидела себя в зеркале.

В хату вошел пожилой мужчина в полинялой выстиранной гимнастерке, в низких кирзовых сапогах, правый рукав, пустой, заправлен за пояс, на носу очки в железной оправе. Обвисшие углы рта делали его костистое лицо жестким.

– Ось и хозяин, – проговорила женщина.

Мужчина сел к столу, левой рукой поправил очки на переносице. Молча рассматривал съезжившуюся Марию.

– Выспалась? Думал, и не проснешься уже. Сутки спала.

– Спасибо. Выспалась.

– Откуда сама?

Мария помедлила с ответом. Вспомнила Романа

Харитоновича: «Вы опрометчивы... Не знаете, куда вас несчастье занесло, и сразу – все начистоту». Но видно же, хорошие это люди, подумалось. Нет, пока не все она скажет, подождет.

– Из Белых ключей.

– А куда подалась?

– Не знаю, – покачала Мария головой, опустила глаза.

– Это как же?

– Правда, не знаю...

Мужчина уловил: девушка чего-то недоговаривает.

– Партизанка?

– Нет, нет. Что вы?

– Оборвалась, вся в крови, вроде с целой дивизией воевала. Добре. Не говори, раз так надо. Сам был военный. Руку вон похоронил.

– Вы воевали? – с чувством облегчения проронила Мария.

– Не воевал. Отступал.

– Все отступали.

– Ты кто? Связистка? Санитарка? В какой части была?

– Не знаю, в какой части, – созналась Мария.

– Чего-чего? – Мужчина насторожился.

– Не знаю, в какой части, – испугалась Мария, что вызовет подозрение этих добрых людей. – Все полу-

чилось как-то...

Уход из Киева... – вынужденно стала рассказывать. – Данила с Сашей... Какая-то рота на правом берегу. Переправа... Школа...

– Андрей там еще, в школе. Стреляет еще... – заплакала она.

– Д-да... – протянул мужчина. – Стреляет еще... – Помолчал. Хозяйка, ставь на стол.

Ровными движениями разрезала женщина ковригу – ломоть за ломтем. Потом достала из печи сковороду с яичницей с салом.

– Ну, на здоровьечко...

– Съедем вот запас харча, – объяснил мужчина, – и тогда... И побираться не у кого будет. Все будут побираться. Если к тому времени война не кончится. А видно, не кончится.

– Трудно жить, – согласилась Мария. Что-то надо было сказать.

– Жить, говоришь, трудно? Это бывает. А помирать еще трудней. Вот ведь как. Добре. Хлеба вон бери. Душа живая, ей есть надо. Сала подцепляй.

Мужчина положил вилку, обтер рукой губы, склеил сигарку.

– Достань огоньку, – негромко сказал женщине. Та вынула из печи рдеющий уголек и, перебрасывая с ладони на ладонь, поднесла мужчине. Цигарка никак не

разгоралась. Наконец прикурил, затянулся и взмахами единственной руки разогнал выпущенный дым.

– Як тебе, дивчина? – ласково посмотрела на нее женщина.

– Мария.

– Маруся. Нащо тобі, Маруся, кудысь ити? Залишаися у нас. Разом з нами переживеш оце лихолиття. У нас теж дочка. Постарше за тебе. Замиж пишла. Пид Брест. И онучка е. А як почалось, ниякои листивки вид неї. Ой горе ж...

Мария молчала.

Послышался дальний гул в небе. Мужчина повернулся к окну, заслонил ладонью глаза от резкого света, посмотрел вверх – где-то в стороне, невидимые, шли самолеты.

– Бомбить... – со злым спокойствием произнес. Он опустил голову.

– Куды ж ты, Марусенько, пидеш? Бачиш, як воно... – запричитала женщина, она все еще со страхом смотрела в окно, будто ждала, что самолеты повернут сюда, на хату.

Мария пожала плечами. Предчувствие, что непременно встретится с Андреем, в Москве или даже раньше, за линией фронта, возбуждало в ней нетерпенье. Сказал же: может, за линией фронта, может, в Москве. Она почти уверовала, что Андрей выбрался из шко-

лы, направился другой дорогой и потому они разми- нулись. Ей пришло в голову: а если доберется в Моск- ву раньше, не застанет ее, и тогда потеряются они на- всегда. И ее потянуло в путь. Скорее, скорее...

Женщине показалось: Мария колеблется, обдумы- вает, как ей быть.

– Ось и хозяин казав: хай залишається. Як нам бу- де, так и тоби.

– Вы хорошие люди, спасибо вам, – тихо сказа- ла Мария. – Но мне надо как-нибудь перейти линию фронта.

– Понятно, – произнес мужчина. – Понятно. Так вот. До линии фронта уже далеко. Идти долго. Ну, а на- до, так надо. Отдохни сегодня, а утром тронешься, раз надумала.

День тянулся непостижимо медленно. Еще медлен- ней тянулась ночь. Мария просыпалась каждый час, каждые полчаса, окна по-прежнему были черные, и она снова погружалась в дрему.

Наконец серые блески, еще бессильные, не со- всем утренние, легли на стекла. Мария протерла гла- за. Поднялась с кровати. Женщина уже хлопотала у печи.

– Поснидай, Марусенько. Може, не швидко тоби знов за стил сидать...

Есть не хотелось. Но Мария поела горячей картош-

ки, выпила кружку чаю.

– Слухай. – Мужчина закурил. Он сидел по другую сторону стола. Пойдешь тем лесом, что шла, березовым. Вправо станция наша, после станции Белые ключи она. Держись влево. Дойдешь до города, – он назвал этот город. – А там присматривайся, обращай. Старайся лесами. А открытым местом если, лучше по-темному. По дорогам теперь полно немецких солдат, офицеров, эсэсовцев, полицаев и всякой другой наволочи. Не попадайся на глаза.

– Я уже кое-чему научена.

– На войне, сколько ни учишься, все мало. – Помолчал. – А окруженцев встретишь, с ними пойдешь.

Мария тяжело собрала волосы, накинула на голову хозяйкин платок, надела ее телогрейку с заплатой на плече, тоже, как и платье, широковатую, взяла приготовленную плетенку с едой. Молча постояла у двери.

– Виктор Прохорович Дудка я, – сказал мужчина. Он положил свою единственную руку на плечо Марии. – Может, не забудешь.

Мария ничего не сказала. Она не забудет этих людей. Никогда не забудет.

Она вышла из хаты. Пошла не оглядываясь, она чувствовала, женщина в сером платке, в серой кофте и темной юбке, с тонкими жилками под глазами и однорукий мужчина смотрели ей вслед.

Лес кажется черным только издали. Когда Мария миновала луг и вернулась во вчерашний лес, все в нем было березово-белым, иссиня-зеленым, рыжеватым. Вправо, значит, станция Белые ключи, и забирала левее, на восток. Трава под ногами уже по-осеннему затвердела. Гулко стучал дятел, похоже, не в дерево, а в лесную тишину. И это подбадривало Марию, потому что тишина, давившая со всех сторон, усиливала чувство одиночества, но и успокаивала: ничего опасного, пока – никого, никого...

Лес оборвался, и Мария оказалась на поляне и пошла вдоль серебряной тропинки ручья. Свет дня уходил в бесконечность.

Небо постепенно менялось. Ветер нагонял неспешные круглые облака, и они двигались в Покорном небе, и видно было, как становились розовыми, когда накрывали солнце, потом лиловыми, едва пропуская свет, и свет был такой слабый, усталый. Облаков становилось больше и больше, они захватывали все небо.

«Будет дождь», – ежилась Мария от прохлады. Она и не заметила, что день миновал и надвинулись сумерки. В небе тепла уже не было, с земли тепло тоже

ушло. Она приближалась к ветряной мельнице на холме. Ветер бился в мельничные крылья, и крылья, принимая тугие удары, гудели и с громким скрипом сдвигались с места.

Дождь брызнул, неуверенно, будто пробовал – что получится? И пошел, и пошел... Струи густо тянулись с высоты, длинные и темные, и на земле стало тесно от них, будто окуталась она дымом. Мария кинулась к мельнице.

С подветренной, не видной ей, стороны доносился приглушенный говор. Она остановилась, прислушалась. Нет, не немцы. Тоже, наверное, какие-то путники спрятались от дождя. Мария уже измокла, струи дождя секли лицо, стекали по платку за шею, на грудь, на спину. Она чуть высунула голову, увидела: под высоким деревянным козырьком мельницы, накрывшись плащ-палаткой, сидели двое. Они сразу сбросили с себя плащ-палатку, услышав шаги Марии.

– Откуда взялась? – вскинул на нее встревоженные глаза человек, возраст которого было не определить. Лицо мертвенное, пергаментное. Впечатление это усиливалось еще тем, что было оно худое, лишенное растительности. Поверх военной гимнастерки натянута крестьянская рубаха. Откуда взялась, говорю? – повторил хмуро. Он успокаивался.

– А из той вон деревни, – осевшим голосом отозва-

лась Мария, показывая, откуда шла, и видно было, как рука дрожала.

– Из какой это, из той вон? Забыла?

– Не забыла. – Мария собралась с духом. Она не знала, как называлась деревня, из которой ушла, и сказала: – Из Белых ключей.

– Да будет тебе, – тронул второй, со свежим шрамом во всю щеку, плечо того, с пергаментным лицом. – Что даст название? – Он снова накинул на себя и на него плащ-палатку. – Садись и ты под брезентовую крышу, миролюбиво посмотрел на Марию.

Она села. Дождь тупо стучал по плащ-палатке, она набухла, вода просачивалась на головы.

– Чего у тебя там, в корзинке? – поинтересовался тот, с пергаментным лицом, кивнув на плетенку, тяжело висевшую на локте Марии. Он весь пропах табаком, и еще пахло от него водкой.

– Еда. – Мария поставила плетенку на поднятые колени. – Хотите?

Он не ответил, сунул руку в плетенку, вытащил душистую паляницу, разломил, половину взял себе, другую – отдал второму, снова полез, достал вареную курицу, тоже разодрал на две части.

– Рубай, – сказал товарищу. Он уже вгрызся в хлебную краюху, рвал зубами куриную ножку. Глаза округлились. Он чавкал громко и самозабвенно.

– Возьми, девушка. – Тот, со шрамом на щеке, протянул ей кусок хлеба. – Голодна?

Мария взяла, тоже стала есть.

– А еще в корзинке что? – Человек с пергаментным лицом снова пошарил в плетенке. – Яйца. О! Ты, видать, здешняя? Найдешь чего жевать, уверенно произнес. – А нам – топать. – Хозяйственно перекладывал он яйца из плетенки в свои карманы.

– А куда – топать? – Мария ожидала, что скажет он. Она сообразила, перед нею окруженцы и, возможно, держат путь к линии фронта.

– Эх, любопытная. С нами, может, захотела? Не по доророге.

– Будет тебе, – кинул второй, со шрамом на щеке. – Далеко идем, девушка.

– Туда, где уже не стреляют, – не удержался человек с пергаментным лицом.

– Теперь везде стреляют. – Мария почувствовала, в ней поднималась злость.

– Нет. Не везде. Кое-где отстрелялись.

– Вон оно что! А вы, вроде, военные.

– Были.

– Как так? – Мария уже не боялась этих двух. «Дезертиры проклятые...» – подумала. – А вы тоже – «были»? – с усмешкой обратилась к тому, со шрамом на щеке.

– Да нет... военный... – Помолчал. – Пережду... у него... Он недалкий. Освободят наши эту территорию... тогда...

– Много освобождать придется, – отрезал человек с пергаментным лицом. – Сил не хватит... – Слова свои подкреплял он суматошными жестами.

Мария поняла, не с нею объяснялся он, просто давал волю мыслям своим, хотел выговориться.

– А если хватит сил? Освободят если? Тогда вы как?..

– Тогда посмотрим.

– Посмотрите... Понятно, понятно... – неприязненно произнесла Мария и поднялась, ногой отшвырнула пустую плетенку. – У вас ничего нет за душой!..

– У меня за душой ровно столько, чтоб суметь про-
существовать...

Мария уже не слышала, что еще говорил тот, с пергаментным лицом. Она спустилась со скользкого холма и, нетвердо переставляя ноги, двинулась в темноту. Наклонив голову, шла против ветра, под дождем. Шла долго, может быть час, может быть два, четыре...

Ветер, похоже, летел издалека, он нес с собой плотный запах леса, воды, болота, ночи, и утра тоже. Утро наступит скоро. Уже ведь поздно. Сколько ни внушала себе, что не нужно бояться темноты, не помогало. Казалось, на каждом шагу – немцы, полицаи, прикрыв-

шись темнотой, они дожидаются ее, и она идет прямо им в руки. Ночью мысли всегда плохие. Ночью все трудное в душе всплывает наверх и сдавливает сердце.

«Я еще не научилась быть мужественной, Андрейка, – жаловалась ему, самой себе. – Еще всего боюсь. Темноты боюсь, леса, поля ночью, когда я там одна... Боязнь эта мешает мне двигаться дальше... куда ты хотел, чтоб я дошла. Помоги мне, Андрейка... я пропаду одна без тебя...»

Ночь медленно кончалась. Дождь продолжал лить. В темноте дождь был невиден. Теперь видно, что дождь белый, скорее серый. Перед тем как лечь на землю, капли проносились у самых глаз, и видно было, что они серые. И день занимался, серый, унылый.

Мария вытаскивала ноги из глубокой и вязкой грязи. Она почувствовала, что сможет сделать один только шаг, и все. И сделала. И припала к придорожному камню. И села. Дождь лил. С головы, с лица струи спадали на колени.

Тусклый свет открыл колесную колею, наполненную мутной водой, положил провода от столба к столбу, поднял еще зыбкую сосну у дороги, и Мария увидела, птичка, как мокрый шарик, прижавшись лапками к ветке, терпеливо ждала утра. Марии снова вспомнилось озерцо, возле которого сидела с Сашей, она сти-

рала снятый с его лба загрязненный бинт, потом растилала бинт на валуне, выползшем на берег, – из-под тяжелого камня пробивалась травинка и тонким зеленым язычком своим тянулась вверх. Сколько понадобилось сил и терпенья, подумалось тогда, и где взяла это тихая травинка?.. Мысль о травинке задела в ней что-то, что-то вдохнула. «Надо свыкнуться с тем, что произошло, тогда все будет легче...» Это было примирение с действительностью.

Она поднялась с камня. Дождь кончился. По-прежнему было неясно – куда же идти?

Она пошла. В ней, подумала, наверное, больше упрямства, чем уверенности. И пусть. Раз упрямство помогает двигаться дальше. Вдоль дороги выступали березы, ветер тряхнул их и на землю слышно посыпались капли, вслед им неспешно тронулись, легко покачиваясь в воздухе, вызолоченные за лето листья.

Впереди где-то, должно быть, горело. Дым накатами валил сюда. Потемнело. Похоже, ночь вернулась, только горькая какая-то, дышать трудно, и тьма едкая – глазам больно.

К вечеру подошла к развалинам: черный выжженный город. Кто мог подумать, что города сложены из пепла. Уцелевшие куски улиц пустынные, словно никто не населял их, даже дома, кое-где оставшиеся, выглядели одинокими, умерщвленными. Мария двигалась

медленно, потерянная, словно одна только и осталась на свете. Дом, наполовину срезанный снарядом, бомбой, пустырь, на котором нагромождены груды дымившихся камней, парк с обгоревшими вершинами тополей, снова пустырь, снова дом, двухэтажный. Мария остановилась возле него. Верхний этаж обвалился, и щебень загородил наполовину вход в первый этаж. Окна выбиты, в крайнем окне, чем-то занавешенном, мелькал робкий, какой-то далекий свет. Мария потопталась возле, пробралась через щебень. Вместо двери увидела брезентовый полог. Приподняла брезент, вошла. Под потолком висела керосиновая лампа со слюдяным окошечком, полным оранжевого света. Плотный седоголовый мужчина резко обернулся на шаги Марии, он был испуган. Лицо его сразу покрылось испариной, стало мокрым, будто только что умывался и еще не вытерся. Женщина, стоявшая рядом, схватилась рукой за сердце.

– Кто вы? – незащищенно выкрикнула она.

– Кто вы? – спросил и седоголовый.

– Беженка.

– Вы оттуда, а? – седоголовый подбежал к Марии весь в ожидании, что она подтвердит: оттуда. – Садитесь, – неверной, трясущейся рукой пододвинул табурет. – Вы оттуда? – не сводил с нее глаз.

– Да.

– Это же неправда, что немцы убивают всех евреев? Это ж не так, а? Это же не может быть, а? Так, ни за что, не убивают же? – Седоголовый вглядывался в ее глаза, стараясь увидеть в них ответ.

– Они всех убивают, – почти простонала Мария.

Женщина все еще держала руку на груди, там, где сердце. Голова ее на тонкой шее была такая маленькая, что казалось удивительным, как помещались на лице глаза, нос, рот, подбородок... И все-таки женщина была миловидной.

– Понимаете, товарищ, – говорил седоголовый, – мы врачи. Не успели эвакуироваться: в больницу привезли раненых, я оперировал их. А тут в город вошли немцы. Мы вот и не успели... А мы евреи...

Женщина громко вздохнула, словно ее охватила боль.

– Вы вся мокрая, – сказала. – Снимайте телогрейку, сапоги. Давайте к плите поближе.

На плите стоял чайник, вода в нем громко кипела, подбрасывая вверх крышку, выплескивались брызги и шипели на чугунной пластине с несколькими кружками конфорок, будто над плитой шел дождь, сильный, с пузырями.

– Попьете с нами чаю.

– Спасибо, – кивнула Мария.

Они пили чай с вареньем.

– Всех, говорите, убивают? – Женщина смотрела, как Мария прихлебывала из блюдца. – У них же девиз на пряжках: «Гот мин унз» – «С нами бог»... И такое творят именем бога! Мы, конечно, неверующие. Но – именем бога?..

– Мне кажется, они ничего не успеют сделать. Наши вот-вот вернутся. Как вы думаете? – Слабая надежда слышалась в тоне седоголового мужчины.

– Не знаю, – покачала Мария головой. – Не знаю...

– Может быть, обойдется? Как вы думаете?

– Не знаю, – почти шепотом повторила Мария.

– Человеку от рождения сопутствует страх. Он боится болезни, боится молнии, боится неурожая, боится плохого соседа, боится войны, смерти боится... Надо перестать бояться, а?.. – Седоголовый прищурил глаза, улыбнулся, но лицо выражало страдание. – Нет, наши скоро вернутся. Сжечь город гитлеровцы успели. Но убить всех могут не успеть, а?..

Ничего Мария не могла сказать. Она чувствовала себя такой же несчастной, как и этот седоголовый мужчина и женщина эта.

– Бомбы сожгли ваш город?

– И бомбы. И снаряды...

– Мне под Белыми ключами сказали о вашем городе. – Она назвала город, о котором говорил ей однорукий. – Слышали о Белых ключах?

Нет, о Белых ключах седоголовый не слышал. Но город этот совсем не тот, который она имеет в виду. Другой город. Тот – северо-восточней, железная дорога к нему ведет. Туда и отошел фронт.

– Там линия фронта? – Наконец-то узнала Мария то, что ей всего более надо было узнать.

– Где линия фронта сегодня, где еще вчера была, никто не знает. Листовки были. С Москвой вроде бы плохо. К Москве немцы подходят. Да говорить они могут что угодно... А вы – к линии фронта? – По выражению лица, заметила Мария, седоголовому что-то пришло на ум.

– Если удастся. – Она не спускала с него глаз: что именно тот надумал?

– Мы бы пошли с вами... Но это опасно... для вас... Если верно, что гитлеровцы уничтожают евреев... то при поимке... и вы погибнете... Нет... вам нельзя... с нами... – Седоголовый мужчина говорил натужно, выдавливая из себя слова. Казалось, каждое произнесенное им слово требовало усилия.

А потом была ночь. Они спали втроем на матрасе, расстеленном на полу: кровать, стоявшая вдоль стены, изогнутая, смятая, не похожа была на кровать, над нею зияла неровная дыра – след бомбы, пробившей потолок.

Мария спала без снов. Снов не было, во всяком

случае, она их не помнила. Она очнулась с тяжелой головой, словно сон еще предстоял. Вспомнила, что-то все же видела. Вспомнила: видела маму с папой, видела тетю Полину Ильинишну, дядю-Федю, Федора Ивановича, только отдельно от мамы и папы, и Андрея видела... И ей захотелось опять уснуть и увидеть всех их вместе...

Женщина вскочила на ноги. Поправила полог на дверном проеме, раздвинула шторы на окнах, пошла к плите. По ее крепким икрам разбегались голубоватые жилки. Седоголовый тоже открыл глаза.

– Дождь, кажется, кончился, – сказал он, будто это обстоятельство особенно занимало его. На лице уже никаких признаков страдания. Когда все вокруг испытывают горе, страдание становится обыкновением, и его легче переносить, даже забываешь о нем.

Дождя, верно, не было. Мария посмотрела в небо. От ночи остались только темные тучи, и могло казаться, что она убавилась, но еще длится.

Потом Мария стала прощаться. Телогрейка, платье, платок не совсем просохли, но с них уже не стекала вода, и Мария чувствовала себя хорошо.

– Желаю вам удачи, товарищ, – сказал седоголовый мужчина. Лицо его снова, как и вчера вечером, стало озабоченным. – Перейдете линию фронта, расцелуйте первого красноармейца, которого увидите. За

нас тоже... Дебора, – повернул голову к женщине: – У тебя больничные бланки?

– Посмотрю. – Женщина порылась в шкатулке. – Да, есть.

– Напиши: такая-то перенесла... ну, скажем, тиф. Неважно, какой. Тиф. Тиф пиши по-русски и по-латыни. Написала? Вы справку эту возьмите, седоголовый снова обращался к Марии. – Талисман, вроде бы. Молоденькая, хорошенькая... Мало ли... Привяжутся, будете защищаться этим. Тиф звучит, вроде бы, устрашающе...

– Спасибо. – Бумажку со штампом Мария спрятала у груди.

Они обнялись, чужие люди, и расстались.

Мария шла в клубившийся волнами туман. Тьма отходила куда-то в сторону, и освободившееся пространство занимал серый, с легкой голубизной свет. Он проступал из-за спины и стелился под ноги, еще слабый, прохладный.

Мария шла неуверенно, почти безразлично, разбитая, опустошенная. Туман медленно поднимался, открывая мир таким, какой он есть. Она оглянулась: позади громоздились развалины, среди них потерялся дом, в котором провела ночь. Над развалинами, над черными воронками – тихое, бело-голубое небо, и небо такое казалось невозможным над этими разва-

линами, над воронками, и воронки, развалины выглядели тоже неестественными под таким небом. «Фашисты не знают, где мирные дома и где война», – подумала. Мария обогнула последний сохранившийся кусок улицы и вышла на травянистый простор – должно быть, луг. Высокая, выше колен, трава была еще мокрой от тумана. Впереди виднелись столбы, и она поняла столбы вдоль железной дороги, и дальние курганы виднелись, и левее курганов лес.

Куда идти? Она не знала, куда идти.

Кто-то шел ей навстречу, она остановилась, подождала. Наконец с ней поравнялся бородатый человек с котомкой за плечами. Она спросила, как добраться до города, который назвал ей тот, однорукий.

– Как? Как, говоришь? – Бородатый даже удивился, услышав о городе, названном Марией: собирается следом за немцем? Он оглядел ее всю, поджал губы, точно прикидывал, говорить – не говорить? Наконец сказал: – Видишь вон? – обернулся к ней спиной и указывал палкой сразу на столбы, на курганы, на лес. – Вон туда и иди. – Крякнув, пошел дальше.

Мария подошла к железнодорожной насыпи, взобралась на нее. Увидела померкший семафор и темное облачко над ним, будто последний дым последнего поезда, промчавшегося мимо него. Она шла по шпалам, перед нею бежали синеватые огоньки рель-

сов и погасали за поворотом.

– Хальт! Хальт!..

Мария оцепенела. Сердце остановилось. Ноги остановились. Ее окликали. Немцы.

Обильный пот проступил на лбу, на лице, она почувствовала это, и понимала – от страха: ей не было жарко, все в ней похолодело. Сухим языком слизнула крупные капли, скатившиеся на верхнюю губу.

– Ком! – твердый, настаивающий голос.

Два солдата с автоматами за плечами подошли к ней. Ее спрашивали, наверное, кто такая, откуда и куда направилась. Она не могла и рта раскрыть, язык онемел. Один солдат, с толстым лицом, полными губами, улыбнулся ей. Потом подмигнул, протянул руки и прижал к себе.

– Ком... ком... – влек ее куда-то.

Другой солдат, с виду хмурый, тоже понимающе улыбался.

– Ком...

Мария вырывалась из цепких рук немцев. Но тот, распахнув на ней телогрейку, еще сильнее стиснул ее. Он услышал, под платьем зашуршало что-то. Он вскинул глаза, быстро сунул руку за вырез платья у груди, схватил бумажку, торопливо развернул.

Оба солдата вертели справку, наконец до них дошло: тиф...

– Кранк?

Мария перевела дыхание, наклонила голову, подтверждая, что больна.

Солдат, тот, что тискал ее, ударом сапога столкнул Марию под насыпь, она покатилась, мгновенно вскочила и скрылась в кустарнике. И тогда услышала, что над кустарником, поверху, пронеслась автоматная очередь.

4

Наверное, разбудил ее крик ночной птицы. Тьма ударила в глаза. Мария вздрогнула. Крик накатывался на нее, страх накатывался на нее. И она не могла сообразить, спит или проснулась.

Потом поняла, что глаза открыты. Холод сдавил кости, ее трясло. Не сразу поняла, где она. Она лежала ничком. Раскинув руки, пошарила вокруг головы: холодная, мокрая трава. А пень? Был, кажется, пень. Вот он, нащупала рука. Она вспомнила, что дошла до этого пня и упала, и уже не поднялась, и уснула.

Жизнь безжалостно возвращалась.

Сколько же спала? Мария приподнялась, села. Она протирала еще тяжелые глаза. Ночь. Надо идти. Теперь могла она идти только ночью.

Линия фронта проходила где-то уже недалеко, и это

чувствовалось во всем. Где-то в стороне, левее, глухо колотила артиллерия, тупо ухали разрывы бомб, и Мария вслушивалась в эти отголоски боя. Днем по дорогам, вздымая пыль, двигались немецкие машины с солдатами, тягачи тянули орудия, туда-обратно носились мотоциклы, ходили патрули. И когда Мария перебежала поле, луг, поляну, разрывавшие лес, все в ней дрожало: солдаты на железнодорожной насыпи не уходили из памяти.

Мария вышла из лесу. Было так темно, что казалось, идет еще лесом. Даже ноги ставила неуверенно, как там, в лесу. Она просто не разошлась как следует, потому это. Ничего, разойдется. Предстояло самое опасное: перейти линию фронта. Какая она, эта линия, не представляла себе. И как ее переходить?..

В детстве в мечтах своих искала она сказочные синие берега. До них было далеко, до этих синих берегов, так далеко, и жизни всей не хватило б, чтоб дойти до них: на пути неодолимые горы, непроходимые леса, нескончаемые ночи, но она шла, шла к синим берегам своего детства. Ей показалось вдруг, что и сейчас шла к синим берегам, они уже недалеко. Перейти только эту страшную линию фронта, и она окажется там, на синих берегах... Сердце сжалось от мысли, что и у них, оставшихся в школе, в Белых ключах, была, наверное, и своя мечта о синих берегах, до кото-

рых им уже никогда не дойти.

Почему-то подумала: какой сегодня день? В самом деле, какой? И удивилась, ни числа, ни названия. Понедельник? Четверг? Суббота? Она не знала. Это знает только жизнь, только жизни это нужно. Такое ощущение, что кончилось время, – одно пространство, изнуряющее, холодное, опасное. Прожить день, потом вечер, потом ночь и опять повторить это – все, что хотелось.

Она и не заметила, что ночь давно перешла в утро, минуя рассвет, его просто не было, мрак торопливо редел и враз иссяк. Невдалеке, видела она, начинался лес. Передние ели выбрались из ночи и уже стояли на опушке, густые, высокие, четкие в своей зеленоватой черноте. Она шла через луг, показавшийся большим, бескрайним, шла по следу, лежавшему на выстуденной траве. Свет накидал на нее серебряные росинки, они уже затвердели и напоминали головки мутно-зеленых булавок, торчавших из земли. Только бы никто не увидел ее, в прифронтальной полосе человек, выбравшийся из леса и шагающий неведь куда, подозрителен.

Луг наполнялся ровным солнечным светом, и Мария смотрела, как свет отталкивал тени застрявших здесь деревьев. Потом ветер наклонял деревья, и тени тяжестью своей снова накрывали траву.

Вон и деревня. Мария ускорила шаг. У околицы выждала, пока по большаку пройдет колонна немецких солдат, направлявшихся в сторону поднимавшегося солнца. Она кинулась к первому, оказавшемуся поблизости дому. Он выглядел безлюдным. Окна закрыты ставнями с железными заглушками. Постучалась. Из дома вышел мужчина со злыми глазами, злым лицом. На ходу набивал трубку табаком и желтым прокурным пальцем приминал его.

– Чего надо?

Мария не успела ответить.

– Ничего нет. Ничего нет. – Глаза пустые, у человека не может быть таких глаз. – Иди с богом. Не то старосту кликну. – Сунул трубку в зубы, и Мария увидела: зубы тоже желтые, и крупные, длинные. – С богом, повторил. – Бог поможет... – Теперь во взгляде его была нескрываемая враждебность.

Растерянная, Мария повернулась, пошла от дома с закрытыми ставнями с железными заглушками.

Большак остался в стороне, по нему катили грузовики, такие же, как те, которые Мария впервые увидела, когда шла с Данилой, с Сашей, на вечеровом шоссе, – слишком длинные, слишком высокие кузова, но без брезентового верха гармошкой, и спины солдат видны были, и рыжие ранцы на спинах. Теперь это не удивило ее, она и не смотрела на дорогу с грузовика-

ми.

Мария снова шла лугом. Потом выбрела на проселок. Проселок вел к лесу. Мария шла с тяжелым сердцем, опустошенная. Торопиться, казалось ей, уже было незачем: просто идти, идти и где-нибудь выйти к своим. А то, что идет к своим, не сомневалась, уверенность была какая-то тупая, возникшая, быть может, из сознания, что нельзя не выйти. И она шла, шла.

Она услышала, сзади тархтела телега, оглянулась. Ее настигала лошадь, поравнялась с ней. Лошадь, худая, болтала головой вверх-вниз. Старый человек в треухе, сдвинутом набок, в запятнанном стеганом ватнике, сгорбленно сидевший в телеге, остановил лошадь.

– Садись, подвезу, – посмотрел старик на Марию. – Далеко надо?

Мария села, опустив ноги через грядку. Ей было уже безразлично, куда повезет ее этот человек в треухе и ватнике.

– Нн-о-о!.. – понукал он лошадь. У лошади короткий черный хвост, он ни разу не шелохнулся, как деревянный, словно и не хвост вовсе. – Откуда будешь? – не повернув головы, спросил старик.

– Из Полтавы... Гостила в Белых ключах...

– И куда?

– Да в Полтаву хоть... обратно...

– В Полтаву?.. – Старик удивленно взглянул на Марию. – Ты, девча, чего-то не то... – покачал головой. – В Полтаве ж еще наши. Как же ты туда?

Мария уже не знала, что говорить и чего не говорить. Все так запутанно, неясно, рискованно.

– Через фронт не проберешься, – раздумчиво сказал старик. Он перебирал ременные вожжи.

– Проберусь!.. – с упорством отчаяния выкрикнула Мария.

Дальше ехали молча.

Дорога как бы нехотя вползала в лес. Дорога пробивалась сквозь чащу, извивалась между тесно прижавшимися деревьями, обогнула три молодые березы, вынырнувшие из еловой мглы и ставшие почти наперекор. Потом лес расходился в стороны, вправо и влево, потом снова сошелся, только неширокой просеки не тронув, и двигалась она дальше прямая, спокойная.

Солнце уже опускалось и вскоре будто сквозь землю провалилось, оставив на просеке красноватый след. А потом и след этот пропал. На повороте старик остановил лошадь. Спустился с телеги, бросил вожжи на передок.

– Мне поворачивать. Туда, за лес. Ну да то тебе ни к чему. Так в Полтаву, говоришь? – Помолчал. – Нехай

в Полтаву. Слушай меня внимательно. Тебе – прямо, до самого края. Верстов с шесть. За лесом – река. А по ту сторону реки – наши. Держат оборону. – Помолчал, подумал. – Вчера еще там были наши. – Опять помолчал. – Ночью, попозднее, проберись в кустарник у самого берега, выжди, оглядись. Увидишь камыши. Немцы – правее камышей. Точно знаю. Не спрашивай, откуда знаю. Не твое это дело. Упомни – правее камышей. Слушай дальше. Осторожно войдешь в камыши и тихо, тихо, тихо, как мертвая, двигайся к повороту реки – и к тому берегу. Удастся, считай повезло. Не удастся, смотри...

Старик тронул лошадь, повернул и покатил дальше, ни разу не обернувшись.

5

Телега уже скрылась из виду, а Мария, ошеломленная, стояла на просеке, не в силах двинуть ногой. Этой ночью решится ее судьба. Этой ночью... «Иди. – Голос Андрея в школе. – Как только открою огонь, подожди минуты три и – давай...» Это в ушах се, в памяти. Теперь никто не прикроет огнем. «И все равно, давай...»

Она оторвалась от просеки и пошла. Она шла и говорила, шла и говорила себе, пространству, наступав-

шему вечеру.

– Этой ночью... Этой ночью... – «Иди». – Ты мой компас, Андрей. О чем бы ни думала, что бы ни делала, куда бы ни шла, я все сверяю с тобой. «Иди». – Спасибо, ты оставил мне себя. Навсегда это. И ничто не в силах взять тебя у меня. Спасибо... Услышь хоть это. Услышь хоть, как благодарна я тебе. Ты и в эту минуту ведешь меня... – «Иди». – Я иду...

Везде, во всем видела она Андрея, голос его был всегда возле, они как бы и не разлучались. И разлучаться было нельзя. Когда ей было особенно страшно, она ставила Андрея чуть впереди себя, и страх уходил, и все получалось как надо.

– Андрей, не оставляй меня... – Она испугалась: почувдилось, что он вдруг ушел из ее глаз. – Мне не выдержать одной, без тебя. Одной мне то, что делаю, не под силу... – Она протянула руки, и руки коснулись Андрея, он по-прежнему ступал впереди.

Она очнулась и не могла сообразить, давно ли молчит, и вспомнить не могла, когда замолчала.

Далеко, впереди, раздавались пулеметные очереди, и еще – автоматные. Она уже хорошо различала, какие пулеметные и какие автоматные. И шла туда, где стреляли, к линии фронта. Вспомнилось: «И ты смогла б...» – сказал Андрей. «Могу, оказывается, могу...» Она уловила запах ветра, сильный, возбуждаю-

щий запах. «Ветер с синего берега», – облегченно подумала она. Было темно. Низкие ветви царапали лицо, руки.

Всходила луна, и лес стал ясным, голубоватым. Ночь подобрела. Лунный свет, легкий, сквозной, казался неправдоподобным, он растворил все краски, и все выглядело так, словно сотворено из чего-то одного. Она ступала по этому свету, как по воде, прозрачной до самого дна.

Внизу негромко терлась о берег вода, и слышно было, как уносила она песок. Мария спустилась в прибрежный кустарник. Упала ничком, выбросив вперед руки, вытянув ноги. «Минуту не двигаться. Минуту. Прислушаться. Осмотреться».

Потом бесшумно поднялась, постояла, выглянула из кустарника. На реке лежала желтая тень луны. Вода колыхала лодку, уткнувшуюся носом в прибрежный песок. Мария затаила дыхание. Что ж. Была не была!

Кустарник уже позади. Она вошла в камыши, в реку, наполненную золотой водой. Пригнулась, остановилась, озираясь: все колыхалось и дробилось перед глазами. Сердце стучало, и это она отчетливо слышала. Она нетвердо ступила, и пошла, дальше, дальше, все труднее передвигать ноги, вода сдавливала ее, сковала.

«Терпи. Терпи. Терпи. Терпи. – Вода поднималась

выше, и ноги увязали в донном иле. – Терпи. Терпи. Терпи». Шаг вперед. Еще шаг. С трудом вобрала в себя воздух. «Терпи. Терпи. Будь сильной. Сильной. Сильной. Буду сильной. Буду... – Шаг. Шаг. – Дойти до поворота реки... до поворота реки. Несколько шагов. Несколько шагов. И – спасенье. Спасенье. Спасенье...»

Ракета правее камышей, за лесом, озарила полнеба. Будто луна спустилась ниже, шире разлила свой свет и через минуту вернулась на место. Оттуда же, из-за леса, раздалась долгая пулеметная строчка, по камышам, по реке. По камышам, по реке ударили неровные трескучие автоматные очереди. По ней, по ней, – Мария перестала дышать. И сердце уже не билось, и глаза затянул мутный туман – все в ней обмерло, только живой холод воды, охвативший тело, не давал совсем угаснуть силам. Пули пронизывали воздух, и звуки эти смешивались со всплесками воды под ногами, такими неуверенными, как бы чужими. Она оглянулась на зыбкую, колебавшуюся тень камышей, оставшихся позади, недалеко. А до синего берега рукой подать. Синий берег, вон он, рядом...

Эпилог

И я отправилась в дорогу.

Я выхожу на перрон. Густой свет июльского полуденного солнца слепит глаза, он лежит на всем, и все такое прозрачное, ясное. В стороне громоздятся тяжелые станционные здания, и веселый свет уже ступил на их тень, словно сжег ее. Мой вагон первый, я смотрю вперед, на свободные рельсы, на них пульсируют солнечные лучи, и рельсы, как серебряные струи, кажутся живыми, будто выскользнули из-под замерших колес электровоза и нетерпеливо кинулись в даль.

До отхода поезда двадцать минут, немного больше, – взглядываю я на часы. Часы на вокзальной стене подтверждают: двадцать три минуты. Чувство, похожее на тревогу, охватывает меня. Понимаю, это от волнения, я все-таки волнуюсь.

Я все-таки волнуюсь. А казалось, я подготовлена к поездке.

Мне не хватает воздуха, будто задыхаюсь, и я стараюсь дышать глубоко и ровно, но не ощущаю живительной свежести: в городе давно ничего не осталось от природы, даже воздуха, подумалось почему-то.

Наташа – рядом, я чувствую ее теплое плечо и сно-

ва становлюсь спокойной, правда не совсем спокойной, какой должна быть немолодая женщина, отправляющаяся в отпуск. Под сорок не старость, но и не молодость, конечно. Выгляжу я ни моложе, ни старше своих лет, утверждают мои друзья. Наверное, так...

Я рада, что Наташа, окончив педагогический институт, получила направление в Белые ключи. Не обошлось и без просьб, без ходатайств. «Не удобств же ищет, не выгоды, в самом деле. Не в Москве хочет остаться». Пришлось объяснять, почему, собственно, так желательно, чтобы Наташа поехала на работу туда, в Белые ключи. Поняли. Согласились. И я собралась с ней.

Я знала, рано или поздно подхвачу чемодан, отправлюсь на вокзал и – в Белые ключи. Меня влекла туда сила памяти, и эта же сила останавливала меня: просто боялась встретиться с прошлым. Потому, может, что наедине с ним не смогу быть такой же мужественной, как тогда. На меня накатывались дни и ночи, состоявшие из горя, опасности, ожидания смерти и борьбы за жизнь, и я не знала, как защититься от этого.

Соппротивление имеет предел, и я решила снова пройти сквозь муки, не сглаженные в сердце ни временем, ни расстоянием, и тогда, быть может, все уляжется и наступит примирение с тем, что произошло, –

время ничего не возвращает. И вот я здесь, на перроне, у поезда, который через двадцать три минуты повезет меня в Белые ключи.

– Ты что это погрустнела? – обнимает меня Наташа.

– Нет, ничего...

– Опять война в голове?

– Опять, – смущенно улыбаюсь я.

– Сколько же можно? Сто лет прошло...

Я молчу. «Сто лет...» – говорит Наташа. Для нее война уже история. Ей двадцать два. Она родилась в сорок втором, сумрачным, горестным летом. «Сто лет...» – говорит она.

– Пора отходить от этого, – отгораживает она меня от прошлого. – Не таскать же это, как гирю. Ну пережили, все хорошо кончилось...

Она заботливая дочь, Наташа. Я молчу. Что знает она о той переправе через реку ночью под огнем, об осажденной школе в Белых ключах, о ночном лесу, полном опасности и страха? Ничего. Обереги ее, судьба, от этого!

Я молчу. У них, молодых, свои радости, свои беды, и надежды, и разочарования.

Наступает время отправления поезда.

Я вхожу в вагон, словно на другую землю вступаю. Земля эта трогается и отрывается от всего, в сторону отходит шумный и пестрый перрон московского вок-

зала.

Наташа у опущенного окна вагона. Полдень такой жаркий, даже деревья примолкли, трава не шелохнется, муравьи, должно быть, на кочках недвижны. Над желтым прямоугольником убранного поля видно, как стеклянными штопорками струятся потоки воздуха, и чудится, от них исходит тонкий звон, и звон этот доносится сюда, к вагону. Потом побежала длинная поляна, и глаза Наташи в расстилавшемся неоглядном королевстве луговых цветов красных, бледно-алых, голубых, лиловых, и птицы, коснувшись их, казалось, тоже становились красными, бледно-алыми, голубыми, лиловыми...

– Какая прелесть!..

– Прелесть, – соглашаюсь я.

Щеки Наташи наливаются румянцем, и румянец расплывается по всему лицу. В улыбке, в жестах столько уверенной радости, и радость эта откровенно наполняет все ее существо, как солнце наполняет пространство светом. Ей, еще совсем счастливой, кажется, наверное, что огромное над головой небо с розовым сонным облачком, и луговые цветы, и день этот, и я, и все другое сотворены ее щедрой добротой... Ей кажется, что мир, в котором я жила, если выбросить из него войну, такой же, как этот, что окружает ее сейчас. Но войну не выбросить, никогда, из мо-

ей жизни. Мир, ставший для меня неполным, весь в иззубринах, в воронках, для Наташи лишь возникает, она не в состоянии ощутить боль, врезавшуюся в мое сердце навек.

Гудок электровоза туго ударяется в окно, гудок долгий и звучный машинист что-то кому-то напоминал. А поверх столбов, поверх деревьев уже катятся круглые, как надутые шары, облака, и небо приходит в движение, и на землю ложатся то свет, то тень, то свет, то тень. Потом небо, потемневшее, как дно омыта, остановилось. На окно падают дождевые капли и, как крошечные кометы, скатываются вниз, оставляя на стекле тонкий косой след. «Дождь...» Я стараюсь думать о дожде.

Наташа уже не смотрит в окно, она сидит, рука, согнутая в локте, подпирает ладонью подбородок. Говорят, она похожа на меня. Как я, говорили, похожа на мою мать. Я смотрю на нее и думаю: не довелось Андрею увидеть свою дочь. Наташе показалось, я опять погружена в горестные размышления, и она снова старается увести меня от них.

– Давай, мама, поговорим о чем-нибудь. Время пойдет быстрее.

– Давай.

С минуту она не знает, что сказать. Потом:

– Что, по-твоему, самое тяжелое в жизни?

В самом деле: что?

– Мелкие неурядицы, – говорю я.

Нет, не об этом хочется Наташе.

– Мама, слушай, ты в жизни очень любила? –

Взгляд Наташи ждет ответа. Я понимаю, она в том возрасте, когда все, что происходило и происходит с близкими ей людьми, соотносит с собой, со своей жизнью.

– Я и сейчас люблю...

Наташа задумчиво смотрит на меня, потом поднимает руки, поправляет чуть сбившуюся косу, и видны темные пятна подмышек, будто маленькие тени ее плеч.

Наступает вечер.

И ночь.

Наташа уютно спит. Мне не спится.

За окном теснится смутный, едва различимый в темноте мир, в нем ничто не страшит, он настойчиво следует за поездом, напоминая о себе чернотой елового леса, примкнувшего к самому окну, полустанком и оранжевым кругом фонаря, в котором проносятся земля – три куста, железнодорожная будка. И опять все гаснет, будто уходит под воду. Потом вровень с поездом полетели огоньки. Проезжаем мимо города, раскинувшегося в глубине ночи, я всматриваюсь в гирлянду острых красноватых точек. Может, это

тот самый, тогда выжженный город, и мысленно я снова на его окраине, в доме не успевших эвакуироваться врачей. Огоньки редуют и совсем пропадают. Где-то там, во тьме, гудящий лес; ветряная мельница под дождем; скособоченная калитка с вертушкой и хата, и женщина в сером платке, в серой кофте, и однорукий красноармеец; и еще дальше – старик, худая лошадь, телега на просеке; и камыши, и река, и поворот реки...

Я прижимаюсь лбом к теплomu, в капельных крапинках окну. За окном темнота. Неужели, подумалось, в этом черном хаосе существуют какие-то направления, куда можно двигаться? И я вижу себя одну в этом подавляющем мраке, ищу, где бы перейти линию фронта. Но это же невозможно, – пугаюсь я. Раньше и в голову не приходило, что половина жизни человека погружена во тьму, но сон закрывает ему глаза и уводит из мрака. А часто, как вот сейчас, я несла на плечах своих и эту половину. Ночь была высшим проявлением милости судьбы, она еще на короткое время дарила мне жизнь. Самым страшным был день, его свет, его ясное небо, ясная земля.

Обыкновенная ночь, как черная глыба, стоит за окном. Обыкновенная ночь, скрывающая столько вещей, наполняющих мир. Я встречаюсь с этим миром: как только начнет светать, он откроется предо мной. Я увижу солнце Белых ключей, оранжевые тропинки

Белых ключей, красные сосны Белых ключей, и собак, и кошек, и воробьев Белых ключей...

Поезд прибывает на станцию Белые ключи ровно в полночь. Я смотрю на часы, через семнадцать минут снова буду там...

– Наташа, вставай. Уже скоро.

– Да? – Она потягивается, вкусно зевает.

Станция приближается.

Готовясь к отъезду, я не представляла себе своего состояния, когда буду подъезжать к Белым ключам. Боялась, что не выдержу.

– Белые ключи, – безразлично произносит проводница. – Поезд стоит одну минуту.

Мы уже в тамбуре. Станционные стрелки. Четкие переборы колес. Сердцебиенье. Поезд замедляет ход.

Я еще не вернулась с войны. И вернусь ли? Меня не покидает чувство, что я все еще там. Это потому, наверное, что с войны не возвращаются. Живые тоже. Я свыклась с мыслью, что война никогда не уйдет из моей жизни.

Прошлое всегда в нас, в памяти нашей, и умирает не раньше нас самих. Отодвинутое во времени, прошлое, боевое прошлое, остается живым, незабываемым, и волнует с той же силой, что и тогда, и значит, существует и в настоящем, и от него не уйти. Те же лю-

ди вокруг, все такие же молодые, если были они тогда молодыми. Только сама я постарела, уже не та. Мы не вместе старимся и умираем не вместе – мы страдаем вместе. И кажется, если б снова увидела Андрея, он был бы таким, каким оставила его там, в Белых ключах. Мне было восемнадцать, ему двадцать два. Ему и теперь только двадцать два...

Невероятно, как память сближает нас с тем, от чего мы уже далеки. То, что выпало нам когда-то и виделось спутанными, отделенными друг от друга случайностями, часто горькими, необязательными, спустя время воссоединялось в цепь непреложных событий, без которых настоящее было бы неясным и неполным. Мы движемся по жизни, окруженные метами прошлого. Нет, нет, это не насаждение вещей и обстоятельств в пустоте. Это другое... Даже обращение к будущему не в состоянии ослабить этого. Так, наверное, и возникает вечное...

Я писала в Белые ключи, спрашивала: может быть, кто-нибудь знает что-либо об Андрее? Нет, никто о нем не слышал. Я запрашивала военные учреждения. Отвечали: «Пропал без вести». Без вести... Это еще не гибель, нет, верилось мне. И, случилось, ловила себя на том, что в каждом лейтенанте, которого издали замечала на улице, видела я Андрея. Как-то показалось, что он прошел по Красной площади, остано-

вился, где когда-то были Иверские ворота, и я ринулась к нему, испугавшись, что вот-вот пропадет он в людском потоке. Ведь я была, наверное, так взволнована, что офицер, в котором почудился мне Андрей, сочувственно взглянул на меня: «С вами случилось что-нибудь?» Я покачала головой. Солнечная, лилась вниз гладкая городская магистраль. Нет, ничего не случилось. Я даже нашла силы – улыбнулась. Я и потом искала Андрея в военных, встречавшихся мне на улицах, в метро, в магазинах, но уже не выдавала своего волнения, как в тот раз. Андрей, Белые ключи были в снах моих, и часто придушенный крик мой заставлял меня вскакивать с постели, и ладонями вытирала холодный пот на лбу, сердце учащенно билось.

А бывало, мне хотелось отодвинуться от себя, посмотреть на все со стороны. Так постигается истина. Особенно нестерпимо было в первое время, в госпитале. Врач, с одутловатым лицом, с большой лысой головой, будто догадываясь о моих переживаниях, говорил: «Выбрось, дочка, из головы. – Он осматривал мою рану чуть ниже левой груди. – Все идет на лад. Так вот, не надо помнить лишнее. Воспоминания о войне всегда тяжелы, не на спине, – в сердце их носим. Забудь лишнее и иди дальше. Будут еще воспоминания. Может, не такие, как те...»

Но Андрей не отпускал меня. Белые ключи не от-

пускали, они принуждали к верности. Верность мертвым – это навечно. Иногда мне начинало казаться, что Белые ключи постепенно забывались, я силилась припомнить, какие у Андрея глаза, лоб какой, улыбка какая... Казалось, он расплывался. Проходило время, и он снова обретал точные черты и жил рядом со мной, вот так же, как другие, которых встречала каждый день. Я поддавалась памяти, как поддаются волны, когда ступают в воду. Я скована прошлым, и его не отогнать от себя, как не отогнать прочь свою тень. Я видела себя в Белых ключах, где осталась сильная частица моего прошлого, как на месте остается валун, который обтекла вода, ушедшая далеко, далеко. Мысль и сердце будут всегда там, как всегда будут в поверженном Берлине, как останутся в Москве, сверкающей победными салютами.

Вспомнилось, я стояла на площади Революции, смотрела на двигавшиеся к Мавзолею Ленина военные ряды. Фронтовики держали в руках опущенные книзу гитлеровские штандарты. Кто-то, стоявший рядом со мной, бросил, возможно подумав о близких, погибших на войне: «Нам, живым, эта победа, мертвым она уже не нужна...» Я ничего не сказала. Но хотелось сказать: им, мертвым, победа нужна, как и нам, живым, – они отдали себя ради победы...

И еще вспомнилось, как спустя год или два после

войны подошли ко мне у Манежа четверо в пиджаках, в брюках гольф, с фотоаппаратами, с дорожными сумками через плечо и, улыбаясь, спросили: как пройти в Третьяковскую галерею, спросили по... немецки. Меня охватило какое-то оцепенение: немцы... улыбки... Третьяковская галерея?.. Я не бросилась в сторону, и стрелять в них не хотелось... В первую минуту показалось странным: не стрелять в немцев? Люди, говорившие на этом языке, принесли нам столько страданий! Улыбки их очень, очень опоздали, подумалось мне. Что ж, пусть и запоздалая улыбка, это все-таки лучше, чем пистолет. Я тоже улыбнулась. И это как бы примирило поверженных и победителей. Мир начинался сызнова.

Я повернула на Красную площадь, шла и думала, шла и думала. Тогда, осенью сорок первого, рота Андрея, уже неполная рота, просто, как и должны солдаты, исполняла свой воинский долг, и не знала, совсем не знала, что, взрывая мост, потом у школы, скывая, ну сколько их было там, немцев, вместе с тысячью других рот, действовавших на Киевском направлении, – тоже отвлекала силы противника, задерживая его наступление на Москву, готовила будущую нашу победу. Я шла по Красной площади и думала, и думала об этом. Теперь, когда боль улеглась, все виделось ясней, потому что стало на свое место.

Пусть многое еще впереди, но и позади уже многое, то, что унесло время.

Нет, время ничто не уносит. Не может быть, чтоб все превращалось в пепел. Жизнь не терпит забвения. Жизнь – это все вместе, и прошлое, и настоящее, и будущее.

Поезд трогает. Мы остаемся на деревянном перроне. Перед глазами плывут желтые квадраты вагонных окон, и состав отходит в ночь. Надо мной и Наташей смыкается темнота. Лишь поодаль, как золотой буравчик, мглу сверлит тонкий станционный огонек. Мелкий дождь покрывает лицо, руки.

– Здравствуйте. Жду вас, Наталья Андреевна. – Радужный голос за спиной. – Только вы и сошли с поезда, значит, вас. – Мы не успеваем обернуться, и чьи-то руки берут у нас чемоданы. – Викентий Романович, директор школы.

– Здравствуйте, – произносит Наташа смущенно и обрадованно.

– Здравствуйте. – Неясная фигура высокого человека поворачивается ко мне.

– Здравствуйте, – говорю я.

– Телеграмму вашу получили, Наталья Андреевна. Признаться, удивились. Ожидали вас в половине августа. А вы... Что так? Диплом в руки, назначение и – к месту работы? Нетерпение начинающего? Могли

бы месяц провести ну хоть в той же Москве, ну на юге, что ли. На радостях, так сказать. Местность наша, а теперь и ваша, еще успеет вам надоесть. Впрочем, местность красивая. Швейцария! Правда, в Швейцарии не был. Но все равно, Швейцария... Минуточку. Сосна, не наткнитесь.

Где-то рядом лошадь с хрустом жует сено. Мы останавливаемся у двуколки.

– Захватил вот дождевики. – Викентий Романович достает дождевики, мы надеваем их и усаживаемся в двуколку.

Двуколка катит по мягкой дороге. «Неужели снова здесь, – верится и не верится. – Здесь, и свободно двигаться! Не таясь, не боясь засады? И ниоткуда не стреляют, – неужели снова здесь?..»

Ничего, оказывается, что сейчас лето шестьдесят четвертого, для меня это пространство, этот кусочек земли и сентябрь сорок первого слились и приобрели один облик. Не могут Белые ключи быть не такими, и никогда иными не будут, и никогда не были иными. Все то же навсегда: пулемет, Андрей, страх, мужество, великое благо ночи, когда пули не видят в темноте... Не будут Белые ключи иными, даже после меня останутся они такими: страх, Андрей, пулемет...

Сосны источают такой знакомый запах, тот самый, его не спутать ни с каким запахом других сосен. Вы-

прыгнуть из двуколки и радостно бежать! Бежать, броситься на землю, прижаться к ней. Что-то удерживает меня, не выпрыгиваю из двуколки, никуда не бегу, только прикрываю сердце руками.

– Ну, путешествие окончено, – произносит Викентий Романович. Лошадь замедляет бег. – Прибыли.

Ступени главного входа. Вот здесь это и началось, – проносится в сознании. На ступенях тусклый свет электрической лампочки, падающий со стены. Я ступаю медленно, словно тяжело идти. Мне и в самом деле тяжело идти: это же те самые ступени, на которых... Я качнулась, подавшись вперед, и упала бы, если б Викентий Романович не подал мне руку.

– Вы устали? – участливый голос Викентия Романовича обрывает то, что вспомнилось. Я смотрю ему в лицо. Лицо загорелое, соснового цвета. И все равно, вылитый Роман Харитонович! Только очков не хватает. Он, кажется, уловил, что я внимательно рассматриваю его, и он смущенно склоняет голову, точь-в-точь как это делал Роман Харитонович. Я не в состоянии скрыть своего взволнованного удивления. Я ничего не говорю. Он не догадывается, как много значит для меня эта школа в Белых ключах...

Но мне и по коридору трудно ступать. За этими колоннами, у окна, припал Андрей к пулемету. И я останавливаюсь, не могу идти дальше: вот-вот кинусь,

чтоб подать пулеметную ленту... А из сада стучат-стучат-стучат немецкие автоматы. Образ Андрея вырастает, вырастает, он заполняет всю стену, таким становится большим и открытым, и я до дрожи пугаюсь: теперь все пули в него... А в глаза дым и известка, сбивая со стен, с потолка, и кто-то бежит прямо на меня, из разорванного рукава гимнастерки высунулась голая по локоть рука – кровь или рыжая кирпичная пыль на ней? Он хрипит, быстрым движением вставляет запал в гранату. Кто-то недвижно, подогнув ногу, боком лежит на полу, кровь покрыла всю его щеку, и она не красная, а черная, будто невысказанно темная и густая тень.

Отовсюду, из всех углов, на меня обрушиваются воспоминания, и все происходит в той же последовательности, что и тогда.

– А знаете, – голос Викентия Романовича входит в мои мысли, – в годы войны школа наша, вот здесь, где мы с вами находимся, являлась самым настоящим дотом. В школе погиб мой отец, тогдашний директор школы. Что тут было!..

Но разве знал он, что тут на самом деле было...

Мы ступаем по паркету, – теперь здесь паркет, ступаем мимо чистых, выбеленных стен, на них портреты писателей, ученых, мимо больших светлых дверей, ведущих в классы, – все иное, все не так, как было.

Но память сильнее, и я вижу то, что ушло отсюда, чего никто другой видеть не мог. Я вижу пол этот, стены эти, двери, запятнанные кровью, запятнанные мокрой от крови известковой пылью. Я молчу. Я отвожу глаза: черный ход, левый. «Иди». Я испуганно взглядываю на Наташу, словно могу ее потерять.

– Пожалуйста, на лестницу, – снова уводит меня от всего этого Викентий Романович.

Мы поднимаемся по лестнице. Вот эта часть лестницы обвалилась, когда сюда бросили гранату. Перила сгорели тогда. А здесь...

– Сюда. – Викентий Романович толкает дверь. Комната в свету.

«Что было здесь?.. Не помню, не помню, что было. А было...» напрягаю память.

– Устраивайтесь, Наталья Андреевна, – говорит Викентий Романович. Временное жилище ваше. А потом... – Обнадеживающий жест: – Потом... устроим вас как следует, все будет хорошо. Покойной ночи.

– Покойной ночи, – откликается Наташа.

Покойной ночи, покойной ночи, – мысленно повторяю я. Когда по тебе не стреляют, все, что вокруг, имеет совсем другое значение.

Начинается гроза. Ветер кидается в настезь распахнутое окно и с силой отбрасывает назад занавеску, словно в комнату влетает надутый парус. Наташа

уже улеглась на железной кровати, окрашенной в цвет молодой травы, она спит. Мягко подогнув колени, она вся в радостном, обжитом мире. Лицо ясное, ни тревоги, ни сомнения на нем. Губы слегка разомкнуты в улыбке, даже сон, должно быть, у нее какой-то легкий, солнечный. Я слышу ее ровное, сильное дыхание. На щеку, ставшую чуть матовой, свалилась, словно полоска света, прядка русых волос, и от дыхания прядка медленно шевелится.

Рука моя тянется к выключателю. Выключатель щелкает, в комнате становится темно.

Но всё по-прежнему перед глазами. Нет, нет, это не должно повториться. Никогда... никогда... Теперь всем уже известно: миллионы мертвы. Миллионы сердец остановились раньше срока. Миллионы мертвы, но я знаю только немногих из них, это мои товарищи из первой роты, неполной роты. Я вижу лицо каждого, помню их имена. Для других нет у них лиц, нет имен – миллионы мертвых, миллионы мертвых... Что-то судорожно перехватывает горло, я не могу поймать дыхания.

В темноте я уже не вижу Наташу и, смятенная, бросаюсь к ней. Она здесь... Наташа спит. Наташа спит...

И я поднимаю трясущиеся руки: все рассказать, рассказать все, что было в то, уже давнее, время! И тогда сердцу станет легче, как кажется, что утишается

боль, когда кричишь...